




ИЛ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



ЙОРГОС СЕФЕРИС
В РУБРИКЕ
“НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ”

2021

11

РОМАН
ЩЕПАНА ТВАРДОХА
“МОРФИЙ”

ПИСАТЕЛЬ
ПУТЕШЕСТВУЕТ:
ЭССЕ СЕРГЕЯ
ГАНДЛЕВСКОГО
“ГОРЫ”

Основан в 1955 году

ЩЕПАН ТВАРДОХ



[3]

ИЛ 11/2021

Морфий

Роман

Перевод с польского СЕРГЕЯ МОРЕЙНО

И дни твои не столь полны
И ночи твои не столь полны
И жизнь бежит мышью полевой
Не шурша травой

ЭЗРА ПАУНД

*И дни твои не столь полны*¹

Часть 1

Глава I

М ОЗГ. Смрад.
Мозг лопается. Язык червяком засохшим, шершав. Корка
слизи прилипла к небу. Мозг лопается. Солончаки. Миаз-
мов собственных смрад.

© Copyright by SZCZEPAN TWARDOCH, 2012

All rights reserved. Published by arrangement with Wydawnictwo Literackie, Krakow.

© СЕРГЕЙ МОРЕЙНО. Перевод, 2021

1. And the days are not full enough
And the nights are not full enough
And the life slips by like a field mouse
Not shaking the grass

Ezra Pound *And the days are not full enough*

Таки проснулся? Проснулся? Нет, не проснулся. Спим дальше? Сон, боль утихнет во сне? Не утихнет.

А во сне... Да сон ли то?

Таки просыпается. Просыпаюсь. Я проснулся. Глаза режет, ка- тышки гноя ковыряет, ковыряю пальцем, ресницы склеил гной. Открываю. Где я? Не дома.

Надо встать, встать, надо на толчок, опустошить кишечник. Не хочется вставать, не хочу. Полежать бы, полежал бы. Где? Не дома. Надо встать.

Встаю. Встал. Башка кружится. Садится в кровати.

Сижу, сидит, башка кружится, подташнивает, резким, значит, броском вперед, как фехтовальщик, как пловец, вперед, вперед, из жилища не своего по коридору, в сортир.

Опорожняю себя, испражняюсь, тугой бурдюк делается бурдюком обвислым. Мозг лопается. Воды? Выкручиваю ручку крана с четырьмя лепестками, с плакеткой синей, как *Virtuti Militari*, нет воды, нет и все. Есть в ведре, Анеля принесла или кто другой принес.

Смываю унитаз водой из ведра. Затем раковина, пробка, струя в фарфоровое ухо умывальника, вода, пьешь? Пью. Пьем. Мы пьем.

Вчера: городская управа обнародует список из двадцати двух точек бесплатного забора воды. Взятую в этих точках воду следует кипятить перед использованием. Насрем. Плещу себе в лицо, лью остаток воды на распухшую башку, череп скрипит, я слышу скрип черепа, опухший мозг давит на кость изнутри, ледяной ток замораживает ее снаружи, голова оживает. Видит меня в грязном зеркале.

Это я. Константин Виллеман.

Налицо следы питья водки. А точнее, вина, последние четыре бутылки, по-черному, за кухонным столом, заедая хлебом, испеченным Анелей на противне, натертым чесноком, посыпанным солью. Последние четыре. Вина больше нет. Вина уже не будет. Может, вина уже никогда больше не будет? Пустое, вино будет всегда. Но не для меня.

Пятьдесят третий день m-воздержания. Четырнадцатый день немцев в Варшаве. Питье по-черному, распевание грязных песен с середины второй бутылки, патриотических песен за третьей, так точно, за четвертой вой, плач, слезы. Заглядывает сквозь открытую кухонную дверь сонное лицо Анели, не требуется ли пану чего? Прочь, мегера, прочь, профура старая, одиночества мне требуется, в трагедии моей и в трагедии города моего я жажду одиночества и пятой бутылки бордо, но ничего мне не светит!

Но сегодня не до реверансов Анеле, Анеля привыкла. Пан, когда пьет, глумится над миром и над людьми. Такой уж пан есть. Такие уж они, паны.

Я вспоминаю эти выкрики, глядя в зеркало. Вспоминаю: Анеля, старая швея, сестра горничной моего тестя. Я прячусь в ее комнате. Она спит на кухне. Хозяев, у которых он снимает комнату, нету. Они сбежали. Я не сбежал. А теперь гляжусь в зеркало.

Это я. Кудлатые волосы, мутная рожа, двухдневная щетина.

И тут-то появляется, а скорее возвращается все: город разрушенный и уже не мой, Геля и Юрчик в нашей квартире в огромном доме Веделя на Мадалинского, мобилизация, осада, капитуляция, Стажинский несет чушь о немецкой армии, покрывшей себя позором, воюя на Праге с ее несчастными жителями, приказы, задержанное довольствие, безумие Ксыка и его черные усики, после капитуляции отход с позиций возле Селецкого парка и у Бельведера к уланским казармам, где мы должны ожидать освобождения в плен, я же в плен не пойду, бред о том, что надобно драться далее, полковник отпускает меня, иди, иди, ты прав, надобно драться далее, пистолет мой мы зарываем в саду у сестер-назаретанок на Чернякове вместе с оружием пары товарищей, мундир сжигаем в печи, даже сапоги, хотя сапог жалко, вонь кошмарная, я в плен не иду, шалишь. А еще раньше, при мобилизации — клятва. Трезвость. После капитуляции сведенная к м-воздержанию, отсюда и бутылки вина вчера последние, где теперь взять вино? Негде. Прятки, чистое кабре!

Дымы над горящей Цитаделью, такие возвышенные и красивые. Братский привет шлем мы воинам, сражающимся за Хель, дрожит по радио голос диктора, да здравствует Польша, еще Польша не згинела. Тем не менее.

Я сдаюсь.

Пью еще, прямо из ведра, на рамена поднявши мощные, покуда брюхо вновь не превратится в бурдюк. Зеркало. Это я, это я, это я.

Ненавижу это место. Ненавижу.

— Не сделает ли Анеля мне кофе! — ору, ор пронзает мне виски гвоздями толщиной с пальцы Пилата.

— Нету кофе! — из недр жилья терпеливо кричит в ответ Анеля, вчера ровно то же кричала.

Я ведь знаю, что нет, чего ору?

— Ну, пускай чаю сделает.

— Нету чаю. Я только затапливаю. Чего, чего, чего?

— А поесть есть чего?

— Нетуги. Пан пусть сходит, купить надо. Хлеб на Мировской дают, за тридцать грошей кило, по четверти в руки.

Анеля ворчит, из кухни ворчит, из крохотной кухни этой крохотной квартирки, где еще и комнатка сдается, комнатка, в которой пахнет старухой, пахнет вареной капустой и луком, хотя как пить дать месяц как она ни луку, ни даже капусты не готовила, все равно пахнет, а может, просто должно пахнуть вареной капустой и луком или требухой должно пахнуть, и я сам по себе индуцирую эти запахи, выдумываю их для себя, чтобы на душе потеплело?

Выйти в город, нужно выйти в город. Выйти из этого жилища и не вернуться. За окном — дождь, дубак. Обратно в ванную. Бриться или не бриться? Бриться, холодной-то водой? Однако бриться. Волосы уложить. Но без бриолина, хотя бриолин есть, в коробке на полке, но сейчас не время для бриолина, военное время, значит, хватит и грешка, лишь бы не ходить нечесаным. Потом аспирин,

два. Он тоже заканчивается. Затем майка, кальсоны, носки. Затем толстая шотландская шерсть, теплый пуловер под пиджак. Шляпа. Шарф. Пальто пока не беру, время пальто пока еще не наступило. Мало этого, мало. Твид согревает, но этого мало. Одежда, дабы показать, что я не абы кто, хотя и абы кто. Дабы хранить пред лицом крушения мира, напоминать, что я — отнюдь не абы кто.

Я это я. Константин Виллеман зовут меня, нравятся мне автомобили и элегантная одежда, не нравятся лошади, униформа и неудачники. Я — отнюдь не абы кто. Хотя и.

Только зря это, зря. Смотрю на себя в зеркало, я это, я, а мира больше нет, и в этом мире я больше не я, а если даже и я, то определенно абы кто. Даже в дорогой одежде, в дорогих ботинках. Абы кто. Именно.

Я выхожу. Дверь за мной затворяется с презрением. Смеется надо мной эта дверь старушечья, дверь Анелина, дверь не моя, даром что в ведении моем. Выхожу. Не вернусь. Не знаю еще, куда пойду, но сюда не вернусь.

Вышел, город не мой. В окнах нет стекол, а где есть, то заклеены крест-накрест бумагой, оконные кресты святого Андрея, на крестах этих жизнь наша распятая, а чаще всего слепая фанера и черные глазницы на месте выданных рам и выбитых стекол. Магазины закрыты, заколочены досками или разгромлены, вместо них уличный хандель, люди продают все: английские ботинки для верховой езды, расчески, лампы и продукты по ценам, за которые полагается стрелять. И какие люди: лоточники из пригородов, знает Бог откуда товар берущие, шикарные дамы, жиганы, мелкое жулье, подростки. Распалось общество, несть ни еврея, ни грека, ни леди, ни бляди, ни профессора, ни вора. Товары из раздолбанных складов, улов грабежа или обычного мародерства или свое подкожное, мир старый поплыл, лег на улицах на газету и в картонный ящик, порядок вещей поплыл, как распавшийся минерал, желанные в холодном октябре меха из подходящих гардеробов на улицу, с улицы в руки неподобающие, баба пробует продать кавалерийское седло, с чьего коня оно содрано, из-под чьей задницы вырвано, и на кой ляд кому уланская кульбака? Разве что на горб нацепить, катать немцев по улицам.

Еще и расстреляют.

— Тебя за это расстрелять могут, женщина, — сказал я.

— Коли не берешь, пан, то ступай, пан, ступайте!..

Пошел, значит. Как хорошо, что есть у меня деньги, а есть, потому как умный. Иду себе, значит, первым делом, умный такой, по Крахмальной иду себе, жидки суетятся, всё готовы отдать за дуляры и за золото, спешат и боятся до чертиков, а я иду, на жидков не смотрю, иду в Мировский Пассаж за хлебом, салом и яйцами. Половина лавок при деле. Цены безумные, кило хлеба за злотый семьдесят. Хлеб из муниципального распределителя по тридцать грошей уже ушел, уже разобран. А по рыночной хуже, чем у жида. Беру кило. Кроме хлеба покупаю кружку простокваши, гнусная кружка на шнурке, всем желающим

лотошник льет из банки молока на десять грошей, плачу, хрен с ним, с отпечатками гнусных ртов на жести кружки, пью, полегчает.

Не полегчало. У бабы шоколад, довоенный, двенадцать золотых плитка.

Двенадцать! Взял для Юрчика на три золотых, ломает грязными лапами как попало, в газету завертывает.

С едой в портфеле, ну не таскать же мне авоськи в руках, как кухарке какой-нибудь, я иду дальше. Если деньги есть, то все тебе будет, все можно пережить.

А были. Еще в августе, за неделю до мобилизации, закрыл счет в ПКО, немного там было, однако имелось что-то, итак, закрыл, такой он предусмотрительный, такой умный, купил золото по ценам хапужным, но довоенным, купил доллары и имеет нынче, и Геля также имеет, за что Юрчика накормить, вот о чем думал я с гордостью, минуя очередь в ПКО, специально крюку дал, чтобы полюбоваться на этот хвост до самой филармонии, по пятьдесят золотых одноразово выдают, люди глядят друг на друга волчьими глазами из-под полей шляп и во взглядах этих: санация, ворюги, полковники говенные, где наши, где мои деньги!

А у меня есть. Ведь я умный, а люди идиоты. Ведь ты умный, а люди идиоты.

Я дал крюку еще и потому, что в последний раз был в ПКО с командиром полка и майором Томашевским, заместителем, и ротмистром Хохлом из пулеметного эскадрона, в день капитуляции, но до объявления еще, Томашевский получил Virtuti, и Хохол Virtuti, а я получил Храбрых, ни за что, мы, значит, в ПКО, под землей, я тактично сзади, немой, поскольку генералы: Руммель, Кутшеба, Токарежевский, Чума встали над картами, курят сигареты, пораженцы, капитулянты, неудачники, просрали Польшу, но стоят над картами, застегнуты под подбородки, ошейники из серебра, генеральские пукалки в кобурах малых у жопы, дамские вальтеры или браунинги, аккурят такие, чтобы пальнуть себе в лоб, но что-то никто не пальнул, хотя сдали всё, что могли сдать, не одну лишь пуговку от плаща.

Наш полковник токовал с начальником штаба Руммеля, вопрос капитуляции решен, да, а мне страшно хотелось достать пистолет и отстрелить эти генеральские бошки, одну за другой.

А сегодня и след генералов простыл, одни люди в очереди за своими пятьюдесятью золотыми стоят.

С едой в портфеле я иду в Европейский, к Лурсу, послушать, что говорят. Что болтают, что талдычат, стукая челюстями, будто поминая дядю жестянкой о тротуар. Да и хрен, иду, я к Лурсу иду, чтобы оттянуть еще чуточку то, что вот-вот наступит. Сорок девятый день м-трезвости, в конце концов.

Вхожу. Внутри давка невозможная, в основном — офицеры. Часть делает вид, что они это вовсе не они, но морду унтера издалика видать, морду, не морды, потому как у всех у них одна морда унтерская, полковничья, майорская, капитанская, господа паны, так шла

эта бритая морда змейкам на высоком воротничке, тени лакового козырька фуражки, теперь торчит вот печально на тощих или толстых шеях, над грязными воротниками партикулярных рубаш, над серым или коричневым платьем, Бог знает откуда выкопанным. Длинный Фалинский в тряпье, видимо снятом с карлика, рукав пиджака застрял между локтем и запястьем с белой полоской от часов. Толстяк в углу выпучивает жирным торсом свой пиджак как лопнувшую кишку жареной кровяной колбасы, едва стянутая на пузе рубашка ровными эллипсами между пуговицами открывает волосатый пирог тела.

Прочие — в форме, точнее в полуформе, штатские пиджаки при галифе, плащи армейские, зато увенчаны шляпами. Защитники Модлина, этим нечего прятаться. Да и от кого прятаться, немцев тут нет, немцы по кафе не ходят.

Все, разумеется, желают быть со мной запанибрата. Не то чтобы они желали быть запанибрата со мной лично. Здесь все запанибрата, но они сочли, что я себя включаю в это их “все”.

И талдычат: Франция, мол. Сикорский, мол, власть, а Рызд интернирован, санация то, мол, санация сё. Клинический идиот за столиком у окна вещает, что Польша должна принять форму духовную, стать государством духа и в духе же возродиться, как страна без неравенства и притеснений, как земля просвещенных граждан, объединяемых любовью к добру, красоте, прогрессу, Богу, справедливости и дружбе.

И к анисовым конфетам, непременно. Я именно так себе представляю, что должны быть анисовые конфеты, розовый ликер и кокаин. Выбираю столик в другом конце зала, иначе пришлось бы в пасть ему влепить, к тому же в другом конце сидят за бутылкой водки Рудзик с Малиновским, и я сажусь с ними.

А они о своем. Вставать на учет или нет? Объявление Кохенгаузена позавчерашнее читал? Я читал. Вчера фамилии от А до К. Завтра — от Л до Z. Рудзик говорит, не встанет, мол, Малиновский колеблется, но и он, пожалуй, нет. Если встанешь, то каюк, отправят в лагерь. А может, не отправят? И тоже: Франция, Франция, Франция, немцев лупить.

— Не налупились еще за три недели? — спрашиваю. — Мало огребли?

А они о своем. Санация и санация, покарать и рассчитаться.

— Кого покарать хотите? — спрашиваю. — Маршала? Могилу ему обоссать?

— Не выйдет, караул стоит, — серьезно отвечает Рудзик.

А они не слушают. Слушай же, Костек, это ведь просто, до Кракова так-то и так-то, из Кракова до Будапешта так-то и шмяк-то, а то через Татры на лыжах так-то или опять-таки так-то, а в Будапеште если и задержат, то якобы из министерства гонимых помогают очень, помогает министр Барта, так что задерживают и сразу отпускают, а как отпустят, то до Констанцы так или смяк, там на корабль и Средиземным морем до Марселя, а там уже новая армия, союзники дают нам танки и всё нам дают, станем немца лупить, большевика станем лупить, *za wolność naszą*, ура, на Берлин, мы такие! Виват! Виват!

— Хотели бы дать, так не проще им было в августе дать? — спрашиваю.

А они глядят на меня из-под строгих бровей глазами злыми, интересно, хотят ли уже швырнуть это слово или еще нет, глядят, значит, а я смотрю в их глаза как в окна с полосками бумаги крест-накрест. Швырнуть-то хотят, легки на швыряние, но не швырнут, боятся, жизнь уже сложна крайне, чтобы товарищеские суды к ее сложностям добавлять. Так что нет.

Рудзик достает газету.

— Что это? — спрашиваю.

Рудзик пожимает плечами. Ну а что это может быть? Новый “Курьер варшавский”. “Курьера варшавского” больше нет, нет его, был он, вероятно, старым, а тут нате вам, первый номер. На первой полосе: “Важные разъяснения касательно событий, предшествовавших германо-польскому конфликту”. Рядом: “Черчиллизм. Интересная статья Бернарда Шоу”. Ниже. Францишек Совинский. Не знаю. Наверняка псевдоним: боится парень, что никто руки ему не подаст, коли немцам прислуживает.

К нашему столику подсаживается гость в плаще, они с Рудзиком жмут друг другу руки, как старые друзья. Сразу видно: офицер, одни офицеры тут.

Смотрит на меня. Низкий, живот мячиком, а лицо худощавое.

— Калабинский. Полковник.

Лапу протягивает, я лапу пожимаю

— Виллеман. Пьяница, — отвечаю. Оба смеются, Калабинский и Рудзик.

— Подпоручик у нас шутник, — говорит Рудзик, чтобы у гребаного полковника ни на миг не возникало сомнений, что он беседует с офицером, пусть даже явно с младшим и с резервистом, но офицер есть офицер.

— Полковник тоже из Силезии, — добавляет.

— Из Сосновца, — уточняет Калабинский. — Пан силезец?

— Нет, — возражаю. — Варшавянин. Правда, родился в Силезии. Дальше не рое, по счастью, не кроет.

— Страшно мы дрались в Силезии, — говорит он не мне, а как бы в пространство. — И после все время. Ты, пан, дрался?

Смотрю на него так, чтобы видел мое нерасположение.

— Только в кнайпах с сутенерами, если курва мне даром не давала, — отвечаю.

— Эх, пан Виллеман дрался в девятом уланском! — спешит с разъяснением Рудзик, неуверенно улыбаясь.

И наливает Калабинскому стакан. Тот выхлестывает.

— Забавная вещь вспомнилась, — говорит он, будто водка его моментом разожгла, но голос вдруг понизив. — Были мы раз в Стопнице, в местечке, одни, в общем, евреи кругом, а по дороге автобус, набитый немцами, как начали мы их бить, а после выяснилось, что это музыканты. Военные, в форме. Но автобус как решето, музыканты

тоже, трубы пулями, пан, продырявлены. Глупая история, винтовок у них не было, только эти трубы.

Меня тошнит.

Водку допиваю, адье, иду, нечего мне тут.

Франция, Франция, некросубстанция, учет-неучет, санация, коалиция, мобилизация, дератизация, трубы, трупы, лошадиные крупы. К черту.

Иду. Пора проверить, как поживают Геля и Юрек, узнать, побаловать, похлопотать, но прежде кое-что для души. Так что на Уяздов, в госпиталь. Точка. Ухожу. Точка.

Я ухожу от Лурса, пришлось уйти, иначе доконало бы меня поражение, тошнить меня стало от этого поражения, так что ухожу, ухожу. Точка.

Город мой не мой, продырявленный, иду Краковским предместьем, взвод евреев с лопатами шагает, по трое шагают жидки, бородастые, кипастые и в халатах, штук тридцать их, на работы какие-то идут, их эскортируют три немца, мундиры как у военных, но не Wehrmacht, полковник меня научил: лишь у Вермахта есть немецкие орлы на левой груди, на других мундирах их нет. А мундиров много. У этих нет, значит, не Wehrmacht. Пес их знает, что за другие. Polizei какие-нибудь. Или SS. Люди расступаются, отворачиваются, жида с немецким эскортом шагают посреди разрушенной улицы.

А я дальше иду, иду по Новому Святу, на Новом Святе еще недавно видал такие же колонны с лопатами, в костюмах и шляпах, добровольные защитники Варшавы шли рыть окопы, а нынче одни могилы там, где когда-то была дорога, крестьянские телеги вместо трамваев, нет трамваев, нет автобусов, есть телеги, едет себе такая, а в ней спокойно сидят пятнадцать варшавян в пальто и шляпах, портфели на коленях, вот-вот закинет такой ногу на ногу и станет газету читать, или лучше “Ведомости”, словно бы он на такси в Атенеум на премьеру нового Шанявского ехал. На стенах вместо афиш — записки.

“Юзефу Марецкому жена и дети. Юзик, дом разрушен, мы у Стасей на Грохове, ждем”. “Продажа выставочных голубей, ул. Вербная 14, спросить Анджея”. Вербную сожгли, я был еще до капитуляции. Сотни записок. Перед записками люди, ищут, читают. Пани начнет тут, я там, если пани увидит что-то насчет Мариана Ковальчика, то будет так добра сказать, а пани кого ищет, я тогда тоже посмотрю? А сколько лет? Горе, ах, горе.

Дальше — шел. По Сельской. Никого не ищу, никто меня не волнует, только Геля и Юрчик, а им надежно в нашей квартире. Плиты срыты, на тротуаре грязь, башмаки тотчас гваздаются, на улице телеги и грязь, за две недели на двести лет назад. Баррикады из плит на скорую руку пробиты и разобраны, но павимент в порядок никем пока что не приведен.

Опять двое немцев, солдаты. Пальто, ремни, пилотки. А люди смотрят, как будто минуту назад те двое изнасиловали, убили и съели их мать. Может, чью-нибудь и убили. Может, у кого-нибудь даже

изнасиловали, кто знает. Но что съели, не думаю. К тому же эти наверняка не убили даже, летчик убил, самолет убил, бомба убила. Солдатики, юные такие, глаза немного испуганные, без оружия, ну так что ж ты ходишь по городу, который твой генерал занял, ведь не ты его занял, занимает генерал, а ты просто ехал на грузовике или пер пехотой, потом бежал, укрывался, стрелял, дергал затвор, стрелял, в кого стрелял-то? Стрелял в кого приказали, а потом с той стороны перестали стрелять, генерал дал вам водки, а сейчас тебе кто-то еще в лоб даст, потому как не генералам же, не Кохенгаузену, коменданту Варшавы, не Браухичу, не выдержит кто-то, в лоб солдатакам и Вася-кот.

Иду, стало быть. На стене: Bekanntmachung! Слева готикой, справа: “Извещение!”. Черный орел посредине, изысканно. Wird mit dem Tode bestraft¹.

Зацепило меня перед этим извещением. Я читал немецкую часть. И вдруг озарение. Wird mit dem Tode bestraft. Так говорил папа, это язык моего папы, немецкий, конечно же, тоже, но не только, именно так говорил мой молодой папа. Не про смертную казнь, но: Konstantin, wenn du unartig bist, wenn du dich schlecht benimmst, dann wirst du bestraft!² Говори по-немецки, Konstantin!

Поплохело мне. Нужно идти, нужно идти за кое-чем для души.

Шел, стало быть. Получасовая прогулка и вуаля — Уяздовский замок. Кое-что для души. Корпуса забиты: лежат раненые, лежат, стонут, лекарств не хватает, болят их раны огнестрельные. Выглядит паскудно. Не знаю, что меня больше мучит: факт, что всем этим славным парням больно, лежат они тут и им больно, бесславным тоже больно, или же меня мучит именно то, что Яцек может не дать, поскольку заест его совесть. Не дарить на потеху, а даровать этим парням облегчение. Славным и бесславным.

А может, меня бы совесть заела? Впрочем, может и не стоит. Ищу доктора моего, спрашиваю хорошенькую блондинку-медсестру с попкой такой круглой, будто никакой войны нет, та мерит меня взглядом, медсестра, не попка меня взглядом мерит, но слишком устало, чтобы интересоваться мужчинами, жаль ее попки, мучится попка от этой войны. Погладить, обнять, шлепнуть и укусить любовно, вот бы чего ей, а не бега с судном и корпией. Но — война. Сложно. Так что спрашиваю медсестру, а она не знает, где доктор Ростаньский, и уходит, в полуобмороке.

Присел на подоконнике у высокого окна и в кармане пиджака с удивлением обнаружил нечто твердое: портсигар, о котором позабыл. Открываю с надеждой: внутри три сигареты! Прошу у проходящего мимо раненого спички и кюрю. Табак пересох, дерет горло, но

1. Карается смертью. (Здесь и далее перевод с немецкого Михаила Рудницкого.)

2. Константин, если не будешь слушаться, если будешь плохо вести себя, тебя накажут! (Нем.)

хороший, из другого мира, три дня я не курил, ибо думал, что нет у меня больше никаких сигарет. Размышляю: заест ли меня совесть?

Это ведь все-таки тем продырявленным парням полагается, во мне сделать дырку немцам не удалось, хотя целая лавина стали и свинца, на меня нацеленная и науськанная, изливалась в меня металлическим потоком, но не дошла, не попала, ей не удалось, им не удалось.

Оттого заедала меня совесть. Но когда докурил, то продолжил искать доктора Ростаньского в больничных коридорах и нашел. Тень Ростаньского я нашел. Изнуренный, исхудавший сильно, килограммов десять, под глазами круги, из себя синева-белый, но мне обрадовался. Яцек, мой Яцек.

Обрадовался в первую секунду, едва меня увидел, потом взглянул еще раз и понял, и сразу ожесточился, замкнулся в негодовании.

— Исключено, — бросил он холодно, как только мог, то есть очень холодно, но не слишком, не так, чтобы я отступил.

— День добрый, Яцек.

— Ты не денькай и не яцкай мне, Костек. Я знаю, зачем пришел. Не дам, исключено. У меня совсем ничего нет.

— Есть.

— Нет.

Отвернулся и пошел прочь, будто не хотел со мной общаться вообще. Знал, что я не уйду, знал. Но даст, знаю, что даст. Я за ним, значит, в кабинетик, он попытался закрыть передо мной дверь, но я пролез внутрь. Знаю, что есть, обязательно есть заветная заначка где-нибудь, вне ведомости есть, сладкие бутылочки, не внесенные ни в один реестр. Ебись она конем, ведомость, кого сейчас волнуют ведомости, немцы пришли. Точка в ведомости.

— Дай, пожалуйста. Не могу, не выдержу этого всего, пальну себе в лоб.

Глядит на меня испытующе. Яцек, мой Яцек. Гиацинт. Ростаньский. Дорогой. Миг целый думает, и впрямь мог бы, мог бы я пальнуть?

— Ты куда-то пистолет спрятал, идиот? — Молчу. Со значением.

— Не дам, не юродствуй, у тебя жена, сын. Нету, а и был бы, не дал бы все равно. Не дал бы, потому что он мне здесь нужен. Для раненых, до холеры ясной.

— Хоть пару бутылочек дай, Гиацинтик золотой, умоляю, — говорю, но не унижаюсь, слова мольбы, а тон твердый.

Он вздохнул.

— Могу дать первитин, — ответил он, и я знал уже, что он уступит. — У немцев купил, по-черному.

— Не хочу холерного первитина.

— Но у меня только первитин.

— Неправда. Для чего мне первитин? Для чего тебе первитин?

— Не знаю. Продавали дешево, я и взял. Другого ничего нет!

— Есть.

Он вздохнул. Помолчал. Я знал уже, что он даст. Прежде я тоже знал, что даст, но теперь я знал крепче. Он помолчал еще мгновение. Покрутил головой.

— Идиот ты. Дам тебе одну. В последний раз. Пока не закончится война.

Я обнял его, хоть он и вырывался, поцеловал в обе щеки, волшебную бутылочку вынул мне Яцек из сейфа, я сразу спрятал ее в карман и обнял его снова, затем повернулся, чтобы уйти.

— Костек... — начал он, когда я уже стоял в дверях, чужим голосом. Я обернулся, он смотрел на меня, начатая было фраза повисла в воздухе.

— Костек... — повторил он.

— Ну?

Он боялся. Фраза еще немного повисела в воздухе, но он не решился ее завершить, просто махнул рукой.

— Я еще займусь ею, дружище, клянусь тебе, — сказал я весьма зазорным голосом, словно обращался к солдатам на построении. — И она отыщется, определенно отыщется. Люди сейчас постоянно отыскиваются.

Яцек снова махнул рукой, а я вышел и уже за дверью услышал, как он ложился на кушетку, как скрипнули пружины не под тяжестью его тощего, щуплого мальчишечьего тела, но под тяжестью беспокойства и страха, и скорби. И тоски.

Я твердо обещаю себе сдержать клятву, бросить клич, я мог бы это давно сделать, у Лурса, но как-то вылетело у меня из головы, потому что с утра я был сосредоточен лишь на том, что трезвость кончилась, ну и вылетело как-то. Позорно вылетело, но вылетело все же из головы, жена друга моего, Ига, Ига...

Но я займусь, я поищу, поищу.

Итак, угрызения совести были налицо, но, когда я вышел в город, к городу не моему вернулись краски: бутылочка у меня в кармане излучала его новые цвета, освещая дома с выколотыми глазами, дома со снятыми скальпами крыш и дома с выпотрошенными квартирами. Я знал: еще сегодня я забуду все те оттенки серого, сегодня я убегу туда, где не догонит меня ни немец, ни большевик, ни наш полковник, ни патриотичные матроны меня не догонят, ни старцы, еще помнящие Январское восстание, меня не достанут, пусть даже потрусят галопом со своими тросточками, бекешами и конфедератками, не достанет меня там ни будущее нации, ни ее прошлое, не достанет электрификация, детекторное радио и растянутые на деревьях антенны в селах, ни крестьянский вопрос не достанет, ни парцелляция, ни демократия, ничего. И не достанет меня там отец, тот, каким запомнился мне еще перед той войной, с его светлыми чахлыми усиками, шипящий имя мое сквозь сжатые губы.

— Konstantin! — шипит мой юный отец.

Не достанет меня там, не схватит меня из могилы.

Шел, стало быть, легко по Сухой и Пулавской, дрались мы неподалеку две недели назад, а сегодня иду себе могилами товарищей и по крови наших лошадей и даже готов насвистывать. Я подумал, что надо раздобыть велосипед, и пришел наконец на Мокотов, к Геле и Юрчику, в нашу каменицу от Веделя, современность и модерн, гладкие стены, без карнизов, без каких-либо рустик и волют, современность аэроплана и люкс-торпеды. Я взглянул на часы, часы отца, Елеста-двенадцать-красным, с прошлой войны, часы отцовы, запястье мое: на циферблате пять. Успею посидеть и вернуться вовремя. Я стоял перед нашей каменицей и думал, что Геля может прощупать мои карманы. Я бы мог бутылочку где-нибудь спрятать, в подъезде или на лестничной клетке, но расстаться с ней было выше моих сил, не сейчас. Я посмотрел вверх. На третьем этаже горел свет, теплый свет, в этом свете на диване сидит Юрчик и рассматривает альбом про животных или строит замок из кубиков. Когда я постучу в дверь, Геля догадается, что это я, кто другой позвонил бы в электрический звонок, поэтому она разволнуется, ведь это опасно, я в ее представлении беглец, и каждый немец в городе лишь тем и занят, что ищет меня, а Гитлер с Гиммлером визжат в трубку: "Поймите нам этого Костека Виллемана, и побыстрее, ублюдки! Эй, великаны! Поймать, потом пытать, потом расстрелять, потом повесить!" Смеюсь себе под нос, собственным шуткам смеюсь, хорошо мне. Итак, сначала Геля разволнуется, чего я вообще пришел, затем подумает, что я пришел пьяный или же в кейфе, зыркнет в глазок, сразу поймет, что я трезвым пришел, и только тогда обрадуется. Обрадуется и воскликнет: "Юрчик, папочка, папочка пришел!"

И Юрчик подбежит к двери, Геля откроет, втянет меня спешно внутрь, чтобы никто из соседей меня не заметил, а я Юрчика на руки возьму, расцелую, спрошу обо всем, он мне расскажет по-своему, весь ералаш, думаю, про мишек, про маму и про то, что они на обед сегодня кушали, дам ему сразу шоколадку, а Юрчик ее целую съест, измажет щеки.

В квартире тепло, я еще в августе устроил большой запас угля на весь огромный дом, где-то кто-то мерзнет, а в нашей центральной котельной огонь, и в каждой квартире тепло. Тепло, потому как устроил, чтобы было тепло, я устроил.

Итак, тепло. И так тепло, что придется снять пиджак, пуловер. Я бы мог бутылочку в кармане брюк спрятать, но Геля, едва Юрчик убежит в другую комнату, обязательно прильнет ко мне телом, положит ладонь мне на грудь, затем опустится ладонь эта ниже, вниз, под ремень, низом живота скользнет, потом ниже, глубже. И почувет бутылочку.

Так что надо бы спрятать. Но если войду, то после должен буду прямо к Анеле идти и спать, что ли? Сидеть на кухне, на кухне сам с собой, себя самого слушать, чёрта ли?

Юрчик. Геля. Любимая Геля. Неделю их не видел, ровно неделю. У меня шоколад для Юрчика, маленькому полезен шоколад, худень-

кому особенно. Юрчик папочку всего обнимет. Стишок прочтет. Кто ты? — Маленький поляк! Орел белый — Вот твой знак! Геля учит его, я даже не протестую, хотя это дико глупо, а в такие времена безответственно даже учить трехлетку такому чудовищному китчу. Какой из трехлетка поляк, трехлеток это всего лишь полулюдь, полужверюшка милая, мартышка, никакой не поляк. Но раз Геля считает это важным, пускай учит, пускай слушает отца или мать, что приходят к ней через день и травят ее своей патриотической нудью. Долг. Польская женщина, мать, гигиена. Грядущие поколения. Дети важнее всего. Дети как будущее нации. Физика, евгеника и черная Африка. Ладно бы Юрчик, внучек, воплощенное в белокуром херувимчике очарование, нет же — дети. Польские дети, ебись они конем.

Ощупываю карман. Там, да, золото мое, жизнь моя.

Разворот на месте. Еще успею до семи на Повисле, а за полчаса до комендантского меня на улицу не вышвырнет ведь. Сколько же я там не был, два месяца, а как полжизни, хотел не ходить, но пойду в конце концов.

И снова: Варшава, город уже не мой, хорошо, что не льет, иначе не одни башмаки, но и брюки до колен изгваздал бы. И всё тогда, в изгвазданных брюках не явишься.

Принес бы цветы, но где нынче цветы взять? К ней без цветов не того. Хризантемы подошли бы.

Да и чем хризантемы плохи, в общем-то? Оценит, дважды оценит: то, что принес цветы, раз, два, что хризантемы, кладбищенские цветы, мрачные цветы, она и раньше бы оценила, пока все к чертям не пошло, а теперь еще больше оценит.

И, топи преодолевши, стою наконец перед ее домом. Хризантемы при мне, украл у покойника, из-под деревянного креста из штaketника, с французским шлемом в наверху, каской Адриана, а небрежно вцарапанные в дощечку буквы гласят, что здесь лежит кпр. Гловинский, 30-я пхт. Зачем капралу хризантемы? Пан капрал мертв.

— Ты, пан, мерзавец, — шепнула мне дрожащим от негодования голосом дама, слегка уже деклассированная, в пальто с меховым воротником из дешевой нутрии и с тонким лицом. Из тонкости его делаю вывод, что скоро этот меховой воротник исчезнет. Широко ей улыбнулся, чтобы поняла, что, когда бы я немного постарался, то к вечеру она была бы моей. Тем более если я подкреплю свое очарование обещанием сытного ужина. Могу себе позволить, даже сейчас, она же как сказать.

Но я пошел дальше, и вот стою перед столетним доходным домом на Доброй, на углу Доброй и Радной, стою перед каменицей, элегантной снаружи, с перекрытиями и лестницей, и перилами из трухлявого дерева внутри, каменица белая, а чрево ее точит древесный червь и червь людской, протачивает коридоры в затхлом воздухе, взошел-таки по гнилой лестнице на третий этаж и стою перед дверью. И я постучал, чуть надламывая корку отслаивающейся

краски. Никогда не звоню, ненавижу электрические звонки, они хороши для пожарных или воздушной тревоги, не для человека культуры, пришедшего в гости. В гости к своей любовнице.

А как поступал: сто вопросов. Живет ли здесь еще? Бога ради, жива ли еще? Мы виделись в августе, два месяца назад, ах, давно. Может уже не жить. А если живет, то здесь ли? А если здесь, то дома ли сейчас? А если дома, то одна ли? А если одна, то не ожидает ли кого?

Тишина.

Новые вопросы: а если посмотрела в глазок, она умеет так тихо, что бесполезно прислушиваться, увидела меня и не хочет открывать? Стучу еще раз, и на втором ударе дверь дрогнула.

— Ты пришел, Костя... — прошептала она.

Было в этом шепоте желание, обещание, радость, как всегда, когда я заходил к ней. Но было и кое-что еще, и это была любовь.

Увы. Любовь. В первый раз. Так мало нужно было: два месяца врозь и гитлеровская придумка вломиться в Польшу, и наш двухнедельный позор, так мало — и уже Саля любит меня. Напрасной любовью. Я знаю точно, после этих трех слов я знаю: любовь. Слов, низким голосом произнесенных, с придыханием, значит, любовь. Бесполезная. Но сейчас у меня нет ни сил, ни времени, чтобы снисходить к этому напрасному чувству. Я, конечно, не стану сейчас его гасить, сейчас нуждаюсь в простом утешении.

— Саля, — прошептал я.

Впустила. Сколько раз я хлопал этими дверьми, сколько раз она выгоняла меня из квартиры, сколько раз скулил под ними, прося впустить, а у нее сидел хахаль, которому я, без вины виноватому, вбивал затем в морду кастет и спускал его с лестницы, затем лишь, что наши вкусы совпадали и что он тонул в огромных глазах Сали, моей Саломеи. И как пить дать, не только в глазах.

Отдал цветы.

— С могилы.

— Живем на кладбище.

— Да. Красивые. Проходи, садись.

Я вошел. Она поставила цветы в черную вазу, взглянула на часы, все поняла.

— Останешься, на ночь останешься! — крикнула, хлопнула в ладоши.

Я сел. Вынул из кармана бутылочку, положил на стол. Для двоих — маловато, но Саля удовольствуется меньшим, и как-нибудь хватит. Одному мне не хотелось. Наедине — да, с морфием ты всегда одинок, но не один.

Она улыбнулась.

— Тут у мне бутылка старого бургундского. А ты меня нарисуй сначала?

Я предпочел бы сразу отправить содержимое бутылочки Яцека в плавание по моим венам, но я не откажусь, ей причитается.

— Откуда бургундское, сука? — спросил все же, слегка ошетинившись, потому как бургундское ей мог принести только другой какой хахаль.

— Из подвалов замка хорошие люди принесли. Президентский бургунд. Лучше ж мы выпьем, чем германцы бы выпили, правда?

Я пожал плечами, потому что, едва ответила мне своим контральто, понял, что мне плевать, пивали мы уже вина из президентских погребов, еще в казармах шеволежеров, мадеру такую старую, что хоть ножом режь. Хахаль ей принес, ну что теперь?.. Он принес, Костек выпьет.

— А ты меня нарисуешь? — спросила она со своей мягкой интонацией, как степь от Днестра до Дона. — Так? — указала рисунок над дверью, первый мой рисунок Сали, сделанный мной в первый день нашего знакомства, как раз перед тем, как она стала моей любовницей.

— Здесь темно.

— Тогда здесь тоже темно было.

Было. Мы познакомились в Адрии, за столиком Ярослава, и она пригласила меня к себе, чтобы я ее нарисовал. Естественно, я счел это незатейливым намеком, побежал за ней без промедления, да хоть бы ради ее медных прядей, она же, когда я зашел в ее квартиру и не обинуюсь приступил к делу, остановила меня смехом, момент, мол, успеется, в первый раз усадила меня на стул, вручила мне планшет с картонкой приклепленной, дала сангину в руки, а сама уселась на софе, не разделась, а лишь расстегнула блузку, спустила вниз бюстгальтер, обнажив грудь, и высоко задрала юбку по самые ляжки, расставив ноги, трусиков на ней не было, один пояс для чулок. Словно бы сошла с картонов Эгона Шиле. А я смотрел не на нее саму, не на чудную рыжую евреечку или русскую, не знаю, кто она, я не на нее смотрел, не она передо мной сидела, не эта вроде-актриса, муза и вакханка, менада, о которой Виткаций однажды сказал мне, что она святая шлюха и ни на одно тело шампанское не льется так, как на ее тело, так что она не сидит передо мной, а сгущенная женственность, не отблеск идеи женственности, которым является каждая женщина, но женственность как таковая, в сущности своем принявшая телесный облик.

Рыжими штрихами я делал ее тогда, так похабно расставившую ноги, прекрасную, ибо она превзошла все пределы похабства, что не было бесстыдным, лишь нестыдным, и в этом нестыде была прекрасна, будто вообще не ведала стыда, будто ее одной не коснулось изгнание из рая, будто была особым племенем фемин, сестрой Евы, что осталась в раю и заказала рамку для этого рисунка и повесила над дверью, задранная юбка, темная пизда, Urheimat мужчин, и руки на белых бедрах, у самой промежности, как если бы раздвигали сами безвольные ноги, тяжкие груди, неловко вылуценные из лифчика, как из лопнувшего стручка, все мягкое, лица почти не видно, голова запрокинута назад как в экстазе.

Рисунок нехорош — ни композиции, ни хорошо проработанных деталей, ни хорошей линии, но есть в нем правда о Сале. А раз уж правда о Сале, то и о женщинах в целом.

Геля тоже каким-то образом в нем присутствует. Даже любовь моя к Геле, к телу ее здоровому, как греческая статуя. Все мои любовницы есть на этом рисунке, все, хотя их не так уж много было, как по довоенным слухам, от которых я должен был беречь свою жену и, видимо, не уберег. На Салю слухи о моих похождениях действовали как афродизиаки, правдивые и ложные. Салья не чтит мужской верности, но умела ценить — не практикуя — верность женскую. Однолюбцев она считала немужчинами, инвалидами мужественности, была к ним холодна, ни разу не пыталась соблазнить, снисходительно на их ухаживания глядя, как учитель музыки на ученика, что на втором занятии посягнул бы на Страдивари. Зато нередко сводила их с подругами, каковых имела во множестве и каковых презирала.

Иное дело Геля с ее представлением о любви, почерпнутым из чтения в пансионе, мужчина был животным для Гели, не признавала даже повторные браки вдовцов, в слепую ярость приводили ее слухи о том, что такой-то отец семейства повадился в бордель, а особенно комментарии, мол, так оно лучше, в бордель-то, чем тратить гораздо больше денег на какую-то пессию, денег, что по праву принадлежат законной жене и детям. Знакомому, о ком шла молва, могла в припадке правдолюбия закатить бешеный скандал, и несколько знакомств прервались таким образом.

Узнай она о моих любовницах, что тогда? Сделался бы для нее животным, но знаю, что лишь тогда родилась бы в ней подлинная страсть ко мне, зализывающая раны умершей любви, я думаю, что все женщины одинаковы: католички, суфражистки, бляди, монахини, тупые пейзажики, арфистки, готтентотки и шведки отличаются лишь поверхностью, но не сутью, и отвращение Сали к верности и отвращение Гели к неверности суть одна и та же эмоция, один и тот же принцип, сущность великой всеженщины. Мужчины, впрочем, тоже все одинаковы, но не о них речь. Геля, стало быть, делала все, чтобы не узнать о моих любовницах, а мне раз пришлось дать Сале пощечину, когда во время какой-то ссоры она уже заказывала через коммутатор наш номер, чтобы по телефону во всем признаться Геле. Набросилась на меня тогда с кулаками, а когда я схватил ее за запястья, припала ко мне всем телом, распаясь, что кошка в течке, искусила мне губы, и я не мог вернуться домой, ну как объяснишь кровотокающие губы?

А теперь Салья дает мне уголь, картон, реквизиты нашей страсти. И ждет, вижу, что уже возбуждена, глаза ее светятся, свежее облизанные губы блестят.

— Разденься, отвернись и наклонись.

Ни разу не нарисовал ее лица, в лучшем случае контур щеки и самый кончик носа в полупрофиле со спины или подбородок откинутой головы.

Лик Сали. Прекрасный красотой Бейрута, Иерусалима и Дамаска, хотя кожа ее светла, так что, может, красотой Калабрии, Сицилии и Крита, он не является темой наших рисунков. Я не рисую ее лица, мне даже неприятен вид ее лица, плевал я на ее лицо. И сегодня, после долгой разлуки, я именно так ей велю, ибо Саля не любит, когда ее просят, спрашивают или угождают ей. Саля хочет слышать приказы, которые может немедленно выполнить, она может быть лишь с тем человеком, чью волю и силу слышит в повелениях. Мужчина просящий, молящий есть для Сали немужчина.

— Оставь туфли, пояс и чулки.

В квартире холодно, а на рисование мне потребуется время, но такие неудобства Саля сносит без единого возражения. И мне приятно, когда после кожа ее холодна, будто я ласкаю камень.

Стоит неподвижно, ноги на ширине плеч. Крутые ляжки с патетичными арками кружев, стройные икры, мощные бедра, тяжелые ягодичы, линия позвоночника выгнута как под долотом резчика, застыла недвижно, как застывала посреди академической залы, в окружении студентов и студенток, но те рисовали женщину, я же рисую женственность.

Когда уголь начинает по-другому скрипеть о картон, когда я заканчиваю рисунок — она слышит это, и ее бедра начинают двигаться, моя кровь бушует и мысли о бутылочке, полной добра и счастья, на миг уходят, так как кусочек этого добра и счастья, его залог я уповаю найти там, между ее белыми полными ляжками.

Потом, после всего, Саля нагая, грудастая прячет себя в пухлую папку, на которой печатными буквами написала мое имя: Константин. Есть еще несколько папок, но я в них никогда не заглядывал. Картонный Костек полон разных Саломей: за Салей нагнувшейся, в чулках, с откляченной попой, следует Саля на стуле, der blaue Engel, правда, голая и в моей шляпе, за ней Саля в профиль, лежащая на спине, вздымая бедра, груди стекли набок, линия воздетых ягодич, густая поросль указывает на смысл и сюжет этого рисунка, за ней Саля в патетичной перспективе, подошвы стоп на первом плане, за ними раздатые ляжки, меж них врата прародины и далее ягодичы, далекие плечи и в глубине арки сплетенных на затылке пальцев. Это разные Саломей, углем или сангиной, одна из них тушью, я помню все: но Саломея во плоти, а вернее в теле, эта Саломея, более или менее подлинная, берет алюминиевую шкатулку, хорошо мне известную, баюкающую внутри на красном бархате стеклянный шприц в корпусе из нержавеющей стали и позолоченные иглы, мы разделим морфин в бутылочке по объему, две пятых Сале, три пятых мне, первая часть для меня, себе инъекцию Саля сделает сама, я это не очень, но сначала она открывает бургундское, подкладывает мне под плечи подушки, спрашивает, удобно ли, я пью, совсем голый, а она стягивает ленту на моем предплечье, туго, как опытная сестра находит вену, хлопывает ее, вводит под кожу золотую иглу и медленно толкает поршень. Я вижу еще, как ее

губы обнимают меня, как она целует меня так, как я никогда не позволяя целовать себя Геле.

Потом. Я тону в тепле. Бургундское парит. Рядом с моим собственным телом мое тело Сали. Оба моих тела наги. Мой язык Сали облизывает иглу. Всегда облизывает иглу. Текущее в мое тело Сали тепло. Текущее счастье и мое тело Сали возвращается к поцелую.

А я падаю. Сали накрывает два моих тела перинами, перьями, прикикает ко мне, я падаю в теплую, мягкую тьму, темную, как любовный спазм, впаянный в часы Сальвадора, темную, как размякший теплый свинец, внизу живота моего родится восторг, он набухает и лопається, и проливается каскадами блестящей тьмы, в легкие, в горло, в пах, в уд, к ногам, к кончикам пальцев, и выливается из меня и облепляет мир. И все проявляется и все гаснет.

Гаснет Варшава. Моя жизнь гаснет. Гаснет мать, Яцек, Геля, Юрчик гаснет, гаснет в памяти отцовское Konstantin! Гаснет отец, первый образ его, мне памятный, гаснут его серый мундир и шлем с четырехугольным уланским верхом, гаснут сапоги уланские, лицо дочерна загорелое, гаснет мать, гаснет их громкая двуязычная ругань, из тех лет, когда они еще любили друг друга, и гаснут вежливые выпады на языке змей, из тех лет, когда они ненавидели друг друга, гаснет Варшава, какой я видел ее в первый раз, из окна купе вагона первого класса, гаснет первый поход в новую школу и гаснет Варшава, какой я видел ее в последний раз, час тому назад, все то, что промежу между тем, гаснет, средняя школа, аттестат, гаснут курсы и Грудзёндз, кони, шашки и практика в Теребовле, гаснет вино, распитое с русинскими девушками у памятника Зофье Хшановской перед теребовлянским замком, и гаснут все полковые игрища, со времен Коморовского еще, даже предплечье, сломанное при попытке въехать верхом на стену замка, гаснет, серебряный бокал для шампанского, именем моим гравированный, гаснут Оазис, Парадиз, Земянская и Адрия, гаснут звезды, с какими я был знаком, Ярослав сахарно глядит на меня у Шимона и Виткаций масляно глядит на Салю, дурная дуэль с Ростаньским гаснет и гаснет фарс, каким она обернулась, гаснет Ига, которую Ростаньский отбил у меня или я ему отдал, не помню, угасло ведь, и гаснет моя с Гелей свадьба, гаснут дурные сабли у нас над головами, и наша первая ссора, я ведь не хотел этих сабель, а Геля даже очень, и уговорила друзей за моей спиной, гаснут друзья и рис, которым нас посыпают, гаснет рождение Юрчика и гаснет миг, когда я впервые беру его на руки и всматриваюсь в эту синюю сморщенную мордочку, будто в собственное лицо, гаснет новая квартира в каменице Веделя, гаснет прошлогодний съезд девятки в Теребовле, пьянка и целый полковой праздник по случаю двадцатой годовщины формирования полка, как же славно было тогда, чего только не было уже тогда и ничто не предвещало того, что наступило, и это непредвещание тоже угасло, гаснет мобилизация месяц с чем-то тому назад, гаснет трезвость, гаснет война, гаснет капитуляция, гаснет оккупация, гаснет отрешенность.

Угасло. Ничего нет, я внутри тьмы, без тела, без единой мысли, без ничего, чистый я, инертный я, нея, которого нет, нея растворяюсь во тьме, как капля дождя в океане. И нея ощущает, не думая: как хорошо немне небыть, как немне сладко, как тепло, как мягко, как тепло влажностью восхитительной, как бархатисто, как белокожемлечно, Саломея есть, а ее нет, потому что неменя нет, мои ладони Сали на моей собственной коже, внутри себя нея пуст.

Не я.

Нея глаза открываю. Глаза открываю. Я открыл.

Часы. Десятый. Недолго играла музыка. Рядом: Саля.

Я должен убраться отсюда. Тотчас. Несмотря на комендантский. Гляжу на Салю, на мою Салю, и кажется мне она отталкивающе жуткой: спит, такая белая, рот у нее открыт, а посреди рта ужасная рана, зубы что обломки костей. Я встаю, одеваюсь. Когда шнурую ботинки, уже в дверях, Саля выходит из спальни. Голая, щелки глаз, словно пузыри век ножом взрезаны, голая, со спутанными волосами, даже не пытаюсь прикрыть грудь или промежность, и до жути мерзок мне вид ее грудей, набухшие кожные мешки, соски на них что головки воспаленных чирьев, и мерзок мне вид густой поросли, сбегаящей к ляжкам и темной линией опасно сближающейся с гадким узелком пупка. Глядит непонимающе на меня, еще чутка в одури, и вдруг видит: я ухожу.

Хищным зверем бросилась на меня.

— Костя, куда ты сейчас пойдешь? — завывла, впившись ногтями в мой рукав. — Куда пайдёш, Костя, куда?

Гадка мне она, гадка мне моя Саля, не хочу ее видеть больше. Я буркнул ей, что ухожу.

— Не позволю! Не можно! Не ходи! — она скулила, хватала меня, тянула за пиджак, вот-вот порвет, и не могу, не мог вырваться, уже дверь открыл, а она давай голая, на коленях, цепляться за мои штанины.

— Убьют тебя, Костя, убьют! Не ходи!

Влепил ей в лицо открытой ладонью. Удар, равный собственному падению. Саломея на полу, медные волосы патетически рассыпаны по ее плечам и по паркету, как будто она репетировала это падение, нагая женщина, одетый мужчина, ухожу.

— Я тебя люблю, Костя... — вышепнула.

Хлопнул дверями. В коридоре в приоткрытую дверь выглядывала соседка, падкая на чужие драмы, ну чем не абонемент в театр соседство моей Саломеи для такого бабья, за трагедиями не заржавеет.

— А ты что харю высунула, старая курва, — плюнул я бабе комплиментом в лицо. Та исчезла.

Я вышел в ночь. Христосик. Христосик?

Это всё разговоры.

После комендантского часа стреляют без предупреждения. Так в городе говорят, что стреляют. А пусть меня застрелят. Один Юрчик, одного Юрчика ради стоит держаться за жизнь, ему одному могу пригодиться живой. Ему одному. А, может, и ему не могу.

Иду, иду, идет, шхериться по руинам не станет, не стану, перелуками красться не стану. Иду по 3 Мая, сворачиваю на Маршалковскую, центральными улицами иду. Шагаю. Шагает. Варшава не моя, не моя это Варшава, не его, Варшава продырявленная, Варшава в ознобе, в грязи и в дожде со снегом, Варшава изнасилованная, Варшава гробов, телег, запряженных клячами, и извещений на заборах, Варшава что моя Саломея, пощечина, на пол, ноги врозь Варшава, курчавится черная поросль.

Кто-то идет за мной, кто-то за ним идет, я его знаю, он знает его, Костек знает меня, он знает, что я такое, не поворачивается. Боится меня увидеть.

Кто-то идет за мной. За Константином идет. Потом, потом оставит нас, всегда в конце оставляет и всегда потом возвращается, брат мой, камрад, товарищ.

Я бегу, он бежит к Геле, к Юрчику, лишь бы скорее к ним, лишь бы подальше от его Саломеи и от того, кто следует за мной, за ним, аки лев рыкающий.

Я теряю дыхание, перестаю бегать, хожу, снова иду спокойно.

Навстречу идет патруль. Штыки на винтовках грозят небесам, каски затеняют лица, плащи. Будут устанавливать, арестуют, застрелят, что сотворят?

Чувствую, знаю: тот, кто идет за мной, все ближе, подстраивает свои шаги, словно мы на променаде, все ближе, кладет мне руки на плечи, руки ему на плечи, и так идем, я левой, он левой, я правой, он правой, как в детской игре, на расстоянии вытянутой руки, и обвил меня этими руками, его обвил и мы идем, идем прямо на патруль, прямо на них, тот, кто идет за мной, заставляет их расступиться передо мной, перед ним, встали, интересно, отдадут ли мне честь? Не отдадут, застыли, ошеломлены, поражены, я мимо, иду, идет, тот, кто идет за мной, куда-то теряется, и вот иду один, хотя ни разу не один, одинок, не один.

Дверь, звоню, жду сторожа, он открывает, даю ему пять золотых, бормочет что-то, я не слушаю, лестница, поднимаюсь, наша дверь, стучу, но тихо.

Геля. Смотрит мне в зрачки, а они как булавкой проткнуты. Впускает, не говоря ни слова, запирает двери, тщательно, замки, засовы, цепочки. И лишь тогда.

— Ты же обещал. Пока война не кончится.

— Войне конец, — отвечаю, чуть пришепетывая. — Мы проиграли.

— Ты мог попасть под арест!

Отворачиваюсь, иду в комнату.

— Разбудишь его! — протестует Геля.

Но я все равно иду, я хочу его увидеть, я должен его увидеть, этого маленького белокурого меня в детской кроватке. Вот он, спит, пухлощекий, ручка под щекой, ресницы длиннющие. Увидел, начал ласкать, сейчас этот маленький я проснется.

Геля вытащила меня из комнаты, отвела на кухню, посадила за стол, и так сидели мы за столом, молча. Немного спустя снова заговорила.

— Есть новости об Иге?

— Никаких.

Яцек, Яцек, раскаяние ты мое, Яцек, родник моего счастья, за точенного в чудесных бутылочках.

— Папа был вчера.

Я пожал плечами.

— Говорит, что есть возможность перебросить нас в Швецию, а оттуда прямиком в Нью-Йорк, к дяде Альберту.

— И что?

— Поедем, все втроем. Лишь бы подальше от этой войны и страха.

Я знаю, чего ждет Геля. Чтобы я сейчас отказался. Чтобы сказал: езжайте без меня. Ты и Юрчик. Возьмите вашего отца или маму и езжайте, возьми деньги, я должен остаться здесь, для меня война еще не кончена, я должен остаться и сражаться, добраться до Франции или уйти в подполье и сражаться, сражаться за Польшу. Так сейчас говорят.

И тогда Геля начнет меня убеждать, что семья важнее, в надежде, что я откажусь, что скажу, люблю вас, дескать, больше всего на свете, но Польша есть долг, если я долгом этим манкирую, пренебрегу, то не буду больше тем Костеком, которого она полюбила. Так что должен. А она сможет встать в позу Полонии с картины Гротгера: если останешься, то место мое подле тебя. Тобой жить буду. И упьется этим дивным и дурным женским героизмом, не столько женским, сколько диковинным, потому как польским, и ничего не изменится, просто Геля почувствует себя лучше.

Я только пожал плечами.

— И? — Геля испытующе вглядывалась в меня.

— Ничего. Можем поехать, если хочешь. Научим Юрчика английскому и вырастим его американцем, будет жевать жвачку и ходить в клубы слушать негритянскую музыку.

— Костек, ну чего ты такой... Ведь мы не перестанем быть поляками, вернемся сразу, как только война закончится.

Бедная Геля. Бедная Геля ничего обо мне не ведает, бедная Геля меня не знает, бедная Геля полагает, что замужем за кем-то совершенно иным. Речь уже даже не о других женщинах, не о наркотиках, речь обо мне.

— Но я действительно предпочел бы, чтобы Юрчик стал славным американским парнишкой, — сказал я. — Что плохого в джазе?

Геля смотрела на меня взглядом Гели, обычным взглядом Гели, словно ничего не изменилось, словно нет войны и словно я, как обычно, оглашаю какой-то парадокс, словно я серьезно озвучиваю какое-то спорное суждение, Геля не знает, что подумать, так что лишь смотрит на меня, как она умеет, своим взглядом: не соглашаясь и не противореча.

— Мне нужно лечь.

— У папы просьба к тебе. Нужно передать посылку некой Лубеньской, на площади Спасителя. Боюсь я, ты бы не нес лучше, там такое что-то, если они тебя с ней поймают, то расстреляют. Понимаешь? Ты откажешься, ладно? Я папе уже отказала, но он настаивал.

И снова, вновь: мелкие Гелины проверки. Окажется ли мой Костюшик достойным превосходных традиций свободолюбия нашей семьи? Окажется ли человеком в той мере храбрым, в какой должен быть храбрым муж Гелены Виллеман дома Пешковских герба Ястржембец? Смерть не страшна ли ему?

Достоин ли мой Костюшик называться поляком? Бля буду.

Уверен, Геля желает мне смерти. Ей хотелось бы стать вдовой, в траур облаченной, ухаживать за моей могилкой с березовым крестом, воспитать Юрчика в уверенности, что папуля его был стойким поляком, после позволить какому-нибудь приличному офицеру опекать их с Юрчиком, принять его помощь, отвечая ему взаимностью, но, очевидно, не давая себя и пальцем тронуть, а после в душераздирающей сцене отвергнуть предложение. Признаться: да, я люблю, но не могу, у меня есть уже муж, Константин отдал жизнь за Польшу, не могу я с ним так поступить. Офицер, очевидно, понимает; он этого ждал, он даже хотел это услышать, женщина, вернее, полька, которую он полюбил, ровно так и должна ответить, согласием своим она бы его разочаровала, женился бы он на ней, не разжимая рта, и, возможно, сек бы хлыстом за все свои промахи. Яцек мог бы сыграть эту роль, мой сладкий, добрый Гиацинт Ростаньский, но он бы Гели не сек. Так и томились бы за каким-нибудь столом при свечах, держась ли за руки или только тоскуя по ладоням друг друга, пальцы Гели хотели бы узнать крепкую хватку твердой руки Яцека, но не могут, потому что все уже сказано, они кладут свою безмолвную любовь на алтарь, становясь еще чище, так что ладони не касаются друг друга, они же сидят и достойно, мирно переживают свою интимную драму. Затем Яцек гибнет где-нибудь на баррикадах или где-нибудь в партизанском дозоре, где-нибудь в партизанском лесу умирает, сжимая медальончик с ее фото, а после Геля ухаживает за двумя могилами, она святая, в траур одетая. Она полька.

— Плохо мне, — простонал я сквозь зубы, срываясь из-за стола.

Побежал в ванную, и меня рвало, снова и долго. Геля поддерживала мою усталую голову, вытирала губы мокрым полотенцем, а я выблевывал из себя Салю, выблевывал ее женский запах, ее вино, ее еду и ее любовь.

Потом я лег спать. Я очень устал, а моим городом правили немцы.

Глава II

Открывает глаза. Лежит, лежит подле жены, подле сына, а при этом один лежит, хоть и подле жены, подле сына лежит. Я за ним

стою. Ночь, октябрь, холодно и падает редкий первый снег. Идет война, а городом правят немцы.

Открывает глаза, не зная: наяву или снится ему их супружеская спальня, мещанская мебель, жена, окно, яркий некогда прямоугольник, яркий светом газовых фонарей, сегодня прямоугольник темен, темен несветом побежденного города. Ночь. Так наяву или снится?

Наяву. Садится в кровати, тикают виски и укоры совести тикают: морфий, раненым надлежащий, присвоил. Надлежащий Польше. Изменяет жене с той женщиной, порочной, омерзительной, великолепной женщиной, что оголяется перед ним как менада, выпячивает промежность и целует его так, как он никогда не позволил бы целовать себя жене.

Укоряемый совестью, встает с постели, в квартире холодно, на уголь истопник определенно скуп. Облачается в теплый халат, ну что это нынче за халат, некогда был халатом, в котором он работал, в который облачался, усаживаясь перед доской или перед навощенным картоном, или перед пишущей машинкой, а нынче это халат прячущегося лейтенанта запаса 9-го уланского полка из Тереховли. Мобилизация, от Варшавы к Тереховле, боевой путь, на запад, на восток, лесами, боевой контакт, стрельба, прятки, бегство и обратно в Варшаву, капитуляция, а нынче в халате, в своем теплом халате, как будто не было войны, только окно погашено.

Это халат-капитулянт. А если немцы придут, арестуют? Он думает о Сале. Я думаю о Сале. Не хочу думать о Сале.

Однако думаю о Сале.

Саля. Саломея. Затем: Геля. Гелена. Недобрая Гелена, злая Гелена смерти желает мне, хочет, чтобы за Польшу я пал. Саломея, моя Саломея поклоняется мне как Богу. Даже мое зловоние для Саломеи свято.

Чушь, чушь, чушь. Гелена воистину любит меня. Любовью истинной. Саломея рыжая безумица. Саломея высосет мою кровь.

Так она мне сказала, когда мы сошлись впервые, после чего я ее нарисовал.

Мы танцевали в мерцающей Адрии, люстры вращались, мы кружились, и она прильнула ко мне всем телом, вытянулась, чтобы достать губами моего уха, и шепнула: я высосу твою кровь. А после лизнула мне ухо.

А до того она высасывала устриц у Шимона, мы с Ивашкевичем сидели за одним столом, Саля за другим, за спиной Ярослава, и соблазняла меня из-за его плеч. Ивашкевич, красивый мужчина, глядит на меня, травит мне какие-то там комплименты, что-то там болтает, о литературе говорит, о Копенгагене речь ведет и о Брюсселе, а за его спиной Саля берет себе устриц со льда и пьет их, бессовестно прихлебывая притом. Видит, что я сижу с Ивашкевичем, а раз с Ивашкевичем, то я не абы кто, оттого, видимо, и дразнит. А я-то его едва знаю. Вижу изредка. Изредка поговорим. Едва-едва. А кроме него я вообще никаких известных людей не знаю. Кланяюсь некоторым, они мне от-

кланиваются, были даже представлены друг другу, но это не значит, что я знаю.

А она, прихлебывая этих устриц, деликатно высовывает язык, самый кончик, знает, как это выглядит, тип, с которым она сидит, начинает нервничать, потому как видит, что Сая на меня глядит, а не на него, не сводит глаз с меня и сосет этих устриц, в сравнении я с ним никто, она же вместо него на меня глядит, для меня театр играет. Но кишка тонка, так что прощается наконец, уходит. Я выиграл.

Она присоединилась к нам и ходу в Адрию, там уже блистал Яроси, подсаживаемся, там уже алкоголь, кокаин, кружатся люстры, оркестр туш и Сая присаживается ко мне, а после мы танцуем, она лижет мне ухо и шепчет, что высосет мою кровь, удача вписана в счет, знаю, они хотели бы, чтобы я платил, но знаю также, что, если заплачу, они не станут меня уважать, поэтому я смотрю на них и даю четвертую часть счета, явно показывая, мол, пусть платят остаток, я ровня им, хоть я и никто, и они подчиняются условности, так принято и так есть, они платят остаток, неохотно, два гобсека, но платят, и я ровня им, Ивашкевичу, Яроси, я им ровня, каждый заплатил свою часть, каждый свои пятьдесят два злотых, Сая глядит на меня с восхищением, я не поддался, я не верблюд.

А теперь Schluß, зеро, конец, черная пустота, отчаяние и хуй на.

Пойду к этой Лубеньской, кем бы она ни была, отнесу этот чертов пакет, что бы в нем ни было, и не дам втянуть себя ни в какие тупые, адские заговоры. Затем тесть мой любимый шлет меня туда, чтобы я ловко доказал свою польскость, людьми вроде меня они страшно гордятся, отец пруссак, будьте любезны, мать скорее полька свежеиспеченная, по-польски прекрасно, зато ее бабка с дедом ни гугу, а он тут, у нас, в Варшаве, выбирает поляка. Ох, как дивно! Вот же история! Какое большое дело родина и тому подобное бздо.

Возьмем Яроси, которого они чтут за венгра, а он так родился в Праге, по-немецки болтает и считается австрийцем. Вылезал в “Цирулике” с этим своим “баудти любешны”, и оказалось достаточно, уже его сам Гридз объявил сарматом *humoris causa*, а нынче он, любезный, сидит где-то и прячется. Или его повязали. Или он уехал. Холера его знает.

Второго сентября Геля была на выступлении в “Фигаро” и позже рассказывала мне, когда я пришел домой с нашей комичной войнушки, где мы главным образом прятались по лесам, рассказывала мне, как Яроси велел спеть гимн, и весь зал плакал, и Яроси плакал.

А нынче прячется, ибо душа его польская. Или его повязали. Или он уехал. Хуй на.

Я встал в дверях спальни. Было темно, но я видел очертания их тел: Гели и Юрича под одеялами, мои самые близкие тела, здоровые, чистые, любимые.

— Я пойду к этой Лубеньской, — сказал я. Как будто присягнул на верность отчизне. Однажды я уже присягал. Слова, брошенные во тьму.

— Знаю, Костюшик, знаю, что пойдешь. Я тебя люблю, Костюшик.

Тотчас ответила, будто бы и не спала. Точно не спала.

— Там тебя ждут, можешь прийти когда тебе удобно. Стукнешь трижды, потом четырежды, когда откроют, то скажешь пароль: Могу я видеть пана Казимира? Если ответят, что он ушел, убегай. Ответ, мол, дома — войдешь. Ты запомнил?

Я буркнул в подтверждение.

Скинул халат, лег обратно в постель, зарылся в перины, коснулся ее плеч, бедер. Геля была совершенно иным телом, нежели Саломея. Она была телом спортивным, везде, где можно, мускулистым, с грудью твердой и сильной, мягкость имела иного рода, нежели та, другая, была чистокровным телом, а Саля имела красоту ладной дворянки.

Гелена. Помню ее на пике ее красоты, два года назад, в Париже. Мы поехали на выставку, нас пригласил Юзек, потом мы были на банкете, я даже видел там Шпеера, лишь издали, конечно, никто нас не знакомил. И вот стоим мы с Юзеком, немного потерянные, в чем, конечно, я бы тогда не признался, и я вижу, что на Гелю все время таращится какой-то парень с зачесанными назад волосами, настырно таращится, взглядом по моей молодой жене водит, мне хотелось дать ему в морду, но я боялся скандала, поэтому спросил, кто это, и не успел Юзя ответить, как я увидел, что парень идет в нашу сторону. Подошел, на австрийском немецком представился: *er heißt Thorak, er ist von ihrer Schönheit entzückt und bittet seine Kühnheit zu entschuldigen, aber würde die Dame ihm Modell stehen?*¹

Гелена не знала, кто это, но я знал, и Юзек тоже знал. Потом в отеле были долгие споры, Юзя, разумеется, был против, Гелена колебалась, а я ее уговаривал. В итоге мы позвонили, да, мол, хорошо, мол, согласны, мол, но в Париже задержимся всего три дня.

На следующий день Геля стояла голой посреди большого гостиничного номера, все шторы раздвинуты, чтобы впустить больше света, *mehr Licht*, даже лампы электрические включили, я сидел в кресле, хотя Тораку это видимо не нравилось, он очевидно хотел бы побыть с моделью наедине, я бы охотно оставил их, но Геля возражала, потому я сидел в кресле, нога на ногу, куря сигарету и глядя, как немецкий скульптор рисует мою жену... И видя ее заново: мускулистые стегна и икры, рельефная спина, мягкие плечи, но мышцы на плечах заметны, выпуклы, грудь твердая, высокая, плавной линией спускается к ребрам, без залома, сильные бедра и шея, тело спортсменки, тело, вылепленное лыжами, стрельбой из лука, конной ездой. И свет из окон омывал белую, нагую Гелю, гордую тем, что мы так на нее смотрим — и я, и скульптор. Гордую не своей женственностью, женственности в ней не было, а мрамор был, гордую тела своего мрамором или

1. Его зовут Торака, он восхищен ее красотой и просит извинить его бесцеремонность, но не согласится ли дама ему позировать? (Нем.)

бронзой, сталью нержавеющей, как горды были бы своими телами рабочий и колхозница Мухиной в павильоне Советов.

И смотрел я, как смотрел на нее Торака: не как на женщину, но как на статую, что он тогда уже в ней видел.

Статуя, впрочем, не сложилась. Отец Гелены, чудный мой тесть, зачатый эндек, в 1918 году утратил передние зубы, выбитые прикладом немецкого ефрейтора, и с тех пор ненавидел немцев жгучей ненавистью. И запретил. Геля не поехала в Берлин, она послала Тораку идиотское письмо, где из патриотических соображений отказывала ему, невзирая на мое мнение, невзирая на то, что толковал ей я, акурат сейчас, как Гитлер сделался канцлером, отношения сильно потеплели, Германия веками не имела столь благоволяющего к Польше правительства, что Гитлер австрияк, прусских предрассудков по поводу поляков не имеет, лишь чехов и евреев не любит, не то что разные прусские кавалеры. Но Геля отказала. Торжественно объявила мне, что лишь поляку даст себя лепить или рисовать, и пара коллег, которым Юзек Шанайца передал это, вызвались было, но уже я не согласился чисто наперекор. Торака не захотела, так пусть никто из местных глинолепов ее не лепит.

Но то, что мне надо завести любовницу, я решил уже раньше, еще тогда в большом гостиничном номере в Париже, где Торака рисовал мою жену. Я смотрел на ее красивое спортивное тело и желал всех красивых женщин мира, но не свою жену, я желал толстых ягодиц, круглых рук, никогда ничего не поднимавших, мягких ляжек, никуда не бегавших, и тяжких сисек, вовсе не намеревавшихся кормить детей, мне хотелось женщин мягких, распутных, избалованных, стройная спортивная чистота моей жены отвращала меня.

Но это было тогда, давно, в прошлом мире.

Сейчас я тронул ее бедра. Я прижался к ее теплому телу, подвинул ладони вперед, коснулся ее груди. Я хотел чистой любви, не порченой, как у Саломей, я хотел даже, чтобы этот акт породил нового маленького поляка или маленькую польку. Я залез под ее ночную рубашку, касаясь обнаженной кожи ее ягодиц.

— Костюшик, но тут ведь Юрчик спит, — сказала она, отстраняя мои ладони.

— Геля, — прошептал я.

Она ощущала мое возбуждение, не могла не ощущать.

— Исключено, Костюшик. Ложись на диване, — твердо сказала голосом познанского эндека, голосом своего отца, старый Пешковский именно так говорит, доминация евреев в юридических профессиях есть великая трагедия нашей родины, Костек, ложись на диване.

— Но я же сказал, что отнесу посылку Лубеньской, — простонал я. — И шоколад у меня для Юрчика...

— Костюшик, не делайся жалок, — ответил голос моего тестя устами моей жены.

В физической любви она не слишком нуждалась. Любовь телесная была для Гели частью гигиеничного образа жизни, что означало раз

в неделю отдаваться мужу. Не стоило безрассудно беременеть, что началось пользоваться брошюрами Польского евгенического общества, то есть брошюрки она читала, а чем пользовалась — не знаю, не спрашивал, не хотел иметь с этим дела. После отношений, как это у нее называлось, удалялась в ванную и там некоторое время что-то делала, вода шумела в кране. Решение, когда и сколько у нас будет потомков, принимала Гелена. И тесть, само собой. За обедом тесть рассуждал, что евгеническое мышление есть незаменимый элемент жизненной гигиены, как и регулярный туалет, правильное питание и хорошие манеры. Само собой, папа, говорила Геля. А как у вас с супружеством, спрашивал тесть за обедом, поскольку не считал, что “эти” вопросы следует стигматизировать, исключая их из обычного общения. Тогда я швырял ложку и просил разрешения удалиться и так далее, и все трое Пешковских за столом смотрели на меня евгенической сталью своих очей, полных презрения.

— Люблю тебя, — проскулил я. Подумал о том, что мог бы ее изнасиловать, тогда, быть может, она начнет бояться меня и полюбит по-настоящему.

— Я тоже тебя люблю, Костюшик. Спокойной ночи, Костюшик. На диване, — сказал мой тесть.

Я лег на диване. Подумывал было вернуться к Саломее, чтобы успокоить гнетущее меня возбуждение, но побоялся немцев, поэтому успокоил себя сам, в ванной.

А сейчас не могу заснуть. Не могу уснуть. Я не могу уснуть. Ты не можешь уснуть, не можешь уснуть, не можешь уснуть.

Не может уснуть. Лежит на том диване, запачканный лежит, под пледом лежит, лежит одинокий, маленький, глупый, лежит поправленный. Лежит. Встает, ищет сигареты, ложится обратно, закуривает, лежит под пледом, думает. Я на него смотрю, за ним стою.

И до утра не сплю. Вместо сна: вопросы. Кто я? Зачем я? Вернее, главное, отчего я подонок, свинья, моральный ноль, подлец. Мог быть всем, чем захочу, имею все, чтобы быть великим, меня натаскивали на величие, я мог бы в половине Европы быть великим, в Берлине и Варшаве, мне даны шансы, мало кому давалось столько, а я только пью, пил в Кристалле или в Гастрономии, пью, кейфую и рисую нагих девиц, и каждая нагая девица, которую я нарисую, она моя сокрушительница, сокрушает меня, повергает, каждая голая девка, которую нарисую, имеет меня в своем владении. Поэтому уже не рисую почти. Я не художник, просто делал вид немного. Я никто тем больше, тем сильнее, чем больше мне дано, чем больше я получил, тем больше подлость моя, беззаконие мое, убожество мое и проигрыш мой. Я, нея, яникто.

Но славно, что я уже в своей квартире, к Анеле не вернусь больше. Псу под хвост такое прятанье. Чего прятаться?

Геля встала, встала рано, готовит завтрак, для меня готовит, встал и Юрчик, а я запачканный, измаранный, мерзкий, противный, лежу на диване в полусне, в несне, лежу и к себе чувствую отвращение, Юрчик подходит, ко мне приходит Юрчик, татусь дорогой, папуся

любимый, ластится ко мне, руки мои недостойны обнять первенца, но обнимают, сыночек мой, обнимают, и вот тут я вскакиваю и знаю уже, что мне нужно делать, я вдруг симулирую мужскую лихость, мужской напор, четкость, решение, решимость, давай, Геля, завтрак, пакет не должен ждать, пакет ждать не может, так что я быстро закидываю в себя все, что там есть для еды, есть мало, какой-то хлеб, я сам принес этот хлеб, помню, что принес, ем, пью кофе, кофе пока есть, у Анели нет здесь, а у нас есть, купил про запас, добрый запас, потому что я умный, а прочие люди дураки, глупцы, а я знал, я предвидел и купил, они же, дураки, верили, что дойдут до Берлина, коней водой из Шпрее напоят, так с чего бы в Варшаве не хватило кофе, угля, и я знал, знал, что они дураки, все дураки, а я знал.

Так что сейчас я пью этот кофе, настоящий кофе, одеваюсь, как следует одеваюсь и тепло, пойду к Лубеньской, занесу посылку, а там, безусловно, конспираторы за столиком, при свечах, потому как у нее может даже не быть электричества, на площади Спасителя могли еще не восстановить, не знаю, восстановили или еще нет, так что пойду, а там за столиком конспираторы, военная статья, но одежда гражданская, не подогнанная, как будто особый в том шик, в пиджаках слишком тесных и брюках слишком широких, итак, свечи на столе, они при свечах как виленские якобинцы, как юнкеры, как Тройницкий союз, как офицерский кружок Сераковского в Петербурге, как боевики Коменданта, при свечах, при свечах, револьверы в карманах, и сговариваются, и замышляют, а я приношу им посылку. Так что я пойду, а сейчас я пью этот кофе, Геля глядит на меня, хорошо на меня глядит, участливо на меня глядит, сердечно, видит во мне неменя, оттого хорошо глядит. А я уже постановил, поступлю как нея и пойду, занесу посылку Лубеньской на Спасителя. Но сейчас я пью кофе и смеюсь Юрчику, который уминает свой ломоть с маслом.

Наконец ухожу. По лестнице, вниз, по Пулавскую и дальше на Маршалковскую обесчещенную, разбитыми тротуарами, в город не мой. Нету моей машины. Магазин-кафе Веделя закрыт. Ненавижу тех, кто причинил это моему городу. Я захватил кастет, сегодня я больше не солдат, но я этого города, родины моей приемной, и, как варшавский апаш, я ношу кастет, буду этим кастетом защищать свой город. Еще я захватил карманный нож, малютку с перламутровой рукоятью, но это уже не оружие.

Моя ненависть угасает, медленно угасает, так как пробуждается жажда. Думаю о ноже больше, чем о кастете. Да хоть бы пару моих славных бутылочек, хоть бы одну. Но Яцек не даст, уж точно не сегодня, день за днем, вчера был одиннадцатое октября, сегодня двенадцатое, сегодня я обязан зарегистрироваться, вчера дал, сегодня не даст, не может дать, в конце концов, он мой друг, это очень много быть чьим-то другом, а быть моим другом труднее, чем другом кого-либо другого, нормального. Так что идти к Яцеку нечего, разве спросить что-нибудь об Иге, о какой-нибудь детали, что могла бы помочь в поисках, которых я вообще еще не предпринимал.

Почему я не ишу Игу? Он не ищет, ибо не может, ибо долг, ибо он врач теперь, спустя две недели по окончании войны, в самом деле не может искать свою жену, ибо у него на руках умирают люди. Не может, нельзя, в самом деле нельзя. Я мог бы. Я обязан. В конце концов, Яцек мой друг, самый близкий, самый лучший, самый искренний.

И то, что между нами было, между мной и Игой. Давно, десять лет тому, но было, и немало это было, я был ее первым любовником и она была моей первой любовницей, хотя не первой женщиной, до нее была проститутка, но те не считались, поскольку в актах с ними не было элемента покорения, легли передо мной, потому как я заплатил им по десять злотых, а Ига покорила мне, потому что я, потому что я был мужчиной, подтверждая мою мужественность в той покорности. Думаю, что он и по сей день не простил мне того, что взял ее после меня, что я в его Иге наследил, напачкал. А ведь я не велел ему брать ее, я ее ему не сватал, уже не моей была, когда ее брал, сам взял, сам хотел, а обида как-то вот в нем расцвела, словно моя вина была в том, что он влюбился в Игу.

Значит, теперь пойду, сегодня буду искать Игу, теперь наверняка, сегодня должен найти Игу. Ради того следа, что я в ней оставил, ведь мужчина оставляет след в каждой женщине, с которой он был. Не физический след, но в ее ауре, в ее эктоплазме, возможно, в ее ином теле, в теле духовном, как говорил Стах моей матери. Даже если они друг друга возненавидят впоследствии, станут равнодушны, чужды друг другу, даже тогда не стереть этого следа, даже если оба сочтут отношения ошибкой, след есть, след остается, остаются нематериальные узы между бывшими, старыми любовниками. По этим узам я буду искать Игу, узам бывших любовников.

Но прежде с посылкой к Лубеньской. На площадь Спасителя, угол 6 Августа, к заговорщикам, к столу со свечами, к укрытым в карманах револьверам. Вперед.

Вперед. С пакетом. С портфелем.

Вперед. Взвод по двое рысью марш. Развернуть строй. Пики на бедро, сабли к бою. Взвод — марш-марш! Марш-марш! И идут молодцы в развернутом строю в атаку, идут, идут. Шли.

И я шел. Иду. В портфеле — пакет, который я должен отнести пани Лубеньской, в квартиру на площади Спасителя. Что в пакете? Для оружия слишком мало весит. Так что в пакете?

Не любопытствовать. Не мое дело, не любопытствовать, отнести. Не спрашивать, не проявлять интерес, не прояснять, не докапываться, выполнять. Выполнить.

Но прежде — к Лурсу. Однако же прежде. Так? Так. Мог бы, правда, пройти через площадь Спасителя и оставить посылку, но как-то хочется мне крюка дать. Итак, сначала к Лурсу, прежде к Лурсу. Чтобы забыть. Может, водки дадут.

Итак, напрямиком на площадь Пилсудского, мимо, мимо, еще не на Добрую, еще не направо, сначала к Лурсу, подталкивает меня тот, кто за мной идет, итак, идем, идем, день холодный, день дождливый,

день холодный, едут чемоданы и узлы на двуколках, в детских колясках едут, лавируют между ямами, среди развалин, между грудями щебня лавируют, едут телеги, курс десять злотых, всего десять злотых, купи, пан, купите, купите, купи, пан, купишь, пан? Я не куплю, я иду, пошатываясь, но тот, кто за мной идет, поддерживает меня за плечи, не дает упасть, хранит меня и водит долиной смерти.

Иду далеко, долго иду, полчаса, ноги сегодня свинцовые, но в итоге я здесь, стою перед Европейским и вхожу.

Вхожу к Лурсу. По соседству, в когдатошнем здании Генштаба, я должен сегодня зарегистрироваться, так требует с плакатов комендант Варшавы генерал-лейтенант фон Кохенгаузен, моя фамилия Виллеман, так что если я сегодня не регистрируюсь, то могу нарваться на арест. Так что нарываюсь.

Вошел к Лурсу, а там все по-прежнему, чему бы меняться.

С полудня до четырех алкоголь не подают, каждое заведение, которое имеет кухню, обязано неукоснительно приготовить для своей клиентуры хорошее и питательное блюдо, уготовляемое в одной посуде. Блюдо сие не может быть обычным супом, но должно неукоснительно содержать разом уготовленную пищу густую и сытную (картофель, макароны, крупы, овощи и мясо). Всякая попытка уготовления блюда сего в виде жидкого супа карается как персональным штрафом, так и полным закрытием предприятия питания. Цена блюда в заведении первой категории: один злотый и пятьдесят грошей.

Так написано на стене, в извещении написано, и у Лурса, пахнущего обыкновенно кардамоном, корицей, кофе, шоколадом и глазурью и дымом от хороших сигарет, у Лурса, где женщины пахли духами, а мужчины были мужчинами первого сорта, сегодня смердит, как в рабочей закусочной, питательным блюдом, уготовляемым в одной посуде по злотый пятьдесят порция.

И мужчины первого сорта унижены, мундиры, эполеты и орден с них сняты, фраки и жакеты содраны, и брюки в полоску, затейливо сложенные носовые платки и гвоздики в бутоньерках содраны, шелковые галстуки сняты или, вернее, они их сами сняли, в знак своего поражения, сами понизили себя до категории низшей, не знаю, с каким порядковым номером, в первой категории расположились сейчас офицеры Вермахта, проходящие порой по улицам со странной гримасой, вроде бы торжествуя, но не ведая пока, что с этим триумфом сделать, а тут пятая или пятидесятая категория, без галстуков, без воротников, пейзаже а-ля Витос, сапоги, гримасы унижения, поражения, склоненные шеи.

А у меня галстук. У меня шелковый платочек в кармане пиджака из первосортного английского твида. У меня клетчатые носки и полуботинки, навакшены, блестят. Потому что меня никто не побеждал, я не сдавался, я не слышал приказа о капитуляции.

Ига. Об Иге я должен спросить, должен искать ее для Яцека, Яцек искал бы Гелю для меня, не спал бы и не ел.

Вдруг вижу: бац! Среди офицеров за столиком сидит Ярослав, Ярослав, с которым я имею честь быть на ты, и Ярослав этот печален, он напуган. Что с тобой случилось, Ярослав, за эти печальные дни, сидел ли ты в Стависко? Что случилось с твоей красивой головой, высоким лбом, с твоими элегантными нарядами? Чем занимался, прекрасный Ярослав, как твои дети?

Ярослав замечает меня, широко улыбается, сияет, отрывает свое большое тело от столика, манит меня своими красивыми руками, приглашает к столу. Присаживаюсь. Приветствую. Ярослав сидит, с ним еще двое, похожи на офицеров, сегодня многие похожи на офицеров, жертв насилия. Он жалит их взглядом, как хлыстом, те бормочут что-то себе под нос, какие-то оправдания, минутку, мол, сейчас мы, мол, встают из-за стола, а большая благородная голова Ярослава уже поворачивается в мою сторону, его большой и высокий лоб целит в меня как зеркало зенитного прожектора.

— Кофе в кувшине, гнусная бурда, жидкий, — говорит Ивашкевич. — Но угощайся. Изголодался?

— По новостям, — отвечаю.

Наливает мне кофе, фляжка из-под полы, хлоп в кофе символично коричневого оттенка алкоголь, понимающе подмигивает мне, но не лихо, только с такой кажущейся лихостью, утонченно кажущейся, а я кофе залпом и повторяю:

— Как, стало быть, дела, Ярослав?

Молчит некоторое время, улыбается как бы самому себе, большая грудь в этой одной улыбке вздымается и сразу опадает.

— Седьмого уехали из Стависко, потом одиссеи толика, за детьми... Вернулись неделю назад, — наконец выдавливает из себя. — Немцы на дворе, но верх для нас.

— А на что в Варшаву приехал? — спрашиваю.

— Поезда уже ходят до Щесливице. Далее на телеге. Ох, как же я не узнаю этого города, — отвечает он, но не на заданный мной вопрос.

— Так никто не узнаёт... — говорю я, он не слушает, нецеремонно перебивает меня, будто не слышит.

— Зашел давеча к Шимону и Стецкому, думал, там тебя встречу. А там одни немцы и Людвик Шимон за столиком, сидит и ест обед как ни в чем не бывало, о Выспяньском скорее всего думает. Вокруг немцы, а он себе обед, словно бы он не был тем, кем есть.

Я позволил ему говорить, я люблю, любил его голос. Точнее сказать, он не позволял себя перебить.

— Последний раз я был там пятого сентября. Тогда было пусто. Еще раньше, тридцать первого августа, тогда было нормально. Тебя уже не было, тебя мобилизовали уже. А сегодня — немцы и Людвик Шимон сидит, кушает свой грустный айнтопф и думает о Выспяньском.

Он замолчал, задумался, но все смотрел на меня глазами большой грустной рыбы.

— А как ты войну перенес? — спросил он, не отводя с меня взгляда, будто на миг смущенный тем, что все время говорил о себе.

— Обыкновенно, с полком... — я махнул рукой.

— С девятым уланским?..

— Да.

— На Бзуре? — спросил он, его глаза приклеились к моему лицу.

— Паженчев, затем Кампиноская пуца, мы там несколько танков фрицам спалили, а затем Варшава и до конца Варшава, от форта Домбровского и Лазенок, до самой капитуляции. В плен не сдавался.

— Мы проезжали через поле боя на Бзуре, — говорит Ярослав, на меня не глядя. — Груды седел в несколько метров высотой, целые снопы винтовок, штыки хрустели под копытом, под колесом.

И мы молчим оба, как будто внезапно материализовалось между нами наше общее поражение, как будто обрело вещность и расплелось на нашем столике, заполнило нас собой, смутило.

— Ига пропала, Ига, жена Яцека Ростаньского, Ига Ростаньская, — говорю минуту спустя.

— Яцек Ростаньский... это тот приятный, красивый доктор из Уяздовского, которого ты порой приводил в Земянскую?

— Тот самый. Ига исчезла как раз перед капитуляцией.

А если бы это была Геля? Тогда что? Я бился с немцами в форте Домбровского, еще на Парковой и Гурской у самых Лазенок, Яцек штопал дырявых хлопцев в Уяздовском госпитале, в километре оттуда Геля пряталась в подвале нашего дома. Юрчик был у тестя с тещей в деревне, Геля осталась, рыла противотанковые рвы, эти царапины в сухой грязи. Исчезни она по пути на какие-нибудь общественные работы, что бы я сейчас делал?

Яцек две недели делал лишь то, в чем нуждались раненые, а я, что бы я делал?

— Задумался, Костюшик, — говорит Ярослав.

— Да. Прошу прощения. Должен искать ее, но не знаю как. И молчим опять.

— Я переживал, не знал, перенес ли ты войну, не видались почти два месяца, — говорит Ярослав.

Такое признание, а я пожимаю плечами, но не в небрежении, а так, признательно, что он переживал, а пожимание плечами в том смысле, что переживать было не о чем совсем.

— А по поводу Ростаньской. Раз не объявилась в две недели, то я бы не рассчитывал. Но, разумеется, не стоит терять надежду.

— Но ты закинешь удочку, Ярослав? Мол, ищем? Игу Ростаньскую. Мол, муж ждет.

Смотрит на меня своими рыбьими глазами, понял или нет, но я уже знаю: мне надо уйти прежде, чем он ответит, ответом мог бы все разрушить, так что я всячески кричу ему спасибо, большое спасибо, как же я благодарен! Спешно прощаюсь и бегом от Лурса, Игу не профукал, помнил об Иге, связанной со мной двойными узами

Иге, жене друга моего Иге и бывшей моей любовнице Иге. Закинул удочку то есть. А как еще мне ее искать?

Камни в руинах отваливать?..

Теперь: к Лубеньской с посылкой, долг исполнить.

А что на сердце, на сердце моемъ — моемъ, поскольку сердце у меня дореформенное еще, мое сердце всегда мое, никак не моё — итак, что на сердце моемъ? Звучит ли в сердце моемъ труба маршей и атак, поет ли мн рог долга?

Никакая труба не звучит в сердце моемъ. В сердце моемъ одна мечта, одна жажда. В сердце, но прежде всего в животе, настойчивом в позывах рвоты. И в крестце, готовом лопнуть. Во лбу, с обоих висков стиснутом, будто столярной струбциной.

Так зачем мне лгать себе, зачем идти мне с этой чертовой посылкой в квартиру пани Лубеньской на улицу 6 Августа, угол площади Спасителя, зачем, если мог бы сначала пойти на Повисле, на улицу Добрую, на добрую улицу, на угол Радной, это намного ближе, и там есть гадкая старая каменица, где живет Саля, она сегодня будет любить меня сильнее, потому как вчера я дал ей в морду, так что сегодня я буду для нее настоящим мужчиной, в отличие от Гели, которую я никогда не бил, попробуй я только, она покинула бы немедленно дом, а старый пан Пешковский пристрелил бы меня в тот же день. Хотя сейчас его пистолет у немцев, так что, наверное, забил бы меня тростью.

Хорошо, могу пойти на площадь Спасителя, но могу также сначала пойти на улицу Добрую на Повисле, туда ближе, и там меня Саломея ждет не дождется. И если скажу ей: “Иди!” — она пойдет, дам денег, она пойдет паскудными дворами и возвратится с бутылочками либо с порошком. А деньги-то у меня с собой, целые триста злотых, сколько счастья можно купить за такие деньги! С посылкой схожу позже.

Стало быть, теперь — на Добрую, на Добрую!

Идет, стало быть: такой жалкий. Идет в надежде, что случится нечто, что смогло бы сделать его другим, нечто, что изменило бы его жизнь, нечто, что-то, нечто, что угодно. А ведь ничего не случится. За ним иду, стало быть.

Тот, кто идет за мной, близок, близок.

Иду, идем, идет. Близко, близко. Откос Вислы, виадук-улитка.

И вот, вот добрая улица, паршивые доходные дома, паршивая компания.

И вот лестница, взбирается по ней, и вот дверь, покрытая отслаивающейся краской. Стучит. Чим. Стучим. Не звонит. Нет. Звоню. Не звоню.

Дверь дрогнула, цепочка, за ней большие глаза на вульгарном лице Саломеи и ее медные кудри. На плечах шелковый халатик, она под ним голая, блестящая ткань скользит по груди, рыжие волосы в промежности. Вижу сразу, что она пьяна, потому что лицо как бы нечеткое, мышцы одрябли и черты размылись, и глаза блестят. Я люблю, когда она пьяная. Даже через дверь чую запах алкоголя. Но

и запах мужчины. Мерит меня взглядом, словно бы не узнает, смотрит на меня, смотрит на меня, наконец бормочет, ноги у нее разъезжаются, плывет взгляд:

— Костек, пашол вон...

— Впусти, курва этакая, — рычу я и толкаю дверь. Цепочка, помню, держится на одном гвоздике, должна впустить.

И выпускает.

— Костя, шел бы ты отсюда, — лепечет Саля, пытаюсь меня остановить, я отстраняю ее и вхожу. В крохотной кухне пусто и пустые бутылки, ставлю портфель на стол, дальше в комнату, там двое мужчин, бутылка водки, много дыма от хороших сигарет.

Смотрят на меня. Я смотрю на них. Правая рука в кармане брюк, потные пальцы вскальзывают в латунные кольца кастета как червь.

Оба в нижних рубашках. Один худой, на спинке стула висит куртка фельдграу, офицерская. При виде меня он тотчас вскакивает из-за стола, правой накидывает куртку, левой допивает рюмку водки, собирает свое барахло — шапку, пояс, кобуру — спешно, но без страха, без испуга, он просто не хочет оставаться здесь ни секундой дольше, хотя меня не боится абсолютно. Выходит, ни слова не говоря. Мимо меня, близко, близко.

Глаза водянистые, как у Ярослава, бледны, велики, теплы, влажны. Облизывает меня этими глазами, липко, и я вижу в них, что мог бы убить меня между двумя глотками кофе. Я тоже могу его убить, но только издали, из винтовки, из пулемета, сбросить бомбу с бомбардировщика, даже саблей рубануть в атаке или пробить копьем. Но он мог бы убить меня вблизи, обливая меня своим мокрым взором.

Мы могли сплестись в захвате, а он вонзил бы зубы мне в гортань, перегрыз бы трахею, артерию, горло, хватил бы большой глоток крови, а потом, разжав окровавленные зубы, открыл бы их миру.

Правая рука у меня в просторном кармане, как в кобуре, окованная сталью правая, бронированный кулак, в уличном боксе набитый кулак апаша.

Мимо прошел. Ни слова. Я не оборачиваюсь ему вслед, шаги, закрывает дверь, и Саломее ни словечка.

Смотрю на второго, он тоже на меня смотрит. Толстый. Глазки мелкие за круглыми грязными стеклами, рожа мясистая, в щетине, над проволокой оправы брови как у нашего Маршала, под ними эти сверла глаз, сверлят.

И точка, ну о чем еще думать, коли я вижу, что он нож нашаривает?

Итак, бронированная песть рвется из своего укрытия, я прыгаю на него и молнией единой своей окованной руки валю его наземь, громлю за то, что осквернил мою Саломею или же продал ее швабу, вопросов не задаю. И не задам, может, попозже, задам, когда Саломея приведет его в чувство. Умею в харю врубить, не то, что весь этот столик в Земянской. Верно, оттого меня ценят, что говорю с ними наравне о Прусте или Ницше, а при том однажды в ужасе наблюдали,

как не побоялся вломить жиганам, желавшим некого нищего поэта лишиться последней одежды, единственного его имущества. В пьяном виде я бывал благороден, решил, что не могу этого допустить, не испугался ножа и сбил жигана на мостовую. Понравилось им, что я как бы двумя ногами в двух мирах, хоть это неправда.

Так что я не боялся. Драться я не боюсь. Чуть страшнее, чем в бою, на кулаках и ножах страшнее, чем с пулеметами и пушками, но не настолько, чтобы я не прыгнул на толстяка с бронированным кулаком, с пестью-молнией.

А голова толстого уклоняется от моей молнии, и я вдруг оказываюсь на лапе у толстяка, который поднимает меня к низкому своду, как я поднимаю Юрчика для игры, и я лечу, медленно лечу к доскам пола, и доски стонут, принимая мое тело, и я бы стонал, если бы мог вздохнуть, но дышать нечем, а толстый не дает прийти вдоху надежды, и падает мне на грудь коленями, правая рука моя мертвым зверьком, запутанным в силке кастета, правая рука моя бела и мягка, как головоногий моллюск, правая рука моя бессильна.

Толстяк вздымает огромный кулак, слышу, как от него смердит сивухой, и кулак падает мне на скулу. Слышу треск костей. Кулак толстяка воздет во второй раз и во второй раз упал и конец, конец, темень.

Где я, где я лежу, на каком свете? Открываю глаза.

Толстяк стоит в центре комнаты, Саломея обняла его за шею и что-то шепчет ему на ухо. Толстый взглядывает на меня, в это время Саля целует его в седую щетинистую щеку.

Итак, толстяк стоит, Саломея целует его в седую щетинистую щеку, я тоже стою, а он лежит на полу и приходит в себя. Саломея целует толстого, толстый отпихивает ее, грубо, резко, так же, как отпихнул ее он, хотя толстяк не бьет ее по лицу, итак, отпихивает ее, отворачивается, идет на кухню и сразу из этой кухни назад с мощным тесаком в руке.

А он лежит на полу как дохлая рыба, ему хочется встать, он опирается на локтях, его мягкий кулак опутан кастетом, толстяк подходит, будет убивать.

— Та и красивого пана кончу за такий абрух, — бормочет он с кресовым акцентом и гадко улыбается, скалит щербатую челюсть.

А он внизу довольно протрезвел, чтобы начать смеяться. И смеется: ведь жутко, ужасно так смешно, что он не дал немцам убить себя, весь сентябрь провел максимально осторожно, чтобы не схватить пулю, шрапнель или страшное звание “труса”. А тут он приходит к девке, и его убивает какой-то толстый альфонс либо ее хахаль, либо обычный рахубник, или, вернее, батяр, убивает кухонным ножом. Не справились танки, лаптежники, не справились господа Маузер, Мессершмит и Вальтер, а справился пан Золинген.

Смеется, значит, смеется, не дышит, но смеется.

И плачет, о Юрчике думает. Думает и о Геле, но уже без грусти: пусть убедится, как много потеряла, как мало его ценила. Впрочем,

с грустью, ведь, надо признать, многого Геля, несмотря ни на что, не теряет. Теряет половину мужа и половину мужчины. Сколько их топчет землю? Полумужчин, полу-, скорее, типа-творцов, полуотцов, полумужей, всего по пол, хватит, чтобы посулить, хватит, чтобы вызвать доверие, не хватит, чтобы сдержать обещания. Значит, полумужчина, ведь стало его на то, чтобы полюбила, чтобы наполнила им то место для мужчины, что в каждой женщине есть: в ее теле, в ее сердце, в голове, в душе, но не на то, чтобы не оставалось там места для тоски по чему-то — по чему, кстати? По чему-то большому, кому-то большему, кто больше, кто гораздо, кто гораздо.

Значит, полухудожник, ведь что такое: эскизы и графика в той мере хороши, чтобы не быть пачкуном, и достаточно плохи, чтобы никогда не стать подлинным художником, одновременно хороши и плохи, чтобы сойтись с подлинными художниками, но что это за дружба, разве может кто-либо вообще дружить с ними? Никакой дружбы.

Значит, полуотец, да, конечно, зачал Юрчика, но в какой мере его обеспечивал? Обеспечивал, но сам ли? Когда бы не мать, в какой квартире пришлось бы жить Юрчику, в каких одеждах ходить, что Геля могла бы класть ему на тарелку? Что за достаток ему от моей графики? Хочу забыть о своей графике и эскизах, ведь мир не сможет о них забыть, ведь мир не имел возможности их узнать.

Значит, полумуж, ведь так, временами давал Гелене опору, скорее в здравии, нежели в болезни, болезни отвращают меня, так что чаще не давал, с такой силой меня порывалась пожрать собственная моя меланхолия. Когда Геля была беременна Юрчиком, а я уехал на полгода в Вену учиться, хотя ничему не учился, только в хойригерах пил вино в веселой компании, посиживал в галереях, а осенью ел каштаны, запивая молодым вином, штурмом, прямо на улице запивал, с пением, и с танцами, и женщинами, а Геля с большим пузом еще в старой квартире одна, четыре стены и папаша эндек, все серьезные, правильные. Патриотичны и евгеничны.

Так лежит он, наполовину человек, наполовину быдло, и смеется навстречу своей гибели, он смеется пану Золингену, он улыбается пану тесаку. Komm, герр тесак!

Толстый кресовяк теряет уверенность. Не привык, чтобы смеялись.

Саломея же виснет на правой руке толстяка, он помешкал, она успела-таки и висит на его толстом предплечье, не дает ему замахнуться тесаком, висит и воет, словно желая оборонить нечто ценное, а не только полумужчину, что лежит на досках, смеется и плачет.

Зачем воет Саломея? О воях Саломеи он мыслит теперь, сквозь слезы и сквозь смех, воя Саломеи не разумея, его ли она желает оборонить, да кто он ей, зачем не хочет дать толстяку развалить тесаком лоб, так прекрасна была бы эта смерть, на войне невредим, Крестом Храбрых украшен, храбро хочет и дальше с немцами, пан полковник, не в плен же идти, а теперь лежит на досках, и толстяк разобьет ему лоб тесаком, которым Саломея рубила говья-

дину с костью, чтобы сварить большой котел бульона в надежде выдержать несколько дней морфийного полета, а может, варила такой большой котел бульона с целью накормить целый легион залетных хахалей из сферы искусства, а сейчас этот тесак родом из прекрасного города Золингена разобьет ему лоб, не немецкая пуля, не бомба, не шрапнель немецкая, но немецкий тесак в руках толстого батяра.

Итак, он лежит на полу и смеется, смеется как безумный и как безумный плачет.

Толстяк стряхивает с себя воющую Саломею, толстой ладонью бьет ее в лицо, но не так, как пощечиной женщину ласково приводят в порядок, а со всей силой, так что голова Саломеи описывает круг, будто жук, и тянет за собой все тело, а он лежит на полу, смеется и плачет, и спрашивает себя, сломал ли этот удар ей шею, упадет ли Саломея наземь уже бездыханной? А она падает, если с дыханием, то определенно без сознания, кувыркается в пируэте и лежит, выгнувшись дугой.

Сам толстяк трактует ситуацию как в высшей степени неуместную: он не любит психов, не возится с психами, психи вызывают отвращение у толстого батяра. Толстяк не убьет Костека, толстяк сплевывает на Костека густой слюной, вот приговор и наказание тебе, нетебе, полулюдь, нелюдь, психованный. Швыряет тесак на землю.

Отворачивается, цапает свою одежду, висевшую на стуле, недопитую бутылку водки цапает и уходит, хлопает дверью, уходит, уходит, сквернословя.

А он лежит, лежу, я лежу, рядом с ним Саломея, дугой, Саломея жива ли? Гляжу на нее с любовью, каковой он к ней не питает, а я люблю женщин, с какими он встречается.

Почему он меня не убил? Теперь придется идти с посылкой на площадь Спасителя. Потому он лежит и плачет. Предпочел бы не жить.

Потому я становлюсь возле него на колени и обнимаю его, чтобы он почувствовал мою любовь, я вся одна любовь. А он плачет.

Плачу. Касаюсь собственного лица, а тот, что следует за мной, тот, что при мне, становится на колени надо мной, голубит меня, блюдет и бдит надо мной, отчего не хотел удержать меня, когда я шел сюда, мог же вернуть меня еще с лестницы, мог указать путь к площади Спасителя, мог наставить меня в тот путь, чтобы познал добро и зло. Тот или та?

Никто.

Встаю, поднимаюсь. Миг размышления: Саломея или лицо? Выбираю зеркало. Я.

Я-нея. В зеркале. Щека набрякла, кровь приливает, опухает веко на правом глазу, касаюсь носа, цел, не сломан. Ощупываю пористые, раздавленные ткани, я это или не я, да я ли эта набухшая щека, это веко, медленно затекающее кровью?

Саломея выгнулась дугой. Лежит на полу. Я уже подле нее, это я подле нее?

Итак, он подступает к ней, склоняется над ней. Халат разлетелся в стороны, лежит нагая, тяжкие груди приподняты, ноги врозь, рыжие волосы меж ног, под мышками, запах водки, мужчины, соития. Жива. В сознании. Избита, измочалена, но дышит и в сознании.

— Сая.

— Костя, я тебе велела: пашол вон, говорила! — шепчет.

— Кто это был?

— Не твое дело, — отвечает мне дерзко.

Она встает, заворачивается в халат, внезапно трезвеет, внезапно стесняется своей наготы, она никогда не стеснялась нагости, не была натуралисткой, осознавала силу наготы, оттого не расточала свое обнаженное тело по пустякам, но никогда ничего не стыдилась. Она ждала там, на полу, ждала, когда подойду, ну я и подошел, но если это был экзамен, я его не сдал. А может как раз сдал, не подходя?

— Чего ты от меня хочешь, Костя?

— У меня деньги. Иди купи морфия в городе.

— Где же? — удивляется.

— Ты-то знаешь где. Я здесь подожду.

Она молчит, ощупывает шею, ребра, сквозь шелк халата чешет промежность.

— Пойдешь? — спрашиваю.

Она глядит на меня, и взгляд ее меняется, завершение ее взгляда выглядит иначе, нежели начало взгляда, взгляд рождается из утомления, дурмана, вражды, боли, завершается взгляд вожделением, губы приоткрываются, ясное дело — губы также относятся к взгляду, взглядом я смотрю на то, как она смотрит, взгляд не сводится к одним глазам, взгляд есть место встречи ее и моего созерцаний, взгляд является перекрестком видений, и в моем видении находится именно ее рот, и по ее губам, приоткрывшимся, читается вожделение, тех мужчин, немца и толстого, уже нет, а я есть.

— Пойдешь? — спрашиваю.

— Пойду. Но прежде ты пойдешь со мной, Костя.

Хватает его за отвороты пиджака, толкает его перед собой, халат распаивается, она голая, он одет, толкает его на кровать, он поддается, ведомый, идет спиной к постели, она расстегивает ширинку, совокupление, разложение, омерзение, одичание, а я стою подле него, гляжу, как она об него трется, как в него втирает всю свою блядскую женскую суть, гляжу, как спаривается с ним, как подмывается после над тазом, как обтирается без стыда.

В результате я ощущаю на себе ее запах и запах мужчины, совокupлившегося с Саломеей прямо передо мной. Не знаю, кто это был, немец или толстый батяр, я думаю, немец, Саломея брезговала тучными мужчинами.

— С которым из них спала? — спрашиваю.

— Как это: с которым? — удивилась она, натягивая толстые чулки.

— С которым, с толстяком или с немцем?

Она рассмеялась.

— Почему они здесь были, кто это вообще был, а, Саля? — попробовал копнуть я.

Но Саломея не отвечала, она смеялась, продолжая одеваться. Потом она ушла. А я остался, остался со всей своей напрасной жизнью.

Остался я с тем, как отправлялся в Грудзёндз, хотя я ненавижу лошадей и армию в целом ненавижу, мундиры, петлицы, галуны, полированные пуговицы, зеркальные сапоги, буланых коней, вороненные сабли, оксидированные стволы, поганые рожи, головоломную ругань. А ведь мог же не пойти, многие не шли, отвертеться, отсрочить было не так уж и трудно, человека даже переводили потом в запас как резервного вольноопределяющегося и всего лишь пару дней в году рыл он траншеи в обществе жидовских апашей и прочей сволочи.

Из Грудзёндза я вышел прапорщиком, на учениях в Теребовле, по дополнительном курсе для резервистов, я стал подпоручиком, поскольку это важно, быть офицером, само собой, поэтому я стал офицером, хотя сам ненавижу приказывать и подчиняться приказам тоже ненавижу.

Все ради их очей, ради образа, отраженного в этих очах. Чтобы показать, что я достоин. Для очей моей матери, чтобы в ее тусклых, светлых глазах я превозмог образ своего отца, юноши в кавалерийских сапогах, что, побледнев, едет на войну с французами, как будто ехал сразиться с Наполеоном, палаш, доспехи, седло и стальные грозы в окопах. И сейчас у Саломеи, с портфелем для Лубеньской, тоже для матери.

Он пытается вспомнить, лежит на измятом лежбище, лежит, Саломея отлучилась, то есть она ни покорна и ни властна, нету ее, а он пытается воссоздать последний миг, в котором все еще было. Ведь теперь-то что есть? Теперь ничего нет.

И видит, видит себя самого в зеркале. Свое лицо видит в зеркале, тонкую шею и тонкие плечи. Помазок в дрожащей ладони. В другой дрожащей ладони чашечка с пеной.

Помазок фирмы Omega. Итальянский. Барсучья шерсть с серебристыми кончиками, мягкая, красивая, отлично выписывает петли, скребя пеньки щетины, мягкий крем для бритья, с пышной пеной, которую Константин энергично взбивает кистью в чашке. Ручка у помазка эбенового дерева, аристократичная. Двенадцать злотых.

А потом петли барсучьей кисти на щетинистой щеке Костека, окна в ванной нет, биде возле умывальника, по-за биде ванна во всю ширину, роскошь, люди дорогие, думает Константин в электрическом свете, а шерсть хищника танцует у него на коже, нанося пену марки Truefitt & Hill. На основе глицерина. Прекрасная, крепкая пена, от радости вне себя Константин, что заменил мыло для бритья от “Омеги” кремом Truefitt. Пена намного лучше. На основе глицерина. Пена густая и крепкая. Аромат лаванды.

Это утро. Летнее утро. Год 1937. Август. Под кожу Константину из шерсти барсука просачивается барсучья сила, барсучья хищность. Год 1937, август. В Испании франкисты бьют республиканцев под

Мадридом, сообщают газеты. В Союзе Сталин затевает чистки, так мило они это называют, чистки. Чистюли. Коммунисты коммунистов, сообщает радио.

Радио Elektrum Glogia, подарок от тестя. Семьсот злотых. Экономический кризис. Тестя он не коснулся. Его ничего не касается.

Радио сообщает, что крестьяне бастуют. В Касинке Малой в Лимановском повяте девять убитых. Миколайчик пишет: в данный момент все крестьяне в Польше — за исключением Померании, Виленщины, Волини, Восточной Малопольши и Верхней Силезии — обязаны ничего ни покупать, ни продавать. Не ездить в города, выполнять лишь необходимые работы в своих хозяйствах. Мы призываем вас, крестьяне, следовать нашему призыву. Будьте солидарны. Оповещайте других — дайте урок штрейкбрехерам. Просите о содействии и помощи у других слоев общества, особенно у рабочих.

А в Москве революционные тройки. Ежовщина, сообщают газеты. Сегодня эта, завтра та, поет Бодо в новой комедии “Этажом выше”. Хищность просачивается под кожу Костеку, станок марки Меркюр соскребает светлую щетину.

Сексапил то женское оружие. Слабый пол. Волшебное еѐ, волшебное. Та кичится жемчугами. Только ямки на щеках, напевает Костек. Sex appeal. Адападибидибамба.

Костеку все трын-трава. Костеку двадцать восемь, Костек бреется перед зеркалом, в спальне Геля забавляет малыша Юрчика, Юрчик говорит “абла-бла-бла”, а Костек бреется, поет с паном Бодо, вбивает в щеки лосьон после бритья, застегивает рубашку, повязывает галстук, надевает кремовый костюм, льняной, из польского льна, реклама в газете: плод рук человеческих и польской усадьбы, покупай плоды польской усадьбы, будто господ из усадьбы лично лен ткали. Бело-черные брюки-гольф, еще не разношены. Целует Гелю, он ее искренне любит и ей, пожалуй, верен, Геля говорит, они с малышом на солнышко, на террасу на крыше, ну, ступайте, милые, ступайте, целует сынка, его же попечением, перед зеркалом надевает шляпу, лихо к правому уху набекрень. Сексапил то женское оружие.

Как же он счастлив, спокоен, собран. Он пока что не видел свою жену, омываемую взорами Торака в Париже, в Париж они собиравались лишь через несколько дней. Все пока хорошо.

Так что, посвистывая, он выходит из квартиры, лифтом на первый этаж, ах, как современно, ах, как в духе Корбюзье, дом на столбах, словно парящий в воздухе, солнце августа и где он, кризис, Франко, Ежов, Витос, бастующие крестьяне и полицейские шапки с ремешками под подбородком, полицейские сабли, ружья и кони, где оно все, когда глаза от солнца скрыты светлыми полями шляпы. Заходит в магазин на углу их дома, в фирменный магазин, магазин-кафе E. Wedel, на кофе, шляпу свечой на вешалку, она крутится на вешалке, респект панне, панна Ядя румянится, ведь хорош пан Константин, что ни день садится он за столик и встряхивает простыню “Курьера”, кофе и пончик на завтрак, нога на ногу, ножка на ножке,

новая черно-белая туфля качается под льющуюся из радио утреннюю мелодию, клетчатый носок, жизнь, люди добрые, жизнь ключом, полной грудью, с полным животом, со здоровым телом, чистой рукой, зорким оком, острым умом, светлой головой. Панна Яда даст еще кофейку, на здоровье, уже варится, пан Костек.

Тысяча забот у него: и стыдно малость, что это деньги матери, но мать говорит ему: Константин, это не мои деньги, это твои деньги. И забота: никто его рисунков не ценит. Или купить не хотят. И конкурс Журавского на художественную программу для магазинов Веделя проигран, Журавский по плечу хлопал, говоря: “В следующий раз, пан Костюшик, в следующий раз”. И в Земянской, “на горке”, что-то плохо на него смотрят. И Яцек все еще обижен после всей той истории. И в машине в двигателе злое свист. Тысяча хлопот.

А после кофе идет Костек на улицу, переходит на другую сторону Мадалиньского, с террасы, с крыши, из-за решетки, из-за двухметровой буквы Ш в слове ШОКОЛАД наклоняется Геля с Юрчиком на руках, машут папуре, а папуся машет им, Костюшик отпирает дверь своего маленького опелька, получил деньги на опель Olympia в подарок от мамы и взял желтый, погода прекрасна, он скатывает крышу в аккуратный рулон на корме автомобиля, лишь рамы окон остаются, и спокойно едет по Пулавской на олимпиаде с оригинальным кузовом, как же иначе, ведь это цельнокузовная конструкция, скромная машинка, зато своя, заправляется на площади Спасителя, станции Standard Nobel, полный бак, шеф? полный, и дальше, Маршалковская, затем направо Иерусалимские, затем налево Новый Свят и к Шимону, на полноценный завтрак в полноценной компании. Что-то злое свистит в двигателе, солнце греет обивку сидений авто.

И куда все это делось? Что осталось? Берлога Саломеи, липкая постель, зловоние. Автомобиль реквизируют второго сентября, как утверждает Геля, Константин был реквизирован двадцать девятого августа, магазин-кафе все еще работает, но настроение не то. Немцы украли у него город, украли немцы кафе и рестораны, и банкеты, и дансинги, автомобильные поездки за город, всё украли, но того внутреннего покоя он лишился уже раньше, задолго до войны.

В Париже что-то в нем сломалось. После того, как Геля позировала Тораку, они оба вернулись в свою комнату и молчали, а после Константин заперся в ванной и стоял перед зеркалом четверть часа и еще четверть часа, пытаясь прочесть на своем лице ответ на вопрос: что же такое случилось?

Не разумел тогда, что глубоко в душе его что-то такое сломалось. Не знал тогда даже, насколько важна эта перемена, насколько фундаментальна, не ожидал, что вывернет она ему жизнь наизнанку.

Если у него вообще была какая-то жизнь. Раньше, позже. Когда они вернулись в Варшаву, никто ничего не заметил, никто не понял, что случилось, одна мать знала.

Старая, мудрая и сумасбродная мать Константина, на четыре десятка старше своего единственного сына, притом постаревшая до

времени, ведьма с распущенными седыми волосами, узкими струйками спадающими на плечи, на спину, на иссохшие груди, живот и ляжки, силезская колдунья с костлявыми коленями под пледом, злая королева в кресле на колесах; Константин вернулся из Парижа, глядел на свою мать и видел старого индейского вождя: длинные седые волосы, плед на коленях и трубка, короткая трубка, мать курила в ней смесь табака и трав, поставляемую целым сонмом шарлатанов, сосущих ее богатство.

— Варшава не славянский город, — шепчет она, не знаю, мне ли или просто так шепчет. — Послушай только: Варс-Сава. Это не славянские имена. Полагаю, этимология их кельтская или иллирийская, но я ее пока не исследовала. Работаю над этим.

Ее состояние казалось бесконечным; плод усилий двадцати поколений Strachwitz, освоенный пани Виллеман, и плод четы Виллеман, сама мать после развода вернула девичью фамилию, капитал отдан в управление Федербушу, Розмарину и Партнерам, безопасные вложения капитала, золото и недвижимость в Америке, никакого бизнеса, никаких бумажных денег, только вещи, золото, дома на Лонг-Айленде...

Мама, сказал Константин, мама. Катажина Виллеман, по первому мужу Штрахвиц фон Грос-Цаухе унд Каминец дома Виллеман, старый вождь, Белая Орлица, с лицом как из камня, как из песчаника, дождь выдолбил морщины, морщины глубоки и, как и в камне, недвижны. Константин в дорогом костюме у ее ног кажется себе неожиданно маленьким, неожиданно недостойным, ведь это ее милостью эта одежда и та, ее милостью желтенький опелек с крышей из брезента, от ее щедрот, ее сумасбродства, ее договора с евгеничным тестем жил Константин своей, и неплохой, жизнью, жизнью в квартире на четвертом этаже шоколадной каменицы на Мокотуве, в духе Корбюзье и Журавского, в иллюзорном мире, в мире, навороженном деньгами ниоткуда. Но все равно откуда-то.

И сидит, такой недостойный, на табурете у ее ног, глаза индейского вождя глядят на стену, а на стене распятие.

Простое дерево креста мореного дуба, дуба, окаменевшего в речной воде и твердого как камень, черного, на нем Христос из серебра, обычный, но вместо Иисусовой головы голова птичья, орел или ястреб, и не клонится плечу, а торчит вверх, глаза в потолок.

Ее взгляд следует взгляду хищной птицы к потолку, обратно к Костеку, медленно, тщательно ощупывает комнату, из которой она не выходит уже двадцать лет и которую уже двадцать лет не позволяет обновлять, будто в посеревших стенах, в клубках пыли и паутине скрыта тайна, и не какая-нибудь, тайна человеческого существования...

Итак, прозрачные глаза вперены в распятие, двадцать семь костей каждой ладони обтянуты засохшей, полупрозрачной пленкой кожи, желтые ногти мягко царапают картон книжной обложки, и Константин видит название: "История глаза". Константин знает эту книгу, он ее не читал, потому что его французский не для Батая, но

он знает, в курсе, о чем она, серебряные глаза индейского вождя вперены в распятие, под шершавыми кончиками пальцев страницы перверсий. “Ты повзрослел, Константин”, — сказала тогда мать. Желток из вагины. Мальчик в тебе треснул пополам и задохся.

Повзрослел, чтобы стать поляком.

— Но я поляк, мама, — говорит тот Константин.

— Потенциальный, сынок, — отвечает мать голосом, подобным мантре буддийского монаха, подобным голосу радио, низким, без модуляций. — Хотя череп у тебя и кельтский, зародыш в тебе польский, однако твоя почва была бесплодной. А нынче это издохшее дитя оплодотворит ее, и польскость взойдет, возрастет и изольется. Теперь не забудь спариться со многими женщинами, выбирай тех, что распутны, развратны и порчены, в чьих скважинах гостил не единый мужской меч, чистых женщин не трогай, дев стерегись как огня, девы выпьют из тебя твою силу мужскую. Твоей польскости нужен навоз, клоака, полная жижи, а не сухой женскости девственниц.

Молвит свои безумства, еле отворяя уста, не дрогнет у нее на лице ни мускул, а смотрит она на барельеф на стене: выбил в бронзе мою мать Стах из Варты: ее челюсть служит мне шлемом, из подбородка ее вырастет моя малая голова, я в голове той мальчик с огромными глазами без зрачков. Когда-то она была ослепительно хороша, прежде чем превратилась в седого вождя индейцев. А шальной была всегда.

Встречаются взгляды ее и его отца, ей сорок, а его отцу шестнадцать, встречаются впервые на бюргерском приеме в Kattowitz, Obererschleisien, который почтил присутствием своим граф Штрахвиц с сыном, сыну шестнадцать, в его юных чреслах дремлет половинка Константина, какие шальные у нее глаза, она шепчет, встретив его в вестибюле, шепчет ему в мальчишечье еще ухо, пальцами скользнув по его скуле, на которой едва прорастает щетина, шепчет ему: *Komm morgen zu mir, in die Richard-Holtze-Straße, 1, im ersten Stock, du erkennst es am Namensschild*¹, ее ужасная в то время чувственность, о которой Константин знает, свидетелем не был, но знает, что была, ныне ее чувственность похожа на потухший кусок угля, не горит и уж не загорится, но есть. Он видит глазами отца, как тот, дрожа в школьном мундирчике, взбирается по каменной лестнице катовицкой каменицы на второй этаж, как стоит перед дверью с карточкой Катажины Виллеман и как стучит в эту дверь, Константин стучит, как если бы сам был своим шестнадцатилетним отцом с очень старым и очень долгим именем, как если бы был собственным отцом и должен был себя зачать.

Болко Штрахвиц стучит в дверь, бумажная визитка в жестяной оправе дрожит, имя, выполненное курсивом, дрожит: Катарина

1. Приходи завтра ко мне, Рихард-Хольтце-штрассе, дом один, бельэтаж, на двери табличка с фамилией (нем.).

Виллеман, и дрожит Катажина Виллеман, исполненная сорокалетнего голодного тела, тела, о котором полагает, что оно бесплодно, тела, которое не сумел удовлетворить ни один из множества любовников и в котором ни один из множества любовников не сумел начать новую жизнь.

Откуда Костек знает это, откуда знаешь, Константин, откуда знаешь о материных любовниках? Я глажу Костека по лицу и задаю ему этот вопрос.

Разве не она говорила мне об этом, когда мне было десять? Когда мы поездом ехали в Варшаву, разве не треснула дверью пульмановского купе первого класса престарелая матрона, что поначалу не верила своим ушам, а поверив, прибегла к нюхательной соли из флакончика и созерцала, как горит ее мир, как рушится в прах викторианская сценография ее жизни: возле ее сидит чинная, эффектная дама лет пятидесяти, в застегнутом под горло платье, и повествует десятилетнему мальчугану, которому могла бы приходиться бабкой, но приходится матерью, говорит ему на нелепом, неуклюжем польском языке про своих любовников. Горше всего был, в своей неуклюжести, этот польский, а она говорила.

О том, как было ей шестнадцать, и она соблазнила двадцатипятилетнего Эфика, своего первого любовника, коренастого парня, который ухаживал за лошадьми и экипажем ее отца, потому что отец держал лошадей и экипаж, это был год 1885, а они тогда еще жили в Гливицах, где не было ни одного автомобиля.

Катажинка соблазнила Эфика, с которым она росла, который учил ее польскому, ведь в доме говорили на вассерпольши только со слугами, но дом был прогрессивным и слугами не брезговали, слугам случалось даже есть за господским столом два раза в год, а добрая старая пани Виллеман из дома Пионтек посвящала много времени просвещению этих бедных вассерполяков, обучая их манерам и культуре, в том числе немецкому языку, и наставляла свою единственную дочь Касю, что нельзя брезговать человеком, презирать вообще нельзя, презирать можно только грех и нечистоту, и, конечно, нельзя презирать того, кто умеет говорить только по-вассерпольски, ведь где бы он мог научиться правильно говорить, когда и мамулька, и папулька говорили с ним по-вассерпольски? Наставляла по-немецки, но ровно так: “Мамулька унд Папулька”. Негоже брезговать, надо обучать языку, культуре, нужно поднимать с колен, а не отпихивать с презрением.

Так что Кася поднимала и не отпихивала с презрением. Nein, Fräulein, ich darf nicht, ich darf wirklich nicht, so geht es nicht, Fräulein¹, говорил Эфик, а Кася крепко держала его за толстую шерсть жилета, по сей день помнит грубое сплетение ткани, крепко держала его и тянула к себе, а ее язык искал его рот. Nein, Fräulein. А она расстегивала

1. Нет, барышня, этого мне нельзя, правда нельзя, так не годится, барышня... (Нем.)

его пояс, так было ей интересно, что она там найдет. И нашла: ни мал ни велик, но гораздо, гораздо больше, чем у греческих статуй, которые она тайком разглядывала в отцовских альбомах, что ее несколько удивило и очень взволновало, совсем мягонький и инертный, Эфик больше боялся старого пана Виллемана, нежели желал его дочь. Знал, однако, зачем шел за ней на конюшню. А Катажинка изучала этот здоровый мужской член с интересом натуралиста, он же от ее интереса рос и так ей понравился, что она его поцеловала, наконец Эфик перестал на миг бояться старого пан Виллемана, взял девушку на руки, положил на мешки с овсом, задрал то, что задирают, содрал то, что сдирают, и разодрал то, что раздирают единожды.

После она неоднократно отдавалась ему, пока их наконец не накрыл ее отец, давно подозревавший, что дочь его больна психически. Истеричка. Нимфоманка. Собственно, он не раз видал через приоткрытую дверь, как она трогает себя под одеялом или в ванной. А теперь он видел жирные ягодички конюшего, его широкую спину, а за этой спиной лицо его собственной дочери, и она его видела и знала, что сейчас будет, но решила не бояться и не боялась. Глядела отцу прямо в глаза через плечо Эфика, положив руки на его ягодички и притягивая его к себе, а ее отец замер глыбой льда, замер в бессилии, стыд окислился в контакте с бесстыдством, как натрий в воздухе.

И старый пан Виллеман, мой отец и твой дед, которых ты никогда не знал, старый пан Виллеман среагировал лишь тогда, когда Эфик сбил ритм совокупления, выпрямился и завыл, приглушенно, скрипя зубами, но завыл. Отчего он завыл?

Оттого, что как раз свершилось, сын мой, в первый раз тогда мужчина внес свое семя в мое лоно.

Тогда старый пан Виллеман, мой отец, схватил валёк и ударами валька сбросил жирного кнехта с поруганного тела своей дочери. Однако Эфик, возбужденный мужским деянием, почувал в себе силу и, утратив контроль над своими деяниями, вскочил с земли, вырвал у старого пана, отца моего, оный валец и ударил им моего отца. Он не хотел убивать, ударил в колено, свалил старого пана Виллемана с ног — и убежал. Однако старый пан Виллеман тотчас умер, ибо сердце не выдержало.

А потом мою мать, мать Константина, заперли в недавно открывшемся учреждении для душевнобольных в Рыбнике, Обершлезен, и семья переехала в Каттовиц, в новый город, город, который только начал расти, так что в этом росте и развитии можно было спрятать, похоронить и забыть свой позор.

В Рыбнике она нашла своего второго возлюбленного: соблазнила молодого врача-психиатра. Рассказала ему о славянах, германцах и кельтах, изучала его череп, определив его как очень нордический, изучала и целовала все его стройное медицинское тело и очень любила этот вздорный встающий член, который Бог вложил мужчинам между ног на их позор и погибель, любила то, что могла поднять его одним взглядом, так что он торчал туго, как зеленый гусар

на страже, ей нравилось, что, взяв его в ладони, она брала в руки всего мужчину, будто сжимала поводья скакуна.

Тогда-то, по прочтении гулявших по больнице номеров “Верхнесилезской газеты”, видимо забытых младшим персоналом или самими душевнобольными, она надумала стать полькой, отчасти в честь мужчины, что порвал ее девственную плеву, слегка наплевав на мать, собственное происхождение и кровь; стать полячкой было несложно, она и стала.

Психиатра звали Альфред Риттер фон Конечны, и благодаря ему, благодаря его безумной страсти, благодаря тому, что, цинично и расчетливо отказывая ему в своем теле, могла заставить его сделать что угодно, единым обещанием по выполнению ее просьбы раздеться для него и допустить к себе. Это было нелегко для нее, поскольку он ей снился, она хотела его и жаждала быть наполненной им, вжатой в простыни, зацелованной что ни ночь; но еще больше она хотела покинуть эту обитель помешанных, и покинула ее наконец исцеленной, восемнадцатилетней, а он благодаря ей вычеркнул из отцовской фамилии полученные за заслуги “Риттер” и “фон” и сразу добавил “й”, став Альфредом Конечным, став, благодаря сумасбродной девушке, поляком, хотя знал, что славянская фамилия, которую он носит, чешская, а не польская. Она сама сказала ему об этом. Исток ее навязчивой идеи: черепа нордидов и альпинидов. Фамилии славян, обряды кельтов, бог Таранис, пальмы и строительные обычаи.

А сейчас она говорит, говорит, говорит об этих любовниках: о польских политиках, немецких офицерах, еврейских купцах и их обрезанных шишаках, о кучерах и шахтерах, о босяках и графах, и о том, что никто, никто не мог зачать в ее теле новую жизнь, и никого она не хотела надолго, хотя все хотели жениться. Врача она бросила два месяца спустя после выписки из больницы: займись польским вопросом, а не моей попой, — велела ему.

Так доходит она до отца. И Костек видит ее его глазами: он видит ее на дрожащей карточке, Катарина Виллеман, и видит ее, когда открывается дверь, Костек чувствует, как шею отца жмет жесткий воротник мундирчика, а она открывает ему дверь, ведет его по коридору в комнату и ведет его по коридорам своего тела. Каким видит он ее тело?

Он видит ее зрелое тело, но без тех знаков, что видал, подглядывая за служанками, уже имевшими детей, без белесых растяжек на животе, грудь тоже другая, ни разу не кормившая, иными кажутся ему даже дебри волос под мышками и в паху, такие красивые и по-звериному женственные.

Женщины кажутся ему самым загадочным видом домашних зверей: лишь частично прирученными, склонными к дикости, опаснее нехолощенного жеребца, страшнее бешеной собаки. Требуется мужчина, чтобы взнуздать этих бестий, так же, как требуется мужество, знание и уверенность в себе, чтобы надежно оседлать чистокровного рысака.

Ее спортивное тело: ездит на бицикле, ни во что не ставя кислые лица, а таковых мало, Каттовиц, Обершлезен, это новый город, город свежий, Каттовицы все равно что Америка. Иное дело Гливицы, в душном мещанском Глейвице было бы куда труднее.

В первый раз не столь многое удастся, ведь у юного Штрахвица Fräulein Willemann первая любовница, и первая их плотская любовь заканчивается прежде, чем началась, еще до того, как юный Штрахвиц успевает избавиться от нижнего белья, но панна Виллеман направляет юношу умелой рукой, она муштрует его под себя, как муштруют коня, и скачет на нем, как на коне, учит его ритму, концентрации, всему его учит. Она не пытается делать его поляком, хотя могла бы, но поляк совершенно ей не нужен, поляк у нее уже был, оттого предпочитает юного прусского аристократа, это ей импонирует и льстит. И панич Штрахвиц наконец с ней и в ней ежедневно, это он домашняя тварь, а панна Виллеман его пани, пьет из него всю энергию, всю мужскую силу, занимая весь мир панича Штрахвица, и год 1909 после условного рождества Христова, а я наблюдала, наблюдала девятиюстами годами ранее, как родится Христос, а родился он, как всякая зверюшка рождается, в крови, и родился как человек, что сложнее, чем рождение животных, чей мозг в утробе не набухает так гротескно, как человеческий, итак, родился Христос из разорванной вульвы, в крике и боли, синий, в крови и слизи, а я смотрела, и все было не так, как написали позже, но было.

В лоне Катарины Виллеман завязь Константина, как завязь Иешуа в лоне Мириам, но с поправкой. Старый пан Виллеман давно мертв. Эфик, он же Йозеф Шиндзелорц, это кучка костей, зарытых в китайскую землю, без черепа, череп нарвался на острие пики ихэтуаня, маленький триумф Китая над варварами из Европы, позже отомстили за Эфика максимы и маузеры, большой триумф Европы над китайскими варварами, а череп конюшего из гливицкого дома Виллеман, вместе с торчащим из него наконечником стрелы, лежит на чердаке гадкой деревянной халупы на окраине Пекина. Костек этого не знает, мать его не знает, знает лишь, что Эфик сбежал из Гливиц и так и не был пойман.

Я знаю. Могла бы шепнуть Константину на ухо, но не шепну. Могла бы рассказать об ужасном вояже несчастного über Breslau und dann weiter¹, до самого Гамбурга, могла бы рассказать о людях, которых он встречал, о ремеслах, какие он имел, об армии, о походе и, наконец, о войне на китайской земле, но я не расскажу. Какое Константину дело до судьбы первого любовника матери, крепкого кнехта из Гливиц, какое ему дело до любовной связи из прошлого века, когда он стоит в паскудной кухне Саломеи и у него украли портфель, а с портфелем пакет, а с пакетом достоинство, польскость, человечность и всяческую честь?

1. Через Вроцлав и далее (нем.).

Но зачем он думает сейчас о своем отце, которого почти не знал? Зачем глядит на него глазами матери, а на мать его глазами? Есть ли в этих глазах какая-то любовь, что есть любовь, Константин любил Гелю, может, все еще любит Гелю, любит единственного своего сына, но зажгла ли хоть какая-то любовь глаза его матери и отца, любовь случилась ли между ними, могла ли случиться?

Константин пытается понимать. Отец ради Катажины Виллеман отказался от всего: хорошего имени, карьеры, очевидной для природного аристократа, вместо берлинского гвардейского провинциальный, хотя и старый, полк, гливицкий полк силезских уланов, семейная рознь, затем знаменитый громкий суд, поток первых полос в газетах, сенсация, громкая даже для Берлина: силезская буржуазка лет сорока, силезский аристократ лет шестнадцати, затем восемнадцати, затем свадьба, затем все прочее.

Затем последнее воспоминание об отце: Костеку двенадцать, у отца серый мундир, шестнадцать лет разницы и шрам на лице, страшный шрам, и еще страшнее невидимый шрам, ниже форменного пояса, и еще более страшный шрам в душе. Мать все рассказывает Костеку. А что за черный орел на мундире? Фрайкор Оберланд. Константин, испуганный ребенок, не понимает, что творится в его семье, отец его побежденный солдат, кавалерист, загнанный в грязь окопов и в той окопной грязи утопленный, он не понимает, что творится в его семье, отец стоит на коленях перед сыном, Костек боится этого молодежьего лица без нормальной щетины, вдавленного шрама, сбегавшего со лба, стягивающего вниз уголок левого глаза и сбивающего гладкую линию скулы узлами блестящей кожицы, сама щека бессильно обвисла.

— Hüte dich vor der Mutter, mein Sohn, denn sie ist wie ein wildes Tier, ein ungeheueres Tier. Sie ist wie die fleischgewordene Sünde, eine Sünde, die in seidenen Strümpfen durch die Straßen schlendert¹, — шепчет он.

А семидесятилетний индейский вождь, мать Константина, слившееся с комнатой тело, гладит Костека по светлой голове. Стах Шукальский из Варты на стене, мать в кресле, седые волосы водопадом. Год 1936 на дворе, Константин красив и весел.

— Помни, сын, что ты, входя в их жерла, не едино удовлетворяешь своего зверя, помни, так ты достигаешь единения с квинтэссенцией Польши. Не думай о тех женщинах, они суть мясо: думай о Польше. Я есть Польша.

Хотел бы я возразить, ты обезумела, мама, это безумие, хотел бы, но как возражать, когда двадцать семь костей материнской ладони, пленкой кожи обтянутые, сжимаются в кулачок, четыре кос-

1. Остерегайся матери, сын мой, ибо она словно дикий зверь, чудовищный зверь, она словно грех во плоти, грех, который расхаживает по улицам в шелковых чулках (нем.).

точки указательного пальца выпрямлены и указывают на секретер. И губы матери произносят:

— Подай мне чековую книжку, мальчик.

Подает: книжку, ручку, и мать недрожжащей рукой, шевеля одними лишь ладонями, выписывает чек. Варшавский филиал Почтовой сберегательной кассы учтет этот чек в рамках предоставленного мне кредита, чернила проникают в волокна прозрачной бумаги, Константину Виллеману, мое имя и фамилия на пунктирной линии, тысяча злотых.

И он ушел, облитый ее безумием, с чеком на тысячу польских злотых в кармане пиджака, нежно хлопая себя по этому карману и наслаждаясь тенью бумажного шороха, приглушенного мягкой фланелью, а безумие матери шелушилось и отставало крупными хлопьями и пятнало тротуар, как мертвые медузы, а когда позже он посещал Адрию, Золотую утку, Лурса, Шимона или Земянскую, то снова был Константином Виллеманом, который, как известно, избрал Польшу, хотя мог быть и прусским аристократом, с дядей графом и майором немецкой бронетанковой дивизии, кирасирским офицером и известным спортсменом. Опозоренный отец позор свой искупил кровью на фронтах Первой мировой и пал от польской пули в виду горы Святой Анны, говорят, искал смерти из-за любви к матери. Константин видел его, я видел его пару месяцев назад в последний раз.

Вместо черного силезского орла на шапке он носил череп и кости гусаров смерти, так она говорила, а он, Константин Виллеман, носит ее фамилию и является поляком. Вот это триумф!

Он помнит тот серебряный череп на шапке, помнит шапку на отцовском черепе, помнит отцовский череп, венчающий отцовское тело, череп, спрятанный в мягких складках тела, череп, спрятанный по-за лицом, и все-таки выпирающий там, где его зацепила английская шрапнель, выгрызла кусочек, выцарапала. Ущерб зарос поэтической тканью шрама, розовой и безволосой, побледнел, затвердел, но он есть, и череп под ним скрыт, но обнажен, потому что шрамы затягивают уроны, но не скрывают их.

О черепа наших отцов и черепа отцов наших отцов! — думает Константин.

О череп старого пана Виллемана, о череп старого пана Штрахвица, о черепа рыцарей, сгинувших под Легницей, черепа безымянных купцов, прибывших в Силезию черт знает откуда, из Франконии или Валлонии, черепа варваров, надетые на колья, из уважения либо для устрашения, все истлевшие черепа, ставшие пылью, капель черепов в капиллярном кровотоке пожирающих их насекомых, черепа, кружащие в жилах птиц и с мертвой птицей павшие в чернозем и взошедшие житом и колосющиеся хлебом, съедаемые своими потомками, и циркулирующие в их венах, в их выгребных ямах, канализационных трубах и сточных коллекторах, черепа, текущие в море.

И черепа плывут к морю, а это 1937 год, хороший год, счастливый год, Константин сидит за столиком на полуэтаже в Земянской,

тут и Закопане, и Балтика, и Краков, на кабриолетах, на лыжах, на пикниках, Стависко, все близко. Серебряным локхидом в Вену, такой каприз. Белые лошади в венском манеже.

Теперь все погасло, те кафе и аэропланы, а я остался один в комнате с кухней на улице Доброй, один, но не один, здесь я и она, много ее в папках для рисунков.

Итак, встал в конце концов, оберся простыней, влез в брюки, защелкнул подтяжки. Еще раз перед зеркалом, лицо мое, в отеках.

В первый раз остался у Сали один, а раньше с чего бы мне оставаться у нее одному, если я в ней вовсе не нуждаюсь, в смысле, не нуждался когда-то.

Когда-то в ней не нуждался, а теперь нуждается. И остается. И раскрывает папки.

А в папках она. Она. Фотографии. Фотографировали ее по-разному, это видно, три Саломеи на одном отпечатке, не знаю, с трех пластин или с одной, проявленной трижды, три Саломеи и ни одна ни чуточки не походит на мою. Моя Саломея как Лилит, несет в себе всю женскую бесовщину и демоничность, сама ее сексуальность как из пекла, каждый оргазм ее грех, и каждый взгляд ее грех, каждое прикосновение ее грех.

Саломея на снимках — как девочка. Лицо, тело те же самые, это ясно. Но взгляд — даже если он порочен, это порочная невинность. В моей Саломее нет и следа невинности, ни даже памяти о ней. Запечатленная на фото Саломея не испытывает оргазмов, Саломея отдается любимому мужчине из любви. Моей Саломее требуется мужчина для нее самой.

Так, следующая папка.

Карандашные рисунки. Не знаю чьи. На папке имя: Германн. Два “н”. Рисунки карандашом. Парнишка влюблен: портреты Саломеи, силуэты Саломеи, жизнь чтоденная, Саломея читает, Саломея пишет письмо, Саломея ест яблоко, Саломея причесывается. Женщина — полна любви и полна жизни. Такую хотелось бы иметь матерью своих детей — не поиметь, но иметь, чтобы видеть ее с младенцем на ласковых руках. Насколько же эти рисунки лживы. Такой Саломея не могла, не может быть, в Саломее и капли нет от тех женщин, готовых лопнуть в промежности, даря миру очередного напрасного человечка.

Людам скорее должно умирать, нежели рождаться, рождение недостойно, низко так домогаться бытия путем явления в мир. Смерть есть акт самонадеянный, зато гордый, обращаясь к неприятию, мы выбираем то, что достойнее, поскольку в присутствии, в жизни есть нечто имманентно постыдное, существовать это как громко пердеть за ужином, быть — это жалко, быть это смешно, быть это плохо. Не быть это утонченно. Небытие элегантно. Стыжусь того, что на мне лежит ответственность за оплошность быть собой, за бестактность рождения, за неловкость того, что еще живу, вместо того, чтобы застрелиться или дать застрелить себя нем-

цам, прийти к элегантности путем смерти. Саломея не знает стыда, но знает и отличает утонченное от грубого. Рожать пошло. Саломея не родила бы. Солгала своими взглядами, своим добрым — для него — лицом, солгала Герману с двумя “н” своими кудрями, платьями и задумчивым взглядом над книгой, Саломея не такая.

Итак, следующая папка. Не подписана.

Открываю, опять фото. Вытаскиваю первое и моментально прячу. Но нет, страх побеждается любопытством. Человек же я, в конце-то концов. Человек оттого и человек, что любопытство побеждает страх.

Смотрит. Саломея, полностью голая. Это порнография, но изготовленная не только для того, чтобы раскрепостить желание. Студийно. Саломея и мужчины. Много. Саломея и женщины, ей подобные. Серия фото, отдельный конверт, надпись “Дионисии”. Козленок, голые женщины в венках из виноградных листьев держат козленка за ноги, за голову, очередные фото, с пластин почти слышен визг убиваемого животного, какой звук, какой крик отчаяния вылетает из горла убиваемой, мучимой козы? Костек не знает, но какой-то визг явно доносится с этих фото. Козлиный визг и вой голых женщин. Еще фото, козлик уже растерзан, Саломея в ожерелье из вырванных козлиных кишок, голые, залитые кровью женщины вкушают сырое мясо, зубами отрывая его от костей. Затем бичевание: голые мужчины секут женщин плетью. Однако не так, как в порнографических историях из жизни английской аристократии, это не кара, даже не игра, никто и ничто этих женщин не связывает, они сами подставляют свои хребты и задки под кнут, ягодички ищут бича, боль словно способствует экстазу, который виден на их лицах. Затем совокупление.

Лица. На одной из фотографий я вижу лицо Иги Ростаньской. Козлиная кровь. Я не хочу дальше лезть в папки, где живут разные Саломеи.

— Ты смотрел мои папки, — говорит Саломея.

Как она вернулась, когда вернулась, он не смотрел ни на стенные, ни на наручные, папки сложены там, где они лежали, когда он сложил их, когда привел их в порядок? Я знаю. Он не знает, он забыл. Не знает даже, как оказался за столом, на месте толстого батра, сидит, щупает отекавшее лицо.

Сколько времени прошло? Я не знаю. Сумерки за окном. Ига. Ига Ростаньская на снимках с Саломеей разом.

— Знаешь Игу Ростаньскую? — спрашиваю.

Это ведь может быть какой-то след, какое-то новое направление поисков, если она бывала на таких оргиях у Саломеи, на оргиях, где вдобавок кто-то позировал, снимал, то, может, в эту сторону двигаться, или спросить у Яцека, хотел бы он узнать о своей жене что-нибудь такое? Да еще от меня, чей неизгладимый след Ига носит внутри, знак, оставленный ее бывшим любовником, могу ли я сказать ему, что видел Игу на снимке нагой, рвущей зубами козью

плоть, разнузданной, окровавленной, скотски спаривающейся с мужчинами и женщинами? От меня он узнать не может. Но мне хватило бы всего лишь схватить этот след, эту нить, а Яцек знать не должен. Поэтому спрашиваю во второй раз:

— Знаешь Игу Ростаньскую?

Но Саломея не отвечает. Вместо этого достает из сумочки золотисто-коричневую бутылочку. Полную. Дай Боже, чтобы жидким морфием полная, дай Боже, и это выйдет до тридцати, может, срока упоений, забвений, бегств!..

— Что это? — спрашиваю.

— Морфий, — отвечает Саломея. Протягивает мне бутылочку, на ней золотисто-коричневая аптекарская этикетка, вот оно, мое жидкое золото, мое счастье, в бутылочке раствор двух граммов морфия, так что, если использовать экономно, то двадцать раз упаду в теплое никуда. Внезапно бдительность возвращается.

— Почему была бутылочка?

— Отдала сто злотых, — говорит она и возвращает мне двести.

Тепло и радость внезапно увядают. Сто злотых, сто злотых! Сто злотых, моей Геле, моему Юрчику принадлежащие, деньги, которые я обязан менять на их счастье, судьбу их этими деньгами исправлять, сто злотых, обмененные на бутылочку моего теплого счастья, моей жизни прекрасной, моей маленькой, карамельной радости.

— Врешь, сука! — проревел я, и мое опухшее лицо от этого рева тотчас подернулось болью. — Пятьдесят самое большее могла стоять, остальное ты украла!

А она смеялась. А я, разъяренный, иду на кухню, чтобы спрятать остаток денег в бумажник, который лежал в портфеле, вместе с пакетом, который я должен отнести пани Лубеньской на площадь Спасителя.

Однако портфеля на кухне не было.

Глава III

Нет портфеля.

Моего портфеля нет. Стою на паскудной кухне моей Саломеи, на кухне, которой неведом запах еды, Саломея дома не готовит, не готовила, но теперь-то ей что-то готовить надо, итак, на кухне, которой неведомы касания пытливых детских пальцев, ласкавших дверцы буфета в поисках сладкого, детей у Саломеи нет. Портфель мой лежал на стуле.

Упадет в обморок? Не упадет. Но что-то такое от пола тоненько струится, сквозь тапочки и носки, под тонкую кожу между пальцами, его тело капилляром всасывает страх, страх входит в него. По венам, в ногах тонкие струйки сливаются и утолщаются, чернея, поднимаются выше, через бедра и пах, выше, в брюшную полость, толстым щупальцем протискиваются среди кишок, находят желу-

док, обвивают его, и вот он ощущает, как на животе затягивается жуткая петля страха.

Большого, нежели страх смерти, он же помнит свой страх под пулями. Жуткий. В лесу меж Грабиной и Розтокой, вжатые в палый сентябрьский лист, а в ста метрах за ними, за нами, в ста метрах позади нас выходят два танка, не с той стороны вышли, с другой должны были, и плюют в нас из малокалиберных пушек и пулеметов, и растут вокруг нас маленькие вулканы смерти, и лопаются деревья, и командир Колодзейчак тащит галопом наш бофорс, а я втискиваю лицо в листву и боюсь, боялся, но не так, как сейчас. Чего я тогда боялся? Боли? Умирания? Исчезновения? Чего?

Полковник выкрикивает приказ за приказом, хороший командир, знаю же, приказы прямые, простые, с таким командиром хочется воевать, веришь ему, доверяешь. Можно умереть с таким, потому как знаешь, эта смерть потом что-то кому-то даст.

И не в том дело, что родине. Родина редкая чушь, мало кто это знает, но я знаю. А сейчас, проиграв войну, почти все об этом забыли, но я помню, что родина чушь редкая, я и тогда помнил, и умереть был готов, потому как смерть я тогда тоже понимал.

То было диковинное время, сентябрьская наша печальная и нездоровая эскапада, этот наш, прости Господи, боевой путь, когда мы в основном ползли по лесам, мы не были разбиты, но и ни одному вражескому соединению угрожать не могли, не та огневая мощь, говорит полковник Рудницкий. Нехватка артиллерии, говорит он. Коноводы не встают в строй, человеческий ресурс пропадает. Все это он объяснял нам в те диковиннейшие дни, закольцевавшие капитуляцию в Варшаве, в дни между войной и невойной, невойной в том смысле, что также и непокоем. Но больше никто в меня не стрелял. Сейчас в меня тоже никто не стреляет. Но лучше бы стреляли, чем потерять портфель.

До того, как все это началось, я был готов к смерти. Сразу, едва сел в особый поезд, мобилизационная карта без красной полосы, год: 1909, Удост. гл. кн. (карты) вед. доп., род войск (служба): кавалерия, чин: подпоручик, фамилия, имя, имена родителей: Катажина Бальдур, приписан к 9-му Малопольскому уланскому полку в Тереховле (название формирования), предписание: см. стр. 2, вышеозначенный имеет возможность бесплатного проезда поездом, Геля с Юрчиком на перроне, самый, вероятно, счастливый миг ее жизни, муж ее, поляк, офицер, красивый такой, горло стянуто змейкой по воротнику, сел улан, сел в поезд на войну. Может, погибнет улан, может, орден привезет. Мститесь ей сине-черная лента Virtuti, но не дали, и знала ведь, когда я вернулся, что дали малиново-белую ленту Храбрых, она же хотела Virtuti. А тогда Геля отмечала в памяти каждую секунду этой встречи, крошечные часы на ее запястье отмеряли эти секунды, а Геля отмечала в памяти, чтобы после заметить в своем крошечном дневнике крошечными, изящными буквами, что проводила сегодня Костека, что разрывалась,

когда чувствовала, что с одной стороны любовь, а с другой Польша, что хотела бы удержать меня, но должна отдать меня Польше. Захлопнет свой блокнот, закроет свое вечное перо марки Pelikan из зеленого бакелита и закроет свои глаза белого и зеленого вещества, яркий прямоугольник окна будет светить даже сквозь опущенные веки, и будет переживать себя саму, такая сытая своим трагизмом, такая счастливая в себе полька, ее чистое лоно дало Польше Юрчика, а ее чистое сердце отдало Польше меня. Готовая уже сейчас, в этот миг, стать прекрасной вдовой со строгим лицом, если какие-нибудь черные немецкие птицы нападут на поезд, везущий меня в Теробовлю, как напали они на Гернику. Такая счастливая в своей тревоге, подлинно тревожная и подлинно счастливая, я могу умереть, тогда она может остаться одна, поэтому стоит теперь на перроне и плачет, а каждая слеза, что твой алмаз. Что острое сверла.

Я не чувствовал к ней ненависти; была она мне безразлична. Одного Юрчика жалел, знал, как она его воспитает, если я погибну. Знал, впрочем, что воспитает его точно так же, если не погибну. Пропал Юрчик.

И когда это я перестал в ее лице видеть ее саму, а вижу лишь познанское лицо тестя и присягу Польше?

Итак, был к смерти готов. Ничто меня не волновало.

Я сошел в Теробовле, перешучиваясь с парой уланов, которых встретил в поезде, мы, дескать, прибыли аккурат на праздник полка, ведь было 31 августа. Ровно годом ранее я был в Теробовле, тоже 31 августа, с женой, с Юрчиком, полковой праздник, как тогда гордилась она своим подпоручиком! Кроме Гели, все видели во мне штатского в форме, никого это не раздражало, тогда я был всего лишь резервистом, в конце концов. А месяц с лишним тому я, Костек, я талант нереализованный резервист мобилизованный маршем прошагал в казармы, получил задание и был готовым к смерти: тогда, и когда полк спустя двенадцать часов погрузился в вагоны, и когда мы высадились первого сентября под Неклей, неподалеку от Познани, проехав всю Польшу.

Тогда я видел себя не офицером, не патриотом, готовым сложить голову за отчизну, но наблюдал себя, как бы глядя на лист, несомый течением реки. Было это упоительно: не думать за себя, и не в том суть, что я подчинялся приказам. Суть в том скорее, что несла меня история, я был ее частицей, молекулой воды в потоке, что внезапно перевалил через горный порог и рушится вниз. Если я втискивал лицо в траву, армия "Познань" втискивала лицо в траву. Когда стреляли в меня, то стреляли в генерала Кутшебу, а когда стреляли в Кутшебу, то стреляли в Польшу. Я был людской массой.

Сегодня я боялся по-другому. Чего мне было тогда бояться, что Крест Храбрых посмертно дадут? Судьбы Гели овдовевшей и сына осиротевшего? Во славе жить станут, малыш вырастет в тепле мертвого отца, лучшего, чем был бы живой.

Ну какой из меня отец для него, даже будь я жив?

Лучше бы я тогда умер. Блаженны те, что в аду; им в конце концов уже не нужно терпеть этот мир.

Лучше бы я тогда умер.

Но я не умер, и вот посылка для Лубеньской пропала, что там могло быть, деньги наверняка, деньги, которые исчезли.

Известно, что о нем подумают. Что он украл. Кто же мог украсть, как не он? Геля: сжав губы и бедра, иди вон. Юрчик ничего не понимает. Тесть, эндек познанский, шипит: висеть должен и висеть будешь, подлец, тать, иуда. Все пропало. Украл, потратил на шлюх и наркотик. Украл, ибо мог украсть, а они так в него верили, поляком позволили быть, гордились, что поляком хочет, а он пакет для Лубеньской украл, сучье семя, сучья кровь.

Лицо онемело, меньше болит. Угасает боль, угасает все. Даже Саломея угасает. Что еще? Стыд. Следствия. Сжатые губы и бедра.

Когда это началось, думай, когда?

Когда превратился в того человека, в какого превратился? Худшего, не худшего? Какой я, кто я, что со мной творится? Кто я есть? Есть ли...? Что не так со мной? Мной ли...?

Стоит как дурак с разбитым лицом в кухне Саломеи, стоит и смотрит в мучительно пустую точку на стуле, в точку, куда положил портфель, и надо же, кидается в глупые поиски: под столом, под буфетом, голова в синяках при каждом наклоне приливает кровью и пульсирует, вот-вот лопнет. Но знает ведь, что нету. Уж коли нет, то нет.

— Он унес, Костя, унес его, — говорит Саломея.

Значит, случилось оно, случилось. Случилось то, от чего я убегал целую жизнь, от чего пытался спрятаться и чего боялся: я перечеркнул себя. В их глазах. Недостойн! Как бежал я пули и слова “трус”, сильнее всего боясь последнего, бежал слова “отступник”, “не-поляк”, мне даже нравилось в польскости то, что так легко в нее продвинуться, что стать поляком просто, они всех принимают, вот и меня приняли. Лстыл их польскости каждый немец, который желал стать поляком, поскольку втайне они себя презирают, мы себя презираем, а тем не менее стал я поляком.

А нынче утратил вверенный мне пакет. Как утратил? На почве женщины утратил? На почве крови утратил? Или на почве того, что недостойн?

Когда это произошло, когда Константин Виллеман из милого, порядочного юноши стал Константином Подлецом, когда стал он циником? Ведь это и привело меня сюда, в квартиру этой разнузданной шлюхи, где немецкий офицер встречается с бандитом.

Что довело меня до ее пизды, в которой киснут соки столько мужчин, чего сбежал я к этой параше от чистого лона моей евгеничной жены, от чресл ее чистых, как польский алтарь, от лона ее, похожего на цветущий луг, от этого польского нерестилища, что с радостью впускало мое семя, дабы возвращать поляков, однако же хуй мой впускало с отвращением, ибо разве подобает кому-то тыкать польской женщине между ног хуем? Мое тело было для нее

неизбежной и мрачной обузой. Желалось бы ей, чтобы у нас не было тел. Но ради Польши и это могла вынести.

Геля в процессе совокупления: на спине, отвернув лицо, обнимает меня руками за шею, не целуя, потому что поцелуи чисты, значат, принадлежат к другому миру, ногами обнимает меня за бедра и выпускает меня, так безвольна, чиста и пассивна, не шелохнется даже, Геля скорее позволит мне сделать что-то с ней, нежели что-либо сделает со мной, и лишь иногда, в самом конце, сдерживаемая дрожь пробежит по ее телу памятью об иной женственности, подавленной в ней чертовым воспитанием.

И поначалу мне, глупцу, этого хватало, а затем познал я блядские штучки, блядские уловки и стоны, блядское верчение попкой и блядские ласки, ловкие блядские ручки на моем теле, обман все это, но как же хорошо быть так обманиваемым.

А нынче утерял портфель. Утерял портфель, портфеля нет. Себя утерял в их глазах.

Не примут его, оттолкнут. Как ему помочь? Обнимаю его, утишаю его идущую кругом голову. Мозг мой лопается.

Целая моя жизнь, все вдребезги. В пыль. Немцы раздолбали. Рыдз раздолбал. Гитлер раздолбал. Варшаву раздолбали. Я сам все раздолбал, нет Варшавы, нет Гели, нет Юрчика, ничего нет, только портфель украли, я все это связал воедино, все нити истории сошлись во мне, а я распался и все распалось, когда я распался.

Все у меня было, что осталось? Ничего. Портфеля лишился, в портфеле его гонор поляка и честь офицера, в портфеле он целиком, толстый батяр выкрал портфель и, крадя портфель, украл Константина, Константина больше нет, Константин украден.

Так что же делать, ему уже ясно и неясно одновременно. Мама. Но это не лучший выход, это вообще не выход, но ему ясно, а я хотела бы удержать его, хотела бы сказать ему: не иди, Константин, к ней, она тебе не поможет, она тебя не спасет, она засосет тебя в простор своего безумия, не иди, Константин, не иди, хотела бы выйти из тени, обнять тебя, удержать, куда идешь, Константин, глупый, не иди к ней! Уже ничего не может тебе дать.

Итак, я выхожу, и вот, словно бы она шла за мной, не Саломея, не мать, а она. Идет за мной, следует за мной медленно, неохотно, однако не может от меня оторваться, должна идти за мной, и я знаю, знаю, что она женщина, а точнее женская, в стихию феминную погруженная, в стихию земли, влаги и луны. А я не слушаю ее, так же, как не слушал бы сейчас Саломею, даже если бы та не молчала, и выбегаю, деревянная лестница, улица Добрая, и вдруг на месте кругом! Ведь у нее, у Саломеи, осталась моя добрая бутылочка, бутылочка, полная счастья за сто злотых, как же ее забыть, как бросить, как не забрать?

Кроме того, вспоминаю: комендантский час. Вспоминаю: на моем запястье часы, проверяю время, девятнадцать тридцать две. Уже полчаса как.

Так что возвращаюсь по лестнице, рассеянно, рассеянный, будто бы по ветру, будто я по кускам возвращаюсь, будто одна одежда меня спланивает, портфель утерян, я это, я, уже заперто, портфель утерян, закрыто на ключ, поэтому стучу в дверь, портфель утерян, стучу в дверь, прогрыз бы тонкое дерево, но она отпирает, отпирает, стоит передо мной, курва она, Саломея, поэтому даю ей в лицо уже в передней, так нужно с ней разговаривать, я не забыл кнут, раз уж иду к женщинам, я Константин Виллеман и моя есть сила и моя власть, она же, Саломея, должна признать и признаёт эту силу, я опять тот Константин, какого она знает, какого она захватила и захомутала и какому в то же время, захватывая, сдалась. Портфель утерян.

Идем в постель, постель принадлежит нам, златогардый шприц, игла и жидкое счастье уже течет моей веной, а она, с лицом побитым, с лицом зареванным, делает то, что ей надлежит, счастлива в своей сдаче. Или это я стою на улице?

Что с тобой, Константин?

— Что с тобой, Костя? — спрашивает Саломея.

Стало быть, я у нее, объятый ее губами, голый на опорооченном белье ее курвиной постели, жидкое счастье ласкает мой мозг, и она ласкает меня, ее ладони на моих бедрах.

Так для него безопаснее, хорошо, что он не пошел к матери, хранят его мои тонкие руки, стережет его мой прозрачный взгляд, я сама его охраняю, но я не защитила его от той женщины, что пичкает его наркотиками и ласкает, я не защитила его от его матери и не защитила его от Польши.

И я падаю в пух, тону в патоке, моя прекрасная, добрая Саломея, моя нечистая, запачканная, опорооченная Саломея, сколько мужчин в твоём теле нашли свою маленькую смерть? И я умираю большой смертью, сто раз умираю у нее во рту, а она смеется, она знает, что принадлежу ей, а не Геле, не Польше, я ее, именно она держит в зубах и может раздавить меня, если бы только хотела.

Мир обволакивает меня теплой пеной, вокруг стены столетние вьются шелковой шалью, каждый кирпич касанием неги, гипс что твои губы, прижатые к телу так легко, что не сминается их розовая тонкая кожа.

И я спрашиваю сквозь простыни, перины и одеяла: так кто он, Саломея? Куда делся с моим портфелем тот толстяк из Львова? Там была у меня великой ценности вещь, пакет, который Польша велела мне доставить на площадь Спасителя, на второй этаж дома на углу 6 Августа, где живет пани Тереза Лубеньская, а это важная квартира, моя прекрасная, добрая шлюха, ты должна понять, моя чудная Саломея, поэтому я должен найти портфель и посылку, тащущуюся в его темени, ты понимаешь, Саломея?

А она смеется, задыхается и смеется. Ведь ты не умер, так где ж твой юмор?

— Что? — спрашиваю.

— Ведь ты не умер, так где ж твой юмор? — поет Саля голосом Адольфа Дымши. Я засыпаю, я впитываюсь в белье, простыни вокруг меня, затхлый воздух жилища Саломеи, стены старой каменицы на Дobreй, вокруг меня Варшава, где-то в Варшаве толстяк и мой украденный портфель, а я засыпаю, пропадая, падаю, падать не больно.

Будит. Его. Меня. Утро. Открываю.

Глаза. Открывает. Рядом с ним она. Чудовищная. Часы. Восемь двенадцать. Число: тринадцатое. Восемь или двадцать? Окно: светает. Восемь. Октябрь.

Улыбается. Костек тоже.

— Шлюха, ты.

Говорит он. Костек. Говорю я. Она улыбается.

— Я твоя шлюха, — мурлычет.

Как это звучит, аж кровь закипает в жилах, как звучит это “я твоя шлюха” в мире, где полно женщин, которые не едят, не подтекают и почти не дышат, являются эфирными фантомами и даже не рискнут погулять с мужчиной, чтобы не спровоцировать слухов. Как хорошо, что ты моя шлюха, моя прекрасная, липкая Саломея.

Мурчит. Изумительно. Засыпает. Засыпаю я. Костек засыпает. Я почти. Опиумное скольжение, скольжу вниз, в медово-сладкую патоку, сахарно-обморочно-карамельную.

Портфель. Нет портфеля. И вдруг все доходит, дошло до меня, все всплыло, о Боже, о добрый Боже, который есть, и ты, Боже, которого нету вовсе, черт подери, все лупит в меня, как панцердивизион, а я вдруг обретаю силу, все знаю и всем властвую: портфель толстяк адрес пистолет, фотографии оргии вакханалия Ига Яцек госпиталь, морфий Геля Юрчик мой сладкий и хороший будущее нации тесть, эндеки эндеция корпорация Велеция, шоколадный дом Пулавская Мадалиньского Ростаньского Журавского, негоция наличные банк отлично, площадь Спасителя Лубеньская Ярослав и рука красивая, акция оккупация конспирация регистрация, Лурс Земьянская столовая питательная полковая конюшня, и всё. Всё. Все охватывает мой разум, надо всем властвую. Силу имею.

Не знает Костек, не знает, что никакой силы он не обрел. Это я ему дала, я его силой наплатила. Откуда же я ее беру, откуда у меня?

Осматриваюсь по сторонам. Саломея спит, голая, нагая рядом со мной нагим. Ноги раскинула, белые ягодички лопнули, в черных зарослях скрыты мягкие складки зловещего срама, врата маленькой смерти и врата жизни, пропасть, в которой мужчина прекращается, сердце тьмы, к которому плывут по ужасной реке женского тела, вверх по ее течению, на заклятие в пра- и нечеловеческом.

Я тоже голый, мужеский член дохлой крысой. Вонь человеческих тел в нетопленной комнате циркулирует иначе, нежели в жаркой духоте и, пожалуй, более неприятна. Сажусь в постели, отворачиваясь от кожи Саломеи.

Итак, теперь план, офицер всегда действует по плану. Во-первых, одеться.

Одеваюсь. Как холодно, нет в Варшаве угля.

Что дальше? Рубашка застегнута, галстук повязан, туфли зашнурованы, подтяжки застегнуты ровно, жилет застегнут без нижней пуговицы, пиджак помят адски, скомкан в углу, делать нечего, война, не до слез по измятому пиджаку. Кастет на полу, в карман его. Что дальше? Портфель. За портфелем — Ига. Ига — на фотографиях в папках Саломеи. Но прежде — портфель, в нем посылка.

Чтобы найти портфель, нужно выяснить, кто таков жирный львовский батяр и где может находиться.

Так действует офицер, именно так: без эмоций, рационально, сдержанно, спокойно, и я таков: рациональный, сдержанный, спокойный.

Саломея может быть единственным потенциальным источником информации о whereabouts батяра, как говорят англичане. Whereabouts, красивое слово, батяр, Щепко и Тонько в одном жирном теле, чтоб ему... Как говорят англичане?

Нет. Офицер так не действует. Не поддается. Эмоциям. Сейчас я офицер. Запаса, но офицер таки. Подпоручик запаса Константин Виллеман, девятый Малопольский уланский полк, четвертый эскадрон, командир третьего взвода, награжден Крестом Храбрых.

Я уже одет. Хорошо. План: где батяр? Саломея. Сама она не скажет. Она мне не скажет? Не скажет.

Устрашить. Так точно.

Кухня, кухонный нож, ножа нет, есть тесак, на полу лежит тесак золинген, которым толстяк собирался меня убить, но Саломея не дала. С тесаком оседлать Саломею. Внезапно меня мутит, меня тошнит и я блюю, меня рвет на пол, я даже не знаю чем, полностью переваренные остатки чего-то, желчь, голова кружится, опираюсь о кровать, по-прежнему сидя верхом на этой прекрасной, гнусной шлюхе.

Курва просыпается, переворачивается подо мной на спину, словно уж вьется в моей мокрой ладони, словно не имею я над ней никакой власти. Нагая, прекрасная, ее полные груди дивно стекают к подмышкам, но сейчас я офицер, и должен вернуть свой портфель. Зловоние ее тела ползет, сочится в ткань моей зимней одежды.

— Где найти толстого? — спрашиваю самым прямым, самым простым образом, как и надлежит спрашивать, ровно так.

Саломея уставилась мне в лицо и ничего не понимает, не проснулась еще, и я вдруг осознаю, ищу глазами полную счастья бутылочку, бутылочку добрую, и вон, вон, вижу, трети недостает, сколько же морфия загубила эта темная паскудная сука, спрашиваю сам себя, сколько в свои нечистые вены впустила?

Но-но-но, не до подобных вопросов, подобные вопросы неуместны сейчас, сейчас я офицер, сейчас у меня есть план. Добавить к плану: где взяла Саломея добрую бутылочку, полную солнца, радуги и радости, этот контакт Саломеи установить, но не сейчас, а потом, после портфеля, пакета и Иги.

Бью ее по лицу, с силой, голова дергается и поворачивается, в мягких грудях дрожь, будто я швырнул камень в зеркальную глубину пруда. Так не по-джентльменски, не по-офицерски, офицер не даст по лицу даже девке, девке прекрасной и мудрой, как Саломея, но сейчас она не женщина, сейчас она носитель информации, а я дознаватель, кроме того, по лицу затем, чтобы разбудить, едва ли это насилье, влупить для отрезвления по лицу. Стало быть, дал. Стало быть, проснулась. Тесак в моей левой, и я внезапно стыжусь этого тесака, разве затевал я рубать тесаком мою прекрасную, добрую Саломею? Как можно, сама угроза кажется такой глупой... Стало быть, тесак канул куда-то в постель, беру ее за лицо, сжимаю ей щеки, сдавливаю и спрашиваю, отделяя каждое слово зловещей паузой:

— Где — найти — толстого — говори!

Шиплю, не говорю, я должен быть страшнее толстяка, она должна бояться меня сильнее, чем его, я должен ее ужасать.

А она стонет что-то, этот стон невнятен, она все еще падает, она все еще глубоко в сладко-карамельно-медовой патоке.

Поэтому беру с умывальника кувшин и плещу на нее, плещу. Приходит в себя, приходит. Зачем, Константин, ты говоришь все это вслух?

Кто спрашивает, неужто Саломея, Саломея не спрашивает, Саломея молчит, неужто я говорю вслух, все время говорю?..

Я спрашиваю. Константин меня слышит. Свои мысли проговариваешь, Костек, все время, вслух.

— Все время проговариваю?

Вербигерация, одержимость, говорю, насущная психопатология, слова повторяю, слова.

— Вербигерация, одержимость, насущная психопатология.

— Костя, я ни панимаю ничево, ты что, Костя, что?

Этот стон внятен, конкретен, я этот стон разумею.

— Где найти толстого, как его звать, говори, женщина!

Она отворачивается, лицо в подушке, стонет.

— Дай попить, — шепчет сквозь перья, сквозь наволочку.

Я тебе дам попить, паскудная ты курва! Сполах гнева, и я кидаюсь на нее, лицо ее вбиваю в подушку, держу за космы на затылке, спину прижимаю коленом, а голову вбиваю в подушку, в матрас. Она задыхается.

Офицер так не поступает. Я поддался эмоциям, Костек поддался эмоциям, нельзя так, но раз уж я здесь, то отступать теперь не можно, verboten, нельзя отступать, поэтому я ору, где толстый, орет Константин Виллеман, подпоручик запаса, девятый Малопольский уланский полк, четвертый эскадрон, третий взвод, три линейных секции, секция ручных пулеметов, вестовой, коноводы по одному на секцию, только один, все остальные в строю, взвод спешиться штыки ночь цепью стрелковой шепотом цепью стрелковой пригнись ночь в лес двадцать семь уланов, Гаврилюк, Новак, рыжий Ковальчик, старший улан Бочага с пулеметом, зато без верхних резцов, с

шиком сплевывает через эту щербину и очень тихим шепотом клянёт курва вашу мать гитлеровские псы ебанные фрицы немецкие, наводчик секции щербатый старший улан Бочага, пулеметчик жирный Хайке, Земба, Киневич, все идут, мой взвод, у кого гранаты? Спи, дружище, в темной могиле, пусть снятся тебе курвы. Тихо. Стрелковая цепь. Ветви и листья.

Сейчас, сейчас, почему сейчас? Саломея?

Эскадрон крупнокалиберных пулеметов, ротмистр Хохол и пулеметы, орудия обр. 1930, Грудзёндз, в Грудзёндзе курсант Виллеман, а с ним вахмистр из царских уланов, что есть пулемет обр. 1930, пажалста, честь имею доложить, пулемет обр. 1930 групповое автоматическое оружие, предназначено для поддержки пехоты и кавалерии в их действиях путем стрельбы прямой и не прямой наводкой, лады, хорошо, Виллеман, сядайте, пулеметы во выюках, пулеметы на тачанках, толстые стволы согласно регламента приторочены к выючным лошадям, одна лошадь орудие на станине два ящика патронов вторая лошадь четыре ящика патронов один конюх необходимость запасной ствол приклад для зенитной стрельбы третья лошадь шесть ящиков унтер-офицер вестовой коновод сменный стрелок.

Боже, что со мной, что с тобой, Костек, Саломея трудно хватает воздух, Константин трудно дышит рядом, он ее пустил, дышит, опершись о сервант, что за лес, что за цепи стрелков, враг на левом фланге, с Богом, заряжай, на предохранитель, ночью тихой ночью лесной раздаётся визг золотистых смертей, любовно скользят в зарядные камеры, оттуда наружу выгорев, дымясь, семенем ствола плюнуть, щелкают флажки предохранителей, что с тобой, Константин? Гаврилюк, передайте гранаты первой шеренге, шепотом.

Саломея уже сидит, в какой момент она села, Саломея вжала плечи меж подушек, полностью отрезвела, полностью проснулась, полностью в себе, обеими руками сжала тесак и выставила его перед собой, но у тесака нет острия, который тонким своим концом оградил бы ее от Константина. Лицо красное, почти посинелое, карта подушки оттиснута на этом лице, Саломея в ужасе, обнажена и жирна, тяжелые сиськи, круглый живот, а над моей головой, высоко, стрекотанье медных цикад, стонут источенные деревья, сыплются нам на головы сучья хвоя листва как зеленый снег, как детский розыгрыш, что с нами, я не знаю, не знаю? Но мой взводный капрал знает. Станковый, кричит он в тон визгу далекой очереди, этой разодранной простыне, теперь понимаю, теперь знаю, в укрытие, кричу я, в укрытие, борюсь с кобурой, зачем, зачем? Подать сюда ручной!

— В укрытие!

— Костя, с ума сошел, Костя, что с тобой? — вроде обычный голос, а на самом деле крик, боится, хорошо, хорошо, хорошо. Саломея.

Я возвращаюсь. Нет леса. Нет цикад. Есть каменица, улица Добрая. Уже ближе, я уже ближе. К себе, к ней ближе. Уже на месте.

— Ты меня душил! — плачет Саломея с укоризной. Но тесак положила.

— Где найти толстого? — спрашиваю.

Внезапно протрезвел, абсолютно, вчистую.

— Где найти толстого?

Бойтся меня. Бойтся.

— Улица Лешно, номер шестьдесят, против городского суда. Возле скорой помощи. Квартира номер тринадцать, пятый этаж. Он там у сестры, — говорит неожиданно трезво, без сопротивления, как будто сообщает мне незначущий адрес, и сообщает достоверно, как требуется, строго.

— Как фамилия?

— Туманович.

Смеется. Смешно.

— Глупо.

Саломея пожимает плечами.

— Каетан. Каетан Туманович, из Львова.

Знаю! Вернее, уже знаю то, что мне нужно знать. То, что важно. Теперь: уйти!

Двери за мной захлопнулись, сбегая по деревянным ступеням, выбегаю на улицу, хватаю воздух, да, да, ушел. Морфий остался у нее. Не хочу я морфия.

Глава IV

Здравствуй, Варшава изнасилованная! Утро.

План: Туманович Каетан, уроженец Львова.

А бутылочка, полная солнца и радуги, текучая детская улыбка, текучее малиновое мороженое внутривенно, что с моей бутылочкой, полной добра и тепла?

Оставил у Саломеи. Забрать с собой не мог, должна была там остаться, у меня ведь план. Я офицер, офицер должен свое исполнить, у него своя работа, иначе быть не может, а с бутылочкой в кармане я буду как влюбленная институтка, бутылочка должна была остаться у Саломеи.

Поразила меня сила собственной воли, насколько же я стоек, предан своей стране и долгу, ведь Саломея, скорее всего, будет кейфовать за мои деньги так долго, покуда не сгинет в ее черных жилах все мое счастье, не будет поглощено ею, отнято у меня навсегда. А все-таки не взял бутылочки с собой, у нее осталась.

Что теперь?

Домой не могу пойти, там Геля спросит, что с посылкой, доставил ли я, что сказали, станет ждать ответов. Так что вернуться бы надо.

А день хорош.

И вдруг само возвращается. Мундир, пистолет, приказы. Две недели тому назад, ну, почти три, стоим мы на Горской, враг на расстоянии удара, форт Домбровского уже сдан, Антек Венявский из второго

шеволежеров должен был отбить, но ведь всё сдали, Советы вошли, немец уже в Варшаве, а тут Рудницкому придают из бригады эскадрон, наш полк усиливают, и Венявский должен был отбивать форт с этим эскадронном. Но он не отбил, смели его по пути, эскадрон рассыпался под огнем, и мы стоим. Всю дорогу до Теребовли поездом и от Теребовли поездом, верхом и пешком, чтобы закончить войну в километре от собственной квартиры. Людей по погребам хоронят. Труп женщины, пополам на уровне бедер разорванный, обрывки кишок, черные лобковые волосы на этом огрызке человека, пара пухлых ног, одна в чулке и туфле, рядом с трупом ребенок, лет, может, двух, не задет, совершенно голый, живой, плачет беззвучно, рот открыт широко, ребенок белый весь, будто его мелом натерли, пытается ртом своим что-то провить, но безуспешно. А за ним дом — факел в три этажа, знамена рыжего огня в окнах третьего, черные хвосты дыма.

Кто-то заберет этого ребенка, спрашиваю, кто-то его заберет? Ксык берет его на руки, бежит с ним куда-то, мундир весь белый, глаза широко распахнуты. Не спрашиваю.

Так воевали в Мокотове, кавалерия в Варшаве. На Мокотовском поле приземляется самолет, последний польский самолет, который я видел, странного типа, на караса похож.

Как это вообще звучит, воевать в Мокотове, как это звучит, воевать в Чернякове, как звучит, когда противник атакует через Вилянув, с юга, никакой противник не должен атаковать через Черняков, никакие бои не должны идти в Мокотове, на Мокотове живут и пьют кофе в фирменном магазине-кафе Э. Веделя, и горячий шоколад, дом из шоколада, Юрчик машет из-за Ш в огромном слове ШОКОЛАД с крыши нашей каменицы, на улице стоит мой желтый опелек, опелек мой стоял припаркованный, как мог ходить по этой улице немецкий солдат, как могли идти по ней немецкие легкие танки, если на ней стоял мой желтый опель Olympia с откидной крышей, мой кабриолетик, в котором я возил жену и разных шлюх тоже возил?

Однако идут легкие немецкие танки по улицам Черняковской и Пулавской, а шли и тяжелые, с востока Советы шли, так даже лучше, что немецкие, а не большевистские танки идут по Черняковской, а на моем опельке наверняка какой-нибудь генерал или другой инспектор жирный удрал в Румынию, дай Бог, фрицы по дороге развалили его с самолета, с авиационной турели снаряды пробили брезент на крыше моего опелька, а то и лучше, было тепло, он ехал с откинутым верхом, и очередь легла так, что сделала дырки только в толстом генерале и его курве, которую взял с собой, жену и детей еще в августе выслал в Париж или куда-то там, значит, лег генерал головой на руль, а мой опелек просто сбросил скорость, встал на шоссе и ждет какую-нибудь душу, что нежно позаботится о его желтых боках, салон от крови отдраит.

А то, может, где-то под Бучачем или Тернополем большевики выгнали генерала из опеля, обобрали как липку, генеральскую курву изнасиловали и убили или сделали из нее подстилку комиссарскую, и ездит

курва на моем опельке, у красного комиссара под бочком... Чтоб им всем, значит. Уже бывал мой опелек под Бучачем и Тернополем, был у нас такой пробег, мой опель, два шевроле и три польских фиата, два пятьсот восьмых и один пятьсот восемнадцатый, точно помню, мы организовались через автоклуб и даже в газете писали, состав не слишком шикарный, не слишком элегантный, но ралли все равно вышло красивое, пумпы и каскетки, а у дам даже кожаные кепи, пилотки и полетные очки, у Гели были полетные очки, и мы ехали большей частью с открытым верхом, шоссе номер восемь, но в Румынию не въезжали, хотя сначала был план ехать в Хотин, но не поехали, только осмотрели Окопы Святой Троицы, а затем обратно, навестили полк в Теребовле, Тернополь, Львов, Томашув, красивое шоссе на Люблин и Варшаву.

Когда же это было, когда?

Три недели назад в Варшаве я поехал с Рудницким к генералам, что советовались, как бы получше сдать столицу, и слагали в головах правильные фразы для биографий в энциклопедиях и биографических словарях, видать, последний самолет доставил приказы аж из Румынии от Рыдза, а потом снова в полк, на Горскую, между торчащими елками зениток и под взглядами наводчиков и столбами прожекторов, у нас штатная перестрелка, и тут появляется идея, сколько-то оружия закопать, я подсказываю: сестры-назаретанки. Красиво, как в романе: оружие и в монастыре. Зарыть. Правда, это еще и школа, а это уже чуть меньше похоже на роман, ведь разве уместно подвергать риску жизнь учениц?

Но каким-то образом назаретанки остаются. Ксык, мелкий, уса-тый Ксык и слышать не хочет, как это, зарывать оружие, он умрет с оружием, но не зарует, но с остальными мы договариваемся, Рудницкому ни слова, да и зачем.

Находим ящик, довольно приличный, жестяной, облуживаем его, долгие дискуссии, что прятать? Для войны, для заговора, для партизанской борьбы? В итоге гешефт по-краковски, решаем, что винтовок не берем, жалко места, три ручных пулемета, пистолеты разные, у кого что было, несколько *vis'ов*, несколько парабеллумов, в том числе и мой, длинноствол, какой-то испанец и большой тринадцатизарядный браунинг, отбирали так, чтобы все девятки, девяток у нас еще есть несколько коробок, Белецкий настоял, чтобы мы еще пару дамских добавили, шестерок и семерок, что помещаются в кармане и в работе конспиративной весьма полезны, так ему говорили старые боевики из ПОВ, итак, дамских несколько, в основном астры и какие-то вальтеры, но патронов мало, всего, может, сотня шестого и седьмого. Кроме того, гранаты. Хотели спрятать еще одно противотанковое, новенькое, его нам дали только при мобилизации, но не лезло в сундук, решили зарыть его рядом, не пакуя, долго не протянет, но, может, хоть немного, обработали ружье смазкой, водонепроницаемый брезент, шпагат, смазка, снова брезент, может, и протянет.

По крайней мере, нам было чем заняться. Пара уланов взялись помочь, поклялись торжественно хранить тайну, ящик запаляли,

клятве никто, естественно, не верил, поэтому выбирали тех, кто так и так возвращался в Теробовлю, за советский кордон, к семьям. На вездеходе доставили к назаретанкам на Черняковскую и пошли говорить с сестрицами. Естественно, сестрицы в восторге, чего-то там поопасались, но так, для проформы, просят уланы такие красивые, галантные, офицерство, во имя Речи Посполитой, разве откажешь Речи Посполитой, сестрицы неровно дышат, как и любая полячка при виде уланского офицера, а как же, и не отказывают, мы роєм яму в саду, сундук в яму, засыпаем, уже ночь, стоим над этой ямой, будто хороним в ней что-то, труп что ли чей, в зеленых мундирах стоим, змейки на шеях выются, португеи, ремни, галуны, кобуры, планшеты, сапоги, шпоры, конфедератки и препуции, всё так, словно опять сорвался какой-то мятеж, какая-то инсurreкция, а мы, польские офицеры, закапываем оружие на будущее.

Собственно, так оно, может, и было, может, эти двадцать и один год Польши были именно таким затяжным мятежом, мы говорим об этом меланхолично, с грустью, Ксыка с нами нет, и он не заглушает нас задорными покриками, и тогда я чувствую, чувствую себя поляком, я был поляком, потом наш полк перебрасывают на Пия XI, потом капитуляция, безумие Ксыка, он хочет взять эскадрон и погнать, геройски атакуя позиции неприятеля. А может, вовсе не хочет, но счел, что следует, чтобы офицер хотел. Рудницкий увещевает его, Ксык рвет воротник мундира, как бы срывая крючки, треплет усы, ротмистр Хохол говорит, что тоже не сложит оружия, будет прорываться с добровольцами в Румынию, на юг, а потом Рудницкий велит мне идти домой, переодеться в гражданское тряпье — это он о моей одежде: тряпье! — и лишь напоследок: Виллеман, я не для того отпускаю пана, чтобы пан перестал быть солдатом, отпускаю пана, чтобы пан мог и далее быть солдатом, биться на другом фронте. Умения пана, пан Виллеман, будут теперь на вес золота, не стоит пану в лагере гнить, да и я, в общем, не собираюсь. Но пан, с его немецким, со знанием врага, пан должен и далее биться за Польшу. Есть, пан полковник. Очень мужское рукопожатие.

И, может, я так и думал тогда, я был тогда очень поляком, разбитым приняла меня польскость, в грязном мундире со звездочками подпоручика, по одной на каждый погон, я думал, что пойду домой и стану биться далее.

Варшава тяжело дышит, с сожженных, разбомбленных заводов Ректификации Варшавской груды угля пересыпают в электростанцию, земля поднимается и опускается в ритме дыхания Варшавы, Вислой подмывает Варшава воспаленный срам.

Откуда, зачем постоянно такие сравнения? Что с тобой, Константин? Я бы хотела обвить тебя руками, хотела бы лелеять тебя как мать, целовать твои соломенные волосы, как мать ни разу не целовала, но нет у меня ни рук, ни рта, могу только идти за тобой.

По улице Доброй, по моей доброй улице снуют вшами пешеходы, велосипедные мандавошки и один клоп пролетки с толстым ку-

чером. Нет трамвая, что обыкновенно ходил по Доброй, моего опелька нет как нет, так что же мне делать? А Варшава велика, пешком всю не обойдешь.

— Пана красивого отвезти куда?

Нечто вроде рикши. Велосипед, спереди два колеса и ящик довольно тарного вида, на вид очень неудобно и довольно опасно, шатко, но мускулы сидящего на седле человека каким-то образом дотолкали экипаж аж досюда.

Корма велосипеда укомплектована тощим водителем в пумпах, в грязных гольфах и жокейке.

— На Черняковскую к назаретанкам, — командуя, будто бы садясь в такси, и лезу в ящик, усаживаюсь как-нибудь, подтянув колени к подбородку, и сажу словно еврей на подводе, не как джентльмен в дилижансе. Но джентльменов давно уж нет.

Поехали, значит.

— Пусть пан хороший почитает себе, — мрачно нудит велосипедист голосом как из канализации. Подает “Официальный вестник столичного города Варшавы”. Ну что, читаю, уперев газету в колени. Извещение о приведении в исполнение смертного приговора водителю автомобиля Каролю Лешневскому. За то, что прятал дома оружие.

— Видишь, пан, немецкие порядки. Двадцать лет назад то же самое было, я молодым был, а помню, пан. У тестя моего светлой памяти брата двоюродного расстреляли. Чужое прибрал, правду сказать, но так чтоб сразу расстреливать? Этим немцам, пан дорогой, расстрелять завсегда любо-дорого.

А значит, мертв Кароль Лешневский, кем бы он ни был, какое мне дело, с чего бы меня трогало то, что он мертв, меня вот что трогает, сообщение об опасности владения оружием и хождения с оружием, но кто здесь будет ходить с оружием?

Миновали стоящих на улице продавцов всего, записочки на стенах, не читаю, кто там кого ищет, мне неинтересно.

— Красивому пану не нужна какая-нибудь сиротка, чтобы заботиться о ней в целях более или менее матримониальных за небольшую плату? — занудил рикша над моим ухом канализационным голосом, сопя и пыхтя и давя на педали.

Я пожал плечами, как будто именно этого мне сейчас не хватало, сироток, чтобы о них заботиться.

— Есть разные, — тянул рикша. — Евреечка одна есть, сладкая как мед, только бери, ципечки, пан милый, что пара персичков. Лишь бы ласкаться ей, такая. Темперамент, пан, вишь. И наших девчонок несколько, брюнетки, блондинки, сам пан увидишь, пан добрый. На часок или на постоянно, как хочешь. Может, отвезти, показать, попробовать?

— На Черняковскую отвези, — отрезал я, весьма гордясь собственным моральным превосходством перед военно-велосипедным мсье Альфонсом.

А тот крутил педали и продолжал вдыхать мне в ухо свою мантру:
— Свежие, здоровые, не какие-то там курвы, пан шеф, сиротки, мама под бомбами убита, папа на фронте погиб, надо позаботиться, о том позаботиться, чтобы оно в заварухе не сгубилось, а какая ко-жа, пан красивый, как пена, ароматные, гладенькие, цицульки, пан, задочки пухленькие.

— Пан, вези, пан, что ты мне тут сводничаешь, мне курв не нужно, хлопот хватает, — буркаю я в конце концов.

— А говядины, пан, не хочешь купить? — засопел он, не сдава-ясь. — Первый класс. Свежатинка. Прямо от коровки. Цимес. Не ка-кая-то там конина, мяско, пан, как до войны.

— Езжай, пан, езжай — отрезал я.

Он наконец замолчал, лишь сопел и досопел от Сольца до Люд-ной, до газгольдеров, и засопел дальше, с Людной на Черняковскую и дальше сопит по Черняковской, хатки из дерева, каменицы из кир-пича, многое сгорело в бомбежках, велосипеды, телеги, на телегах классы выравниваются, как жидкость в сообщающихся сосудах, иму-щество меняет хозяев, семьи меняют квартиры с разбомбленных на норы в подвалах, обок тарахтит немецкий вездеход с одиноким води-телем в круглых очках, конные дрожки, обок дрожек возы на четыр-надцать человек, изнасилованные люди на изнасилованной Черня-ковской, рикша и я.

А на стене сгоревшего дома рваная бумага: объявление о моби-лизации, что лично меня совсем недавно, столетия назад, довело до Теребовли, плакат с гитлеровской лапой и пронзающим ее храб-рым солдатом, “Прочь!”, и рваная афиша, еще довоенная — Летний театр, “Дверца в сердце”. Я даже на это ходил, дважды, раз с Гелей, а другой с Салей.

Я: гражданское лицо. Я: не вставший на учет офицер запаса, побе-жденный Костек, разбитый Костек, Костек, что потерял посылку, что вверила ему Польша, Костек-блядун, Костек-морфинист, Костек пустой внутри, польый Костек, Костек, судорожно сжимающий хруп-кие перильца сидейки рикши, ухо забито сопеньем рикши-сутенера.

Минuem казармы шеволежеров, сюда перевели нас с Пия XI по-сле капитуляции, вся кавалерия стояла в тех в казармах, еще при ору-жии, поскольку капитуляция почетная, все твердили как заклинание, почетна эта капитуляция, наша почетная капитуляция, с честью, че-стно капитулируем, офицеров при холодном оружии в лагеря, в знак того, что сдача почетна, блевать мне хотелось еще тогда, не говоря уже о сейчас.

После почетной капитуляции я получил в казарме свою ленту и медный крестик, в залах офицерских и солдатских страшная пьянка, даже какие-то бабы якобы были, черт знает где найденные, сам-то я их не видел, потом последнее собрание и домой, как велел Рудниц-кий, домой, мундир сгорел, от подгорелых сапог вонь страшная.

И за казармами сразу: заведение сестер-назаретанок. Я вылез, расплатился, одернул пиджак, поправил шляпу и вдруг почувствовал,

как жутко меня знобит, словно бы целый мир меня тряс, но ничего, иду, надо идти.

Во дворе заведения веселая суматоха. Сестрицы в черных хабитах хлопочут, учениц не видать, один попик молодой тоже суматошится, я вхожу уверенным шагом, так надо идти.

— Прошу прощения, пан?.. — заговаривает со мной сестрица в белой вуали, зарделась тотчас под моим взглядом, я тоже тотчас подумал, эх, мол, такое личико пропадает...

Но ерунда это, не до глупостей сейчас, не до них! Сейчас серьезными делами треба заниматься, связать, что порвалось!

— Я должен говорить с сестрой Евлалией, — произнес я очень уверенным тоном, как не я, точнее, как я перед войной, я в желтой олимпии и в Земянской, бонвиван и жуир, не тот, другой я, морфинист, потаскун и предатель, и не третий я, побитого запаса офицер.

Итак, произнес то, что произнес, глядя в глаза этой младшей сестре в белой вуальке. Чайного цвета глазища, ленивые и влажные, немонашеские, дивные глаза, кровь моя даже вскипела немного.

— Это оттого, что мы занятия послезавтра начинаем. Почистить нужно, — сказала она, словно объясняя суету визитом инспектора из самого Ватикана.

Я пожал плечами и так красиво отразился в ее глазах: такой красивый Константин Виллеман.

— Ах, сестра Евлалия, так... Прошу.

Я пошел за сестрицей, пытаюсь нарисовать под хабитом стан и бедра, и чего бы она там ни имела под тем хабитом, но не нарисовал, а она отвела меня в здание и в комнатку, где, как выяснилось, за скромным письменным столом изволила рядить сестра Евлалия, сама будучи возраста неопределенного, с неказистостью сухих, как щепки, старых дев, их не назовешь ни уродливыми, ни красивыми, ни старыми, ни молодыми, они из другого мира, словно бы никогда не были женщинами, полу полумужеского, почетные мужчины в хабитах, с плотью, увядшей в бумазее.

Я вошел в комнату со шляпой в руке, сестрица в белой вуальке встала у меня за спиной.

Сестра Евлалия уставилась на меня, не понимая, чего бы я мог хотеть, не узнавая меня, но вдруг что-то щелкнуло:

— Это пан, — молвила тихо.

— Так точно, сестра, — сказал я, чтобы прозвучало как можно более по-военному.

— В связи с тем, ну... багажом?

— Так точно, сестра.

Сестра Евлалия отослала послушницу отменно натренированным жестом. Сестрица в белой вуали среагировала сноровистой, нежели мои уланы реагировали на мои команды.

— Не слишком ли рано?

Итак, сестра Евлалия не только властна, но и рассудительна. Ибо хорошо понимает, что спустя две недели после капитуляции

ручные пулеметы никому ни на что не могут понадобиться, даже немцам от наших в целом неплохих пулеметов мало толку.

Но, слава Богу, в которого я не верю, ибо я человек современный, власть форм, в какие отливаются межличностные отношения, играет на моей стороне. Монахиня ведь не обвинит офицера во лжи. Она ведь не откажет ему в доступе. Тем более что я не скажу ей, для чего пистолет.

— Национальный интерес, — сказал я. Глупо, но сказал.

— Прошу прощения? — удивилась сестра Евлалия.

— Польша, — завяз я. — Польше в данный момент нужно оружие.

— Уже в данный? И пан совсем один...

— Сестра, прошу, — отрезал я, ибо самое время. — Тайна. Ручаюсь честью польского офицера.

Евлалия молчала, сестра Евлалия. Вероятнее всего, знала, как низко котируется нынче честь польского офицера. Может, уже имела дело с каким-нибудь генералом. Домб-Бернацким, к примеру. Или с другими легионерами. Поэтому она вглядывалась в меня, как будто видела меня насквозь, как будто моя кожа была прозрачной и обнажала пред ней все мое паскудство.

Но форма межличностных отношений сильнее логики подозрений!

— Хорошо, — просто сказала она. Так что надлежало действовать.

— Оружие остается на прежнем месте. Мне требуется лишь вынуть один пистолет из ящика. Таков полученный приказ. Мало того: потребуется помощь в извлечении, открытии и повторном закрытии ящика, поскольку на этом этапе никакими людьми я не располагаю.

Евлалия вглядывалась в мое паскудство, будто глядя в выгребную яму. Она видела: взгляд ее был столь пронзителен, столь силен, что должна была видеть.

Но форма сильнее ее взгляда.

— Поэтому от имени Речи Посполитой прошу сестру о предоставлении помощи при выемке, открытии, повторном закрытии и засыпании ящика.

Молчание. Паскудство. Выгребная яма.

— Речи Посполитой больше нет... — заметила Евлалия.

— Речи Посполитой не может не быть, сестра. Речь Посполита вечна, — ответил я с определенным размахом.

Евлалия кивнула головой, признание в ответ на размах.

— Но раскопки эти видимо ночью, не так ли?

— Так точно, сестра. Ночью.

— Значит, пан придет тогда или предпочтет здесь подождать?

— Подожду.

— Пожалуйста, располагайтесь в одном из классов и не ходите по коридорам.

Так что я вышел, нажал в коридоре на первую же ручку, сел на учительский стул за письменным столом и принялся ждать.

Я ждал. Минуты через две меня охватили жуткие сомнения, дождусь ли. А потом я представил себе сестру Евлалию, как побегут по городу слухи: один подпоручик девятого уланского пришел и потребовал оружие. Может, продать хочет? Может, немцам сдать?

И слухи множатся, текут из людских ртов в людские уши, затекают к Лурсу, к Шимону, где ресторанное бытие в полном цвету, где сидят не вставшие на учет офицеры, фамилия как, подпоручик Виллеман, пан, ну, с такой фамилией это ведь неудивительно, чему же тут удивляться?..

В каком мире будет жить мой Юрчик, какой мир я уготовляю для него, сам, наравне с Гитлером, Шмиглым и Сталиным?..

Юрчик. Юрчик: зачем папуся так поступает с тобой, зачем льет себе в вены жидкое счастье, жидкие деньги, жидкие злотые, лучше бы он хранил их на твоё будущее, копил, купил золото, закопал в укромном месте, но папуся любимый в свои вены и в вены этой темноволосой курвы вливает жидкую радость и утешение из златоиглого и златогардого шприца, прекрасного шприца.

А в класс, сперва постучавшись, вошла дивноокая и дивноликая сестрица в белой вуали послушницы. Она принесла кусок хлеба и жестяную чашку чая, горячего и даже подслащенного.

Поблагодарив сперва, я поел, затем примостился у стены и решил использовать это время на восстановление сил. Так ведет себя офицер: он оптимизирует время и свои действия.

Стало быть, спим. Я сжался в комок у стены, за партами, стянул с себя пиджак и прикрылся им, как одеялом. Закрываются глаза мои, пропитанные наготой паскудной Саломеи, пропитанные сентябрьскими боями, пропитанные обороной Варшавы и городом изнасилованным и хмурыми стенами жилища Анели.

Кто-то встряхивает меня.

— Пан поручик!

— Под, — отвечаю я машинально.

— Простите? — удивление в голосе сестры Евлалии.

— Подпоручик.

Открываю глаза. За голосом сестры Евлалии стоит сестра Евлалия, презрительно встряхивая мое плечо.

— Уже пора.

Я вскочил. Уже пора. Вспоминаю все: где я и зачем, монастырь закопанное оружие “Полония” Гротгера.

Я потер лицо руками. Озноб. О текучая радость, жидкое мое счастье, где же ты, почему я уже оставлен тобой, куда ты ушло, куда ты удалилось, течешь ли сейчас жилами паскудной Саломеи?

Избавиться должен от мыслей о своей бутылочке, не до них сейчас.

Я вышел за сестрой Евлалией на двор. Две сестрицы с лопатами, один мужчина неочевидной для меня профессии, но из одежды заключаю, что некто вроде дворника или швейцара.

— Копайте, пожалуйста, — распорядилась сестра.

— Никто посторонний сюда не придет? — удостоверяюсь.

— Я отрядила караульных на улицу и при входе, если кто-нибудь появится, нас предупредят.

Одно хорошо, что темно, не видать, как я от стыда сгораю. Офицер из меня.

О нет, не так, Константин, не стоит так тратить нервы на себя самого, терзаться не стоит, сейчас важно достать из ящика пистолет и с его помощью вернуть посылку. Это важнее всего.

Лопаты заскрежетали по стали, показалась крышка, сестра Евлалия скомандовала, и сестрицы и по-пролетарски одетый пролетарий приступили к открыванию запаянной крышки с помощью долота, молотков и лома.

Я стоял рядом, просто стоял, даже рук не марал.

Ящик ощерился амбразурой. Я сошел вниз, стараясь не запачкать брючины, из металлолома на нашем депозите выдрал маленький браунинг, шестерку, проверил магазин, он был полон. Шесть пуль. Едва ли мне нужно больше, но для уверенности я выдрал еще пять из магазина другой шестерки, каковую затем бросил обратно в ящик, без пуль.

Положил пистолет в карман жилета, пять запасных патронов в другой, и выдрался из ямы, даже не слишком сильно изгваздавшись.

— Готово, — сказал я громким голосом.

— Как нам теперь закрыть ящик? — спросила Евлалия.

— У вас нет паяльной лампы? — глупо удивился я.

— Откуда же?..

Я пробежал взглядом по лицам сгрудившихся у ящика аргуса и двух утомленных копанием сестриц, снова посмотрел на сестру Евлалию.

— Полагаю, сестре как-нибудь удастся обеспечить сохранность нашего депозита, — я улыбнулся уверенно. — А пока что с Богом! Во славу отчизны!

И ушел, оставив сестру с проблемой, решению которой я не мог содействовать, не имея ни сил, ни времени, ни средств.

Вышел на Черняковскую. Похлопывая себя по жилету, я чувствовал радость и силу, навеянные тем, что я вооружен. Вооруженный человек целиком и полностью отличен от человека без оружия.

Неважно, что напротив, в кавалерийских казармах, полно немцев. Мне их и видеть не надо, знаю, что гнездятся там, победоносные солдаты и офицеры, может, запарковали у наших, а прежде царских построек свои танки, большие и малые, пушки и броневики, пес их дери, в моем кармане игрушка шестого калибра, одиннадцать маленьких смертей при стрельбе с близкой дистанции, и я Константин Виллеман, сын графа фон Штрахвица и безумной Катажины Виллеман, что вот уже семь лет не засыпает, так утверждал Стах из Варты перед самой войной, когда мы пошли раз обедать к Шимону, мать очень хотела, чтобы мы встретились, и я встретил-

ся, но это был безумец. В любом случае, он утверждал, что моя мать не встает с кресла, не спит, не испражняется — да, он поведал мне о работе кишок моей матери, — поскольку не ест и не пьет, лишь курит сигареты и свои травы, и овладела тайным знанием индийских йогов, то есть сидит, курит травы и думает о Польше, или, как говорил Стах, думает Польшу.

А я ее сын, порождение ее чрева, чрева безумной старухи Катажины Виллеман.

И в моем кармане игрушка, и этой игрушкой я верну то, что утерял.

А сейчас комендантский час и полно немцев в округе. Я быстрым шагом дошел до Селецкого парка, спрятался где-то среди особняков, доходных домов и огородов, недалеко отсюда велись бои за Варшаву и ровно здесь Варшаву проиграли, но бой будет продолжен, пистолет в кармане. В конце концов я остановился, затаился в подворотне каменицы на Кашубской и продолжил думать над продолжением плана.

До Лешно, до Средместья, полгорода дороги. Комендантский час, риск слишком велик, а с оружием в кармане рискую быть расстрелянным. Дом рядом, с километр, может, но сегодня я домой вернуться не могу. Что делать? Не ночевать же в подворотне, да и к сестрам, от которых бежал в стыде и как можно скорее, я не вернусь, что же предпринять? Передо мной перекошенная вывеска: бритье 25, стрижка 50. Куда делись бритье, стрижка? Насколько я одинок в городе, который у меня отобрали?

Константин, бедный безвольный Константин. Бессильный Константин. Бесславный.

Я помню тебя, мальчуган, как ты впервые ехал в Варшаву с твоей пятидесятилетней матерью, ехал в темной, тесноватой одежде, и вы упражняли выговор и звонкое “р”, чтобы не говорить как немцы. Кордегардия. Карл у Клары украл кораллы. Твой отец мертв, так что ты уже не немец, тебя не зовут Штрахвиц, ты поляк и носишь свою фамилию, пускай она и звучит по-немецки, но это польская фамилия, ведь ее носят полячка и маленький поляк — ты, Костюшик. Она говорила с тобой, и она являлась всем твоим миром, такая высокая, худая, строгая и мудрая до бесконечности, и ты был тогда рассудительным ребенком, так что, возможно, ожидал, что эта ее мудрость перестанет давить на тебя когда-нибудь, когда повзрослеешь.

Оказалось, что не перестала, мудрость и безумие твоей семидесятилетней матери, сросшейся с креслом, этого индейского вождя, по-прежнему творят из тебя десятилетку, малого мальчишечку, смешного, слабого, глупого и послушного ей.

И ты как раз такой, мой бедный Костюшик, когда стоишь в подворотне, не зная, что с собой сделать. Я чувю твой страх, когда ты трезвеешь, когда опиум уходит из твоего тела и когда ты медленно принимаешь хоть каплю правды о себе, любовь моя, ты понимаешь. С пистолетиком в кармане жилета, слаб, безволен. Уже забыл?

Ты весь сентябрь прятался под гнило-зеленым мундиром, под рога-
тивкой и под французским шлемом, мог и забыть.

Пойдем со мной, ангел, пойдем, я тебя поведу. Идем.

У тебя же слезы на глазах, мальчуган, так что идем, я тебя пове-
ду, Костюшик, идем. Пойдем на Черняковскую. Не бойся, Костю-
шик, не бойся. Я тебя поведу.

Утирает слезы, шмыгает носом, как маленький-маленький маль-
чик, и мы выходим, я веду его, почти тащу, идем к Висле, в сторону
Черняковской, улицы пусты, совершенно пусты, света тоже почти
нигде нет, темно, Костек даже про оружие в жилетном кармане за-
был, идет, не думая ни о чем, доверился мне.

Дошли до Черняковской. Здесь мы подождем, Костюшик. Ста-
ло быть, ждем. Стоит, доверяет мне, совершенно мне доверяет.

Слышит шум идущей от Чернякова машины, и уже через миг
подъезжает вандерер, крашенный бурой армейской краской в бу-
рые пятна, фары шурются узкими полосками, затемнение.

Костюшик делает то, что я велю.

Помаши им, Костюшик. Машет. Они не тормозят. Загороди им
путь. Загораживает. Они встают. Рассматриваем их сквозь стекло:
два немца в форме, но не армия, без орлов на груди, сразу видно.
Полиция какая-то, тайная или явная, или другой вид СС. Костю-
шик делает то, что я велю.

Стучит по стеклу. Избитое лицо скрыто тьмой, затенено поля-
ми шляпы.

— Что? — рычит немец, рукояткой опуская стекло сантиметров
на пять вниз.

— Bringt mich jetzt in die Leszno Straße, aber schnell¹, — говорит
Костюшик на своем безупречном немецком с легким венским ак-
центом, поскольку в семействе отца венский выговор считался
наиболее совершенным, и гувернантка для отпрыска морганатиче-
ского союза была выписана из Вены. А все-таки боится ужасно: до-
кументы у него есть, но они польские. Офицер запаса, не вставший
на учет. Пистолет в кармане. Ведь стоит спросить хоть какую-то бу-
магу, смекнуть, что поляк, и расстреляют на месте, ничего не по-
может.

Не доверяет мне Костюшик. Боится. Или, напротив, доверяет,
раз, невзирая на страх, делает то, что я велю?

Немцы в машине смотрят друг на друга. Сержанты, унтерá, при-
выкли к тому, что им отдают команды твердым и решительным то-
ном. Хорошо одетый человек, говорит по-немецки будто венец, да
и в себе уверен как, навскидку, полковник, самое малое.

Молодой блондин с пассажирского сиденья выходит из маши-
ны, втискивается на задний диванчик, водитель указывает Кон-
стантину на место рядом с ним.

1. Доставьте меня на улицу Лешно, только быстро (нем.).

— Ich bitte Sie oftmals um Entschuldigung, aber wer sind Sie überhaupt?¹ — спрашивает немец за рулем, но спрашивает так, что даже Константин наконец успокаивается, это не вопрос, существенным образом испытывающий личность пассажира, это скорее вопрос, предупреждающий обвинение в избыточной наивности. Это вопрос часового, требующего пароль от прибывшего генерала не затем, что он его не узнаёт, но именно в силу того, что, узнав старшего офицера, желает щегольнуть своим рвением.

И Костюшик, мой Костюшик вновь делает то, что я ему велю. Ледяным взором он окидывает водителя, исподлобья, вполглаза, взгляд возвращается к улице, он ворчит:

— Das ist ein Staatsgeheimnis!²

И больше не отрывает глаз от лобового стекла, вместо этого вытягивает из кармана сигарету, разрешения, само собой, не спрашивая. Они не смеют спросить о разбитом лице. А, может, и не заметили в темноте. Блондинчик с заднего сиденья уже поспешает с огнем, водитель шурует рычагом коробки передач, едут.

А я не знаю, поверить ли. Не в происходящее, поскольку вижу, как оно происходит, понимаю механизм. Не могу поверить, что стало меня на такую лихость.

Где сыскал я в себе такую храбрость, швырнуть жизнь на чашу весов, пистолетик в кармане, дорога в петлю?

Извне меня та храбрость, снаружи. Однако едем.

Немцы Варшавы не знали, и я выдавал короткие указания, сюда свернуть, теперь сюда, Иерусалимские, Желязна, Лешно, суд есть, номер бо есть. Мы ехали в молчании и в сигаретном дыме.

Я велел на минуту остановиться, смерил каменицу через окно взглядом, немцы терпеливо ждали. Четыре этажа, цоколь, на цокольном этаже какая-то кондитерская, где я никогда не был, а в ней, вероятно, судебные неудачи подслащивались эклерами с кофе, а успехи обмывались коньяком. В ряде окон горел свет, видимо, электричество уже есть.

Вернее: суд здесь был, потому что какие теперь суды?

Впрочем, будут, пожалуй, нормальные, так что эклеры, кофе и коньяк будут, как и раньше.

Я велел ехать дальше, мы проехали Сольну, и лишь тогда я велел парковаться возле кинотеатра Femina. Вышел, не прощаясь, хлопнул дверью, повелительно махнул рукой: Los! Los!³

И они уехали. Перед тем, как началась война, я был на открытии этой Фемины в новой каменице в стиле модерн, а теперь что?

Остался на улице Лешно с пистолетиком в кармане и с сердцем в груди, что почти перестало биться, и с кишечником, сжавшимся, свернувшимся в жуткий узел.

1. Тысячу извинений, но кто вы вообще такой? (Нем.)

2. Это государственная тайна! (Нем.)

3. Давай! Давай! (Нем.)

И что теперь, когда я уже добрался, что теперь? Что могу сделать-то?

Я шел вниз по улице Лешно и не знал, с чего начать, добрый Боже-в-которого-я-не-верю, подскажешь мне что-либо ты или все твои дьяволы, что делать, что делать?

Кишки внезапно ударили жутким жаром, я знаю уже, что не выдержу, и влеваю в первые попавшиеся ворота. Хотел было справиться нужду у ворот, но толкнул их — они были открыты, так бросил их не-радивый дворник. Может, из-за войны, а может, сбежал? Так что влеваю во двор каменицы с номером 52, прячусь в темноте за дощатой будкой и борюсь, изо всех сил сжавши ягодицы, с шестью пуговицами на подтяжках, затем с крючками и очередными пуговицами брюк, наконец мне удалось расстегнуть и спустить брюки вместе с подштанниками, внутри у меня кипело, но я еще подумал, что замараю пиджак, так что снял его и повесил на гвоздь, торчавший из досок, в последний миг я успел присесть и расслабить кишечник. Не имея выбора, потерся носовым платком, выкинул его в угол и, одевшись вновь, с отвращением обнаружил, что, спасая пиджак, замарал себе брюки.

А говоря точнее, обосрал себе штаны.

Мать натерла бы мне рот мылом за такое слово, но именно это я и сделал — обосрал штаны. Несильно, но все же, мокрым говном, брызнувшим из жопы. Обосрано. Говном.

Грязные слова у меня на губах, могут ли они как-то помочь с тем, что я замарался, нет, конечно, не могут. Платок был уже бесполезен, тем более что упал в то, что от меня оставалось во дворе многоквартирного дома по улице Лешно, 52.

Я достал спички, зажег, разглядел окружение: ничего полезного.

— А пан чего тут срьшь, это что, уборная? — возопил из окна мужской голос.

Я почувствовал себя не только запачканным, но и скомпрометированным в этой пачкотне, пристыженным, раскрытым.

Нападай, Константин, не то бежать тебе, как школьнику, застигнутому на онанизме. Ты должен нападать, любовь моя, должен!

— Schnauze halten, du Schwein! — крикнул я в ответ. — Ich habe den Krieg gewonnen, also werde ich auch scheißen, wo es mir passt!¹

Громыхнул закрывшийся ставень.

Вот, значит, стою ночью, я, Константин Виллеман, во дворе доходного дома, улица Лешно, 52, стою, офицер запаса, рантье и бонвиван, стою с разбитой щекой в обосранных брюках из английского твида, и строю из себя немца-триумфатора, могущего срать, где ему нравится.

В принципе, я сейчас чувствовал себя в безопасности здесь, немца ведь не тронут, и потому я вынул из нагрудного кармана

1. Заткнись, скотина! ... Я выиграл войну, значит, и срать буду, где мне удобно! (Нем.)

шелковый платочек и тер им брюки как безумный, чтобы под конец кинуть его туда, где уже лежал носовой платок.

Такое ощущение, будто я целиком измаран в дерьме, будто даже в ноздрах и под ногтями у меня было дерьмо. Кстати, под ногтями могло и оказаться, рук-то здесь негде было вымыть.

Я вышел обратно на улицу и двинулся дальше, вонючий и, в принципе, несколько позабавленный всей ситуацией, без плана и замысла, что делать дальше.

Миновал скорую помощь.

Встал перед домом по адресу Лешно, 60. Витрина кафе все еще заклеена полосками бумаги, может, хозяин сбежал, в любом случае место выглядело закрытым.

Проверил: ворота заперты. Что делать, что делать?

Все просто!

Принялся ломиться в дверь, как на пожар. Через миг донесся издали голос сторожа.

— Иду уже, холера ясная, горит что ли, знаете, люди, который час?

На меня зыркнуло большое, квадратное око глазка. Встаю к нему не избитой щекой.

— Кто ты, пан, до холеры? — спросил аргус.

— Aufmachen, Polizei!¹ — прошипел я. Ох, как испугался подлец сразу!

Но отчего я подумал, что подлец? Подлая у него была рожа, разве недостаточно? У меня тоже рожа подлая, в синяках.

Ворота передо мной ощерились амбразурой.

— Прошу, пожалуйста... — униженно шептал сторож.

Я лишь махнул рукой и двинулся вверх по лестнице, запах дерьма за мной. Минувя четвертый этаж, я преисполнился абсолютной решимости, абсолютной уверенности в себе, не зная однако вовсе, что собираюсь делать.

Достал из кармана браунинг, передернул затвор, заряд из магазина прыгнул в патронник. Дверь номер тринадцать.

Прикладываю ухо. Тишина. Тихо, как только смог, нажал на ручку. Дверь заперта.

Думаю: толстый Туманович не расслышал порядком мой голос, и вряд ли сочтет, что я говорю по-немецки, как коренной венец. Саломея ему этого не могла сказать, сие Саломее неведомо, никогда при ней по-немецки не говорил.

Итак, коли сегодня уже три раза сработало, может сработать и в четвертый. Глазка в дверях нет, и славно.

Переложил игрушку в левую ладонь, правой нащупал кастет в кармане пиджака, вложил в него пальцы. Надеюсь, обойдется без пальбы.

1. Открывай, полиция! (Нем.)

А, может, все-таки нет? Может, не искушать все-таки судьбу, не изображать ни eine öffentliche, ни eine geheime Polizei¹, но напасть врасплох, застать его в постели, дать в лоб...

Дверь выглядела хлипкой, поэтому я решил ее высадить. Один замок, выглядящий скорее убого, на высоте ручки.

Ты должен быть быстрым, Костюшик. Ты должен быть очень быстрым. Не хочешь стрелять. Стрельба из пистолета ночью в самом центре Варшавы это не лучшая идея. Не стреляй, Костюшик, слушай свою единственную подругу, помни, не жми на курок. Пусть пистолет будет просто угрозой.

Я должен быть очень быстрым. Как блицкриг. Иначе не выйдет. Потому делаю шаг назад.

В конце концов, не первая высаженная дверь в жизни.

Когда обнаружилось, что джентльмен не живет настоящей жизнью, и вошло в моду водиться с апашами с Керцеляка, пить дешевый бимбер по еврейским кнайпам в Налевках и биться на улицах с оэнэровцами из хороших домов, плечом к плечу с парнями с Милой, с Доброй, как бы назло, наперекор тестю-эндеку, который и сам носил щербец Храброго на лацкане, то интерес к политике не просыпался вовсе, социализм шел себе в задницу, как и все остальное, попросту импонировала эта левая, гангстерская среда, нравилась тяжесть в кармане: кастета, ножа, браунинга...

Я любил лупить эндеков, пить с ворами-евреями и играть с ними в карты, ходить с поляками-апашами к шлюхам и на танго и даже на дело, хотя туда меня брали разве что шофером, меня — а может, больше мой желтый опелек, больше, чем я, был им нужен.

Но двери выносились, одному-другому оэнэровцу зубы выбивались на раз, до того, как рыбий хер сиганет с кровати. Так было.

Я знаю, как пнуть, чтобы открыть. Так что ж я все еще стою?

Что ж не пинаю из всех сил в замок, он точно лопнет, дверь убогая, хилая...

Ты должен, Костек. Должен, Костюшик, дорогой мой, должен, у тебя нет выхода, не бойся. Я буду стоять за тобой, не переживай. Стану тебя беречь.

Пинок. Дверь лопается. Легко. Я внутри. Темно, но глаза уже привыкли. Прихожая, дождевик на гвозде. Кухня. В комнате кто-то сигает с кровати. Я уже вижу его. Толстый. Это он.

Щупает, где очки.

— Стой, стрелять буду! — кричу.

— Сукин сын!.. — слышу в ответ. Он больше не ищет очки, несется на меня.

Стреляю, в живот. Попадаю в бок, но это не сдерживает его, шесть калибр малый, толстяк большой. Стреляю во второй раз,

1. Обычная... тайная полиция (нем.).

почти вслепую, в белое пятно нижней рубашки, попадаю, он взревел и опрокинулся наземь.

— Не шевелись! — рычу я.

Он стонал, пытаясь встать, поэтому я с размаху пробил ногой в голову, будто мяч пнул. Хрупнули кости, он перекатился на бок и немного на спину. Умолк.

Я чертыхнулся, зачем он мне мертвый!..

Но подойти боялся. Ведь даже раненый, если он схватит этими руками могучими, стиснет... При умывальнике стоял кувшин с водой, плеснул в него. Он открыл глаза.

— Портфель, что ты украл у меня, лайдак! — рявкнул я.

— Пердоль мать твою в ухо, — шипит окровавленным ртом.

— Где мой портфель, сукин сын? — вновь рычу, стоя над ним с пистолетом. — Говори, если жизнь дорога.

— Отрежу у тебя хер и дам твоей жене на ужин, — отвечает.

И внезапно я как без рук. Вот он лежит, дважды подстреленный, у моих ног, в моей власти, беспомощный, окровавленный, и не боится меня ни капли. Чем я могу грозить ему, если он ничего не боится?

Сейчас ты должен быть немцем, Константин. Чтобы найти портфель, спасти себя как поляка, ты должен стать немцем. Верь мне, Константин, я твой единственный друг.

Каetan Туманович смеется на полу, дышит тяжело, встать не пробует, не боится, ни на что не надеется, не пытается защищаться, ничего не ждет. Лежит себе, смеется.

Будь немцем.

Мне пять лет. Отцу двадцать один и у него серо-зеленый мундир, два ряда пуговиц, квадратная пластинка уланского шако. Я сижу на его коленях, в коротких брючках, медная рукоять сабли у самых моих коленок.

У отца в руке листок, он читает его молитвенно дрожащим голосом:

— Wie vor tausend Jahren die Hunnen unter ihrem König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen läßt, so möge der Name Deutscher in China auf 1000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, daß es niemals wieder ein Chinese wagt, einen Deutschen scheel anzusehen!¹

Мать равнодушно поглядывает на нас, сидя в кресле, что происходит между ними, между моей матерью и моим отцом, любовь ли это между ними?

1. Как тысячи лет тому назад гунны под предводительством их короля Атиллы сделали себе имя, которое до сих пор в преданиях и сказаниях вызывает страх, так и имя немцев спустя тысячу лет после вас должно звучать так, чтобы ни один китаец не осмелился косо посмотреть на немца! (Нем.)

И отец объясняет: речь сию произнес четырнадцать лет назад Его Императорское Величество. Перед солдатами, едущими в Китай.

Знает ли мать Константина, что те самые слова, которые она сейчас с отвращением слушает, слушал и ее первый любовник, Эфик, слушал в пикельхаубе и с винтовкой на плече? Не знает, откуда бы ей знать, она всего лишь безумная катовицкая мещанка, что вышла замуж за немецкого аристократа моложе себя на двадцать четыре года, вызвав тем самым ein Skandal vom gesamtdeutschen Rang und Bedeutung¹.

Итак, не знает, но ее незнание не имеет здесь значения. Важно, что слова в ее ушах звучат так, как звучали они в ушах Эфика, а между любовниками возникают узы, которых не прервут ни время, ни смерть, и вот император Вильгельм и молодой Leutnant уланов Штрахвиц, говоря эти слова, звучат разом с Эфиком и Катажиной Виллеман в едином аккорде, большая терция гуннский речи императора и педагогического акта отца. Не знает этого и Константин, не знал этого тогда, на отцовских коленях, не знает и ныне, стоя над раненым Каetanом Тумановичем. Я ему этого не сказала и думаю, что уже не скажу.

Отец в сером мундире переводит. Чтобы ни один китаец впредь не смел взглянуть ни на одного немца свысока. Чтобы остался по нас в Китае лишь страх и ужас. Так, как мы еще и поныне помним о гуннах. Мы должны быть гуннами.

— Ich gehe jetzt, mein liebes Söhnchen, in den Krieg. Um der französischen Arroganz endlich ein Ende zu setzen. Damit sie für immer Angst vor uns haben, bis in die Ewigkeit².

Таким должен быть, Константин. Ты помнишь немецкие слова отца твоего, но ты помнишь их по-польски, хотя отец ни разу не заговорил с тобой по-польски. Но ты должен быть немцем, должен быть немецким летчиком, стреляющим из пулемета по женщинам, копающим картошку. Ты сам видел этих женщин, рассеченных ровной двойной дорожкой из маленьких воронок, рядом корзина для картофеля тоже рассечена, пустая уже, потому что другие женщины пересыпали добыток тех, рассеченных, себе в корзины, откладывая картофелины с дырками и с брызгами крови.

Юная, несозревшая еще девушка глядит на вас с ненавистью: изнуренная колонна, тропа под Варшавой, первый эскадрон, второй эскадрон, уставшие, тощие кони, уставшие люди, намного более уставшие, нежели кони, кони добрые, армейские, для таких маршей бережены, для таких маршей предназначены, вся нация на таких коней пахала двадцать лет, а на конях седла и напрасные сабли под тебеньками, а на тачанках тяжелые пулеметы, а за ними самокатчики,

1. Скандал общенемецкого ранга и значения (нем.).

2. Я сейчас, сыночек мой любимый, иду на войну. Чтобы покончить наконец с французским зазнайством. Чтобы они всегда нас боялись, во веки вечные (нем.).

бофорсы в упряжках, третий эскадрон, четвертый эскадрон, в нем я, глядим друг другу в глаза, я и та девушка над расстрелянной мамкой, и ненавидит меня это дитя сильнее, чем того летучего немца, что уже сел где-то на дальнем аэродроме и попивает кофе и коньячок или шнапс пьет, а руки в индийском танце пилотов излагают камрадам военные истории: в бреющем полете так, бах-бах-бах так, рука руку моет, он меня так, я с большого через крыло так, бах-бах-бах. О стрельбе по бабам в поле едва ли изложит. Знал ли, в кого он стреляет?

Знал. А может, не знал.

Но сейчас ты, Костюшик, должен быть как тот немецкий летчик, что знал, в кого он стреляет. Или как английский охранник в концентрационном лагере для буров.

Или таким ты должен быть, каким четыре года спустя будет многоглазый маршал Харрис, маршал о многих телах, спрятанных, как раки-отшельники, в саванах самолетов, маршал бомбежек Дрездена, тысячи его глаз английских, польских, канадских, любых глаз в бомбардирских прицелах, тысячи его пальцев на гашетках, тысячи бомб, высранных из бомбовых люков, пылающие стены, улицы и пылающая река.

Или как немецкий охранник в концлагере, которого нет еще куда, но оберфюрер СС Арпад Виганд именно сейчас стоит где-то на берегу Вислы, на берегу Солы и думает, вот здесь было бы хорошо. Тут было бы красиво, умно, экономично и логистично.

Или как тот, кладущий черную метку на японские города из бумаги. Или как тот, меряющий: кто мечом лишит скорее шеренгу коленопреклоненных их китайских голов?

Или как Юлий Цезарь с его мертвыми галлами, его в притяжательном смысле, их смерть и мертвые тела принадлежат ему, как надувная лягушка принадлежит мальчику, который ее надул, она есть его, когда он так забавно плавает по поверхности пруда.

Как мать убивает собственное дитя: душа его плодом или раздвигая в клинике ноги, Костичек, или отдавая голого младенца лесу, как львица отдает львенка своему новому льву на съедение, тысяча и пять тысяч лет тому, и вчера, и послезавтра, и через тысячу лет. Плача или с каменным лицом. С лицом штурма Праги. Как всадник-лисовчик, зорящий округу после битвы при Гуменне, топчет мужчин, женщин, детей и собак. Особенно собак.

Ты должен видеть их сабли, лезвия, маятниками свисающие с запястий, бьющиеся о колени и о бока лошадей, должен видеть, Костичек, как он едет рысью, скачет и заряжает кручицу, а впереди тает расстояние между его подкованными копытами и босыми пятками тех, кто от него бежит, а под конец уже так, что кручица в кобуре, сабля прыгает с темляка в ладонь, и засохшая кровь смывается кровью свежей, девичьей.

Ты должен быть как зубы и когти человеков, как оружие человеков, как меч, пика, винтовка и бомба, ведь именно этим является человек.

Ты должен быть человеческим, Костичек. Должен быть человеком. Послушай меня, послушайся своей единственной подруги и не бойся своей человечности, Костичек. Будь человеком.

Тучное тело на полу словно кит на пляже, такой же тихий и равнодушный, он тебя не боится, поскольку не знает, на что ты способен, так что покажи ему, на что способен категорический немец. Будь сейчас немцем, Константин. Будь человеком.

На колени встает Константин Виллеман над Каетаном Тумановичем. Склоняется к нему, кулак железный, песть огненная.

Ты человек, Костичек. Будь человеком.

Каетан Туманович воет. Долго длится этот вой. Каменное лицо Константина что лица матерей, бросающих в лесу голых младенцев. В лесу славянском. В лесу кельтском. В лесу германском, илирийском, фракийском, эллинском, романском. Я вижу эти лица, Костичек их не видит, но я вижу.

В вое Каетана Тумановича мне предстает его жизнь, как кинообраз, наложенный проектором на дымы воспламененного города.

Проявляется Львов и дом польско-армянский, дом, из которого Туманович сбегает, потому как в четырнадцать лет уже понимает, что ненавидит мещанство.

Россия проявляется, великая, прекрасная, замечательная Россия, полная богатств, за которыми надо лишь нагнуться, Россия, исполненная шанса, Россия, цветущая богатством, Россия родня Америке, для подобных Тумановичу Иркутск, Владивосток, что твои полисы, растущие из американских прерий.

Затем революция, значит, бегство, значит, возвращение, поезд чешский, золото куда надо зашитое, Вильна, мир ножа и ствола — нагана, бонанза, мир пограничья и кокаина, офицеров неглубокой разведки и контрабандистов, внезапное богатство и жесткое сердце Каетана, еще более жесткий кулак, любовь к жидовской курве и все, что легко вписать в биографию авантюриста первой половины двадцатого века в Центральной и Восточной Европе, все это предстает мне в этом вое как в дыму, проявляя также причины, по которым Каетан Туманович сидел за одним столом с немецким офицером в квартире на Доброй, четко проецируя его отношения с тем офицером с водянистыми глазами и его отношения с прекрасной курвой на Повисле, но для одной меня, не для Константина.

Константин теперь человек, и он стремится к цели.

А Каетан Туманович воет, когда Константин карманным ножом в перламутровом окладе вырезает ему глаз. Он продолжает выть, когда глаз уже вырезан. И так завершается его жизнь, а ведь мог бы занять место Константина в моем сердце, мог бы оказаться под моей опекой, моей любовью питаться мог бы, но это Константин сидит на нем, а не он на Константине. Ему не хватало человечности. Возможно, повидал в своей жизни довольно трупов, не хотел видеть еще один, послушал прекрасную курву с доброй улицы Доброй, прекрасную шлюху с Повисле, даровал фразеру жизнь.

— Хочешь потерять другой? — спрашивает уже не фраер, спрашивает Константин, сидя верхом на фраере.

Что ты коснулся, Костичек, вырезав у него глаз? Не коснулся ли ты того, кем или чем ты есть на самом деле, или, наоборот, не отдалился ли чересчур от себя самого? Или, может, ты прикоснулся к человечеству, чего сам не знаешь и чего не признаешь, ибо, хоть ты и мнишь себя циником, ты не сумел бы принять эту простую правду о человеке, эта простая правда мерзит тебе, Костичек. Когда бы ты дожид до тех времен, тебе мерзили бы люди с фотографий из Освенцима, правда? Однако не доживешь.

Тебе мерзил бы пилот, покидающий борт черного бомбардировщика, пилот, не сознающий того, что сотворил, но это не важно, сознает человек или не сознает, неважно. Тебе мерзил бы советский воин в кожаном фартуке, простреливающий неудачливые и дурные польские бóшки, мерзил бы вид шкварок, оставшихся от детей после бомбежек Дрездена, но ты не доживешь.

Спрашиваю. Я.

— Где мой портфель? — повторяю вопрос.

Каetan Туманович отвечает.

— А пакет из портфеля?

Вновь отвечает.

А я огненным кулаком ставлю ему на лоб круглый поцелуй.

И сразу же ругнулся на чем свет стоит: а вдруг солгал? Дурак, дурак, дурак! Бежать, щупать, паника. Игрушка не так шумна, как большие пистолеты, но выстрел есть выстрел.

Побежал в комнату, где он спал. Полез под кровать. Есть, есть! Дальше: лезу за кухонную плиту. Есть!

Пакет, который я должен был отдать Лубеньской. Бумага, бечевки взрезаны. Внутри паспорта. Республика Польша. Вытащил один: пустые бланки. Значит, не деньги.

Каetan Туманович мертв и неподвижен. Пятно крови на полу, на лице один глаз, большая красная дыра и маленькая красная дырочка во лбу, будто тилака.

Тилака?

Арийцы, завоевав Индию, пускай и деградировали в смысле расы, сохранили тем не менее чистый дух нашей пракультуры, понимаешь, Костичек?

Почему именно сейчас я слышу ее голос? Мамо? Mutti?

Стряхиваю с себя ее и ее арийцев, Индию, кшатриев и прародину. Urheimat. Я возвращаюсь на улицу Лешно, к жизни, которая есть.

То есть, потеряй я посылку, меня бы не обвинили в краже. Или все-таки?.. Ведь паспорта мог бы, в конце концов, обменять на морфий...

Нет-нет-нет. Выбрось эту мысль из головы, Костичек!

Но спросят: зачем пакет открыт? Тогда ответишь зачем, ответишь сильно, и они признают этот ответ, им придется признать, они склонят головы перед этим ответом.

Выбегая с портфелем в руке, я споткнулся о тело Каетана Тумановича, упал, своим лицом к его дырявому лицу.

Боже, человек, что ты только что сделал? Спрашиваю сам себя. Вдруг ясность. Что сделал? Мгновением раньше я сидел верхом на раненом человеке, ничего не боявшемся, и знал, что должен достать его там, где он не меня ожидает, сделать нечто, чего он будет бояться, доказать, что я могу. И я доказал, мой карманный нож окровавлен.

Меня вытошнило. Я разрыдался.

Не плачь, Костичек, не плачь больше, дорогой мой, любимый мой, единственный мой. Не гнушайся человека в себе, Костичек.

Я что, вправду сделал то, что сделал? Кто правил моей рукой, узкое лезвие касается красного края слизистой, скользит под веко, откуда столько сил, Туманович-то дергается, но я сжимаю левой рукой его череп, ему не ворохнуться, а узкое лезвие кружит, скребет кость и рвет хрупкие волокна, откуда такая сила, что он не ворохнулся подо мной?

Меня продолжает рвать, пустой желудок дергается и скручивается, моя блевотина мешается с кровью Тумановича.

Встань, Костичек. Встань и иди.

Я вышел из квартиры, по лестнице вниз. Пара дверей нервно захлопнулись, но лицо мое, скрытое полями шляпы, никто видеть не мог. Мир кувырком.

Внизу сторож.

— So endet es, wenn sich jemand mit uns anlegt, blöde Polacken¹, — прорычал я немецким голосом.

Чудесно, Костичек, чудесно ты с этим справился. Дважды послужил Польше: труп без глаза и с пробитой башкой падет на немец, они виновны в этой мучительной смерти.

Глава V

Я вышел на улицу Лешно, портфель в кулаке, пакет в портфеле, осталось только дойти до площади Спасителя, и все будет хорошо.

А я вижу дальше, Костичек. Вижу канаты на стальных перилах балкона в той самой каменице, пенька натянута, что струна контрабаса, натянута тяжестью тел, вижу улицу, поделенную пополам, вы на нечетной стороне, вижу, и четную сторону вижу. Не сегодня, нет. Но их смерть в одной пробирке со смертью твоей жертвы.

Стою на улице. Стоял на улице. Он стоит на улице. Он стоял. Ничего не видит. Я вижу. На улице Лешно. Я. Дождь.

Он снял шляпу, на мокрый тротуар стекла струйка воды, скопившейся на полях и в углублении на тулье. Он чувствовал, как промокает, милый мой.

1. Вот чем кончается, если кто-то поперет против нас, болваны поляки (нем.).

Я промокаю. Хочется улечься в своей кровати в доме из шоколада, хочется, чтобы единственная женщина, которую я любил и люблю, села у изголовья этой кровати, гладила меня по волосам и тихим, низким голосом говорила мне, что все будет хорошо, хочется, чтобы они исчезли, моя мать, моя Саломея, морфий, война, Польша, и выколотый глаз, и пачка паспортов в моем портфеле.

Ему определенно хочется, чтобы я исчезла, но он просто не в состоянии это понять. Или же боится.

Заплакал. Я заплакал. Плачу. Когда?

Октябрь льется с неба, комендантский час висит в воздухе, пистолетик в кармане тяжел, как смертный приговор через расстрел. Течет вода по булыжнику, течет по улицам, которых я не узнаю. Город погашен. Я спотыкаюсь, падаю.

Выбрось пистолет, Костичек, сейчас он тебе не нужен, брось его в водосток, куда угодно, не носи с собой, это ведь смертный приговор в твоём кармане, Костичек.

Не выброшу.

Тебя же ни от кого эта игрушка не защитит, ты даже не добил магазина патронами, в немцев шестым калибром стрелять не станешь, да и достаточно ты в немцев настроился, выбрось, Костичек, выбрось.

Не выброшу, потому что не в немцев хочу стрелять, черт меня дери, а в себя, если сойдутся в этом время и неизбежность. Не выброшу.

Теку вдоль улиц, не иду, нога не касается ни мостовой, ни асфальта, теку. Железна: Холодная, Крахмальная и Гжибовская. Теку. Улица пуста. Немецкий автомобиль. Патруль немецкий.

— Halt!

И что теперь, Костичек, что теперь? Говорила: выбрось!

— Хальт? — недобро переспросил я, оборачиваясь. — Хальт?

Двинулся к ним. Два мальчика, не старше двадцати лет, каски, плащи, дождь плывет по каскам.

Винтовки с плеч, солдатики с затворами борются. Пристрелят ведь тебя, идиот, что ты творишь?

Пусть стреляют.

— Стоять! — верещит испуганный солдат. Я вижу: он выстрелил бы, будь он старше, умнее, знай жизнь получше. Либо опять-таки выстрелил бы, будь он моложе, дурнее, знай жизнь похуже. Но этот аккурат настолько глуп и настолько знает жизнь, что не стреляет.

Почему?

— Halte lieber deine Schnauze, du Drecksack! — советую недобро. — Ich bin doch ein Deutscher!¹

Но нет, не выйдет, нет. Право же. Ни во второй раз, ни в третий, ни в четвертый. Не на этот раз. Винтовки на предохранителе,

1. Заткни-ка свою пасть, паршивец! ... Я как-никак немец! (Нем.)

стрелять не будут, но и не отпустят. Один в меня целит черным оком ствола и острым язычком штыка, другой медленно приближается, требует бумаг, вежливо, но решительно:

— Sind Sie Deutscher? Dann zeigen Sie bitte Ihre Kennkarte¹.

Конечно, у меня никакой Kennkarte нет, но я знаю, что такое Kennkarte. Немцам из Рейха уже год как выдали такие, это в полку объясняли мобилизованным, на случай, если бы пришлось иметь дело с гражданскими немцами. Ничего себе. Но я не немец из Рейха, я Константин Виллеман, и у меня только польский паспорт, ничего больше.

Так вот кем он был: Константином Виллеманом с польским паспортом. Но, полагая себя Константином Виллеманом с польским паспортом и более ничем, ошибался: еще он носил смертный приговор в кармане и свое незарегистрированное офицерство.

— Ja, natürlich — говорит Константин и лезет за пазуху, будто за бумажником.

— Момент! — крикнул я ему в ухо.

И неожиданно дернул немецкого солдата, толкнул изо всех сил на второго. Тот поднял штык, чтобы камрад на него не нанизался.

А Константин уже бежал.

Выстрелили вслед раз, другой, но Константин бежал, а я несла его, шевеля его руками, бедрами и коленями, крест его поддерживала, вела его. Стреляли вслед, мазали, бежали, стреляли, мазали, сдались.

Я теку. Я тек вдоль улиц, колеблемый волной дыхания.

“Фильтры”. Кошикова. Не иду по-обычному по Полевой, ушел на аллею Шуха. Немецкие флаги на наших министерствах слепо висят во мраке. Немцы кишат, но днем, а сейчас ночь, и я теку. 6 Августа, и я в порту приписки, бежал я или шел?

Площадь Спасителя. Рубашка липнет к спине, плывет по спине пот, избитое лицо пульсирует. Но вот он я, добежал, и никто не бежал за мной. Твид промок до нитки.

Вот он угол 6 Августа. Смотрю на часы: почти пять утра. Четырнадцатое октября. Ворота каменицы заперты наглухо. На что я рассчитывал? Гляжу вверх: цокольный этаж и четыре ряда окон, а еще выше черное небо и дождь мне в глаза.

Как попасть, не притворяться же немцем. Так что по-обычному, может.

Забарабанил в дверь. Та немного погода приоткрылась, страж высунул в щель свою рябую рожу. Я дал десять золотых. Он впустил.

По лестнице вверх, и я уже у дверей, за которыми ожидали моей посылки.

Стукнул три раза, пауза, затем четыре раза. На лестничной клетке горел свет. Через пару минут двери раскрылись вратами в иной мир, в темноте я увидел глаза.

1. Вы немец? Тогда предъявите, пожалуйста, вашу кенкарту (нем.).

Думаю, вид я имел не особо презентабельный, будучи избитым, промокшим, слегка окровавленным.

— Так, слушаю пана? — спросила тьма. Я колебался.

— Посылку принес...

— Пан, нам здесь не нужно никаких посылок, — ответила тьма со светлыми глазами, ответила твердо и недружелюбно.

— Это квартира пани Лубеньской? — спросил, сконфуженный.

— А какая пану разница, пан? Шел бы ты, пан, отсюда! — сказала тьма очень громко, почти крича.

А потом из этой тьмы о светлых глазах проистек шепот, едва ли не чревоушание, вроде бы даже и не из человеческих губ: “Пароль, пан...”

Да, вспомнил: разумеется. Конспирация. Пароль. Отзыв. Какой был пароль? Моя голова полна насилием. Я дал Саломее пощечину. Я истязал Тумановича.

В меня стреляли. Пароль. Пароль. Пароль. Я дракон. Духовная форма нашей пракультуры в самом чистом виде сохранилась в древнеиндийских эпосах. Молчи, мама.

Тьма молчит.

Пан Казимир, Костичек. Пан Казимир. Понимаешь?

— Могу я видеть пана Казимира? — спрашиваю в озарении.

— Ах, конечно, да, милости прошу.

Тьма меркнет, разгорается светом. Попрошенный, я вошел.

Глаза принадлежали мужчине средних лет. Может, чуть постарше меня. Большой нос, щеки отвислые, глаза заспанные, но при этом странно обаятельные. Одет в пижаму.

— А, это пан... — сказал он, встречая меня. — Прошу садиться и прошу также мне дать переодеться.

Исчез. Я уселся в кресло. Я человека не знал, а он, по-видимому, знал меня хорошо. Знал, что я приду. Что неудивительно, однако чувствуя я себя от этого неловко.

Я долго сидел один. Из соседнего помещения доносились звуки утреннего туалета: чистка зубов, плеск воды, свист во время бритья. Вбивание одеколона в щеки. Некоторое время это продлилось.

Наконец он вернулся в гостиную. Причепуренный: черная кожаная куртка, бриджи, высокие сапоги. Странно. Я встал. Он протянул мне руку. Кожа матовая и сухая от одеколона с запахом лаванды. Очень аккуратно выбрит.

— Я Витковский.

Я пожал его мягкую руку, и, прежде чем я успел представиться моим настоящим именем, Витковский заговорил.

— Называю пану свое настоящее имя. Против правил конспирации. Тебе, пан, не нужно представляться, я все знаю. Здесь мне говорят Инженер, и так, пан, будешь ко мне обращаться. А фамилию свою настоящую называю, чтобы пан смог проникнуться ко мне доверием на основе рекомендаций людей, меня еще до войны знавших. Пани Тереза, само собой, но также и другие. В любом случае, видит пан, мы боремся с немцами, боремся с Советами, никому не дадимся!

— Ах так, — кисло сказал я.

— Да, так, дорогой пан Виллеман, — говорил он, расхаживая пружинящим шагом по комнате, обняв плечи руками.

Мне хорошо известен этот пружинистый шаг и эти руки на плечах! Кто-то когда-то выдумал, что так должен расхаживать brave офицер. Подозреваю, что англичанин какой-нибудь, это они более всех склонны к изобретению подобных образцов, каковыми потом травят всю Европу. Как отравили ее словом “джентльмен”, игрой в гольф или английской флегмой, или пиджаками из твида, как у меня.

А что избобрел англичанин, то с тупым обожанием скопировали немцы — народец настолько без ума от англичан, что специальным эдиктом немецких, в общем-то, королей Англии их можно было бы одарить званием почетных англичан.

Поляки же выучились этому у немцев. Той английскости, какую я и сам копирую: все эти мои твиды, теннис, автомобилизм и дендизм. И футболы.

Но одно дело, когда в зеркале гладко выбритая челюсть, чуб в помаде — тут меня не коробит. Другое дело — brave этот шаг... Всякий офицер в моем полку ходил так браво, особенно Ксык. Ксык этой лихой и пружинящей походкой мог даже в сортир идти и тем же способом ходить под огнем немцев, я по сей день помню.

И он так же ходит, этот Витковский, но я-то по нему вижу: если он и офицер, то в лучшем случае резервист, как я. Гражданский, одним словом.

— Мы боремся с немцами и с Советами, — продолжал Витковский. — Мы организуем разведку. Будем доставлять нашим союзникам сведения из тыла врага.

— Пакет у меня для пана, — сказал я.

— Ах да, пакет, ерунда, давай, пан!

Я полез в портфель, подал.

— Распакованный?

— Пан Витковский. Я знаю, что это не согласуется с *savoir-vivre* и вовсе не отвечает цивилизованным принципам, но война есть война. Я должен знать, что несу. Для доверия пока рановато, откуда же мне было знать, не провокация ли это какая-нибудь?

Слова сами всплыли.

Не сами, Костичек.

Слова сами всплыли, я их просто произнес и уже знал, что это верно, что в точку, что именно о том речь. Так это должно было прозвучать.

Он задумался. Смотрел на меня глазами, в которых я внезапно заметил нечто сверх всего только фанфарона-забияки, каким он казался мне прежде.

Да, Костичек, ты заметил и испугался проницательности этих глаз. Хотела бы я как-нибудь оградить тебя от таких проницательных глаз, от таких глаз, как глаза твоей матери.

Он упорствовал в этой пронизательности. Но внезапно эта задумчивость лопнула, так же внезапно, как и появилась — лопнула и исчезла.

— Пан прав! Пан ведь ни в чем не присягал, никому, пан верно сделал, — выпалил он внезапно, широко улыбаясь.

Вдруг снова смерил меня взглядом, будто в изумлении, будто только что внимание обратил.

— А где это, пан, ты так лицо расцарапал?

Не верь ему, Костичек, не верь, что он только сейчас обратил внимание. Сразу был должен обратить. Не зря он только сейчас спрашивает. Комедиант.

Я пожал плечами. Он принял это за ответ.

— Пойду уже, — сказал я.

— Ни в коем случае, прошу садиться, есть столько всего для обсуждения!

Я сел послушно. Зачем я сел послушно, хотя хотел уйти уже, хотел пойти к своей Геле, положить голову ей на колени, я, доставивший пакет на квартиру пани Лубеньской, которой тут нету вовсе, я, достойный своей Геленки, пускай она гладит меня по голове и пусть я позабуду обо всем.

Зачем же тогда сел?

Затем, что голос Витковского прозвучал подобно голосу твоей матери, драгоценный мой, ты не можешь устоять перед таким голосом, знаешь это не хуже меня. Любовь моя.

Инженер достал бутылку водки, два стакана, налил, мы чокнулись, до дна, мерзкая и теплая, налил по второй, отставил свою на стол. Не садясь.

И стал говорить, все время расхаживая. Левая ладонь на запястье правой. Пальцы правой руки в непрерывном танце, указательный, средний, безымянный и мизинец касаются подушечки большого и в обратном порядке, к указательному и назад. Медленно, в ритме фраз.

Говорил о себе прежде всего.

Он инженер. Он знает Мосцицкого, презентовал ему некое изобретение. Работал в Швейцарии. Вернулся в Польшу. Основал фирму. Изобрел двигатель на произвольном топливе. Ну, почти изобрел, прототип был, но недоработанный.

Он говорил о себе с бесстыдством или, точнее, будто вообще не знал стыда, без той неуклюжей, всегда притворной скромности, с какой хвастуны говорят о себе, преуменьшая свои заслуги, чтобы заставить слушателей уверовать в истинность этих их заслуг. Инженер говорил так, будто излагал чужую биографию: факты, успех того проекта, успех этого, презентация для Мосцицкого катастрофическая, зато фирма потом успешна.

Он хорошо знаком с Сикорским. И с Падеревским, еще с Мórжа, со Швейцарии. Связан с “Двуйкой”. Пан понимает, двойка, правда?

Я понимаю, читывал-таки газеты. Второй отдел, военная разведка. Похоже, немцы завладели всем архивом. Потом оборона Варшавы. Сражался.

Говорит: “Сражался”. А мне до сих пор этого не выговорить. Да разве я сражался? Выкрикивал какие-то приказы, ну, те, что помнились с Грудзёндза, парабеллумом машучи, мы атаковали Сераков или как там называлась та дыра, во всяком случае, там пал ротмистр Поборовский, мой командир, а раньше, под Грабиной, Ксык лежит за щитом бофорса, ус черный в резине окуляра, локоть на шине, целится, стреляет и танку кердык, а я-то, я-то, я-то что?

А ты, Костичек, не струсил. Никто не сможет бросить тебе в лицо это слово. Не дал себя убить, уланы третьего взвода четвертого эскадрона девятого уланского полка уважали тебя настолько, насколько улан может уважать тридцатилетнего подпоручика запаса.

В меня стреляли, я втискивал голову в землю, но из своего пистоleta не выстрелил ни разу.

Не было необходимости.

— А пан сражался в девятом уланском, да? — неожиданно прервал свои рассуждения Витковский. Словно мысли мои прочитал.

Может, прочитал, любовь моя, милый мой, я тоже, в конце-то концов, читаю тебя целиком, словно плакат на стене. Но я не состою из плоти, признаю. Я атман, я дыхание, я Ева, Гелена, Мария и София, а в целом нет меня. Я воздух.

— Пан Константин?.. В девятом, верно я говорю?

Словно мысли мои прочитал.

— Прошу прощения. В девятом. Но я ни разу не выстрелил. Никого не убил. Так что не знаю, сражался ли, — внезапно говорю я в приливе какой-то глупой честности. Или честной глупости. Хотя, полагаю, убил ведь, одного. Зачем я вру, что ж мне, стыдиться теперь, что убил?

— Пан! Что ты говоришь! Офицер не стрелок! У вас ведь бойня была! А пистолет офицеру для того, чтобы в лоб себе пальнуть или дезертира застрелить, не правда ли?

Правда ли.

— Пан, ты! Стрелял своими уланами! Всем своим взводом!

Ладно. Молчу. Инженер качает головой с недоверием, ну да, что за тупица попался ему, этакий дурак, не сражался, будто сражение есть нажимание на курок. И вдруг осеняет меня: Инженер знает обо мне даже то, что я командовал взводом.

И опять начинает говорить, дальше. Говорит. Я не слушаю, думаю. Сражался.

Не спрашиваю, но знаю: сражение есть нажимание на курок. Штыком в потроха. Глаз вырвать. Это сражение. Я командовал, передавая приказы сверху, приказы Шмиглых и Рыдзов текли сквозь бригаду, сквозь наш полк, сквозь наш эскадрон, вплоть до моего взвода, я прятался от пуль, размахивая, парабеллум в руке и к шее подвязан, сабля под тебеньком, а как же, не сражался ли я? Не сражался. Не знаю.

А он говорил дальше: из Варшавы после капитуляции пробрался к Клеебергу и там руководил диверсионной группой, вооруженной противотанковыми ружьями, такими, как у нас в полку, такими длинными, что Клееберг прозвал их мушкетерами, от этих ружей.

А теперь он в Варшаве организует. Вот кто может его рекомендовать: один, другой, имена картами из рукава, тех знаю, этих нет. Полковник Годлевский. Теперь его зовут Суходольский. Псевдоним Булава. Следуют перечни, задачи разведки, связные, легенды, болшевики, Берлин, а всего важнее Будапешт.

— Будапешт, дорогой пан, важнее всего. Там у нас маршал, на нем все строиться будет, он к нам наконец примкнет, только пусть все это как-то нормализуется. Но все идет в правильном направлении, у нас есть две машины, шевролет “Мастер”, кабриолетик зеленый, и опель “Капитен” зеленый, очень красивый.

Ох, как я хотел такой опель, мы уже даже говорили с матерью о том, что олимпия тесна, что капитен мощнее, быстрее, современнее, кузов монокок, обтекаемость люкс-торпеды, современность немецкого автобана. Но потом капитен перестал мне нравиться, лучше уж бьюик с кузовом от Лильпопа, и столько шуму тогда об этих бьюиках. Но потом пришла война, и нет даже маленькой моей желтой олимпии, а у этого здесь есть сразу две машины, хотя неделю назад он еще стрелял в Коцке.

Он без конца что-то говорил: немцы, Советы, англичане, маневрирование, но я не слушал, я думал об автомобилях.

— А вот так, проше пана, мы будем экипироваться, когда уже победим! — объявляет он, показывая на себя. — Бриджи, длинные сапоги, кожаная куртка и металлический значок по эскизу, мной уже утвержденному. Это будет мундир наш. Разведчиков.

Не знаю: не спятил ли он?

И, словно уловив мои сомнения, он продолжил: о том, как он разослал группы, что ищут оружие — в лесах на Бзуре и возле Коцка еще полно винтовок и прочего, собирание, значит, консервация, зарывание, есть чем в немца стрелять, как час настанет, на аэродроме полевым отыскивали самолет, разобрали и даже спрятали в сарае, а как же иначе! Контакты с польской и немецкой полицией очень хорошие, всё super, особенно о контактах с немцами заботятся, ведь без этого никуда.

— Пан, смотри, пан!

Он полез в карман, подал мне свиток какой-то ткани. На ткани подпись: Сикорский. Отдаю ему обратно.

И мне даже удалось при этом повторно пожать плечами, как-то смазав впечатление, которое он произвел на меня этой подписью. Пожимая плечами, я внезапно почувствовал силу, чтобы встать. И встал.

— Вынужден откланяться, простит меня пан, — сказал я, сгибаясь, словно покидал званное чаепитие. — Приятно было познакомиться.

— Пан Константин. Я хочу, чтобы пан со мной работал. Ради Польши.

— Польши нет, пан Витковский. Я хочу просто-напросто пойти домой, — ответил я.

Ты верно ответил, мой Костичек. Крепко. Сильно, как мужчина.

— Но пан мне нужен! Пан нужен Польше!

Нате вам, тот слишком, на мой вкус, фамильярный персонаж, куда-то вдруг делся. Не “ты, пан, ты”, а “пан”. Пан. Так держать.

— Пан говорит по-немецки как настоящий немец. У пана немецкие корни. На этом хорошо можно сыграть! Известно ли пану, что дядька пана, граф Штрахвиц, командует танковым батальоном в немецкой первой танковой дивизии?

Я не знаю. Мы ведь не поддерживаем контакта. Он слишком многое о тебе знает, Константин! Больше, чем ты знаешь о себе! Будь бдителен!

— Я слышал об этом.

— Он сейчас в Польше, дорогой пан. Пан мог в него стрелять, оба сражались на Бзуре...

И замолкает, а слова повисают в воздухе, словно они имеют некое значение. Несут какой-то смысл, под тяжестью которого я должен склониться.

Но я не склонюсь. Значений нет, есть только случаи; ибо ничто ничего не означает, кроме себя самого, десигнат равен денотату.

— Ну хорошо, но что из этого, пан Витковский?

— Пусть пан не использует мое имя в коммуникации, пожалуйста. Молчит. Уел меня, как школяра.

— Так как пан хочет, чтобы я к нему обращался? — спрашиваю ледяным тоном.

— Просто: Инженер. Я уже говорил. Пан не должен мне “панить”, пан знает, что на улицах говорят? Что панове на залёщицком шоссе кончились!

И начал смеяться, от души, громко, вздохнул. Я тоже начал смеяться. Однако понял: он сменил тему. Специально сменил тему. Таким образом мой вопрос упал в пустоту, не прозвучал. Но я не поддамся. Мне не интересны затемнения, откровения, за линию фронта проникновения. Занес посылку, как выяснилось, с паспортами — и точка, точка, точка.

— То, что дядя у меня немецкий офицер, не имеет никакого значения. Я поляк, даже фамилию отца не взял, меня не интересует Германия! — произнес я весьма решительным голосом и встал. — Вынужден откланяться.

Витковский, казалось, этого прощального затакта не слышал.

— Разумеется, пан поляк, пан Константин. Пан даже больше поляк, чем я или кто-либо другой, потому что пан не был обязан быть поляком и тем не менее стал.

Это чушь, Костичек, ты очень хорошо это знаешь. Ты должен был быть поляком, даже больше, чем по крови или иной причине

должен был быть поляком, такова была воля твоей матери. Ее воля вылепила тебя, залила твою мягкую ткань в форму польскости и обожгла в печи, и ты теперь застыл в поляке, обожженный, как кирпич. Волей ее.

Она тебя сейчас чувствует и слышит, любовь моя, знает о тебе, глядит твоими глазами, следует за тобой. Но не так, как я.

— Польша в панике нуждается, пан Константин, — продолжил Инженер. — Более, чем в те несколько недель назад, еще до первого сентября, нуждалась. Я собрался послать кого-нибудь в Будапешт, и пан идеально подходит, позволю себе просто предположить. Польша нуждается в немецком пана, в панском дядьке в Вермахте, в кровных узах пана с немецкой аристократией.

— Польша нуждается в могильной плите, пан Инженер. Не в моих узах. До свидания.

Я протянул ему правую ладонь. Он стиснул ее, но вместо того, чтобы встряхнуть и отпустить, сразу же стиснул и локоть.

— Пан не зарегистрирован, правда? У немцев, как офицер?

Я подтвердил.

— Значит, пану нужны новые бумаги. Пан больше не может быть Константином Виллеманом. Пан есть у них в документах, пан Виллеман. Ведь пан является сыном старого члена Freikorps Oberland, а там служили Гиммлер, Дитрих...

— Я не знаю, кто такой Дитрих, — перебил я.

— Зепп Дитрих. Крупная фигура. Но сейчас это неважно. Пан является племянником выдающегося офицера-танкиста. Абвер держит пана в ста тысячах документов. Едва они встряхнутся после войны, а встряхнутся скорее, чем ты думаешь, пан, не мешкая примутся за пана, — тихо сказал он, ведя меня за локоть к окну, глядевшему на площадь, последнему, в котором сохранились стекла, всё еще в крестах, в других лишь фанера и картон.

— Мой отец мертв, — сказал я.

Витковский демонстративно закатил глаза, как бы в нетерпении, я не знал, что это должно было значить.

— Пал при Аннаберге, — продолжил я. — То есть у горы Святой Анны. От польской пули пал, от нашей пули, пал в сражении с моими соплеменниками.

— Ладно, ладно, пан Константин, — перебил он меня. — Не в этом дело. Но это тоже имеет значение. И этот скандал с замужеством матери пана, была огласка, пан ведь не безымянный. Столбовое дворянство, Урадель. За паном следят, пан Виллеман. Пана будут искать. И найдут. Город для пана небезопасен.

Я пожал плечами.

— Пан хочет в лагерь? Сразу надо было, товарищи пана по девятому уланскому уже давно где-то сидят. Пан улизнул не без причины.

— Полковник велел мне идти, — возразил я.

— Он отпустил пана не без причины. Отпустил пана, ибо знал, что пан будет нужен, пан Виллеман.

Мы стояли у окна. Наступал день. Площадь Спасителя уже частично расчищена, печальный труп выгоревшей клумбы посередине, вырванный булыжник, воронки от бомб, рогатки, костел сгорел, одна из башен упала, будто громоздкая, несуразная конская туша, я видел много таких, изувеченных, обугленных с одной и гниющих с другой стороны.

— Вот она Польша, Инженер.

Какое-то время он молчал, озирает печальный вид за окном.

— Пан прав. И эта Польша пану нужна, пан Виллеман. Я дам пану крепкие бумаги на фальшивое имя. При необходимости оформим свидетельство о кончине Константина Виллемана, даже отыскать труп не составит труда, зато никто не побеспокоит жену и сына пана.

Теперь молчал я. А он продолжил этим тихим и сладким, как карамель, голосом, вливая мне в уши слова, будто давал лакомства домашней зверюшке:

— Но прежде всего я задействую пана. Чтобы пан не разменивался на мелочи, чтобы дар пана способствовал чему-то большему. Польше нужен пан, пану нужна Польша.

Всю свою жизнь, Костичек, ты разменивался на мелочи и знаешь это. Эти рисунки, что никому не нужны, да ты их и сам не хочешь, столики в кафе, романчики, это все тешит душу, ты ее тешешь и стесываешь, стружки на пол, душа твоя истончается, Костичек, пока не истнешься совсем, ничего не останется.

Я буркнул что-то невнятное, не мог же я просто так согласиться. А я уже не знал сам, стоит ли ему отказывать. Сумею ли ему отказать?

Чтобы знать это, ты должен знать, кто ты, Костичек, есть. А я тебе этого не скажу, я и сама этого не знаю, так долго гляжу на тебя, любовь моя, и вижу серое пятно, хаос.

Ты помнишь, тебе было двенадцать, вы с матерью перед отъездом в Варшаву, парой дней ранее, пришли с визитом к дальней родственнице, настолько дальней, что даже мать сама не знала, кровное у них родство или не кровное и в каком колене, и предмет этот стал главной темой разговора.

Ты должен был играть с сыном той родственницы, мелким, щуплым мальчиком, что говорил лишь по-немецки и боялся тебя как чумы, поскольку был младше и слабее, ты же решил закрепить свое превосходство сразу, едва вы познакомились, парой лет ранее, еще во время войны, при первом визите, и ты его немного поколотил тогда, а после вдобавок унизил, стащив с него штанишки и подштанники и отмерив ему пинка в голую попку.

Поэтому он все еще боялся тебя, спрашивал, не хочешь ли ты почтить его книжки, а ты, в котором уже проснулась польскость, сказал ему, что если он будет говорить с тобой по-немецки, то получит по роже. Мальчик, а звали его Генрих, по-польски не говорил, но все понимал, поэтому сел на стул, уставил глаза в пол и сидел, объятый ужасом.

А ты, Костичек, стоял у окна и смотрел. Тетка жила в доходном доме на улице Школьной, и, когда ты выглянул в окно, на этой

Шульштрассе мятежные силезские перцы разоружали немецких погранцов. Смотрел в упор на драчку: двое повстанцев ненамного старше тебя, может, на пять, может, на три года, двое пареньков в узких жилетах задирали старого, седоусого деда в стальном шлеме. Дед в ярости, ты видел, что он охотно поубивал бы их, ведь для него они олицетворяют практически все, что ему ненавистно: поляков, коммунистов, пацифистов — хотя отнять у него винтовку они ведь хотят не для того, чтобы швырнуть ее на мостовую, а чтобы стрелять из нее. Они олицетворяют тех, кто не боится задирать немца в мундире, не уважает мундира, не уважает, стало быть, ни государства, ни императора, ничего, что дорого этому седоусому деду. Из-за таких проиграли войну, из-за таких уже неделю действует республиканская конституция.

Итак, дед охотно поубивал бы их, деду они ненавистны; но стрелять он боится. А хлопцы отняли у него винтовку и не боятся садануть ему прикладом в живот, для них этот мундир и усы означают все, что им ненавистно: немцев, которые привыкли относиться к ним как к силезским дикарям, годным лишь для работ в шахтах и более ни на что. Господ, которым эти рудники принадлежат и которые платят поденные гроши, пожирая икру и попивая шампанское. Хотя сивоусый дед икры, пожалуй, не ест.

Срывают экипировку: пояс, подсумок, срывают шлем. Дед на коленях на мостовой, на мостовой на коленях с ним вместе все кайзеровские немцы. Следует первый выстрел, помнишь, Костюшик? Это первый выстрел, что ты слышал в жизни, выстрел на Школьной в Шопеницах. До сего дня неизвестно, кто стрелял — перцы или погранцы. После ты слышал еще много выстрелов, на стрельбах, на охоте и на войне, но этот был первым, а последним был тот, которым ты проделал дыру во лбу Тумановича в доме на улице Лешно.

За тем первым выстрелом, Костичек, последовало все остальное, начали стрелять те греншуцы, которых хлопцы еще не успели разоружить, и начали стрелять те хлопцы, у кого уже были винтовки либо другие пукалки, сыпанули горсть пуль. Ты слышал крики:

— Эрих чирка! — И до сего дня ты не ведаешь, кто кричал, греншуц или повстанец.

У тебя не было и тени сомнений, на чьей ты стороне. Вернее, против чьей: против серого мундира, козырька стального шлема и седых усов. Невзирая на то, что ты ведал, ты знал: такой мундир и такой шлем носит твой отец. Которого ты все-таки любил, как любит своего отца всякий двенадцатилетка, если только не терпит от него ущерба. А тебе он ни разу не причинил никакого ущерба.

Тут в комнату ворвались мать с теткой и увели тебя от окна.

Так что ты сегодня ответишь, Костичек? Ведомо ли тебе хоть капельку больше, чем в тот раз, когда ты услышал первые выстрелы на Шульштрассе в Шопеницах?

— Я не знаю, — глухо ответил я, глядя в стекло. Витковский хлопал меня по плечу.

— Я пана хорошо понимаю, пан Виллеман. Нелегко после такого приходить в себя. Целую страну, двадцать лет работы, просрали за три недели. Мне это очень понятно, что пан не знает. Но надо взять себя в руки! Надо работать!

Стало быть, не отпустит, это я знаю. Иначе быть не может.

Думай, Костичек. Можешь согласиться, можешь — но так, чтобы достоинства не уронить, ронять достоинство ты не должен. Мне не хотелось бы тебя недостойного.

— Стало быть, ладно. При условии... — согласился я.

— Слушаю, — просиял Витковский.

— Пропала жена моего лучшего друга. В сентябре, в самом конце. Если пан поможет мне ее найти, то я буду работать для пана.

Витковский хлопнул меня по плечу, кивнул головой, крикнул:

— Как у Ллойдс! — И протянул руку, предварительно поплевав на нее, я понадеялся, что чисто символически. Будто мы два лошади-ника, что ли.

Не спросил ни имени, ни подробностей, ничего. Не уронил я свое достоинство?

Я посмотрел на часы: полседьмого. До наступления комендантского оставалось еще полтора часа, и я вдруг почувствовал, как ужасно я устал.

— Мы вернемся к этому разговору, — сказал я. — Сейчас я иду домой.

Витковский на миг задумался, по-прежнему не выпуская меня из своих объятий.

— Пусть пан идет. Пока что пана не ищут, пока что не было на это времени у них. Пусть пан несколько дней побудет дома, но на этом точка, увы.

Я кивнул. Витковский внезапно ощупал мой живот.

— У пана есть пистолет?

Я подтвердил, куда деваться.

— Прошу отдать, — приказал он.

Он приказал тебе, Костичек. Ты слушаешься его приказов? Полагаешь, я бы хотела, чтобы ты слушался его приказов?

— Не отдам, — возразил я. Отлично, Костичек!

Рука Витковского стиснула мое предплечье, крепко.

— Прошу отдать, на хранение, ради собственного блага, — сказал он тем ужасным, тихим голосом, в котором было и увещание, и угроза, и неуступчивость.

Я достал браунинг, вытащил магазин, проверил патронник, отдал. Из кармана брюк выгреб запасные пули. Их тоже отдал. Витковский похлопал меня по плечу.

— А расписку какую-нибудь?... — еще только произнося вопрос, уже знал, что ляпнул глупость.

Витковский лишь рассмеялся, как от доброй шутки. Вновь хлопнул меня по плечу.

— Ну что ж, я рад, рад. Прошу объявиться тут, у меня, через несколько дней.

И вдруг я спросил себя: кончено?

Это я спросила тебя, глупец. Я вышел.

На площадь. Площадь Спасителя. Без оружия. Надо было в водосток выбросить.

Под сгоревшим костелом обнищавший апаш в клетчатой фуражке общался с двумя усталыми солдатами. Бог и дьявол весть, что эти солдатики делали здесь в такое время, без оружия и шлемов, то есть не в патруле. Тощий лоботряс явным образом пытался солдатам что-то сбыть.

Я должен был пройти мимо них либо менять маршрут. Апаш продавал часы — их у него была добрая дюжина, приколотых к подкладке убогого пиджака, но не было никакого способа договориться с немцами, заинтересованными в их покупке.

Помоги ему, Костюшик.

— Wie könnte ich helfen?¹ — спросил я на своем венском немецком. Немцы и торговец с интересом посмотрели на мое избитое лицо. Зачем я их спросил?

— Я знаю польский.

И помог. Апаш сбыв две штуки, немцы ушли себе довольные, радостно взглядывая на свои новые браслетки.

— Ты кто, пан? — спросил он.

— Люблю помочь ближнему.

— Дельно.

Протянул мне ладонь.

— Равич. Моя фамилия.

Я пожал руку.

— Не могу открыть пану свою фамилию.

— Ладно, пан хороший, не нужно. Ежели что, спроси, пан, Юрека Равича на Тамке, покажут. Адреса не сообщаю, меняется. Если захочет пан что купить либо продать.

Он был очень худым, лицо что череп, обтянутый кожей, но голым не выглядел, глаза его сине поблескивали.

— Пан так с немцами торгует? — спросил я.

— И торгую. На улицах. Комиссионер я. Поскольку мне, скажу пану, очень нравятся немцы. Порядок в городе будет. Панов прогнали, буржуев засранных. Я чисто пел, как они драла, сукины дети, прошу пана извинить, сукины ж дети, как драла на этих своих авто свинтусá и все их бляди, и все их выблядки в форменных штучках, как все это сдристуло красиво, панове, а!

Ну что, Костичек, станешь защищать свою касту? Следовало бы. Он о тебе говорит, о твоего поля ягодах, таких, как ты. Как твоя жена. Как Яцек Ростаньский. Как Ига.

— И то, — сказал я.

Приподняв шляпу, я пошел домой.

1. Чем бы я мог помочь? (Нем.)

Пошел домой. Я пошел.

Не к Саломее. Не к моей бутылочке, полной добра и счастья. Домой, домой, спать. Там, дома, нет войны. Нет немцев. Нет ни трупов, ни выстрелов, есть только Геля, моя Гелена, моя прекрасная Елена, каковая любит меня превыше всего и каковую люблю я, и есть Юрчик, каковому я прихожусь отцом.

Прошел площадь Люблинской унии с памятником Авиатору, мало полетал, прошел Мокотовские заставы и уже иду по Пулавской, далеко позади меня моя Добрая улица, с недоброго Повисле на добрый Мокотов иду, далеко позади и всё дальше недоброе тело Саломеи, к чистому телу Гели иду, к маленькой жизни моего Юрчика, иду в Мокотов.

И вот он я, вот мой дом шоколадный, магазин-кафе закрыт совсем, ворота, клетка лестничная, двери в мою квартиру закрыты и нет у меня ключей, я стучу, и Геля открывает мне.

Ни о чем не спрашивая. Ни о синюшном лице, ни о двух ночах, когда меня не было, ни о костюме измаранном, из кармашка платочек белый не торчит. Ни о чем. Знает, сразу видит, что посылку я доставил, но сейчас я понимаю: ей абсолютно все равно. Она об этом просила меня, потому что ее отец, тесть мой евгенично гигиеничный, попросил об этом ее, рада, значит, что я это сделал, что доставил, но любит она меня не за это.

Как плохо ты оценил ее, Костичек, оклеветал перед самим собой, запятнал любовь этой доброй женщины не одной лишь возней с грязью Саломеи, ты запятнал ее плохими мыслями, а она сейчас снимает с тебя пиджак, развязывает галстук, расстегивает рубашку и пуговики ширинки и стягивает одежду с твоего тела, все еще пахнущего недоброй курвой, и видит, что ты не спал, поэтому нежно ведет тебя к кровати, укладывает твое разбитое тело в холодную постель, в квартире холодно, Юрчик еще спит, а она нечистого тебя, с кровью Тумановича под ногтями, кладет на сверкающую простыню, а голову в белизну подушки, укрывает светлой периной, вот он ты, Костичек. Смыкаешь глаза.

А она садится у изголовья кровати и гладит твою усталую, измученную голову, а ты засыпаешь и уже знаешь: баста. Никогда больше.

Ты не облакаешь это в слова, Костюшик милый, уже поздно, голова твоя утомлена походом, но ты чувствуешь и знаешь: баста. Никогда больше.

Больше никаких женщин, никогда. И уж точно больше никакой Саломеи. Хватит цинизма, злодейств, гнусностей, Костичек. Хватит. Больше никакого морфия.

Всему виной морфий. Не счастьем, не добром, не радугой полна бутылочка. Она полна окаянства, предательства и зла. Бутылочка, что ждет меня у Саломеи, — в ней живет лишь демон.

Нет, не так, не ждет тебя больше та бутылочка, Костюшик. Нет, не ждет. А, может, и ждет, пускай ждет, я не оправдаю ее ожиданий,

не пойду к Саломее и не утону в теплой карамели, уже никогда не окунусь в липкую сладость.

Ради Польши буду теперь. Но не оттого, что этого ждет от меня Геля. Не ждет ведь. Гелене дорог я, как я, Гелена же не отец ее, евгенично гигиеничный. Хелена дорожила бы мной предателем, мной ренегатом. Любила бы меня даже немцем.

А, может, немцем бы меня не любила, но без разницы. Уже без разницы. Не стану больше на мелочи размениваться, теперь стану жить по-настоящему.

Станешь жить по-настоящему? Я-то по-настоящему жила бы с тобой, за тобой, при тебе, вокруг тебя.

Буду интриговать, строить козни, коли потребуется, я убью, коли потребуется. Ради Польши.

Нет-нет, не оттого, что я вдруг решил, что так должно. Мне не должно. И не оттого, что вдруг поверил, что я чем-то Польше обязан. Не обязан. То, что задолжал, в сентябре я отдал с процентами. Я буду теперь ради Польши, потому что нуждаюсь в этом, мне нужно быть ради нее. Мне нужно служение, коли не стану служить, умру.

Правда, Геля? Правда?

— Да, любовь моя. Спи. Хорошо, что ты здесь, любовь моя.

Я засыпаю. В своей квартире засыпаю, Гелена гладит мою голову, и вот я уже сплю и чувствую, как она вскальзывает под одеяло. А как же Юрчик, думаю?

Ты не думаешь, ты спишь. Это я думаю, можешь ли ты вкусить сейчас своей жены, не придет ли твой сын, я забочусь о тебе, Костичек. Костюшик.

Итак, под одеяло твое вскальзывает жена твоя, Костичек. Зачем ты думал о ней так плохо? Зачем ты ненавидишь ее так, Костичек, пять лет брака все-таки не мало, разве не от нее видал ты много добра?

Ее ладони узкие, тонкие на твоем голом пузе, на нижней его части, касаются твоего мужского достоинства сомнительного, усталого, умученного телами шлюх, знает она или нет, ты ей не сообщал, но столько раз ты приносил домой шрамы от шлюхиных ногтей на спине, следы шлюхиного рта на шее, а Геля дома, Юрчика укачивает, и столь долго ты не хотел коснуться ее, Костюшик, тебе претило ее прекрасное, доброе, чистое тело, добротой и чистотой своей, но более всего тем, что она дала тебе это тело, что было это тело твоим, что сохранила его для тебя. Она отдала тебе свою боязливую, безболезненную невинность, отдала только после свадьбы, но отдала, принесла свое чистое тело тебе в жертву, а ты его выпачкал, спя со всеми девками теми, с какими ты спал, Костичек.

А она тебе это простила, простила, о том не зная даже, и ты себе прости, милый мой, подпоручик мой Константин Виллеман, любовь моя, бог мой.

И как она тебе отдавалась, помнишь? Не было в том грязных исканий собственного удовольствия, не было. Она дарила тебе всю

себя, принимая тебя в себе, ничего не искала, ничего не хотела от тебя, хотела просто дарить тебе себя и дарила.

А ты думал о том, будто лежишь в постели с ее отцом, которого ты ненавидишь, и с его евгеникой. Разве отвращалось лицо ее от твоего? Отвращалось. Однако не потому, что полагала тебя испачканным, пусть даже ты был испачкан. Отворачивалась от наслаждения, быть может, телесного, но изначально, прежде всего, скорее от наслаждения дарования тебе самой себя, Костичек. И зачем ты думал тогда, что она не дарила тебе поцелуев, когда губы ее искали твоих губ, Костюшик? Зачем думал о ней несправедливо?

Неправильно, плохо?

Прости мне, Гелена, ты единственная, что любила меня. Прости, добрый дух жизни моей, что так обидел тебя. От сего дня я уже никогда не обижу тебя.

— Прости мне, Геля, — шепчу я. — Прости мне. Я тебя не достоин, Геля.

— Ш-ш-ш... Тихо, Костичек.

Ее рука на моей гнусной голове, на моем паскудном лбу, расчесывает мне волосы.

— Зачем ты отправила меня туда с этим пакетом, Геля? — шепчу, не сплю.

— Они нужны тебе, Костичек. Бездействие тебя убьет.

— Втянули меня в заговор. Я согласился.

— Знаю.

— Но я не ради Польши согласился. Польшу я в дупе видел. Обещали, что помогут найти Игу. А Яцек меня просил, понимаешь... Вот зачем согласился.

— Понимаю, Костичек. Спи.

— Геля, я человека убил.

— На войне? — спросила она, не прерывая ласки.

— Нет. Вчера.

Ее ладонь на секунду остановилась, застыла в трудной неподвижности, была ли эта неподвижность вопросом или легким замешательством?

— Видимо, пришлось. — Рука вновь двинулась в путь. Будто сказал, что истратил сто злотых.

— Пришлось.

Она кивнула. Верит, принимает, признает.

— Думаешь, Ига жива? — спрашивает без робости, не боясь произнести эти слова. Я втиснулся головой ей в бок, в бедро, куда-то, куда я мог втиснуться.

— Не знаю, Гелюшик, не знаю.

— Бедный Яцек. — Геля хлопает носом, будто собирается заплакать. — Бедная Ига. Бедная Ига.

Моя первая любовница, первая женщина, и я был ее первым мужчиной, а год был двадцать седьмой, и были мы на природе, на озере Мядель в Поставском повете, в усадьбе Рохацевичей, и был я

тогда восемнадцатилетним мальчиком, глупым, весьма ранимым на предмет своего произношения, нередко то силезского, то немецкого, поэтому нередко я попросту молчал, и выглядело это обычно так, что я говорил твердо, весьма правильно, но в те редкие минуты, когда я раскрепощался, начинало плавать “а” или, под влиянием странных и неопределимых токов в моей голове, акцент плыл в немецкую сторону, к раскатистому “р”, я слышал это, видел удивление либо ухмылку и замолкал.

Был там со мной на природе Яцек, мой добрый славный Яцек, мой ангел бутылочек, полных добра и радуги, или, вернее, зла и смерти, мой гимназический товарищ, на два года старше, с которым я прежде не водился, и только там, в поместье Рохацевичей, в черед с сосновых боров, озера, прогулок и гребли на каноэ, там зародилась впервые наша дружба.

И была там Ига. Яцек тогда был без памяти влюблен в некую варшавянку, поэтому на Игу не обращал внимания. А Ига присутствовала очень сильно, словно весь тот дачный мир вращался вокруг нее.

Она приехала позже нас, двумя днями, и в первый раз мы увидели ее за завтраком. До тех пор общество нас разочаровывало. Два пожилых чиновника из Познани, скучных, как проповедь в Великий пост, один из них с женой, усохшей, будто вынутой из гербария.

Вдобавок строгая панна Алиса, широким шагом без сомненья шедшая к бездонному отчаянью старой девы. Но жар в ее теле еще пылал; возможно, она бы более благосклонно отнеслась к непосвященным в арканы любви гимназистам, когда бы случайно не услышала наше извлечение над ее полнотой. Притом извлечение напрасное, ибо, будучи полной, панна Алиса несомненно была сверх меры женственна, и, явля над ее большой грудью и пышным задом, мы, пожалуй, не совсем с умыслом пытались осмеять то, что недоступно нам.

Да, Костичек, знай ты тогда побольше о женщинах! Ты знал бы, как расцветают их тела, освобожденные от скорлупы платьев. Но панна Алиса не умела употребить свое тело так, как многие другие женщины. В ней не было свойственной полным дамам сердечности и теплоты, коих источники загадочным образом бьют в телесном изобилии. Панна Алиса была колкой и костлявой старой девой в теле упитанной женщины средних лет. Не знала, что можно быть вполне соблазнительной, не насилая оной полноты теми жутко тесными летними туалетами, из-за чего спина ее казалась жирным, обвитым сеточкой балероном.

Да, Костюшик, милый, а ты помнишь, что и я уже была с тобой и за тобой, я, твоя серая тихая подруга без лица, Та, Что Следует За Тобой, ты помнишь, Костичек? Ты не помнишь, я подруга настолько серая и настолько тихая, что для тебя я всего лишь тень, и если ты ощущаешь мое присутствие, то на пороге подсознания, ни на йоту выше.

Я никогда не выхожу на свет. Так что вспоминай, Костичек, с головой на коленях у жены, доброй твоей жены, вспоминай.

— Я помню, когда мы познакомились, Ига, Яцек и я, — шепнул я.

— Да-да, на даче Рохацевичей. Она была твоей первой любовью. Я слышала это столько раз, что уже давно простила тебе, что Ига и ты когда-то... — ответила Геля ни серьезно, ни со смешком.

Простила ли? Не знаю. Было ли вообще чего прощать?..

А в местности дачной, помимо познанских чиновников, жены, жирной горничной и бездетных господ Рохацевичей, была еще пара варшавских бонвиванов неопределенного типа лет тридцати, коим, очевидно, наскучила светская недостаточность малообещающих каникул.

От скуки и светскости они волочились за панной Алисой, без особой убежденности в этих ухаживаниях; она же, неловкая и неуклюжая в своей женственности, держалась на слишком большой дистанции, обусловленной приличиями. Не знала, что, возводя вокруг себя стену доброй репутации, должно оставить в ней лазейку тонкой двусмысленности, взглядов и жестов, лаз, через который любовь скользнет за стену доброго имени хотя бы на одну ночь. Жаждала, чтобы кому-то удалось проникнуть за стену, ночами трогала она свое тело, пробуя вызвать полустертые воспоминания о последних касаниях мужских рук, и боролась с этим огромным ужасом, растущим в ней с каждым одиноким отходом ко сну, страхом одинокой смерти, страхом, что те руки были последними в ее жизни, и те жуткие слова, которые она слышала после, были последними любовными словами, какие она слышала от мужчины. Эта жуткая клевета, это слово “курва” из уст подлеца было плохим словом, но равно и словом любви.

Стало быть, лежала и мечтала, как под черным плащом конфиденции из комнаты в комнату потекут надушенные записки. Жду нынче ночью. Приду к Тебе. Дрожу, ожидая. Моя жизнь в Твоих руках. Твоя. Твой. Преданный. Старая добрая ложь чувственного романтического воодушевления сделает встречу возможной, конвенционально приоденет до возможной приемлемости животную правду о потребности удовлетворения, но также и животную правду о потребности в тепле другого тела, в том, чтобы кожа коснулась кожи и чтобы руки обняли шею, и чтобы в объятиях любовницы и любовника искать память о материнских объятиях и память о тепле материнского лона.

И мечтала, что за письмами последуют тихие шаги босых ног, ведь каблуки могут разбудить прочих гостей, что двери откроются, и в них встанет мужчина, и она возьмет его к себе, в себя и отдаст ему свою истлевшую, увядшую женственность. Хоть раз. Прежде чем безвозвратно рухнуть в старость, в эту смерть женщины. Панна Алиса считала, что нет старых женщин, что женщина умирает вместе с молодостью, делаясь бесполой старухой. Так хотела, чтобы кто-то из них пришел. Приняла бы даже тебя, Костичек, либо Яцека.

Однако никто не пришел, она никому не позволила, и курорт она покидала мертвой, в убеждении, что женщины, которой она некогда была, нет в живых.

И все-таки она ошибалась, ибо еще познала мужчину.

Она познает мужчину через дважды семь лет после летнего отдыха в Поставах. Ты лежишь, с головой на коленях у жены, Советы вступают в Вильно, а она дрожит в своей нетопленной квартире. Спустя неполных две недели придет Литва, затем, в июне будущего года, опять Советы, и однажды к ней на квартиру зайдет советский старшина с желтыми волосами. Он изнасилует ее без зверства, даже не изобьет, просто ворвется в квартиру, толкнет ее на оттоманку, она не станет защищаться, он разорвет ей платье, раздвинет пышные ляжки, похвалит по-русски их бледность и округлость, делает свое дело и уйдет, забрав выстланную бархатом шкатулку со столовым серебром, давным-давно полученным панной Алисой от бабушки в качестве вероятного приданого.

Через два месяца, в поезде на восток, панна Алиса поймет, что беременна, здоровое семя казанского крестьянина проросло в ее лоне, которое казалось ей высохшим. Девочка с черными волосенками родится уже в Казахстане, где умрет месяц спустя после родов, когда исхудалая панна Алиса не сможет выжать ни капли молока из своей увядшей груди. Девочка умрет, окрещенная Надеждой, мудрый, очень худой, и оттого, видимо, мудрый ксендз не крутил носом, мол, имя не католическое, девочка умрет, сначала несколько дней громкого плача, коровьего молока пополам с грязной водой слишком мало, к тому же его не усваивали ее младенческие кишки, она умрет, заходясь уже единственно в тихом писке, большие глаза на истощенном личике, и панна Алиса завернет ее в белую простыню, кайлом будет ломать сухую, как скала, землю пустыни, растрескавшуюся красивыми узорами, и присыплет малое тельце пылью раскрошенной почвы. И будет жить дальше, и вырвется из этой казахской земли Египта к дому надежды, с ватагой больных оборвышей, для порядка именуемого армией, поплывет на судах через Каспий, к гостеприимным берегам Персии, из Персии с этой армией отправится в Палестину, будучи одновременно матерью, нянькой, санитаркой и учителем для дюжины перепуганных, одичалых польских сирот, и уже когда сироты эти обретут в Иерусалиме дом, кровати, белые простыни и трехразовое питание, панна Алиса, госпитальная сестра Алиса, стянет револьвер Webley из-под койки лежащего в лихорадке офицера, спрячется в подвале госпиталя, там разденется донага, встряхнет и повесит белый халат, аккуратно сложит одежду, потрогает свой живот и груди, словно желая убедиться, что она действительно нага, затем оттянет курок и совершит мужское самоубийство, отстрелив себе свод черепа, нисколько не заботясь о том, как будет выглядеть после смерти.

Гром выстрела застрянет в каменных сводах; пройдут две недели, прежде чем будет обнаружена панна Алиса, уже обвиненная в том, что, найдя у себя еврейские корни (их у нее не было), бежала из польской армии в рождавшееся в муках еврейское государство. Что с молчаливого согласия Андерса было нередким явлением в его больной истощенной армии. Но через две недели ее обнаружили, нагую и мертвую, крысы правили на ее теле свои крысы пиры,

а мухи уже отложили в ней яйца, и никого ее смерть не удивила, людей тогда легче было удивить тем, что ты жив.

Не знал ты этого всего, Костичек. Не знал тогда, на дачах, не знаешь этого и ныне, потому как ныне панна Алиса все еще полирует серебро в своей виленской квартире, что, собственно, милостью и насмешкой большевиков, на краткий срок делается литовской. Лишь по втором явлении русских к ней придет тот советский старшина и заберет серебро в обмен на свое наследие.

И ни разу больше не встретишь ты панну Алису, Костичек, но Яцек встретит, хотя и не совсем, такая малость будет их разделять, когда темная субстанция, пульсирующая под тонкой кожей этого мира, швырнет его ночью тайком через линию фронта к стоянке тех оборвышей, они разминутся парой метров, разделенные лишь мерзлым полотном палатки, пар от ее дыхания выкристаллизуется меж волокон брезента, но что с того, панна Алиса так и так не узнала бы его, Костичек, а если бы узнала, то что с того? Курам на смех, дикие эти виражи судьбы, от имения Рохацевичей до лагеря в Бузулуке.

Так что вспоминай и далее отдых двенадцатилетней давности, в полусне, у своей жены на коленях, в доме из шоколада, в изнасилованной Варшаве, и выдели панне Алисе столь малую кроху воспоминаний, чтобы вот-вот забыть о ней начисто, чтобы исчезла она из твоей головы, как исчезла из твоего мира, и как вскоре умрут те, кто когда-либо знал ее по имени и помнил, не забудет и жить будет лишь советский старшина: он еще долго при Брежневе и Андропове будет входить стариковским шагом в режимные церкви, каяться и что ни день молиться за ту польку с пышными и белыми бедрами, а при Горбачеве убежит на Соловецкие острова, где станет молчалиником, иные ошибочно сочтут его мудрецом, а сам он безошибочно будет считать себя недостойным грешником. При Ельцине возьмет старый челн и выйдет в Белое море, пойдет, сколько хватит сил его старым рукам, бросит в бездну свое единственное сокровище — столовое серебро, и ляжет на дно челна и умрет, море понесет его, ни дать ни взять норманский пират в драккаре, изжелта-седые волосы, ватная телогрейка и потертые валенки. И он пойдет в стариковский рай и встретит в нем свою женщину с простреленной головой, и встретит свою дочурку, Надежду, умершую от голода, так записала контора, и тешиться вместе они будут тем вернее, чем вернее не будет этого рая и чем вернее не будет их самих.

Не знаешь ты этого, Костичек, это знаю лишь я, твоя серая подруга, кладущая тебе на плечи руки и следующая за тобой, подстроив свой шаг к твоему. Не знаешь ты ничего о советском старейшине, имя ему было Лавр, но на острове он взял новое, покаянное имя: Авксентий. И не знаешь ничего о небе или о пекле, где бы он ни был, ведь после стольких лет покаяния мог оказаться везде, куда бы ни пожелал последней мыслью, у Бога, которого нет, и в аду, который есть.

Стало быть, вспоминай сейчас, вспоминай отдых свой много лет назад, я разрешаю тебе, твоя серая любовница из тени.

Вспоминаю, стало быть, отдых тот, много лет назад, когда я встретил Игу. Яцек и я сблизилась быстро, и, может, могли даже как-то сдружиться с холостыми панами, если бы те не выказывали нам такого открытого презрения, обращаясь с нами в лучшем случае как с подростками. Ростаньский быстро доверился мне, рассказав о своем сердечном недуге, и его безнадежная любовь стала главной темой наших разговоров.

А через два дня по нашем приезде к завтраку вышла Ига: ей было восемнадцать, как и мне, и сногсшибательной красотой она не отличалась. Имела стройную фигуру, волосы цвета соломы, ординарное лицо и скромное летнее платьице.

Но ее выход в столовую к завтраку означал, что среди нас появилась молодая женщина, то есть компанейская конъюнктура изменилась в корне. Яцек едва взглянул на Игу и вернулся к своей тоске по недоступной варшавянке. Мисс Алиса поглядела на Игу и, должно быть, сразу ее возненавидела, одно ее присутствие перечеркивало и целиком сводило на нет даже те казенные ухаживания, что оба пана-кавалера предпринимали по отношению к ней до сего момента. Было ясно, что ни до каких дальнейших ухаживаний не дойдет: ухлестывать за панной Алисой в присутствии излучающей молодость Иги было бы социально-межличностной перверсией.

Я смотрел на Игу с гораздо большим интересом, но быстро заметил, какие взгляды бросали на нее пресыщенные кавалеры из Варшавы, и понял, что шансов у меня никаких. Хотя обычай, конечно же, предписывал включиться как-то в этот забег, сделав вид, что не исключена возможность победы.

Ах, знал бы тогда, Костичек, куда по правде выведет этот забег, один из кавалеров, по фамилии Плецинский, с простреленным черепом в лесу на востоке, а другой так еще мертвее, Корницкий Лепольд, как писался он в различных социалистических ведомостях и списках, член Польской объединенной рабочей партии, дотлевающий шмат человека на низком посту в министерстве, кончит тем, чем жил большую часть послевоенной жизни: в гадком темном костюме, портфель клерка в руке, с ощущением абсурда, кончит банально, попав под варшавский трамвай, а от Вислы до Одры будет править Гомулка. Но ты себе вспоминай, вспоминай на здоровье, Костичек. Ты ведь не знаешь, и я не скажу, поскольку тебе не слышен мой голос.

Я не хотел участвовать в том забеге. В конце концов, я был всего лишь подростком восемнадцати лет, которого судьба одарила кучей прыщей, они же были зрелые мужчины, довольно красивые, самоуверенные, я с грустью признавал это. Они знали жизнь. Я ничего не знал.

Так что я больше не думал о панне Иге. Вскоре нас представили друг другу, и нам довелось пообщаться, но оба курортника любезничали с панночкой столь решительно, что я не осмелился даже стартовать. Ну куда мне было до тех мужей?

Ига также не обращала на меня внимания более, чем того требовали принципы хорошего воспитания — а воспитана была очень хорошо, добротна, с четким знанием форм, что обеспечивало уверенность в себе и непринужденность в любой ситуации.

В первую неделю вакаций я расценивал панну Игу как особу весьма интригующую, но совершенно недоступную. Затем Плецинский, человек не слишком изысканных манер, чересчур нахально и неучтиво покусился на добродетель девушки; хотя его отнюдь не отвергали. Однако темп, с которым он подбирался к ее телу, настойчивость, сдвигавшая ладонь от колена выше, к бедру и далее, еще выше, заставили ее решительным образом выставить его из комнаты и однозначно прекратить отношения, сведя их к прохладному “здравствуйте” по утрам. Она не хотела так, он ей нравился, но она не могла иначе. А стоило ему помедлить всего день или два перед атакой на бедро и еще неделю, прежде чем пойти ва-банк, она уступила бы. Но он не медлил: вместо того выругал ее в недостойном джентльмена стиле и ушел, хлопнув дверью. Пан Рохацевич узнал об этом от своей жены Рохацевич, которая, не имея потомства, дни напролет следила и подглядывала за гостями. А узнав, Рохацевич снял со стены двустволку.

Не найдя к ней патронов, он было потянулся за кочергой, но тут пани Рохацевич, употребив нюхательную соль, очухалась и, что твой Рейтан, легла на пороге супружеской спальни, объявив, что, коли Рохацевич убьет Плецинского и сядет в тюрьму, она подаст на развод и поедет в Вильно блудить с кем попало, хоть с жидами и даже с журналистами, прости Господи. Рохацевич перед столь выразительным доводом спасовал, ибо человеком он был не слишком склонным к насилию, а к тому же трусом, жена же дала ему повод для отступления.

Рохацевичова взялась за дело, и, с утра получив ледяной ультиматум, варшавский бонвиван Плецинский уехал, не попрощавшись, зато забрав с собой приятеля.

Ушли в свою жизнь, на свои виражи, что приведут их туда, куда я сказала уже, что приведут. В лес на востоке и под варшавский трамвай. Должна ли я поведать о том, как Плецинский умер где-то в лесу, в центре польско-русского континуума, а Корницкий на рельсах на улице Пулавской, недалеко от твоего шоколадного дома, который по-прежнему стоял себе, где стоял, хотя город вокруг как бы провалился немножко под землю? В этих историях есть зерно истины, но ты же думаешь, Костичек, что меня занимает истина? В конце концов, я все равно не могла бы рассказать истории жизни всех, кого ты когда-либо встречал.

Итак, мы остались на дачах одни: Ига и я, панна Алиса с ее отчаянием, Яцек с его тоской и любовью к недоступной варшавянке, немые и бесцветные чиновники из Познани и постоянно ощупывающие нас бдительные глаза пани Рохацевич.

Так взглянула бы она на меня до того, как выехали Плецинский с Корницким? Определенно нет, это было бы таким же nonsensom,

как ухаживание кавалеров за панной Алисой в присутствии Иги. Я мог бы показаться ей более интересным, однако такова сила социальной формы, вытекающая не из того факта, что мы в нее верим, а из того, что она реальна, она является субстанцией жизни либо — я здесь не хочу вдаваться в философские рассуждения, — по крайней мере, соответствует этой субстанции, как соответствуют звукам буквы алфавита.

Итак, вы ходили кругами, круги были вам суждены: Ига, у собственной тетки на каникулах, ведь Рохацевичова приходилась ей теткой, и вы двое, Яцек и ты.

Так что не осталось больше никого сильнее нас. Бездарные, казенные ухаживания предпринял один из познанских чиновников, тем более бездарные, что затеяны они были в не слишком отдаленном присутствии уродливой жены.

Значит, он был слабее тебя, Костичек. Разве могла восемнадцатилетняя девушка в цвету отдаться чиновнику пятидесяти девяти лет, Костичек, тому, что родился в 1868 году, был чьим-то сыном, имел детей и потом умер, но ведь и о нем я не расскажу тебе, ну зачем мне рассказывать тебе о нем, Костичек, раз уж его жизнь не имеет значения, как и всякая другая?

Могла бы, в принципе, отдаться ему, но не в подобной ситуации, когда речь шла об отпускном приключении, об этом тучном конторщике, а рядом были мальчики, возможно, не красивые еще, но юные и гибкие и с задатками будущей красоты, причем материальный сюжет не играл здесь роли, ведь было лето, воздух пылал и пылала кровь.

Она, разумеется, могла бы никому не отдаваться, тому виной претензии Рохацевич, тетки, не разумевшей элементарного закона — запрещая, контролируя и утесняя, она лишь подталкивала Игу к тому, от чего сама хотела бы оградить ее.

И не оградила. Ига первой разглядела в тебе то, чего ты сам не постигал, Костичек. Ты помнишь?

Она разглядела в тебе мужчину, она была первой. Не в плане зрелости, до зрелости тебе все-таки очень было еще далеко, и далековато по-прежнему, а в смысле пола. Прежде ты не обладал полом, ее взгляд дал его тебе.

Кем ты был прежде? Ребенком был, я уже тогда была с тобой, с одиноким тихим гимназистом, ты плелся из школы домой улицами Варшавы, вы уже жили на той вилле в Жолибоже, купленной в двадцатые годы, ты был мальчишкой, погруженным в книжки и мечты, для твоего возраста легкомысленные, о морских путешествиях и об исследованиях запретных городов Тибета из книг Оссендовского, которым ты, похоже, верил, ты мечтал о Непале и о джунглях, пространствах влажной, набухшей зелени, забитых экзотическими фруктами, о хищных зверях, отданных на милость твоего штуцера, и полуголых дикарях. Увиденные раз на фото в иллюстрированном журнале, они навечно поселились в твоём хромающем

воображении, прижились в нем, расплодились, ты воображал, как делаешься королем-богом дикого племени, собираешь из мужчин свою маленькую армию, покупаешь у торговцев оружием новейшие ружья и пулеметы, аэропланы для личного пользования и пушки, а женщины, те полуголые дикарки, они все для твоего личного пользования, к услугам Константина, они служат тебе своими телами, а ты ими владеешь, воображение внушало тебе всё более смелые образы их смуглых, скользких от пота тел.

Ты отличался от сверстников, Костичек, они ведь нередко не знали анатомических подробностей женского телосложения, и между ними шли споры с применением весьма убогого понятийного аппарата, основанного на отрывочных наблюдениях за служанками, няньками и — что признавалось с некоторым смущением — сестрами. Итак: писька, сколько в ней отверстий? Одно для писанья, ведь девушки тоже писают, одно для рождения детей и одно для того, чтобы засовывать туда хуй?

Помнишь, Константин?

Ты развеивал их сомнения тоном человека, утомленного анатомической наукой.

Значит, все в одной дырке? И суют туда, откуда писают? Мерзость. Ты тоже хером своим писаешь, идиот. Ну так-то оно так, но девушка другое дело.

А если одна дырочка, то как устроена? Ведь когда ты ложишься на женщину, то хуй у тебя смотрит вниз, как отвес геодезиста, так что, анатомически говоря, пан приятель, когда женщина лежит, то дыра тоже должна быть спереди и вниз, чтобы засунуть. Дурень, смотри, вот — Венера Милосская. И где дыра, идиот? Сам идиот, рыбий хуй, это тут на нее напаялили. Напаялил кучер твою мать на конюшне.

Идут в ход кулаки, но потом ты объясняешь. Ты все объясняешь.

И ты предпочел бы не знать, как и они, но знал. И знание это отнюдь не делало тебя более зрелым, Костичек. Этим знанием ты не мог поразить девушек из пансиона, да и как? Ты мог бы поразить шлюху, надо же, такой молодой, а знает, что и как, имей ты деньги на шлюх, но ты-то их не имел, денег, да и отнюдь не знал, что и как, напротив, знание тебя парализовало. Другие, те, что не знали, как это сложно, они делали, и то и дело то один, то другой приходил в школу гордый, как павлин, и признавался: служанка, проститутка или еще какая-нибудь другая женщина сделала меня мужчиной! И все очень просто, засунул, туда-сюда, потом слезаешь с креста и готово.

Ты знал, сколько всего может пойти не так, и боялся больше, чем они.

А с Игой началось с разговоров, с официальных прогулок днем и заговорщических прогулок ночью, ты попросту выходил, она же плавно выскальзывала из своей комнаты на этаже, выбиралась через окно, и мы шли на озеро Мядель или на татарское кладбище в деревне и разговаривали, и впервые в жизни я вел такие разговоры, душевные, теплые и близкие.

Потом мы в первый раз поцеловались, на берегу озера и даже при полной луне, я и поныне помню небывалый вкус ее губ и помню, как, целуя ее, пустил наконец язык меж ее губ и коснулся им ее зубов, а она приняла его и ответила своим языком, а после мои руки на плечах у нее, им понадобилось время, чтобы преодолеть последний дюйм воздуха, что отделял их от ее спины, не получалось отважиться на тот последний этап пути, однако отважились и опустились ей на плечи, от кожи их отделял лишь свитерок, который она надела тогда, я помню шерсть того свитерка, грубую и мягкую одновременно.

Тогда Ига задрожала.

А через два дня ночь была такой теплой, почти жаркой. После ужина Ига шепнула мне на ухо, чтобы взял с собой одеяло, и я уже знал, что случится.

Я боялся, что не справлюсь, что не смогу сделать это должным образом, ведь я не знал — как, и тысячекратно разгадывал анатомические загадки, знание которых отнюдь не ободряло меня, ведь от матери я знал и такие слова, как *ejaculatio praesens*, и еще другие, не очень ободряющие. Но я утешался тем, что и она не знает — призналась мне, что ни разу не была с мужчиной, впрочем, я не брал в расчет, что могло быть иначе.

А потом, на одеяле, мы клялись друг другу во всем, в чем можно клясться, когда в первый раз вот так, по-настоящему, оттого клялись абсолютно во всем: что мы никогда не расстанемся, что будем вместе по гроб жизни. Каждая из тех клятв была нарушена.

А потом это произошло, мы разделись порознь, каждый снял с себя одежду, потом мы трогали друг друга, и она боялась моего *membrum virile*, набрякшего так, что, едва она его коснулась, всё, разумеется, сразу кончилось, и я застыдился, но Ига была мудрой, хотя и неопытной, настолько же любопытной и жаждущей, насколько терпеливой, она обладала женской интуицией, которая подсказывала ей, что делать.

Потом была ее боль, крик и поцелуи. Потом мы лежали на одеяле, втиснутые друг в друга, снова обещая друг другу всё, и вечность, и что никогда не расстанемся.

А потом мы расстались, на дворе у Рохацевичей, Ига пошла к себе, я пошел к себе, а потом мы встречались снова и снова и обещали друг другу всё, а потом окончательно расстались, каждого ждало возвращение в Варшаву.

Мы страшно поссорились в Варшаве, она пообещала, что никогда больше слова со мной не молвит, и действительно, долго не молвила, а потом мы встретились снова, уже гораздо более официально, и потом нам было уже наплевать, что скажут об этом родители Иги, а потом мы расстались, потому что я влюбился в Гелену, Ига меня возненавидела, а Яцек взял ее себе и быстро отучил от ненависти ко мне, и мы жили в идеальном контакте на протяжении всей второй половины тридцатых годов, которые сейчас, когда го-

лова моя лежит на коленях у Гели, подходят к своему печальному концу четырнадцатого октября 1939 года. Мне все еще странно произнести это вслух, “тридцатые годы”.

— Что тридцатые? — спрашивает Геля.

— Знаешь, Геля, в августе Ига пыталась... — начинаю я. Но Геля накрывает мой рот ладонью.

— Я ничего не знаю и знать не хочу. Молчи, Константин, молчи.

Пыталась меня соблазнить. И должен ли я сейчас говорить своей жене, что аккурат в тот раз я устоял, притом что устоял я не из-за Гели, но из-за Яцека, ибо сказано было в Теребовле: мы не соблазняем жен товарищей офицеров, подпоручик Виллеман! И я себе это запомнил, аккурат это запомнил, хотя ничего другого не запоминал.

Так должен был бы ей сейчас сказать, что устоял, притом что я, кроме того раза, столько раз не устоял?

Но она пыталась, пыталась, на именинах Яцека, которые Ведель устроил ему в магазине-кафе в нашем доме из шоколада, когда это было, два месяца тому назад, а словно вечность, два месяца тому назад было лето, и мы с Яцеком так беспокоились, что нет у нас белых смокингов, и в конце концов оба пошили белые, и беспокоились, будут ли вовремя. Они были. Висит теперь этот пиджак в моем шкафу, я мог бы открыть шкаф и достать эту тонкую белую шерсть, на что только?

Мы много тогда говорили с Игой, по телефону и лично, многое вспоминали, и была между нами та неповторимая в иной конфигурации близость бывших любовников, все еще участливых друг к другу, по-новому ласковых, превыше уже угасшей ненависти. А в день именин Яцека с пластинки лился слоуфокс из фильма “Бродяги”, пел Мечислав Фогг и играл оркестр фирмы Syrena.

И мы плыли по паркету кафе-магазина, надраенному в честь именин, а ты шептала, разом с Фоггом, на тебе было голубое платье с длинными рукавами, и ты шептала, Ига...

Откуда тебя ветер неведомый принес, не знаю твоих вех я, не знаю твоих грез, и только вещь одна известна нам двоим, что сделала ты с сердцем моим.

Ты танцевала дивно, Ига Ростаньская, да и я был неплох, такие мы были красивые, давние любовники в слоуфоксе, быстро-быстро-медленно, мое бедро между твоими, моя стопа между твоих стоп, наши бедра соприкасаются, твой стан и дивная шея откинута, но взгляды наши неразрывны, и ты шепчешь вслед за Фоггом, слово в слово, в мужском роде.

И только вещь одна известна нам двоим, что сделала ты с сердцем моим.

Геля глядит на нас, Ига, та Геля, на чьих коленях я лежу, Геля глядит и думает, а что она может думать, мы же просто танцуем, мое бедро обернуто шелком твоего платья.

Затем я проводил тебя к столу, и мы разговаривали, попивая вермут, а когда Геля пошла наверх посмотреть Юрчика, ты

прошептала, что с Яцеком никогда не было так, как со мной, на том одеяле.

Это было очень красивой ложью и доставило мне огромное удовольствие, а потом ты лизнула мое ухо. А я увидел Яцека, который меня не видел, и я сбежал, сбежал к Геле, бросил белую куртку на стул и лег спать подле жены, очень собой гордясь.

Поэтому теперь я молчу, лежу на коленях у Гелены, с абсурдом белого пиджака в шкафу. Думаю о том, что сейчас делает Яцек, единственный мой друг, самый дорогой для меня человек кроме Гели.

— А что у Яцека? — спрашивает Геля. Значит, думает о том же.

— Не знаю.

— Ты его когда видел?

— В среду.

— В больнице?

— В больнице.

— За морфием ходил.

— Да.

Она ведь и так уже знает, она меня видела тогда, три дня назад, видела, смысла нет отпираться.

— И он тебе дал, так?

— Дал.

Молчит, и я молчу.

— Позвони ему. Телефон уже работает. Скажи ему... Скажи, что найдешь Игу.

— Я уже в порядке, Геля. Больше не принимаю наркотики. Больше не пью. Займусь конспирацией, пусть меня убьют, пусть жизнь моя хоть кому-то, чему-то послужит, пусть хоть на что-то я сгожусь.

Не вижу, но слышу и ощущаю: она улыбается, улыбается чутко, не знаю — то ли с сомнением, то ли с надеждой, то ли с радости, не знаю, не знаю.

— А Яцеку позвони. Номер тот же.

Я поднимаюсь с ее колен, направляюсь к аппарату, набираю номер, есть сигнал.

— Доктора Ростаньского, пожалуйста. Говорит Виллеман.

И о чем я его спрошу, что ему скажу?

— Слушаю.

— Это я, Константин.

— Нету у меня, не дам, точка. Не проси, не звони, не приходи, — отвечает твердо.

— А мне не нужно ничего, Яцек.

— Не заговаривай зубы.

— Не заговариваю. Я чист. Точка.

Мы молчим.

— А у тебя что? — спрашиваю чуть погодя.

— Умирают, один за другим.

Мы снова молчим.

— Есть что-нибудь об Иге?

— Пока нет, — тихо говорю я. — Но я ищу. И у меня есть человек, который ее найдет, у него связи в нашей и немецкой полиции. Он ее найдет.

— Спасибо, Костек.

— Пока не за что.

В потрескивающей трубке слышны голоса.

— Мне пора, зовут.

— Иди. До свидания, Яцек.

Телефонная трубка на рычаге, я дрожу в своей квартире, в доме из шоколада, Геля глядит на меня, Геля добрая, Геля дорогая, как не бывало той Гели, которую я ненавидел и боялся, вовсе не похожа она на своего евгеничного отца. Ничуть.

— И как он? — спрашивает.

— Никак. Работает. Раненые мрут.

Стойкий, стойкий Яцек, стойкий студент-медик, стойкий корпорант, стойкий с любым снарядам в руке и стойкий за операционным столом.

Еще он был стойким, когда я серьезно хотел его убить. Когда в середине тридцатых мы стояли с гладкоствольными пистолетами, и Яцек должен был стрелять первым, и он демонстративно выстрелил в воздух, а затем повернулся ко мне своей широкой грудью и улыбнулся мне просительно и прощающе, после чего закрыл глаза.

Ты серьезно хотел его убить, Костичек, я это хорошо помню, я стояла за тобой и поддерживала твою руку с пистолетом, и ты целился, чтобы его убить, и ты выстрелил, и ты промахнулся, Костичек. И ныне ты мнишь, что промазал нарочно, но это неправда. Ты промазал, так как пистолет был ни к черту, так как секунданты, по соглашению сторон, сбили прицелы, вы стрелялись на тридцати пяти шагах в манеже шеволежеров, стволы без нарезки и мушек. Но ты целился ему в грудь, в грудь единственного человека, которого мог и можешь назвать другом, его лицо ты видел над черным песником ствола, его белую манишку — вы не хотели стреляться в мундирах, а ведь оба имели право как офицеры.

Но вам мерзили мундиры, обоим, и это отвращение к мундиру также связывало нас, да, все связывало нас, и только она, Ига, она нас разделила.

Ига вас разделила, Ига нас разделила.

Ты был я был уже влюблен в Гелю или ты уже тогда я был влюблен в Гелю? Как это было, ты не помнишь, Костичек, я не помню. Однако ты выстрелил. Я не хотел в него попасть и не попал, ведь не мог же я убить Яцека. Будь по-твоему, Костичек, помни, как помнится.

Ты любил Гелену, и видел, что Яцек и Ига становятся всё ближе друг другу, и все было в ажуре, пока ты не заметил, как они целуются. Они, собственно, конфиденциально целовались. Но тут ты понял, что Ига ускользает из твоих рук.

Не видишь этого, Костичек, но я вижу. Из тел любовников растут большие черные столпы того же вещества, что и пульсирующая

под кожей истории темная субстанция, и они сходятся, преломляются в готические арки, неразделимые дольше, нежели жизни этих любовников, тела их умирают, а столпы здравствуют, меж них проходят Черные боги, но ты ведь не знаешь ничего ни о столпах, ни о черных богах, Костичек, не твоего ума это дело, столпы и божества тебя не занимают. Но я их вижу, и я вижу столп из твоего тела и столпы из тел всех женщин, с которыми ты был, я вижу, как они образуют свод, а сверху на нем черный злой божок.

Заметив Яцека с Игой, ты не стал ничего делать, Костичек, помнишь?

Зачем мы тогда стрелялись, никак мне не удастся вспомнить. То есть я помню, само собой, что речь шла об Иге, но как, каким образом о ней, я тогда, в конце концов, был уже с Гелей, что мне Ига-то?

Не помнишь, Костичек, дурашка, ты забыл, потому что хотел забыть, выбросил из головы.

А было так: вы сидели в Земянской, пьяные. Казалось бы, дружба процветает меж вами и всяческий контакт. Вы даже обнимались друг с другом, выпивая очередную рюмку коньяка, залпом, как водку.

Ига и Геля тоже там были, обе, уже сдружившись, посматривали на вас “с горки”, из-за столика архитекторов, сидели с Журавским и прочими, а ты шепнул тогда, Костичек: “И как тебе на вкус мои объедки?”

О чем ты думал, говоря это в глаза Яцеку, что был влюблен в Игу, о чем ты думал, говоря это Яцеку, что был так участлив к тебе?

Не знаю, думал ли ты вообще о чем-либо. Ты шел тропой тигра, ты был драконом, нащупал его самое мягкое место. Потом небольшой скандалчик, про дуэль даже написали в “Курьере”, без фамилий, зато издевательским тоном, одна, мол, из множества дуэлей, в которых чаще всего страдает крыша, каковую дуэлянты дырявят с великим пристрастием, как будто это крыша бросает вызов, провоцирует картинку и стрижет купоны.

А потом вы помирились, легко помирились...

— Спи уже, Константин, — говорит Геля.

И я засыпаю. А потом просыпаюсь, вечером. Геля собрала ужин, скромный. Супа немного, хлеб. Юрчик получает мясо, ест и смотрит на своего папочку, на побежденного солдата, который не стрелял, он смотрит, на морфиниста смотрит, на жизнь мою смотрит, на рисунки мои неудавшиеся, шансы упущенные, на всю мою жизнь, отца моего мертвого, на мать мою Белую Орлицу, на всё он смотрит и не видит.

После ужина Геля уложила Юрчика спать, а я в одежде нашел шоколад с тех еще дней, тот, что я купил в Мировском Пассаже. Отнес его в комнату Юрчика.

— Спит уже.

— Я положу его на стол, утром он будет счастлив.

Геля взглянула на меня, и была любовь в этом взгляде. Мы легли в постель. Ее руки на моем теле, мои на ее на грудях. Головы не отвращала. Затем я приник к ней, а она плакала очень тихо.

Потом я уснул.

Глава VI

Я смотрю на него, Константина Виллемана, смотрю на него сверху, смотрю, как он спит подле жены, в доме из шоколада, они спят рядом, недавняя любовь согревает их, они близки, ведь она все знает и все прощает, они спят, я смотрю на них и вижу, как темная материя, пульсирующая под тонкой кожей мира, выпускает свои щупальца. Те оплетают столпы, на которых стоит шоколадный дом, вскальзывают на лестничную клетку, лезут, завиваются выше, ищут его.

Могу ли я их победить?

Я черная богиня. Говорю языками людей и ангелов.

Позволяю щупальцу завиться по лестнице, даю ему проскользнуть под дверь, разрешаю войти в спальню Константина, вползти под одеяло, в доме холодно, но темная материя этого не знает, не ищет под одеялом тепла.

Позволить или остановить? Я черная богиня. Я позволяю.

Темная материя притрагивается к Константину. Звонит телефон.

Темная материя заливаает Константина, разжимает ему губы, проталкивается меж зубов, вливается в пищевод и в трахею и глубже, заполняет легкие и желудок.

— Константин, телефон, — едва проснувшись, говорит его жена Гелена.

Встань, Константин, возьми трубку. Это звонит Инженер, это звонит твоя судьба и твоя жизнь, нужно ответить. Встань, Константин, встань.

Темное вещество змеится кишками Константина, размиллионивается в альвеолах, проникает в кровь, копится в заднем проходе, внутри ягодиц и внутри бедер, окутывает Константина изнутри и снаружи.

Звонит телефон.

— Константин, телефон, — говорит Геля.

Я открыл глаза. Открываю глаза. Открыл глаза.

— Возьми трубку, пожалуйста. Это должно быть что-то важное, — во тьме голос Гели предсказывает судьбу. Я встал, встаю, встал. Через холодную комнату к телефону.

— Алло, — шепнул я в трубку тусклым голосом, не включив света, я шел к телефону наощупь, стирая темноту с глаз.

— Говорит Тридцать Семь, — сказал голос Стефана Витковского, я безошибочно узнал его.

— Кто?

— Тридцать Семь, — повторил Витковский. Я бормотнул что-то в ответ.

— Прошу прийти сегодня в одиннадцать в Земянскую. Уже работает. В одиннадцать ровно.

— Сегодня? — рассеянно спросил я.

— Да-да.

Щелкнуло. Он повесил трубку. Я посмотрел на часы: четыре ночи. Боже.

Все вернулось ко мне, всё и ничего. Я пошел спать дальше, но более не засыпал, а начал приятельствовать с потолком, пока через пару часов, утром, Юрчик не прибежал к нам в постель, весь в шоколаде.

— Я кушал! — сказал он с гордостью.

Через полчаса все было так, как должно быть: мой единственный сын, первый и последний, моя жена, я сам, одеяла, его мордашка и засохшие крошки шоколада на ней. Подначивание, возня, щекотка.

Мое первое воспоминание. Мать не участвовала в наших играх, она расчесывала волосы, она чешет волосы перед туалетным столиком, чешет их щеткой очень мягкой из щетины, я обожаю ее трогать, хотя она и корит меня, заставляя за этим занятием. Мой отец в клетчатой пижаме — сейчас, двадцатилетним, я знаю это, тогда не знал, — и я на ложе супружеском моих родителей, мой отец щекочет меня, я кричу по-немецки: *Nein, Vati, hör auf, Vati, es reicht, kitzele mich nicht!*¹ — и оба смеемся, какой мог быть год? Война не цвела еще пышным цветом, но птицы уже пели и деревья зазеленели, значит, война уже дала ростки, но я не знал об этом ничего, да и мой отец, похоже, знал мало, а из того, что знал, вытекали лишь потеха и заточка тяжелой сабли, ее экспрессивный выгиб к потолку, из-за дверей смотрю на эту асимметричную дугу, мой отец упирает перо сабли в табурет, оселок мокро вжикает от середины клинка вниз, вниз, вниз, а затем отец разглядывает лезвие против окна.

А сейчас я, мой сын, первый и последний, и Геля, холодная квартира, шоколадные стены и тепло под одеялами, и на миг всё так, как должно быть, нет войны, нет потерянной жизни, жизни чужой милостью, нет никчемного подпоручика, что ни разу не выстрелил по врагу, зато убил человека и вырезал ему глаз перочинным ножом. Нету этого.

Итак, мы щекочем Юрчика и смеемся с Юрчиком, но я задаю себе вопрос: каким чудом мне это удастся? Какой силой, каким способом та самая рука, которая вырезала глаз Каэтана Тумановича, теперь смещает тонкую кожу на худых ребрах моего сына, и тот корчится от смеха, а Туманович корчился от боли, которой нет названия.

1. Нет, папа, перестань, папа, хватит, не щекочи меня! (*Нем.*)

Кто вырезал Каетану Тумановичу глаз, Костичек, это был ты или же кто-то другой, а, Костичек?

Потом завтрак, хлеб с маслом и кофе. Я смотрю на них, в который раз. На Гелю, на Юрчика. Я другой человек. Не такой.

А потом я выхожу, в Земянскую.

Ан нет, не в Земянскую однако же.

Я покинул дом из шоколада незадолго до десяти, хотел быть в Земянской пораньше, это четыре километра пешком. Я шел по Маршалковской, каменицы как стояли, так и стоят, кто-то латает тротуары, кто-то забивает окна глухой фанерой.

В непостижимом страхе, что Инженер, не дай Бог, заметит меня из окна, я миновал площадь Спасителя и шел дальше, ради Бога, в которого не верю, и ради всех богов, в которых, кстати, тоже не верю, я привык, привык к этой варшавской улице — новой, иной, улице “всё просрали”.

Две недели, и я привык. К тому, что я не увижу зеленых мундиров и круглых шапок шеволежеров, и тех красивых гнедых и белых кавалерийских коней в оркестре, мне даже вовсе не жаль этого, хотя серую форму фрицев и мотоциклы я ненавижу все-таки чуть сильнее, впрочем, улица ими не так чтобы пестрела.

И к остальному привык. Перемолотый город, перемолотые люди, чуть посеревшие, на досках и кирпичках записочки, слепые окна и “всё продадим и купим”, и зима в октябре, зима, которая никогда не закончится, и Bekanntmachungen на стенах.

Люди удивляют. Молодежь как пришибленная, для тех, кому под двадцать, мир рухнул. А прочие — старики пережили русских, немцев, одну маленькую революцию, одну войну, они пережили эндеков и социалистов, майский переворот и Пилсудского, кризис и всё такое, так что ж нам теперь немцы?.. При Безелере не было плохо, как-то выжили. Был порядок. И теперь выживем. Немцы kul’turnyj parot ведь, так слышал Константин, кто-то по-русски сказал.

Ну а то, что жидки боятся, то боятся они резонно, еще вздохнут жидки, жидовочки и жиденята по нашим студенческим молодчикам.

Я миновал Пруденшал, в своей американской фаллической гордости совершенно неуместный теперь, когда его строители просрали.

Не знаешь ты, Костичек, сколько еще суждено просирать вам, этот Пруденшал строившим, ты ведь его также строил, тонкую скорлупку цивилизованной польскости на жирной тупой туше холопьяго славянства. Знала туша, как вы ее презираете, и постыли вы ей этим презрением, тем более что знала, что презрения достойна. А в минусах вы, не та туша постылая, постылую тушу тешит, что войну с Германией вы просрали, ведь вам, панове, войнушка эта не пришей рукав. А более всех дивят те волоконца меж тушей и вами, к вам уже примкнувшие, но еще не вы, уже не они, назад пути нет, а для вас они быдло прежнее, будто по праздникам все еще подпихивают соломку в высокие сапоги, так куда же им, к немцу? Пойдут и к немцу, коли нужда, пошли бы и к сатане.

А на Мазовецкой, где я видал, как Тувим тащил Веняву из Земянской под крышу стеклянную Воробья, чтобы как можно больше людей их видело, на Мазовецкой, где гулять надлежало в компании именитых, на Мазовецкой, где поигрывал тросточкой денди Константин Виллеман, сателлит от искусства, какой-то магией межличностных отношений запущенный через Ярослава на орбиту избранных, к вящей зависти тех подлинных, в общем-то, художников и творцов, одаренных, в отличие от меня, тем или иным талантом, которых, однако, “на горку” не приглашали, меня же приглашали. Не всегда и не всякий раз, но приглашали.

Ну, я все же имел опелек с брезентовой крышей, и я был красивым и состоятельным молодым человеком из немецких графов Силезии, носил прекрасные костюмы, танцевал как черт, был я уланским подпоручиком запаса славного, хоть и провинциального полка, я играл в теннис, знал языки, и мне буквально впору был тот мир, в котором все они хотели видеть самих себя.

Постыл, стало быть, всем поэтам и поэтессам и мастерам и артистам второй лиги, второго сорта, не в той мере, как я, не существующим, тем, что есть, пишут, печатают там и здесь, от “Просто с Мосту” и до “Ведомостей”, хвалимы или поносимы, но есть, живут.

Но как они живут, убого, одно пальтецо, несвежие мешковатые пиджачки, шерсть вытерта на коленях и локтях до прозрачности, так они живут, и какие там могут быть авто! Какие там путешествия в Вену или Милан, а ежели вдруг в Париж, то мышкуют по каким-то комнатенкам с рабочей мошкаррой из Болгарии и Румынии, на отели, где ночую, ночевал я и мне подобные, даже не взглянут.

А те, которые не убого, как тот юный дружок Ивашкевича из Вильно, что любил коммунистов и чьего имени я не помню, тот, с квадратной челюстью, поэт на зарплате, усталый, опустошенный работой, чувявший, как дар утекает сквозь пальцы, натруженные ежемесячными рапортами и отчетами, этот, хоть и в хорошем костюме (но, конечно, без авто), он еще беднее других, пусть те порой сосут палец, а он не располагает собственным достоинством даже, и такие, как я, постылы ему еще больше.

Ты точно помнишь его имя, Костичек, точно помнишь, Ярослав его обожал, знаешь точно, только лукавишь, что забыл, лукавишь перед самим собой, на что тебе этот театр?

Я знаю точно, на что. Он был поэтом, а ты был человеком с ежемесячным доходом, родословной и машиной.

Он был и будет поэтом, а ты, Костичек, где твой дом и машина?

Оттого они презирали меня, Яцека, наших жен, костюмы и автомобили, презирали тех, чьего внимания сами искали, злились на Ярослава за то, что он открыл нам дорогу к кружку в Земянской, а еще позже, еще чаще, в ИПИ или ИИМе на Крулевской. Нам даже не приходилось оплачивать их внимание, не приходилось ставить обеды, они не жаждали напрямую наших денег, не хотели моих чек-ков или ренты Яцека, они хотели общения с нами.

И вот я пришел сюда, в Земянскую, ан нет, не в Земянскую я пришел. Ни одного знакомого лица. За столиком “на горке” сидит некий оборванец и прихлебывает суп, вещь немыслимая не только перед войной, но даже и перед капитуляцией немыслимая — чтобы официант не выгнал случайного гостя из-за столика под покрашенной на стене чашкой. А этот даже не на варшавянина, а на заезжего беженца похож. Осыпaeмый яростными, возмущенными взглядами, но что это по сравнению с тем, что пару недель с лишком назад самый рослый из официантов спустил бы нахала с лестницы, а после вообще выкинул бы из кафе, предварительно дав ему пинка.

Я сел за пустой столик.

— Почтение вельможному пану, — сказал официант, кланаясь в пояс, словно я был по меньшей мере Радзивиллом. — Наконец-то знакомое и шляхетное лицо, вельможный пан.

Я поклонился с полной пьетета признательностью.

— Кофе есть?

— Скверный, но есть.

— Водка?

Он кивнул.

— Тогда маленький черный и одну дальнего следования.

— Уже бегу.

Я потянулся за газетой, висевшей у стены в деревянном держателе. Новый “Курьер варшавский”, номер пять. Уже пятый! Четыре я пропустил. Просматриваю, перекидываю скромные страницы, пара статей, карта, десятки объявлений, любые новости о судьбе сына от коллег курсанта Касперского Игнация важны родителям, номер дома улица телефон.

И ничего.

Лишь на обратной стороне шапка: “Ужасное убийство на улице Лешно!” Налетчик еврейского происхождения убивает львовянина Тумановича, предварительно ослепив его ножом, вероятнее всего затем, чтобы последний выдал, где хранит деньги.

Почему еврейского?..

Думай, Костичек, думай. Не могли счесть тебя за поляка, ты говорил по-немецки. Ну?..

Не могли счесть меня за поляка, я говорил по-немецки. Не могли написать, что немец или немецкого происхождения. А раз не немец, не поляк, а говорил по-немецки, то еврей. Ведь не швейцарец же.

И ладно. Все равно пишут одно, а ищут немца. Наверняка. Как бы то ни было, где им найти, в таком хаосе. Не ищут. Бояться нечего.

Бояться нечего. Только боюсь, как холеры, почему боюсь, почему. Бояться нечего. А все-таки.

Я посидел так немного, с удивительным ощущением пребывания в нигде, в мире, которого нет, в великом “между”.

Выпил водку, запил плохим кофе. Встал, чтобы повесить газету на место. Заново оглядел кафе. Невежда, позоривший своим супом столик “на горке”, исчез. Стол, помнящий локти Венявы и Тувима,

стоял пустым, я за него не сяду. За другими столиками внизу уже сидели другие гости, на них официант посматривал чуть более приветливо: одеты странно, туристическая пошла мода, я еще раньше на улице заметил, но приписал тому, что каждый одевается как может, лишь бы теплее. Но здесь, вижу, выбор гардероба положительно осмыслен. Горные ботинки с подковками. Лыжные шапки, анораки. Брюки-гольф и носки в клетку, даже рюкзаков штуки две свисали со стульев.

Я оперся о стойку, спросил еще одну дальнего следования. Официант быстро налил и так же быстро заметил, что я не возвращаюсь к столу, но чего-то от него желаю.

— Пан старший, — спросил я. — А чего они так все одеты, будто собрались в Татры на экскурсию?

Тот пожал плечами.

— Такая мода, оккупационная. Вроде как чуть что, так в Венгрию. Смотри, пан, тот вон даже шарфа не снимает. Того и гляди начнут мне здесь лыжи у стенки ставить.

— А не боятся, что пойдут аресты?..

— Ну, сдастся мне, нет. К тому же немцы сюда не ходят. За немцами, по всему судя, Адрия будет зарезервирована, как откроется. А может, уже открылась, не знаю.

— Да неужели? — я вежливо удивился и постоял еще у стойки некоторое время, затем вернулся к столу, и в тот самый миг, как я сел, отворилась дверь и вошел Витковский. Кожаная куртка, бриджи с офицерскими сапогами, кепи, английский шерстяной галстук в горошек. Обращал на себя внимание даже на фоне туристов за столиками.

При этом уже с самого начала вел себя престранно: он встал в дверях и оглядывал зал проницательным, испытующим взглядом, как бы ощупывая всех глазами. Задержался на мгновение в оценивающей позе, очень недвусмысленным жестом держа правую руку в кармане кожаной куртки, рука не свободна, напряжена, локоть отставлен, явно означая: в кармане пистолет! Может, и лежал, может, даже мой браунинг, но думаю, это скорее была игра.

И внезапно, так же внезапно, как вошел — расслабился. Круглое лицо расплылось в улыбке, он снял жокейку, прозвучало громовое “здравствуй!”, предполагаемое оружие сладко спало в кармане, не родилось еще, а может, помстилось.

Я не ответил, все еще изумленный театральным поведением Инженера. Я смотрел на лица прочих гостей заведения, которое теперь лишь называлось Земянской: те были на седьмом небе! Ну как же красиво сочетались с их нарядами туристов — патриотичными, ведь вот в чем штука! — это комедиантство, ковбойские жесты, эти бриджи и высокие сапоги.

Между тем Витковский уже возле моего столика.

— Здравствуйте, — повторил он. — Хорошо, что пан уже здесь.

Сел, официант без вопросов подал ему кофе и — интересное дело! — коньяк.

— Моему спутнику то же самое, — распорядился он, как если бы я был изголодавшей паненкой, каковую ведут в кондитерскую, шпигуют пирожными, а после имают в грязных номерах с почасовой оплатой, пока девица еще помнит сладкий вкус миндальных тасагонов с начинкой от Хербачевского.

— У меня документы для пана.

Как из шляпы факира, на столе возникло довоенное удостоверение личности.

— На фамилию Махуры. Махура Ян. Проживает в Варшаве, безработный. Прошу взглянуть.

Я взглянул. Официант принес мне коньяк и маленький черный.

— Откуда у пана моя фотография? — удивился я. Он махнул рукой.

— Прошу отдать, — сказал он. Я передал документ, а Инженер, к моему удивлению, спрятал его обратно в карман кожанки. Я понюхал коньяк. Хороший, Martell, наверное.

— “Мартель”? — вежливо поинтересовался я.

Инженер посмотрел на меня, не выказав уважения. Так что я решил вернуться к теме документов.

— Но мне, видимо, пригодились бы эти бумаги, правда? — спросил я довольно робко.

— Видимо, да. Но не сейчас. У меня для пана вариант получше, гораздо лучше. А именно, пойдет пан на улицу Фредро, шесть, каменица Вавельберга. Знает пан, где это?

Третье лицо, не второе. Значит, уважения не потерял. Он меня уважает. Уважает.

— Знаю. Западный Банк.

— Именно. Великолепно. Там есть Немецкий Клуб, пан туда пойдет и объявит себя немцем. Пан даже вернется к имени отца своего, отчего бы нет. Константин Штрахвиц фон Грос-Цаухе унд Каминец.

Я замер за столиком, с бокалом на полпути от столешницы ко рту. Аромат коньяка сверлил ноздри, а у меня слова застревали в горле, суть того, что сказал Инженер — и что, собственно, это было: просьба, совет, приказ?.. — суть того, что он сказал, не успевая дойти до мыслительных центров моего смятенного разума, уже успела парализовать его.

Костичек, Костичек, зачем бы ты стал это делать?

— Вторую, фальшивую личность пан также будет иметь в своем распоряжении, она может понадобиться. Но больше всего пан нужен организации в качестве немца. И, кстати, пан должен принести присягу.

— Но, Инженер, я не хочу быть немцем! Я поляк! — заныл я жалобно. — Дорого мне стоила эта польскость, я боролся за эту польскость, не могу сейчас сделаться немцем, еще и под своим именем!..

Витковский тепло улыбнулся.

— Ну, должно быть под настоящей фамилией. Пан станет нашими глазами у них, а также и нашей связью, пан станет, пожалуй,

наиважнейшим звеном в нашей организации, необходимейшим. Пан нужен нам не как немец какой-нибудь там, но как Штрахвиц.

— Я Виллеман! — кричу. Озираю зал, напуганный своим криком. Взгляд официанта пытлив. Витковский все время тепло улыбается, как будто то, чему суждено быть, давно уже решено, и теперь остается лишь переждать мои капризы и жалобы.

— Но уже нынче пан сделается Штрахвицем. И, пожалуйста, не надо думать, что мы пустим какие-то слухи. То, что пан будет нашим агентом, остается строжайшим секретом, пану же придется смиренно сносить всяческие социальные оскорбления.

— Моя жена этого не вынесет.

Витковский было заколебался, по его круглому лицу последовательно пробежали противоречивые гримасы, холод и равнодушие сначала, и внезапно, сразу — сердечность и готовность уступить. Он широко развел руками:

— Жене пан может открыться, — улыбнулся. — Сделаем такое исключение. Я знаю панского тестя, женщине из этой семьи можно доверять.

— Инженер, она же не поверит.

— Тогда я скажу ей сам. Не сомневаюсь, что она сумеет хранить тайну. Только вот что, пан, нам тут нужно будет разыграть комедию.

Я вздрогнул.

— Да. Видит пан, тому, что станет пан рейхсдойче, всякий поверит легко, с панской родословной... — произнес он легко, без задней вроде мысли, я, однако, видел, чувствовал, как он за мной наблюдает, интересна ему моя реакция на эти слова, и он, вероятно, получил то, чего искал, ибо вздрогнул я показательно. Улыбнувшись, он продолжил:

— Да, в это поверит всякий. Но жена пана не назовется ведь немкой. А раз не может назваться немкой, то и оставаться с паном в качестве польки не сможет. Придется вам расстаться. Разумеется, на показ. Время от времени будут даже возможны тайные встречи.

Я был уж не в состоянии ответить. Да и как?

Спорь, Костичек, за свое воюй, за достоинство свое, себя самого, принадлежность свою, с таким трудом построенную, отвоеванную. Пробуй, мальчик милый, пробуй.

— Но я же только воевал с ними, — заспорил я, едва почувствовал необходимость в этом.

— Ну, ведь ты, пан, не стрелял, правда? Мы недавно говорили об этом, — сказал он, ни на секунду не прекращая улыбаться, улыбкой акулы.

Я задышаюсь, задышается. А он вновь обращается ко мне во втором лице.

Костичек, забавный мячик из мяса и кожи, бедная маленькая игрушка моя, игрушка темной материи, мерцанья под скорлупой мира, Костичек, мои любимый, единственный...

Витковский ткнул меня в плечо.

— Шутка же, пан мой милый. Воевал с ними пан, а они будут уважать пана за это. Ты слышал, пан, о Гудериане?

Ну, слышал, слышал. Генерал. Я, стало быть, кивнул.

— Ну вот, а некие его немецкие кузены из Хелмно тоже воевали как наши офицеры, и воевали, похоже, неплохо, а теперь полагают себя освобожденными от присяги, ибо, вообразит себе пан, полагают, что Польша больше нет, вот и присяга не действует...

— Ну, ведь нет же, — перебил его я. — Так что, может, и в самом деле не действует.

Инженер засмеялся чрезвычайно громко, хлопая себя по ляжкам.

— Хорошо, хорошо!.. Так, пан, им скажешь, ежели спросят. Очень хорошо!

Он неожиданно стал серьезен, а я вдруг понял, что Витковскому просто нравится актерство, эти внезапные перепады настроения.

Ты ничего не понимаешь, Костичек, ничего не знаешь, ты не умеешь читать людей, которых встречаешь, ибо ты слеп, ибо ты не понимаешь человечества.

— Но, правду сказать, знает пан: Польша, она здесь! — Инженер треснул себя в грудь широкую, аж гукнуло. — И у пана также. Я знаю.

Он встал.

— Когда пан явится к ним и встанет на учет, прошу пана звонить мне, мы приведем пана к присяге и пан получит дальнейшие инструкции. Ну, пока.

Он похлопал меня по плечу. Я встал, все еще выбит из колеи.

— Матери я должен сказать правду.

Он улыбался широко, снова, снова, снова, радостный, как жовиальный хозяин дома в легком водевиле.

— Не будет нужды, увидишь, пан. Ну, мне пора. Родина ждет. Привет!

Я ответил каким-то невнятным бормотанием, в новом коммуникативном этикете этом я снова не находил того, что должен говорить, ни в дружбу, ни в службу: “Слушаюсь, Инженер”? “Во славу родины”?

Ты просто не должен принимать эти инструкции к сведению, Костичек. Но коли уж принял, то совершенно неважно, как ты сейчасотреагируешь, милый мой.

— А, забыл, надо же, — Витковский вернулся с полпути. — Это для пана.

На стол лег маленький, но толстый квадрат бумаги, бумажный лист, многократно сложенный. И вышел, исчез, а был ли? Странный взгляд официанта доказывал, что был.

Я расправил origami. Польский текст, писанный зелеными чернилами, гласил: “Ига Ростаньская, арестованная под Радзымином первого октября сего года, в данный момент находится в предварительном заключении по ул. Шуха, 25, может быть переведена в тюрьму на улице Раздельной, 24/26”.

Первая мысль: что она делала первого октября под Радзымином? Зачем убегала из Варшавы вместо того, чтобы быть под боком у Яцека?

Вторая мысль: позвонить Яцеку, в больницу, ведь это значит, что Ига жива, жива! Рассказать ему обо всем, но что с фотографией от Саломеи?..

Третья мысль: один день, он узнал за один день. Это не какая-то липовая, кухонная компашка, в которой, может, кто и готов к действию, но ни возможности, ни средств для этого не имеет. Витковский имеет. Так не стоит посотрудничать с ним в этом деле? Даже ценой признания немецкой принадлежности, вот высшая жертва для отчизны, ради нее не жизнь отдавать, это любому солдату по плечу, но предавать самого себя, свое имя и честь, принять не только пули, но, значительно горше, гордо принять брань и плевки, что полетят в меня неизбежно.

Стоп, готов ли я к этому?

Разве лишь в свете моей великой славы, когда одержим победу? Когда спадают маски и широкая публика услышит из достойных и надежных уст, что Константин Виллеман, мол, никогда не предавал своей отчизны, а лишь выполнял задание, отчизной этой на него, на его плечи возложенное.

Так не затем лишь.

Да, Костичек, не бойся думать об этом, ведь, принимая это задание, ты проявляешь героизм, не стесняйся думать об этом героизме, пусть эта мысль движит тобой, потому как что еще может тобою движить? Да, Костюшик, мой любимый, мой единственный.

Значит, не затем лишь. Даже когда бы пришлось умереть немцем, лишиться жизни и, лишившись ее, никогда не вернуть себе польского имени, разве не пошел бы я на это за милую душу?

Пойдешь, Костичек, это просто ставки в твоей голове, так ты воспитан, отец, мать, без разницы, лишь бы ты готов был к жертвам подобного рода, лишь бы не их боялся, ведь жертвы эти метафизические, не требующие общественного одобрения, довольно и того, что пресуществляются в тебе, касаются твоего интимного отношения к этому загадочному, дивному диву, каковым является родина.

Отчизна.

Допиваю коньяк и после двух дальнего следования и этого бокала ощущаю легкий рауш.

А из этого рауша родится мысль, нет, не мысль — всего лишь тень мысли, как укол крошечной иглы, где-то очень глубоко.

Бутылочка, полная счастья и радужной радости и забвения и тела моей сладкой Саломеи, как белая мягкая кожа и складки и вкус и жар ее женственности и кракелюры на стукко ее груди...

Нет-нет-нет, я топчу это чувство. Я больше не тот Константин. Куда-то завела меня жизнь Константина, морфиниста и блядуна, что в силу неотвратимости я выколол глаз человеку, а затем холодно-

кровно его прикончил, хотя до этого он даровал мне жизнь. Нет, хватит. Никаких наркотиков, никаких любовниц.

Сейчас ценится только Польша.

Заказываю в баре еще один коньяк, выпиваю одним глотком, к черту манеры. Хочу заплатить — официант не позволяет.

— Отчего так, пан старший?

Официант улыбается участливо и как бы по-свойски.

— Панове пьют здесь бесплатно, — говорит он, словно ему все ясно-понятно. С этим не поспоришь, так что же мне теперь? Я вспоминаю про Яцека.

— Могу я от вас позвонить?.. — спрашиваю.

Официант вежливо склонился и достал из-под стойки аппарат черного бакелита на длинном проводе. Сигнал был. Я набрал номер больницы и спросил доктора Ростаньского.

— Нет его, — откликнулся грустный голос санитарок, чем-то напомнивший мне ту усталую и задастую паненку, в связи с томлением коей в услужении больным я скорбел, когда в последний раз навещал Яцека.

— Пошел домой, спать, отдохнуть, семьдесят два часа был на ногах, — добавила она, словно была уполномочена сообщать все подробности жизни доктора Ростаньского. — Он ушел и нет его, совсем.

Я поблагодарил, положил трубку. Так куда же мне?

Выпил бы еще, но не выпиваю. Домой? Рассказать, спросить Гелю, что она об этом думает? К матери?

Но нет. Я в долгу перед Яцеком. За Игу в долгу перед ним я.

Несет меня в квартиру Яцека, ноги сами несут, но я ли это иду по улицам, я ли это шагаю, мои ли ботинки измараны в грязи, я ли это иду? Что меня к нему гонит?

Квартира у Яцека большая, лекарская, в каменице на Волчьей, Вильчей, я бегу по Маршалковской, иду — не иду, в квартире он или нет, не знаю, но иду, несет меня вера в то, что возможно усилием воли изменить свою жизнь. Того себя я оставил в жилище Саломеи или в каменице на улице Лешно, возле трупa Каетана Тумановича оставил, прежнего меня нет.

Есть другой я: готовый всем пожертвовать, есть я, который помог другу, отвергший искушения кейфа, я достойный, храбрый, я польский офицер, я поляк, я человек, я мужчина, я есть, я есть, я есть, лестница, я несом этой лестницей вверх и дальше к двери Яцека, на двери записочка в рамочке, довоенная, доктор мед. наук Яцек Ростаньский, так что звоню, электричества нет, звонок молчит, так что стучу, Яцек, Яцек, Яцек, друг ты мой единственный, будь дома.

Я стучу.

— Яцек, открой, это я! — кричу в слепую дверь. И он открывает наконец, дома он, дома, мой Гиацинт.

Стоит в дверях в полосатой пижаме, в глазах ни искры сознания, волосы спутаны, и я стою, порога не переступив, отсюда чувствую,

как несвеже он дышит. Надевает очки, проволочные заушники не хотят подогнуться, но надел-таки.

— Костек, — говорит он тихо, больше ни слова, никаких “добрых дней”, никаких “морфия не дам, нету”, никаких “иди прочь”.

Впускает меня в квартиру, квартира огромная и красивая, ужасный бардак и грязь. Нет Иги, нет горничной, да и Яцек не было, кто так набардачил, не знаю.

Прохожу в гостиную, Яцек плетется за мной, как будто это я здесь хозяин. Сажусь в кресло, не дожидаясь приглашения, чего ждать.

— Нету морфия, — выдавливая он в конце концов голосом мертвым, как мертвы эти сухие цветы в комнате, довоенные цветы, цветы, посаженные рукой Иги, а, значит, вроде бы и моей, раз это ее рука.

— Я не хочу морфия, говорил же.

— А чего хочешь? — это не лед в голосе, это вопрос изработавшегося, измученного человека.

— Я знаю, где Ига.

Яцек покачнулся, затрясся, зашатался, оперся о стену и по стене скользнул на пол, что твой плевок.

— Жива?..

— Жива. Арестована. По адресу Шуха, двадцать пять, там полиция сейчас немецкая. Или ее могли переместить в “Сербию”.

— Но за что арестована, Ига моя, за что? — застонал он сквозь слезы, слезы, сил на которые не имел, усталый, изнуренный, пустой.

— Не знаю, за что, Яцек. Теперь слушай. Я вытащу ее.

Он не слушал, плакал, даже спина его стекла по стене, теперь он лежал на грязном паркете и плакал, большой ребенок со степенью доктора медицины.

А я начал говорить, обо всем. Никаких тайн. О Витковском, организации и о том, что для пользы организации я стану немцем.

То есть не обо всем. Я ведь не мог рассказать ему о том, как убивал Тумановича, я бы никому не мог рассказать об этом, я бы даже себе самому не признался в этом. В конце концов, я об этом уже почти забыл.

И ты об этом забудешь совсем, Костичек. Забудешь, выбросишь из головы, станет твой Туманович являться тебе во снах, но лишь в таких, что не просачиваются напрямую в сознание, но их соки просачиваются, накрапывают и отравляют, и будут отравлять тебя. Точно так же, как отравляют тебя воспоминания о прошлом, Костичек. Ты не помнишь, но я помню, я была тогда с тобой, всегда была с тобой.

Ты не помнишь, забыл, как донес на товарища, увлеченного другими товарищами, ты не помнишь, как вел дворника за руку, плотное фиолетовое сукно, рукав, пуговицы из латуни, ты вел его на чердак школы, а там мальчики голые стояли и целовались, а дворник, возмущенный по-мещански искренне, повел их, голых, за ухо,

руки стыдливо прикрывают причиндалы, поросшие юным волосом, берегут их, как бы пытаясь оберечь жизнь, которая трещит по швам, дворник большой, с усами, отвел их в кабинет директора и озаботился, лично озаботился тем, чтобы эту содомию не удалось замять. За это он лишился работы, директор хотел уладить дело мирным путем, он был человеком бывалым и знал, что такая любовь не редкость в среде интеллигенции. Но дворник ненавидел мальчиков из семей интеллигентов, он ненавидел их с каждым днем все больше, ибо каждый день наблюдал, как жизнь его люмпен-пролетарских сыновей катит теми же колеями, что и его жизнь, и он даже обратился в прессу, зная, что за такую нелояльность его лишат места, и лишили, но дело замять не удалось, и мальчиков исключили из гимназии и заклеямили, благодаря тебе, Костичек, ты этого не помнишь, но то твое прикосновение, Костичек, прикосновение к рукаву дворника, твои слова толкнули их под откос наклонной плоскости.

Ты помнишь зато, как они издевались над тобой, по сю пору ненавидя их за то, как они высмеивали твой акцент, как били тебя в темных пещерах школьных коридоров, как плевали тебе на голову из окна, оба сильнее, старше и без понятия, на что ты способен, без понятия о твоём терпении и твоей ненависти, Костичек. И они так и не узнали, что это ты разрушил их жизни, что именно благодаря тебе их, голых, к директору и в криминальные хроники доставил школьными коридорами дворник, позже более чем охотно общавшийся с журналистами, не узнали, ибо тебя не интересовало их узвание, не в том состояла твоя месть.

Твоя месть не должна была тогда противопоставить тебя им, ты не искал личного торжества, ты попросту хотел разбить их маленькие гнусные жизни, ты попросту хотел причинить им вред, а я тебе в этом помогла, я провела тебя их путями и по их стопам, пока ты не выследил их, пока не нашел место их любовных свиданий и не увидел, что они действительно любили друг друга, что любили не одни лишь свои молодые тела, но и друг друга, по-настоящему, так, как любят в пятнадцать лет, любят вопреки всем и вся.

Потом ты их встречал, один вращался где-то в низах артистичных сфер, что-то там даже публиковал в “Просто с Мосту”, другой исчез с горизонта, кажется, уехал в Берлин, это всё, что ты знал о нем. И даже сидя за одним столом с тем, кто в Берлин не уезжал, ты не думал о своей мести, ты позабыл, совсем позабыл, а он не думал о том, как тебя мучил, поскольку ты сломал его, поскольку тем своим доносом ты отнял у него всю силу самца. Когда его вели голым, мужская сила терялась с каждым брошенным на него взглядом, даже если взгляды эти не были ехидными, а большей частью не были, большей частью на него смотрели с сочувствием, ведь благодаря его известной любви к мучениям слабейших он был мальчиком в школе популярным.

А тот, что уехал в Берлин, ты точно этого не знаешь, Костичек, стал любовником некоего штурмфюрера СА, чудом избежал смерти во время “ночи длинных ножей” затем лишь, чтобы попасть в Дахау и умереть там. От тифа.

Но ты об этом не думал, Костичек, и даже знай ты точно, не подумал бы, поскольку не себя ты хотел насытить той мстью, Костичек, не себя.

Итак, я рассказал Яцеку об Инженере, о том, как я должен стать немцем и почему я должен стать немцем, и о том, что как немец я определенно смогу вытащить Игу, немцем я ведь буду не абы каким, так что определенно смогу, не переживай, Яцек, не бойся, не переживай.

И он плачет, плачет, потом на мгновение засыпает, потом просыпается, уже как бы в себе.

И я думаю, спросить ли его о фото, которые я видел у Саломеи, Яцек о Саломее знает, значит, растолковать всё не будет архисложно, но нужно ли ему это знание?

Нет, не нужно, пока нет, дай-ка я сначала вытащу ее из этой тюрьмы, не знаю как, но дай я ее как-нибудь вытащу, потом спрошу об этом Игу, потолкую с ней об этом, найду в ее толковании след давней близости, не буду ни судящим, ни рядящим, но понимающим и участливым, Ига найдет во мне всепрощающего наперсника.

Итак, я говорю Яцеку, что Витковский хочет, чтобы я стал рейхсдойче. Что это для Польши. Что организация требует. И так далее. Но Яцек не слушает.

— Вытащишь ее? — спрашивает он не переставая. — Вытащишь?

Поэтому я его успокоил, убаюкал, как убаюкивают ребенка. И ушел.

Домой, к Геле, к Юрчику. Иду, но словно бы и не шел, потому что город нес меня, словно я отсутствовал в собственной голове, город полумертв, однако живет, Варшава.

Эй, шоколадный дом мой, кто я такой, когда поднимаюсь твоими лестницами, стучу в дверь, Геля и сын мой, так кто я?

А после, в ночи, мы разговариваем.

Я помню, хорошо помню, кто для меня эта дивная женщина, которую я полюбил по-настоящему, а потом об этой любви забыл, ибо возникли другие тела, а затем возникла Саломея со своим белым телом курвы, телом, которое мне уже не выбросить из головы, с его мягкостью и избытком, но ведь не была для меня Саломея и каплей того, чем является для меня Геля.

А я на всех парах мысленно обвиняю и осуждаю ее, как если бы я ее ненавидел, а я ведь люблю. Виню ее в том, что она дочь своего отца, а ведь она его дочь в той же мере, в какой каждый является ребенком своих родителей.

И любит она меня сильнее, чем Польшу.

Она любит тебя больше, чем Польшу, Костичек? Не знаю.

Я говорю, что стану рейхсдойче и что нам придется расстаться, что ей придется отречься от меня. Чтобы легенда выглядела прав-

доподобной. Не исключая, что захотят отобрать у нее Юрчика, но я постараюсь это предотвратить.

— Мы скажем, что Юрчик не твой сын, — советует Геля. — Только плод романа с каким-нибудь поляком.

Я сглатываю, очень громко сглатываю эти слова.

Она же, любимая она, она все видит и понимает. Юрчик уже спит, а Геля, любимая Геля, обнимает меня, ведет в постель, и ведь знаю я, что ей известны мои измены, но ей известно также, что я ее по правде люблю, поэтому она говорит сладчайшие слова, шепчет их мне на ухо, один кубик сахара за другим, мы станем видаться тайно, после войны все узнают правду и я стану героем, она никогда даже не взглянет на другого, ей тоже больно, болит, как рана от стилета в самое сердце, но она понимает, что так нужно, что война, да и логично, с моим-то немецким языком и происхождением я тем самым смогу послужить Польше как можно лучше, больше, расстегивает мне сорочку, нужно принести эту жертву, будто я с ней незнаком, целует мою шею, ни один мужчина ее не тронет, станем видаться, Костичек, а как с Юрчиком, Юрчику мы немного солжем, папуле уехать пришлось, а если дети скажут ему во дворе, что папуля теперь фриц, я не пушу его на двор, Костичек, она целует мой живот так, как никогда не целовала, ласкает мое тело, как никогда не ласкала, ласкает меня так, как если бы она была мужчиной, а я был бы женщиной, которую нужно раззадорить, но ты сможешь видать его, когда он спит, Костичек, укрывать его на ночь, а потом, после войны, мы ему всё расскажем и у него будет отец герой, расстегивает мне брюки, стягивает их нежно, стягивает нижнее белье, интересно, поцелует ли она меня так, как одна Саломея меня целовала, берет меня в руку и ее взгляд находит мои глаза, захоти я сейчас, то поцеловала бы, но я не хочу, я хочу, чтобы ее губы остались чистыми, поэтому я притягиваю ее к себе, вверх, она целует меня в губы, я бы любила тебя, Костичек, даже если бы ты вправду стал немцем, потому что в тебе весь мой мир, я бы не могла не любить тебя, вне тебя я не существую, Константин.

Я наг, она одета. Отрываясь от меня, она обнажается так, как никогда передо мной не обнажалась, она не снимает одежду, как снимала на приеме у врача, и не раздевается стыдливо, чтобы тотчас скользнуть под одеяло, никогда не стеснялась ни моих эротичных касаний, ни моего неэротического взгляда, но ей не нравилось, когда я смотрел на нее сквозь призму эротической ситуации, а теперь она предлагает именно это, ее груди, живот, светлые волосы между ног, и когда стягивает платье, то еще золотая, едва заметная дымка светлых волос под мышками, упираясь руками в мою грудь, садится на меня, и мы любим друг друга так, как никогда раньше, рот Гели открыт, глаза закрыты.

— А теперь иди туда, — говорит потом, когда мы уже лежим, накрытые одеялом.

— Мы никогда не занимались любовью так часто, — откликнулся я. — Ведь прошлой ночью и теперь снова.

— Я никогда не любила тебя так сильно, как сейчас, Константин. Оттого. А теперь иди, возьми бумаги, они в кабинете, в нижнем ящике стола, возьми бумаги и уходи.

Я целую ее, ее язык вползает мне в рот, как агент желания, и, может, я бы хотел, может, я был бы готов слиться с ней еще раз, но Геля отталкивает меня деликатно, со смехом, целует, но отталкивает.

— Иди, иди, нечего ждать, иди, Константин.

Поэтому я набил портфель бумагами, школьные аттестаты, армейские документы, всё, оделся и пошел, и думал о том, что в последний раз прохожу улицами Варшавы как официальный поляк, но и так отчего-то не с кем мне было раскланяться, поэтому зашел на кофе к Ларделли, сел под пальмой и выпил маленький черный, но даже там я не встретил ни одного знакомого, поэтому, выпив, двинулся дальше.

Что ты ищешь, Костичек, чего ты ищешь в городе, в костюмчике своем твидовом, с рожей, набитой тем, кого ты убил?

А, может, мне себя самое спросить должно, почему я все еще с тобой, почему я за тобой поспешаю, отчего не бросаю тебя?

Могла бы я бросить тебя, Костичек? Не могла бы.

На Маршалковской я вскочил в телегу, запряженную позорным одром, свободны были лишь стоячие места, жесткие лавки по бокам телеги все заняты. Я мог бы, конечно, убедить деревенскую бабу, что мое тело больше заслуживает сидения на лавке, чем ее корзина с яйцами, но настрой на спор с крестьянством отсутствовал, так что я молчал и неловко вихлялся, когда телега скакала на выбоинах.

Я вспомнил, с чем у меня ассоциируется поездка стоймя на телеге: с ксилографиями времен французской революции, изображавшими транспортировку на эшафот.

Я слез в конце маршрута, пересек Саксонский сад, чуть всплакнул над пепелищем Летнего театра, сколько славных воспоминаний связано с ним, сколько женщин! Вышел на улицу Фредро и встал перед банком еврея Вавельберга, который, говорят, участвовал в Январском восстании. А в домище этом — Немецкий Клуб.

Вхожу. Понятия не имею, куда податься, но, стоило мне открыть дверь, как я уже знал.

Коридор был забит. Забит кандидатами в немцы, к гадалке не ходи. Общество было зверски пестрым, весь социальный спектр, оно зверски толклось у дверей, с которых еще не была снята двуязычная надпись.

Дверь распахнулась, и группа личностей разного пола и типа немедленно ввалилась через нее в представительство клуба.

Встав у стены, я решил вооружиться железным, несокрушимым терпением и ждать, сколько придется.

Польша этого от меня требует, Польша этого от меня желает.

Я смотрел на толкотню с презрением: вот предатели, конформисты, жалкие твари, в чьих жилах чаще всего не течет ни капли

немецкой крови, а привело их сюда то, что ведет к любому, у кого сила. Подлость. Зоопарк. Подонство подлинное и подонство мещанское, интеллигентское, в костюмах, а все ж таки подонство.

Дверь снова распахнулась, и из нее вышел гневный джентльмен, выкрикивая на весьма угловатом немецком, что знает кого-то из окружения самого Гимmlера и намерен ему жаловаться, потому как то, что здесь делается, воистину позорно!

Последнее заявление сделав на польском.

За ним враз увидел я свою мать. Вздрогнул.

Как же она изменилась! Индейский вождь, Белая Орлица, уже не сидела в кресле, укрытая завесой седых волос, волосы были туго сплетены в тонюсенькую косу, свернутую на затылке аккуратным гнездом. То же лицо, руки старческие, но одета в нечто, что могло бы изображать женский мундир темно-зеленого сукна, без знаков различия и наград.

И она тоже меня увидела, улыбнулась, махнула мне рукой, и толпа разошлась, что твое море перед посохом Моисея, хотя в этом контексте, очевидно, следовало бы избегать еврейских сравнений, и я вошел, встал перед ними.

Было это нечто вроде комиссии, принимающей, как я угадал, письменные заявления о признании немецкой принадлежности обращающихся сюда жителей Варшавы. Итак, за столом сидят двое штатских, я их, возможно, даже видел когда-то, поскольку лица кажутся мне знакомыми, сидит человек в униформе неизвестного мне происхождения, зато с моноклем в глазу, плохо идущим к неряшливой прическе и небрежно выбритой челюсти. И сидит моя мать, как будто Катажина Виллеман была призвана производить здесь оценку немецкости жителей Варшавы.

— Das ist mein Sohn¹, — просто сказала мама.

И твое презрение к толкущейся у дверей толпе распалось в прах и пыль, вера твоя в то, что именно это тебе надлежит сделать — ради Польши — равным образом.

Коли Белая Орлица здесь, в этом зеленом мундире без знаков различия, это значит, что Польши уже нет, точка.

Твоя мать была для тебя Польшей, Костичек. Может, она вообще была Польшей, не только для тебя, может, в ней Польша концентрировалась и проявлялась полнее всего.

Я встал перед ними.

Моя мать задушевно улыбнулась мне. Я не помнил этой улыбки.

— Я рада, что ты пришел, — сказала она по-польски. — Но необходимости в этом не было, я уже выполнила за тебя все формальности. Актуальная политическая ситуация кажется мне в известном смысле триумфом доиндоевропейского субстрата над арийскими захватчиками, понимаешь? Ты ведь знаешь теорию Зигмунда Фрейда?

1. Это мой сын (нем.).

Конечно, я не знаю, не понимаю, не слушаю даже, потому что опять, опять, как это так, как ты выполнила за меня формальности, не спросив моего мнения, а если бы я хотел остаться поляком, я же хочу быть поляком, тогда что?

Чеки, чеки, чеки снисходительности, чеки благотворительности, материнские чеки, опель олимпия, шоколадный дом, смокинги, ралли, самолеты в Венецию, всё.

— Здесь подпиши, будь добр.

Костлявая материнская рука сует немецкий документ, Deutsches Reich, Kennkarte, орел, как на мундирах, по центру Константин Михаэль Эдуард Виллеман и фотография Константина, та самая, что в моем польском паспорте, прокомпостирована в двух местах.

— Сделай здесь отпечатки пальцев. — Мать не стесняется говорить здесь по-польски, зачем она говорит по-польски, ведь мы могли бы говорить по-немецки, а она говорит по-польски.

Подсовывает мне подушечку, я оттискиваю большие и указательные пальцы обеих рук, не сказав ни слова. Мать сгибает бумагу пополам, подает мне с лучезарной улыбкой.

— Ich begrüße Sie in den Reihen des deutsche Volkes, Herr Willemann¹.

А ты ничего не понимаешь и позволяешь творить с собой что угодно, Костичек. Ты вглядываешься в значок на лацкане ее жакета. NS-Frauenschaft. Ничего не понимаешь.

Я не скажу тебе, что все это очень просто для нее. Ты можешь думать, как тебе хочется, ты будешь подозревать мать в гнусностях, в низменных побуждениях, в страхах, после призовешь на борьбу с этими подозрениями иные подозрения — а может, она творит это по чьему-то приказу, как ты, точно так.

Она просто сделала то, что хотела.

Это твоя мать, Костичек, а ты так и не постиг ее. Когда вы переехали в Варшаву и она заперлась в келье собственной комнаты, доступ к которой имели лишь вы со Стахом, ты являлся к ней за чеками, а Стах на многочасовые аудиенции, на которых она говорила, а он слушал, и он постиг ее, в общем-то, намного лучше, чем ты когда-либо постиг.

Зачем сейчас она стала немкой?

Единственная причина: ровно так она решила, такой выбор сделала однажды утром. Время славянства прошло, пришло время снова стать немкой. Так же, как некогда решила, что станет полькой, будучи запертой в рыбацком сумасшедшем доме, она решила стать полькой, поскольку сочла польскость абсолютной трансгрессией. Решила также сотворить поляка из своего врача, юного психиатра фон Конечны, дабы преумножить трансгрессию, но в качестве определенной на лечение сумасшедшей не имела для этого других средств, и сделала это с помощью своего тела.

1. Приветствую вас в рядах немецкого народа, господин Виллеман! (Нем.)

А я была тогда с ним, с фон Конечны, и я помню его безумие. Я помню его черные ночи, черные ночи юного психиатра: юная жена в постели с младенцем и его черные ночи. Жена с ребенком потом уедет в Берлин, ребенок позже погибнет при Камбре, вот соль его жизни, рассыпанная в болотах, предательство отца, немцы, танки, осколок, конец, черви. А пока Мартин, что погибнет потом при Камбре, еще мал, его отец сидит за столом, летучая мышь коптит, а он сидит и смотрит. Линия, которую шнапс вырезает на стекле бутылки, ползет ко дну с каждый рюмкой. Водкой он думает убить память о теле своей пациентки. После он исповедуется священнику, после исповедуется другу, но тело юной Виллеман впилося ему в мозг через его глаза и ладони, и через губы, которыми он познал ее, и через член, что вдруг не хочет больше юной и красивой жены, хочет лишь восемнадцатилетнюю пациентку, и это тело в конце концов выигрывает всё.

Фиаско, он бросает жену и сына, фиаско, он вытаскивает Катажину Виллеман из больницы, фиаско, он становится поляком и даже думает выучить язык, фиаско, он любит ее безумно, фиаско, он сходит с ума, фиаско, он стреляет себе в лоб из револьвера, когда слышит, что они больше не увидятся, так как она хочет, чтобы Альфред Конечны посвятил свою жизнь борьбе за дело Польши, а не прощелкал ее с ней под периной.

Она известила его об этом, чувствуя внутри себя его семя, едва он свалился с нее на грязные, скомканные простыни, а он ее знал и видел, что она не шутит, что не передумает, он поспешил одеться, еще ощущая дрожь последней судороги, воспоминание о мертвом блаженстве, оделся, стало быть, побежал домой, достал из ящика револьвер марки Mauser и прострелил себе голову пулей калибра 6 мм.

Я тогда еще посидела над ним какое-то время, гладила его белую польскую голову, смотрела, как кровь, брызнувшая на револьвер, собиралась в зигзагах барабана, после чего бросила его, оставила его мертвого в кабинете, и долго ожидала кого-либо достойного, пока не встала за твоим отцом, и его я также бросила, хотя вовсе не ожидала его смерти, ведь я бросила его, когда тебе было пять лет, и встала за тобой, Костичек.

Всегда глядела на тебя польскими глазами твоей матери, Константин. Зато теперь я гляжу на тебя немецкими глазами твоей матери, Константин, а ты не веришь, что она не заснула ни разу, а я знаю, что не заснула. Я ведь частью она, Константин, а ты, бедняга, не только этого не знаешь, а и меня лишь предполагаешь, горемыка.

Ты не поймешь, и я тебе не объясню, я не могу. Между тем решением, сделаться полькой, и этим решением, сделаться немкой, вектор прост: твоя мать есть чистая воля, твоя мать касается божественного, Костичек, если бы она хотела, могла бы удержать своей волей Гитлера, могла бы удержать солнце за горизонтом.

Но ты не поймешь, не можешь. А теперь иди, иди отсюда.

— Иди теперь, после побеседуем, — говорит твоя мать в темно-зеленом мундире с косой, заплетенной на затылке, как шляпка огромного гвоздя.

Ты прощаешься и идешь, идешь, потрясенный, ты просто уходишь, Kennkarte на ладони, в кармане польский паспорт, уходишь. Сбившиеся в коридоре кандидаты в немцы расступаются перед тобой. Смотрят на документ в твоей руке и смотрят на тебя с каким-то презрением, потенциальные предатели на матерого свехпредателя, а может, они смотрят на тебя с восхищением, почтением, страхом?

Навстречу мне проталкивается какой-то немец в серой форме, без орла на груди, английский воротник, черный галстук, рубаша коричневая, над галстуком и рубашкой лицо, которое ты знаешь, но не узнаешь. Кланяется тебе этот немец, улыбается. Ты знаешь, ты уже знаешь, Сым! Сталкивались время от времени, однажды вас даже представили, какой-то пьяный ужин У Воробья, восторг Гели, как же, кумир ее ученических лет.

Этот взгляд пугает тебя: он многозначительно, фамильярно приподымает фуражку, словно своим присутствием в Немецком Клубе вы подтвердили контакт: он в серой форме и черном галстукке, ты с кеннкартой рейхсдойче в руке. Будто говоря: глянь, пан, куда нас, немцев, влечет история. Дух ея.

И вас влечет, Костичек, вас влечет темная материя под кожей мира, сила, неведомая тебе, Костичек, прорастают из нее черные боги, как корневища в трещинах между людьми, между тобой и каждым из прохожих в этом побежденном городе.

Так что, может статься, прав был он с тем своим взглядом.

Ты выходишь потрясенный, Костичек, выходишь на улицу Фредро, начался дождь, ты выходишь под дождь, как будто его там нет, не думаешь о дожде. Потрясенный, ты идешь через парк, идешь по улицам, Kennkarte сунул во внутренний карман пиджака, и ты идешь, Костичек.

Возвращаешься в дом марки Е. Wedel, лестница, дверь в квартиру приоткрыта. Заходишь. Нету.

Нету их. Нету ни Гели, ни Юрчика. Неужто не ожидал? Неужто ты думал, что будет как-то иначе?

Сколько раз, Костечек, ты удирал от ее тела, удирал от детского плача, от семейных ужинов, удирал куда угодно, в Земянскую или к Саломее, или в Татры, к случайным подругам и случайным знакомым, лишь бы подальше, подальше, лишь бы сбросить с себя их голоса и лица, голоса и лица тех, кого ты любил больше всех, но не мог выносить.

А нынче нету их. И неожиданно отсутствие тела Гели много острее блаженства, ею данного тебе прошлой ночью, ее тела здесь нет, нет ее грудей, живота, спины, ее ягодиц, ее светлых волос, отняли у тебя Гелю, кто отнял ее, Польша, злые люди, Витковский, кто?

Письмо на твоей кровати, а что в письме, да что ж там может быть, читаешь и не понимаешь ни слова, звучат как музыка, движутся, но без значений, но ты-то понимаешь.

Она ушла. Взяла деньги, придется тебе самому справляться, но тебе это будет легче, поэтому забрала все. Вы будете видаться втайне, конечно же, вы условитесь, что и как и когда комендантский час, отец не должен знать, он удостоверит легенду, так нужно, иначе нельзя.

А тебя комендантский час ведь не касается. Так что тебя касается, Костичек?

Кто ты, зажатый между стеной и постелью, ревущий, как ребенок, убийца, блядун, трезвый морфинист, кто ты есть, Костичек?

Ты есть мой.

Вот такой: мой и зареванный, одинокий, потерянный, без денег, полный надежды, ты засыпаешь между стеной и зеркалом, не раздеваясь ко сну.

Глава VII

А утром, утром уже семнадцатый по счету день октября, ты просыпаешься рядом с кроватью, просыпаешься и жаждешь.

— Sitio, — обращаюсь к пустой квартире.

Ты что же, пародируешь Иисуса Христа, Костичек? Или скорее учителя латыни из гимназии? За кого ты себя принимаешь? Ни за кого, в этом твоя трагедия.

Ты жаждешь воды, будто с похмелья, а ведь ты ничего не пил, ты жаждешь морфия, но ведь ты присягнул на трезвость, по крайней мере, m-типа, присягнул повторно и клятвы нарушать не желаешь. Ты жаждешь тела Гели, но знаешь, что оно тебе еще долго не будет суждено. Ты жаждешь сучьего тела своей Саломеи, но ее ты слишком боишься, чтобы пойти к ней сейчас, правда? Ты жаждешь всех тел, что ты когда-либо распробовал, от Иги до Гели.

Я не пойду к Саломее. Отдираю себя от пола, снимаю с себя одежду, иду в ванную, вода есть, так что мыться, бриться.

В зеркале мое лицо. Не мое. Твое, Костичек.

В зеркале лицо иуды? Да ладно, не иуды, не иуды, в зеркале скорее лицо героя, да вот героя ли?

Ты вставляешь новое лезвие в станок, соскабливаешь щетину. Надеваешь свежую рубашку, другой галстук, костюм вчерашнего дня драишь щеткой так, словно не было войны, и вешаю его в шкаф. Вешаешь, да. Вешаю.

А в шкафу нет платьев Гели, нет ее юбок, ни блузок, ни белья. Полки ее суть твоя пустая душа, полная, впрочем, надежды.

Закрываю шкаф.

Ига. Шуха, 25, в министерство. Недалеко. Иду.

Министерство по делам религий и общественного просвещения, дивно. Просветило польскую общественность, факт.

Я предъявил караульному свою Kennkarte и венский выговор. Голос из-под каски указывает мне дорогу, как идти, куда идти. Комната номер двести семьдесят пять.

А в следах твоих проступает темная материя из-под кожи мира, словно бы ты шел по мокрому ковру. Вот где творится история.

Чем является история, Костичек? Удобрением, пищей черных богов, суммой стонов и слез, прахом и пылью.

История творится, когда тыходишь в кабинет этого немца в сером мундире за польским столом из красного дерева, за которым не столь давно референт по фамилии Копчикевич писал отчеты о положении Православной церкви в Новогрудском воеводстве, а сейчас, ровно в данный момент, в который ты, Костичек,ходишь в его кабинет, ровно в данный момент референт Копчикевич сидит в выстуженной львовской квартире своей матушки, к которойсбежал из воюющей Варшавы, и видит в окно, как кроткий советский патруль бродит по пустеющей при виде его улице.

А немец сидит за письменным столом, чьи ящики хранят еще ручки Копчикевича, промокашки и бумаги за его подписью, поскольку немца содержимое этих ящиков не слишком интересовало.

Ну, вперед, Костичек.

Итак, вперед. О причине ареста не спрашиваю. Гну свое твердо, серьезно, с великой уверенностью, словно пребывая в крепком убеждении, что сам статус рейхсдойче дает мне право требовать освобождения жены моего друга и моей бывшей любовницы.

А ведь это явная чушь, но что еще остается делать?.. Расчет на то, что хаос первых дней оккупации, пока все не окрепло, не устоялось еще, поспособствует.

Немец слушает внимательно, а я продолжаю требовать. Ich verlange¹.

Немец слушает внимательно, кивает. Записывает фамилию, я диктую по буквам.

— Sie sind sicher, dass sie hier interniert ist, ja?

— Ja.

— Aber woher wissen Sie das eigentlich?..

— Ich weiß es ganz einfach².

Эти слова или иные, неважно, верно, Костичек? Важно, как ты на него смотришь. А немец переходит в контрнаступление.

— Если ее арестовали, это значит, мой господин, что она набедокурила. In welchem Verhältnis steht sie zu Ihnen? Sie haben in Warschau vor dem Krieg gewohnt, Sie sind nicht aus dem Reich, oder?³

Значит, все же в направлении контакта, верно? Итак, сначала коротко о себе, о том, как трудно в Варшаве немцу, и вдруг что-то подсказывает мне, кто-то подсказывает мне, и я в одной из фраз упоминаю своего отца, который сражался в Великой войне, а затем

1. Я требую (нем.).

2. Вы уверены, что она помещена именно сюда, так? — Так. — Но откуда же вам это известно?.. — Просто известно, и все (нем.).

3. Кем она вам приходится? До войны вы жили в Варшаве, вы не из Рейха, верно? (Нем.)

kämpfte mit den polnischen Aufständischen um Oberschlesien¹, а сам я сражался на Бзуре в польском мундире и награжден Крестом Храбрых.

И вот я заполучил уже его участие.

— Also Sie sind Deutscher?..² — спрашивает он, заинтригован.

Подтверждаю, конечно, ja, natürlich, natürlich, ich war polnischer Staatsbürger³, свой долг я исполнил до конца — теперь Польши больше нет, так что присяга моя соблюдена, а я наконец могу соединиться с моим подлинным национальным отечеством. Я вижу, как в нем борются противоречия: немец, но сражался против нас, однако риторика достигает его разума, действует на него. Ему интересно говорить со мной, а это самое главное.

Лишь бы я не забыл, кем являюсь на самом деле, чувствую, это может даваться мне чересчур легко.

Ты не забудешь, Костичек.

Итак, к делу, Костичек, к делу. Раз уж у нас такой милый контакт, давай поговорим как солдат с солдатом. Это моя любовница. Польша, но совершенно аполитична.

— In Zeiten des Krieges ist alles politisch, jeder ist politisch⁴, — справедливо замечает мой собеседник.

Соглашаюсь, но тут же ссылаюсь на опыт, что должен быть ему близок, неужто пан не приложил бы всяческих усилий, чтобы спасти девушку, близкую сердцу пана, неважно, полячка ли она или еще кто?

— Sie denken doch nicht vielleicht, dass ich mich in eine Judenbraut verlieben könnte, oder? — смеется серый мундир. — Andererseits, richtet sich das Herz nach parteilichen Reden?⁵ — добавляет он, понижая голос, подмигивая.

Так и есть, он был или будет влюблен, раз подобные тонкости любовных афер ему не чужды.

Штурмфюрер Меркель, так звучит его фамилия, которой он тебе не назовет, таковы правила. И штурмфюрер, да, входит в положение. Но да, штурмфюрер Меркель имеет свои принципы. Имеет также свои потребности, в Берлине у него девушка, которой он не может предложить руку и сердце, потому как уже женат на женщине, которая ему безразлична. А девушка с черными волосами и голубыми глазами, девушка по имени Бернадетт волнует его больше всего на свете, и он ревнует ее как безумный, тем более что он был

1. Сражался с польскими мятежниками за Верхнюю Силезию (нем.).

2. Вы, стало быть, немец?.. (Нем.)

3. Да, само собой, я был гражданином Польши (нем.).

4. В военное время всё и каждый — политика (нем.).

5. Вы, часом, не думаете ли, что я мог бы влюбиться в какую-нибудь Сарочку, а? ... С другой стороны, разве сердце внимает партийным речам? (Нем.)

ее первым любовником и, как дурак, рассчитывает обеспечить ее верность подарками с фронта.

С фронта, ибо он до сих пор не сказал ей, что работает в гестапо. Ибо он дурак, ибо полагает, что это отвратило бы ее, а полагает он так, ибо Бернадетт ненавидит нацистов по правде и любит джаз, куда же ей полюбить гестаповца?

Как я уже упоминала, штурмфюрер Меркель дурак и не разумеет любви: Бернадетт любила бы его нацистом, коммунистом или евреем, а коль была бы ему неверна, то оттого, что любовь прошла, а не оттого, что ее фрустрирует идущее с военной почтой золото.

Золото, которое ей не нужно и которое ее не волнует, волнуют ее одни его глаза, теплые мягкие губы и низкий голос, и то, как он шепчет ей на ухо, когда они лежат нагими на смятых простынях в ее крошечной комнатке на Седанштрассе, Шёнеберг.

Но штурмфюрер Меркель дурак и не знает этого, а может, он просто мужчина, и оттого не знает, не понимает, и оттого лжет бедной маленькой Бернадетт, он лжет ей, что не женат, что служит не в гестапо, ибо не верит в ее любовь, не зная, что она любила бы его точно так же при жене, гестаповском жетоне в кармане и пистолете, который он всегда оставляет дома или в офисе, когда замышляет свидание со своей маленькой Бернадетт, чьи ярко-голубые глаза осияют в ночи его лицо.

Вот зачем штурмфюреру Меркелю деньги, на подарки, которых отнюдь не жаждет его маленькая телефонистка Бернадетт.

И оттого штурмфюрер Меркель теперь молчит, усиленно глядя на этого странного, красивого человека в хорошем костюме с белым платком в нагрудном кармане и с безупречным венским выговором, с лицом, выдающим штурмфюреру уверенность в себе, но равно склонность к компромиссу и сделкам с совестью. А штурмфюрер Меркель верит в лица, верит в секретный алфавит пропорций глаз, носов, ртов.

Ты всего этого не знаешь, Костичек, но как-то познаёшь.

— Die Liebe hat Ihren Preis, Herr Willemann¹, — говорит штурмфюрер Меркель.

Уже сообразил. Ну да, почему, какого черта я не подумал об этом? Соглашаюсь с улыбкой. Именно, любовь имеет свою цену, и все мы так или иначе ее уплачиваем, *das ist unabwendbar*².

— Ja, also wieviel?..³ — спрашиваю с улыбкой.

А штурмфюрер Меркель горячечно считает, оценивая, как бы не переборщить, тем более не хочется недоборщить, в конце концов называет сумму, будьте любезны.

— Zwei tausend Dollar müssten reichen⁴.

1. Любовь имеет свою цену, господин Виллеман (*нем.*).

2. Это неизбежно (*нем.*).

3. Хорошо, так сколько?.. (*Нем.*)

4. Двух тысяч долларов, полагаю, должно хватить (*нем.*).

Лишь сейчас он начинает прикидки: сумеет ли устроить это освобождение? Даже если половину взятки переправить дальше, выше, то справится ли он? Ему не хотелось бы водить за нос этого славного варшавского немца с точеной челюстью и бледно-голубыми глазами, напоминающими глаза Бернадетты. Итак, обещает себе, пусть даже три четверти взятки уйдут наверх, он все равно устроит это освобождение.

Мы обещаем согласно своим надеждам, а поступаем согласно своим страхам. Это записал некий французский герцог, уже триста лет как мертвый, без разницы, вас, людей первой половины двадцатого века, он разумел лучше, нежели вы разумеете самих себя.

— Wird gemacht¹, — говорит мой прекрасный, любимый Костичек и встает с военной четкостью, встает, не видя надобности затягивать разговор, все, что нужно, уже сказано.

Штурмфюрер Меркель тотчас встает, вежливо, они прощаются, пожав друг другу руки.

Когда Константин уже стоит в дверях, штурмфюрер с силой эрекции вскидывает ладонь в Deutscher Gruß.

И что мне теперь делать, думает Константин, думаю, что мне делать, не станет ли это еще одним звеньшком в цепочке моих измен, не забыть, не забыть, кто я такой на самом деле, Бога ради, я избираю немца меньше суток, а уже боюсь, что забуду, кто я, еще одно звеньшко, цепочка.

А что ж это есть, измена, дабы изменить кому-то или чему-то кроме нас самих, нам бы сначала должно поверить, что существует еще кто-то помимо нас, а верить в это даже труднее, нежели в Господа, одиночество человека так заразительно и пронзительно, любовное одиночество, одиночество анахорета, одиночество матери пятерых детей, одиночество жуира в окружении дружества и солдата в окопе.

Чьи это мысли? Мои или твои, Костичек? Похоже, мои, но ведь мы связаны больше, чем ты можешь связать себя с какой-либо другой женщиной, так что это немножко и твои мысли, не так ли?

Я вскидываю руку в знак приветствия, будто вздергиваю зенитный ствол.

— Neil Hitler, — говорю я, придав, впрочем, своему голосу определенный сарказм, мы в конце концов о взятке договорились, трудно зиговать серьезно.

Очаровательный гестаповец, видимо, все понимает, поэтому он подмаргивает мне, садясь. Я выхожу в Варшаву, которая не моя уже дважды.

Из дома я обрадую Яцека добрыми вестями, так что возвращаюсь домой, неспешно возвращаюсь, идя по улице по-другому, по-другому пересекая Пулавскую, по-другому.

1. Будет сделано (нем.).

По дороге, правда, захотелось перекусить, в квартире у меня ничего нет, магазин-кафе закрыт, поэтому я иду к Ларделли, даже крюка даю.

Внутри кругло и пальмово, словно войны не было вовсе, столики заняты, заседают, хлебают кофе. Без перемен: словно войны не было вовсе, стоит лишь уйти с улицы.

Для тебя война лишь дает ростки, лишь оперяется, Костичек.

Под пальмой возле стойки я заметил Рудзика, и он меня тоже заметил. Мне ничуть не улыбалось его общество, поскольку я что его в тупицах и занудах, но все-таки было бы неучтиво, приметив знакомца, вообще не подойти к нему, не поприветствовать и, наконец, не присесть.

Таким образом, подхожу, небрежно улыбаюсь и протягиваю руку. А Рудзик встает, как ужаленный молнией, и вдруг резкость: я вижу, что его колени и руки дрожат от резкой вспышки гнева, но есть у него та сила воли, остался он офицером, хоть и в гражданском, владеет, значит, собой, а как же, значит, встает и не замечает меня, словно я пустое место, моя ладонь висит в воздухе и вдруг делается центром всего кафе, все взоры устремлены на эту правую ладонь, Рудзик пробует быть еще храбрее, глянуть так, как если бы он смотрел сквозь меня, сквозь мои глаза, чтобы показать мне, что не боится.

А теперь я ощущаю, как гнев насыщает резко мою кровь.

Я вижу, что Рудзик не прочь добавить еще что-либо: плюнуть мне в ноги, может, в лицо, а может, даже дать мне пощечину.

Но Рудзик уловляет в твоих глазах, Костичек, вой Каэтана Тумановича, и кровь, текущую из его пустой глазницы, Рудзик уловляет это и вдруг пугается, мало того, он в ужасе от того, что сделал, тем более в ужасе, что уже некуда отступать, как же отступишь теперь, пожмешь швабскую десницу ренегата, коли все они смотрят, коли он, с грохотом сдвинув свой стул, привлек их взгляды к своему маневру. Но кровь в твоих глазах видит он: знает, что нечего ему добавлять к тому резкому вставанию и непожатию рук, поэтому срысывает со спинки стула спортивную куртку татарника и уходит, исчезает, почти бежит.

Глаза отлипают от твоей руки, ибо все видели, что Рудзик сбежал. Конечно, скажут не так. Скажут, мол, он не пожал тебе руки, мол, был он стоек, был храбр, но теперь они не позволят себе никаких маневров — пока ты не уйдешь, — им не отважиться на какое-либо презрение, ибо пугает их его страх, страх майора Рудзика их пугает.

А тебе, Костичек, нести этот крест. Вернее, топорёл этот нести на своих плечах, се твоя жертва во имя родины. Не крест ведь это, ведь не именем Бога, которого нет, ты понесешь это бремя, а именем Польши.

Только не пригибайся при этом более, чем следует.

Да ебись он конем, Рудзик. Ебитесь вы все коромыслом. Подбегает официант и старается балансировать между услужливостью, адресованной мне — немцу, и дистанцией, адресованной публике в

кафе, бедняга между молотом и наковальной. Я не облегчаю ему задачи, я никому ничего не собираюсь облегчать.

Сажусь с жидким кофе и хлебом с маслом, ибо пирожных — есть уже пирожные! — неохота, а из конкретной еды в наличии один хлеб.

Беру деревянную вешалку с “Новым курьером”. Акт встречен взглядами, полными понимания: продажный немец, отсюда и “Курьер”. А, коромыслом вас. Сами это читаете, надо ведь что-то читать. Пролистываю газету, всё больше объявления, ничего интересного, допиваю кофе, ухожу. Иду к Яцеку.

Нахожу его там, где оставил, в квартире, в пижаме, похоже, извести о том, что Ига жива, ничуть не поставило его на ноги.

— Выпустят ее. За две тысячи долларов. У тебя есть? — сразу спрашиваю на пороге.

Яцек, открыв дверь и не отвечая на мой вопрос, идет без единого слова в гостиную, отпирает секретер, вынимает оттуда большой бумажник, инвентаризует отделения, две купюры по пятьдесят долларов. С президентом Грантом. И пятьсот польских злотых.

Сажусь в кресло, Яцек кладет деньги передо мной.

— Столько.

И падает обратно на диван, на котором, без сомнения, провел последние несколько дней. Потолок выцветает под его коровьим взором.

— Яцек, надо ее оттуда забрать, надо раздобыть денег.

Отворачивается к спинке дивана.

— Это наказание мне, — сказал он голосом, приглушенным плюшевой спинкой. — Бог карает меня за мои проступки.

Прострация. Наверно, я должен стараться его утешить, должен выбить из его башки дурные мысли о наказании, должен заставить его, вынудить к действию.

Должен, должен... Костичек, кому ты что-либо должен? Люди не пересекаются, Костичек, люди сами по себе, каждый человек является отдельной малой вселенной, никто никому ничего не должен.

Ты ничего не должен Геле, Юрчику, ничего не должен Яцеку, и тебе никто ничего не должен. Ты родился один и умрешь один. То, что кто-то когда-то причинил тебе некое добро, это лишь иллюзия. Пусть твоя мать вскормила тебя, когда ты был младенцем, что с того? Она кормила, чтобы не смотреть, как ты голодаешь. А стало ли тебе лучше оттого, что ты не умер ребенком? Какова ценность всякого причиняемого нам добра, если оно лишь множит страдания, укрепляя иллюзию, что в жизни дано испытать счастье?

За зло ты не должен никакого воздаяния, никакой мести, да и чего может касаться причиненное тебе зло? Видимости, Костичек, миража.

Я встал.

— Позвони мне, когда будешь в состоянии, — сказал я, не будучи уверен, что слова в принципе доходят до него.

И пошел домой, а Яцек даже не утрудил себя запираанием двери.

Всхожу по лестнице, дверь в квартиру приоткрыта. Я похолодел. Представил себе, как внутри ждет меня с револьвером мой познанский тесть. А то и немецкий полицейский с наручниками, чтобы арестовать за жестокое убийство Каэтана Тумановича.

Ожидал меня, впрочем, один Инженер, в чем я убедился, как только, поборов страх, вошел наконец в квартиру. Он сидел, развалившись в моем кресле, положив ногу на ногу, покачивая носком офицерского сапога тугой хромовой кожи.

Я поздоровался, стараясь не выказать изумления. Инженер сразу перешел к делу.

— Пан зарегистрировался на Фредро? — спросил он, и странно прозвучал этот вопрос на фоне его прежнего всеведения.

В ответ я показал Kennkarte. Витковский проштудировал весь документ, как будто в нем содержался по крайней мере какой-то нарратив.

— Фамилия же должна быть Штрахвиц! — возмутился он. — Кроме того, как ты, пан, достал этот документ за два дня?

Звучало ли в этом вопросе подозрение? Не знаю. Не исключено, что звучало.

— А это, прошу прощения, пана уже не касается, — с напором возразил я, к собственному изумлению. — Задача выполнена.

И тебе даже удалось обойтись без пояснений, хоть как-то смягчающих твой ответ, Костичек. Как же я рада.

Витковский помолчал с минуту, шевеля ртом, словно что-то жевал, мясистые губы извивались червяками в луже. Вдруг встал, подошел к окну, выглянул и махнул рукой.

— Мы приведем пана к присяге.

И они привели. В квартиру зашел серый сухощавый человек в летном шлеме и старосветской пелерине, стянутой армейским ремнем. К комплекту прилагались круглые очки в проволоочной оправе, Витковский представил его как Водителя.

Рука в кармане пальто, вновь этот гипноз пальца на спусковом крючке, он держал ее там все время, пока я присягал, глядя на меня оценивающим взором, и я сам уже не знал, театр это или он действительно ждет, чтобы пристрелить меня.

Ты знал, ты знал, Костичек. Всё это театр, война театр, присяга театр, конспирация театр, Германия тоже театр.

А если это театр, то что же реально, спрашивал я себя, присягая именем Триединого Всемогущего Бога и Пресвятой Матери Божией, что же есть настоящего, я настоящий?

А я настоящая? Мы все круги на воде.

Я, стало быть, поклялся без устали сражаться, приказы исполнять, жизнь отдать, я клялся во всем, в чем клянутся в таких ситуациях, вечное бздо, родина, война, неколебимо, не щадя, до последней капли крови, организация, таинство, свинство, границ единство.

А что по-настоящему? Нет мира и нет меня, клятвы в театре те-ней, круги на воде, слова в воздухе.

— Пятьдесят Шесть, это твой позывной, — шепчет Витковский. — В организации все мы на ты.

Я пожимаю плечами.

— У меня для тебя есть первое задание. Поедешь в Краков, у некой Рохацевич там для нас деньги. Сто тысяч долларов. Сто тысяч! В твоих руках они будут в наибольшей безопасности.

Безопасность в моих руках. Безопасность? Да. Я ведь стал другим человеком. Рохацевич? Как то имение, где я встретил Игу.

— Как я ее найду?

— Ты теперь офицер разведки. Вот и найдешь, — усмехнулся Инженер. — Скажем так, воспринимай это как тренинг, прежде чем мы пошлем тебя в Будапешт.

— Когда? — спросил я. Витковский глянул на часы.

— Через полчаса с Центрального отправляется военный поезд. Пассажиры еще не ходят, но с Kennkarte может получиться, Пятьдесят Семь.

— Шесть, — поправил его я.

Он бросил на меня рассеянный взгляд и пожал плечами.

— С деньгами явишься на квартиру Лубеньской, но не оставляй их там, просто жди меня.

И они исчезли.

А ты, Костичек, сделал то, что тебе полагалось, упаковал в саквояж нижнее белье и побегал на вокзал, держа в руке свою немецкую, и ждал, ждал, ждал, а время бежало, не то вокзал, не то руины, ты ждал, а на вокзале полчища немцев и немчиков, мундиры серые, воротнички темно-зеленые с белыми лычками задрены, воротнички, сапоги и полусапоги, под сумки, а ты ждешь и спрашиваешь по-венски и улаживаешь и улыбаешься по-венски, ждешь четырнадцать часов, все у тебя болит, Костичек, и много эротических мыслей, о Саломее, о Геле, об Иге, много мыслей, что Игу нужно вытащить из тюрьмы, хорошо, что ты взял плащ, становится все холоднее и холоднее все темнее и темнее под одеялом тепло, теплое тело Саломеи, ее теплый, солоноватый вкус, ее мягкая кожа и бутылочка, полная радужного тепла, радужное тепло разливается по твоим венам, согревает радужное тепло, согрело бы, Костичек, стоит только пойти к своей маленькой сладкой курве, у нее для тебя бутылочка, но ты не пойдешь, о нет, не пойдешь, потому что ты уже не тот Костичек, что ходит к курве Саломее черной злой фальшивой, ты не тот Костичек, в чьих жилах жидкое счастье, текучий покой, жидкий спазм и ты у нее во рту, Костичек, правда?

А после ты думаешь о тех, других, лучших любовницах, думаешь о той, которую ты называл Сюрпризом, так неожиданно возникла она в твоей жизни, но ты не думаешь о ней слишком много, Костичек, раз ты ее убил, то не думай о ней, ты убил ее своей жизнью, убил, рыдая, словами, так что больше нету ее.

И ты не знаешь, что она носила твоего ребенка, Костичек, не знаешь, что убил этого ребенка своими словами, и она тоже не знает,

кровавый шмат на полотняной прокладке, комок в бумагу и в мусорное ведро, а была ли у этого ребенка душа, вдруг тебе интересно, хоть ты не веришь в душу, но это дурной вопрос, даже у камня есть душа, а это был твой первый сын из бессознательного тела твоей первой измены. Если вообще возможна измена кому-то. Я полагаю, что не возможна, чтобы изменять, людям должно сначала пересечься, а люди вовсе не пересекаются, но ты думаешь иначе, Костичек, ты дурачок и не знаешь, что каждый одинок как перст.

А та девушка не знала, но при этом наблюдала с любовью, как росли ее маленькие грудки, ей думалось, что они растут от луны, которая скользила по ее груди в гарсоньере, которую ты и пара камерадов специально сняли на случай таких свиданий. А росли они от того сгустка, что пытался прижиться в ее теле, но не прижился.

И ты перестаешь думать о ней, ведь я прошу тебя об этом, ты больше не думаешь о ней, укачиваемый своим не своим поездом, едешь в Краков, на юг, в отделении солдаты, обычные рядовые и ефрейторы, винтовки висят, железнодорожник поляк, ты не прочь ему словечко молвить, объяснить, втолкнуть его в туалет и открыться: я поляк, офицер тайной разведки, я на задании. Однако не молвишь.

Потом ты выходишь, после целой ночи с солдатами и винтовками, выходишь на вокзале в Кракове или в Кракау, на вокзале, не тронутым бомбой, один путеец выуживает твой коричневый костюм из лавины серых мундиров и, думая, что можешь быть поляком, заговаривает: что, Гурнослёнская сильно разрушена, но тыжимаешь плечами, Ich weiss nicht! В конце концов, есть дела важные и важнейшие, в конце концов, ты же не можешь поддаваться эмпатии, отчизна капризна границ нерушимость и кресов решимость заговор группы ячейки трупы.

Идешь, значит, проходишь Башенную, пересекаешь Планты, какой странный город, какой странный Краков, каркает вороном Кракау, идешь, не зная, куда идти, не зная, как офицер разведки обязан найти некую Дзидзю Рохацевич, интересно, совпадение фамилий с владельцами памятной дачи случайно или не случайно, либо на всё воля случая, либо ни на что нет воли случая, всё или ничего, что за имя, собственно: Дзидзя, итак, пересекаешь Рынок, город не тронут войной, зато тронут немцами, немцы повсюду, и ты повсюду, мой немец, мой Костичек, когда так идешь по Кракову, что помнишь ты из Кракова, что ты помнишь, квартиру Годзеевских, где ты бывал, где бездарно и безуспешно соблазнял жену хозяина, ты помнишь эту квартиру и те автопробеги на трех машинах по шоссе на Груец, Коньске и Мехув, твоя олимпия, шевроле Яцека и фиат одного типа, чью фамилию ты позабыл, открытые крыши, шарфы и шоферские гоглы, а затем водка, и плоть, и чтение стихов, воздетый палец Ярослава во время чтения, жизнь, жизнь была, Костичек, а сейчас ты топчешь мостовую по-немецки и по-немецки заходишь в цукерню Маурицио, это место первым пришло тебе в голову, ибо куда, если не в цукерню, кавярню, кнайпу, ибо где еще

искать что-либо, но у Маурицио пусто, однако не пусто, ни одного знакомого лица, у тебя есть знакомые в Кракове, но, видно, недостаточно, заказываешь, как обычно, малый черный и дальнего следования, узнаешь одного кельнера, а он тебя нет, и ты не знаешь, не знаешь, что дальше, но у тебя есть деньги Яцека, Яцека, который лежит сейчас на диване, овеянный абсолютной меланхолией, и ты думаешь: может, он уже пальнул себе в лоб, хотя нет, нет в доме оружия, не рискнул бы, а по-другому он себя не убьет, ты знаешь заботы его, жил себе не вскроет, из окна не выбросится, не Яцек, нет.

Итак, он лежит, овеянный меланхолией, ты же его деньги, часть его денег, но всё равно его деньги суешь в лапу кельнерскую, то бишь бычью, хотя почти человеческую, и спрашиваешь о некоем Рохацевич, ты ведь ему рекомендоваться не станешь, но знать, что ты немец, он же ж не может, ты же ж не немец, оттого только шлешь ему сигналы, гипноз, что никак не немец, а скорее заговор группы ячеек трупы, суешь двести злотых в лапу почти человеческую, хоть и бычьую, кельнер что-то шепчет одному, и другому, и третьему, эта волна шепотов мчится, выхлестывает от Маурицио, дальше идет волна шепотов, ты теряешь ее из виду, кельнер советует ждать и наливает еще одну дальнего следования за счет фирмы и подает хлеб и сыр, и я пью водку, ем и жду.

Через пару часов волна шепотов возвращается и ложится на берег: является худая, очень женственная бабенция с длинным носом, одетая скромно, но видно, что дорого, тип крепкой аристократки, не липовой, каких полно, но крепкой, старинные роды, выведение и дрессура человека, фермы породы, княжества гедиминовичей, судя по фамилии, а может и нет однако, может, русины, может, Рюрик и другие норманны, Курцевичи, Четвертинские, Воронцовские, Жижевские и иже с ними, отчего бы не Рохацевич, стало быть, явилась, села, не спрашиваясь, к моему столику, ножка на ножку и пароль, а я ведь никакого пароля не знаю, не упоминал Инженер о пароле.

Но знаю, что выкручиваться без толку. Поэтому я шепчу ей на ухо: от организации, от Инженера, никакого пароля не дали, мой позывной Пятьдесят Шесть...

Рохацевич на долю секунды просияла и тотчас снова мрачнеет ликом.

— Должно быть, Пятьдесят Семь?

Скриплю зубами, а не признаться ли, что не знаю и сам? Так лучше. Без вранья. Я вчера был приведен к присяге. Инженер дал два позывных. Сначала сказал, что Пятьдесят Шесть. Но потом обратился ко мне как к Пятьдесят Седьмому. Объяснить ничего не желал.

Рохацевич кивает, пригорюнилась, ну да, так, такой вот он есть, так вот оно все с ним, увы.

Наконец решается, с плеча.

— Я верю пану. — Рассиялась в улыбке.

А я смотрю на нее с желанием, не знаю, откуда оно взялось, но ровно так я смотрю на нее, с желанием.

А ты смотришь на нее с желанием, не зная, откуда оно взялось, но ровно так ты на нее смотришь, ибо так ты смотришь на всех женщин, ибо не умеешь смотреть на женщин иначе, чем с желанием, ибо от каждой хотел бы иметь доказательство, что она считает тебя мужчиной, ибо сам ты в этом не уверен, скажи спасибо матери, Костичек.

Итак, смотришь на нее с желанием, притом знаешь, Костичек, знаешь, что она для тебя совершенно недоступна, и не оттого, что недоступна в целом, нет, она недоступна для тебя, ты не тронешь ее, она тебе попросту не даст, она вне досягаемости, Костичек, и речи нет.

Есть в этом что-то, чего ты не знаешь и не понимаешь, нечто, чье обличье ты чуешь и провидишь, внутренняя мощь, целокупность, сила, что-то захватывающее и ужасающее одновременно, нечто, чего ты никогда прежде не видел.

Внезапно вместо того, чтобы быть у Маурицио, вы с панной Рохацевич идете к ней на квартиру, ты платишь, вы идете, а там панна Рохацевич дает тебе портфель с деньгами, за ними-то ты ехал, и переходит с тобой на “ты”, все говорят мне “Дзидзя”, и советует не терять их, а вы в ее квартире одни, но *savoir-vivre*, ты поклялся, что никаких женщин, что только Геля, Гелюшик, пока вы разговариваете, ты много говоришь о Геле, твердишь “моя жена Гелена”, а все же задевает тебя, что Рохацевич позвала тебя в свою квартиру так, как если бы ты был совершенно безобидным, как если бы женщиной, как если бы без хуя, без дружка сердечного между ног, а Рохацевич стелет тебе в комнате для гостей, и там ты всю ночь ждешь, пока она придет, но знаешь, что не придет, и она не приходит, а ты все-таки ждешь, дурачок, ждешь и знаешь, что прогнала бы тебя, когда бы ты вошел к ней, выгнала бы смеясь, не негодуя, смех в тысячу раз хуже негодования.

Чего ты не знаешь, чего не слышишь, так это слез Дзидзи Рохацевич, слез никого не боявшейся женщины, что спорта ради моталась санитаркой по тылам всех фронтов в Польше, что спорта ради забавляется краковским *liberum conspigo*, смелее мужчин, более отчаянная, уверенная в своей хорошей крови, уверенная в своей полезности, балканскими тропами пойдет она так же, как до войны съезжала на лыжах и водила свою испано-сюизу, могучую, как допотопная бестия, будто объезжая мастодонта, так водила она свою испано-сюизу о двенадцати цилиндрах, что ни колесо, то тайная под крылом слеза, пока наконец не возьмут Дзидзю балканские бандиты, год сорок третий, ее возьмет живописная банда из пары сербов и одного мусульманина-боснийца, с венгром во главе, они возьмут Дзидзю, ее пистолет заклинит, и не успеет она передернуть затвор, как птичка уже в клетке.

Сербы ударят ее так, как еще никто не бил, сорвут с нее мужскую одежду и станут иметь, каждый по очереди, не зная даже, кого насилуют, их сербские елдаки в ней как в тех женщинах, к каким они привыкли, и они не заметят даже, сколь гладка и безупречна кожа Дзидзи Рохацевич, сколь красивы ее готические ладони и сколь благородны изящные груди. А пока они будут ее иметь, венгр осмотрит багаж, найдет то, что она несла, и решит взять за это хорошую цену. А когда отымеют, то венгр, повидавший столь много, что его ничто уже не трогает, застрелит ее из ее же пистолета, и голый, опороченный труп Дзидзи Рохацевич останется в ночном балканском лесу, но ненадолго, волки, которым людские войны гораздо полезнее, нежели самим людям, не замедлят его найти.

А пока ты, Костичек, бодрствуешь в полусне ее комнаты для гостей, Дзидзя плачет по мужчине, который ее бросил, плачет по своему первому любовнику, по малой большой тайне, о которой не знает никто, даже самые близкие подруги по пансиону, даже родители, даже исповедник, которому Дзидзя перестала исповедоваться в чем бы то ни было ровно тогда, когда ее бросил первый любовник, большая черная дыра в ее стойком сердце, позже крепко очерстевшем, дыра не заросла, Дзидзя, стойкая суфражистка, заткнула ее спортом, машинами, заговорами, другими мужчинами, они текли сквозь ее жизнь, мужчины первого сорта единственно, никаких дураков, никаких хамов, никаких подлецов, никаких трусов, каждый хоть в чем-то лучше того, первого, но ни один не хорош настолько, чтобы дыра зарубцевалась, и она бросала их, они же любили ее вечно, ждали, что вернется, она же ни разу не возвращалась, а сейчас, пока ты бодрствуешь, желая ее, Костичек, бодрствуешь в комнате для ее гостей, в голове Дзидзи Рохацевич, кроме слез, есть также сеть ее бывших любовников, из них она сплетет конспиративную организацию мужчин, не перестававших никогда любить ее, а она соберет эту их любовь и бросит Польше.

И не ждет она тебя, впервые увидев тебя, она уже знала, что ты недостаточно хорош для нее, и речь не о титулах графских и прочих, даже знай она про твоего отца, древность рода, Урадель, и то ты не был бы достаточно хорош для нее, а был достаточно хорош некий автомеханик, он занимался ее испано-сюизой так же нежно, как нежил ее саму, а теперь он будет мастерить бомбы, чтобы убивать гитлеровцев, потом гитлеровцы его поймут и расстреляют, и Дзидзя не станет его оплакивать, поскольку оплакивает она лишь одного мужчину.

Но для меня ты достаточно хорош, Костичек, для меня ты тот, кем был для нее ее первый любовник, для меня каждая моя любовь как первая, каждый мужчина, за которым я следую, бросает меня, свою тень, по-новому, с каждым я разная, совершенно разная.

И вот утром Дзидзя потчует тебя завтраком, но не делит этот завтрак с тобой, так что ты в одиночестве ешь хлеб и яичницу и пьешь черный кофе, а потом выходишь с портфелем, полным пяти-

десятидолларовых купюр, снова Грант, она показала их, уходишь обиженным, униженным, она даже подала тебе руку на прощание, улыbnулась и сказала:

— Еще увидимся, непременно.

Но этому не исцелить унижения и уязвленной гордости.

Итак, от каменицы на улице Долгой на вокзал, там ожидание и тревога за портфель, не стянул бы кто, охотнее всего ты сковал бы его с рукой, но боишься контроля, Kennkarte не объясняет доллары в портфеле, откуда столько долларов, на что столько долларов, итак, ожидание и страх, и наконец поезд и дискуссии с немецким офицером, поездом этим заведующим, и ненависть в глазах польского кондуктора, и снова ночью, ночью, на север, ночью. В этот раз купе пустое, поляков в поезд не пускают, но тебя пустили, в Варшаву ни один солдат не едет, из Варшавы только выезжают, Франция, Франция, некросубстанция, а что бы не воспользоваться Kennkarte и не пробраться в Румынию, в Венгрию, не поехать во Францию, в польскую армию, отчего бы не пойти с французами на Берлин, разок они уже выиграли войну с Германией, могут выиграть снова.

Но нет, не хочу никакой Франция, у меня мой портфель с деньгами, я должен их отдать, война здесь, здесь буду с ней драться, здесь будет моя война, и здесь, коли надо, она закончится. Жизнь на алтарь, родина, встарь, субъект, нерушимость границ.

Я сошел очень ранним утром на Гданьском, потому что по загадочной немецкой причине там остановился мой поезд, был все еще комендантский час, но какое мне дело до комендантского часа, если я, нимало не тревожась, могу передвигаться по городу, ведь я немец с венским немецким и немецкими бумагами.

Если пойду сейчас к Лубеньской, то мне придется отдать портфель. А в нем деньги, много денег. Ига. В тюрьме. Если я пойду домой, меня там может застать Витковский, портфель придется отдать.

Так что нет.

Как это нет, Костичек? Ига это личное, жена друга, давняя любовница, Ига отнюдь не отечество, эти деньги принадлежат отечеству, Костичек, я знаю, что это ложь, равно как всё это ложь, потому как нет ничего, одно ничто является правдой, но ты этого не знаешь и не имеешь права предать то, во что веришь, Костичек, не имеешь.

Но ты же предашь, это твое, ты мужчина-нож-в-спину. Если бы я могла рассказать тебе, что ты не можешь быть предателем, ведь ты один-одинешенек! Но не могу.

Нет и всё, в немецкой темнице тело, которое я нежил, не могу я оставить ее там, не теперь, когда меня бросила Геля.

Вот немного погода я выхожу в город и что вижу — трамвай! Идет трамвай, тройка. Сажусь, счастливый, на виадук над вокзалом и еду. Увы, лишь до площади Красинских. Я не был тут с начала войны, как-то так вышло, часть площади там, где трамвай, расчищена уже, но завалов еще порядком, сломанные вагоны и Килинский грозит небу саблей.

Вожатый поведал мне, что по Новому Святу пустили уже автобус, Новый Свят, Иерусалимские, до самой площади Завиши, но это поперек моего маршрута. Ни единой телеги не нашлось, значит, оставался пеший вояж, и я повояжировал по Новому Святу и по Аллеям, пока через три четверти часа не вышел к зданию, поглотившему Игу.

И всю дорогу ты думал об Иге, Костичек, ты вспоминал все ваши ночи и сияние ее тела и губ и вкус ее вспоминал, и ни разу не подумал о Геле, Гелюшике, Костичек.

Геля не уходила от тебя, Костичек, Геля отошла, но это театр, ты знаешь отлично, знаешь, но все же идешь на Шука и сейчас прячешься в арке, открыл портфель, отсчитал две тысячи не твоих, но отечественных долларов, и алле, в министерство общественного просвещения, идешь, не чинясь, на Шука, на Шука, взял из портфеля две тысячи долларов, не чинясь взял их и идешь на Шука. На Шука, 25, монументализм Монченского крайне монументален, страж, Kennkarte, комната двести семьдесят пять, симпатичного немца в серой форме еще нет, так что нужно подождать, так что жду, жду на длинной деревянной скамье в коридоре, пока он наконец не приходит.

Он тепло приветствует тебя, будто здоровается с другом, а у тебя в руке портфель, а в нем куча не твоих долларов, и ты якобы его друг, а доллары, отщипнутые от портфеля, они у тебя в кармане, какую ложь сочинишь ты на потребу Витковскому и компании, а если б кто увидел, как тыходишь сюда, “в гестапо”, как станут говорить позже, — как тыходишь в гестапо, но сейчас еще так не говорят, так если б кто увидел, как тыходишь в здание бывшего министерства, о чем бы они подумали?

Но никто тебя не видел.

Я поздоровался с полицейским в серой форме крайне вежливо, после чего не чинясь вынул из кармана доллары и положил на столешницу. Немец денег не считал, стряхнул их моментально в ящик, запираемый ключиком, при этом ни на секунду не стирая улыбки с губ.

— Was jetzt?¹ — спросил я.

— Warten Sie einen Augenblick², — вежливо ответил он. — Сейчас ее освободят.

И он думал о своей маленькой телефонистке Бернадетт, утрясая это освобождение, в ожидании денег, и вся эта история показала ему крайне романтической. Но ты этого не знаешь, Костичек, никак не можешь этого знать.

И октябрьским утром на алее Шука встал ты, ожидая свою бывшую любовницу. По улице плелся одинокий мальчик со школьным ранцем, в начальных школах возобновили обучение, для него война по правде кончилась, ведь раз нужно идти в школу, то войны уже

1. Что теперь? (Нем.)

2. Подождите минутку (нем.).

нет. Он падет в августе через пять лет, при атаке на дом Шихта в составе подразделения, именуемого ротой, вооруженной тремя пистолетами и четырьмя десятками гранат, а у него не будет ни пистолета, ни гранаты, он укроется за стеной, а потом его застрелят, и о нем никто не вспомнит, такой будет его война.

А на другую стену другой юноша в кепке лепит плакат, намазывая его клейстером с помощью макловицы. Мягкая липкая щетина скользит по бумаге, лениво изгибаясь дугой, как бедра восточной танцовщицы. С плаката мэр города Стажинский призывает жителей сотрудничать со службой апровизации, противостоять спекуляции и чрезмерному росту цен, вопрос оный будет регулироваться законом, но добрая воля граждан и твердое мнение общественности многого смогут в области этой достичь.

Лишь беспременное выполнение обязанностей всеми обеспечивает нам возвращение нормальных условий, восстановление столицы и повышение занятости в городе.

Ты с теплотой думаешь о президенте города Стажинском, никогда раньше о нем не думал, а сейчас думаешь, некоторые много говорили о его радиопередачах, но тебя не было тогда в Варшаве, а перед войной — ну какое тебе дело было до кем-то назначенного мэра, ни до каких мэров тебе никакого дела не было.

А сейчас, хоть ты и сделался немцем, тебе отчего-то лучше думается о Варшаве, Костичек, вот он здесь, проводит с немцами какую-то политику, управляет городом. Это хорошо. Хорошо, что он остался, не убежал, как прочая сволота.

И вдруг, как из-под земли, появляется она. Не было ее, а вдруг есть. Ига. В тонком светлом пальтеце, есть. Не было ее, а есть. Стоит тут. Не стояла, а стоит. С чемоданчиком в руке.

— Константин... — шепчет. — Прости меня.

— Пошли отсюда.

Берешь ее за руку, забираешь чемодан, говоришь, мол, Яцек ждет ее, хотя это не так, потому что если Яцек лежит на диване, глядя в потолок, то он ничего не ждет, ни Иги, ни кого-либо другого, в этом случае Яцека почти нет.

А Ига Ростаньская, маленькая, ясновласая Ига Ростаньская, жена твоего друга и твоя первая женщина, будто ужаленная предчувствием, спрашивает, он что, опять, мол... А ты не перечишь, нет охоты ей врать.

— Тогда я не хочу к нему. Прошу, не отводи меня к нему, не сегодня. Сегодня я не могу о нем печься. Буду печься о нем с завтрашнего дня, побрею его, искупаю его, займусь им, верну его к жизни, ко всему. Но не сегодня. Прошу тебя. Отведи меня к вам.

Молчишь. Она не знает, что Гели нет. А может, знает? Может, как-то иначе знает, чувствуя женским чутьем, что нет ее?

— Гели и Юрчика нет, — говоришь ты, а что ты, кстати, имеешь в виду, что хочешь этим сказать, Костичек?

Ига крепче прижимается к тебе.

— Отведи меня к себе, Костичек.

Должно быть, понимаешь, Костичек, что ей нужно после трех недель ареста. Тепло, покой, тьма и безмятежный сон. А может, ты думаешь, что это обещание совместной ночи, Костичек?

Ты не знаешь, что она повидала, а повидала она мало, никто ее не бил, никто ее не истязал, кое-кого истязали, она же просто сидела со случайными женщинами в женской камере, с одной проституткой и одной дамой, никто ее даже не ударил, ничего такого, она только ужасно боялась, ведь Ига не Дзидзя Рохацевич, Ига Ростаньская из иной категории женщин, Костичек, но тебе не понять, ведь ты, дурачок несчастный, вообще не различаешь женщин. Но ее потребности как-то понимаешь. Что сегодня могла бы не вынести Яцека в пижаме с тупым взглядом в потолок. Сегодня не могла бы вынести того, что нужна ему.

Итак, вы идете, Костичек, под руку, площадь Люблинской унии, Пулавская, дом из шоколада, октябрьское солнце, может, уже последнее в этом году, греет его стены, и они смягчают, и пахнут, и пятнают пальцы коричнево-сладко.

Да?

Стоите перед домом. Ты не знаешь, зачем остановился, но Ига покорно, медленно останавливается вслед за тобой.

— Почему тебя арестовали?

— Мы оказали сопротивление.

— Сопротивление?

— У нас реквизировали машину, а я не хотела отдавать. И арестовали.

— Тебя же могли застрелить.

— Могли.

Ты не отвечаешь. Ты боишься ответов, поэтому не отвечаешь.

— Пойдем наверх, — говоришь ты.

Вы поднимаетесь по лестнице, вверх, вверх, к дверям твоим, Ига не к месту в этой квартире, хотя и бывала в ней много раз.

— Я бы приняла ванну, — говорит она.

Ты проверяешь — горячая вода есть, отлично, ты льешь воду в ванну, запотевают зеркала, ты перебираешь косметику Гели и находишь какое-то средство, ванная комната наполнится ароматом лаванды, Ига в это время сидит в гостинной, сложив руки на коленях, даже плащ еще не сняла, сидит, будто ждет чего-то.

Сама не знает, чего ждет, я заглядываю ей в голову и вижу, что сама не знает.

Ты выходишь из ванной, прошу, прошу тебя, Ига, вода готова, и она идет в ванную в плаще, закрывает за собой дверь, задвигает щеколду, что немного тебя коробит, правда, Костичек?

Ибо ты не понимаешь, как сильно может жаждать уединения тот, кто провел только что три недели в импровизированной камере на четверых.

Не понимаете, но принимаете, правда?

В квартире очень тихо, Юрчика не слышно, никого не слышно, только слышно, как Ига раздевается за дверью ванной. Ты слышишь, как она входит в воду, слышишь, как она окунается в нее, и думаешь, вот она нагая, так воображаешь себе, ты же помнишь ее тело.

А между тем она вовсе не нагая, Костичек, в воду она окунулась в нижнем белье, такое оно у нее грязное, трусики и бюстгальтер она снимет лишь время спустя, когда ты покинешь квартиру.

А в тебе как раз дает ростки та мысль, Костичек. Тотчас же отнести Витковскому деньги. И, может, ты как-то услышал мои слова о том, что нынче нужно Иге, твоей первой любовнице Иге, Иге по цене украденных у Польши тысяч, Иге жене Яцека, Иге с картинок Саломей.

— Ига, я выйду на полтора часа. Чувствуй себя как дома, — через дверь сказал я.

Та что-то муркнула в ответ.

Так что я надел пальто и пошел на площадь Спасителя, взяв портфель со слегка подточенным долларовым запасом, пошел, пошел быстрым шагом. Я пошел. Да.

Поднимаясь по лестнице в квартиру Лубеньской, я не знал, как сообщу Инженеру о моей дефraudации.

Ерунда, Костичек, ерунда, я-то ведь знала, я-то знаю, как сообщишь, и это знание пропустит та тонкая мембрана между нами, нечто вроде диффузии между мной и тобой, Костичек, как-нибудь все оно протечет, просочится. Не переживай, любовь моя.

Итак, тыходишь в квартиру Лубеньской и впервые встречаешь саму Лубеньскую, и единственное, что отмечаешь в своем мужском духе, это ее неженственность, ей все-таки пятьдесят пять лет, значит, для тебя она уже не женщина, так ты ее видишь.

Знал бы ты, сколько мне лет! Но ты не знаешь.

Знал бы ты, что в ее собственных глазах она все еще женщина, когда рассматривает себя в зеркале в ванной, когда моет свое тело, вполне еще неувядшее, она женщина. Знай ты это, может быть, и сам постиг бы в ней женщину? Но ты не знаешь.

А через восемнадцать лет Лубеньская состарится, ей будет семьдесят три и груз истории на плечах, добрый кусок этой истории будет также твоим, но возраст не спасет ее от страшной смерти: от двенадцати ударов ножом в старое, увядшее тело, и она не успеет подумать, но, будь у нее больше времени, то подумала бы, что это наиблизшая близость, в какую она вступала с мужчиной с момента последнего поцелуя.

А мужчина тот шепнет по-польски: “Сдохни, падло ношеное!”, шепнет это, левой рукой обнимая Лубеньскую за шею, его ладонь затыкает помертвевший от страха рот, ее дряблые ягодицы и спина уперты в могучие бедра и плоский живот, он шепнет эти слова в ухо в седых волосах и станет колоть поношенное тело Лубеньской кинжалом Ферберна-Сайкса, обоюдоострым, как язык Христа, очень красивый стилет, такой носили английские десантники в годы ва-

шей прошлой войны, и строгий клинок пронзит почки, селезенку, прорвет кишечник, рассчитает матку, и тут мужчина ослабит любовные объятия и ношеное тело Лубеньской, тело герба Помян, тело в дырах, кроващее мертвой кровью, осядет на английскую землю, в английскую землю его зароят и английские черви его съедят.

Но это всё спустя восемнадцать лет, в 1957 году, Костичек, еще время зреть телам девочек, что рождаются сейчас, ты видел их в сентябре в роддоме, помнишь? Ты видел их эвакуацию в подвал. Что делали вы в роддоме? Ты уже не помнишь. Я помню, но неважно. Но ты помнишь, ты видел их у животов и грудей матерей в подземных коридорах, одетых в белое, равно белых, и впервые они влюбятся, когда дырявое тело Лубеньской начнет опадать на землю. А когда тело Лубеньской утонет в земле, то отдастся мужчине в первый раз одна из тех новорожденных девочек, которым сейчас, когда тыходишь в квартиру на площади Спасителя, исполнился месяц, а некоторым не исполнился, потому что они погибли под завалами. От голода или тяжести, когда стена плющила их маленькие тельца. Тела мальчиков тоже плющила, но я сейчас думаю лишь о тельцах этих новорожденных девочек и об их готовых принять мужчину телах, когда октябрьский воздух пронзит запах оттепели, и много будет речей о Гомулке и о свободе, и думаю о продырявленном теле Лубеньской, как повела его земля, в которой, распавшись, обращаются пикты, кельты, англы, саксы, норманны и тысячи других племен и народов, распавшихся в английской почве, и с ними вместе обращается Тереза Лубеньская, с пронзенной мечом головой быка в гербе, сама равно пронзенная обоюдоострым клинком, обращается в подземных реках, изливается источниками, испаряется в облака, конденсируется дождем и возвращается в землю. Круговорот, предстоящий всем вам.

А нынче она элегантно подает тебе руку. Война на дворе, пан позволит, я сама представляюсь, Тереза Лубеньская, подпоручик Лубеньская, Константин Виллеман, тоже подпоручик, девятый уланский полк, хотя не знаю, какие звания в организации, так что не знаю, какое нынче звание...

На эти слова бежит Витковский, хватается за голову, что же, что же, кричит он, дорогие, конспирация у нас, а вы тут фамилиями, как на посольском балу, так нельзя, что будет в случае провала, только позывные, то есть Пятьдесят Семь, а пани — Двенадцать.

— Пятьдесят Шесть, должно быть... — неуверенно говоришь ты, а Инженер глядит на тебя как на идиота.

Лубеньская улыбнулась, как умеют улыбаться одни аристократки, связав в улыбке участие, теплую насмешку и явную нотку пренебрежения к конспиративным бредням, к черту конспирацию, коли не позволено представляться.

Потом все изменится, Костичек, когда пойдут первые настоящие, то есть родные трупы, но куда никто не верит ни в какие трупы, отсюда и пренебрежение.

— Удалось? — спросил Витковский.

— Да.

Протягиваю ему портфель.

— Я взял из него три тысячи долларов.

Ох, какая настала тишина, как очень-очень тихо сделалось, как лицо Лубеньской застыло, как обомлел Витковский, ища шутку, подвох, а когда объяснений не последовало, спросил наконец:

— Как это?

— Я взял, потому что должен был вытащить из немецкой кутузки Игу Ростанскую, о которой я говорил тебе раньше.

Специально во втором лице, раз мы должны тыкать, будем тыкать, будьте любезны, и этому подобает и надлежит усилить мою речь.

Мышцы Витковского задрожали на петлях челюстей, он искал слова, но нашла их Лубеньская.

Она еще не чуяла жаркого клинка, пронзающего ее плоть, клинка жаркого жаром мужского тела, ведь убийца нес этот обоюдоострый клинок под курткой, жар был жаром его тела, уже зрелого, но еще молодого, упругого, как из твердой резины.

Тот, кто принесет его через восемнадцать лет, сейчас французским захолустьем спешит в Лион, где сходятся польские летчики, спешит в Лион, питаясь состраданием людским. Тело подростка хило и не верит в свою едва возникшую силу. Но тело возрастет, напьется мощи тех, кого убьет, а убьет оно многих, сначала глазами, сросшимися с Mark XIV, бомбовым прицелом, а после указательным пальцем на спусковом крючке браунинга, а после, вдыхая запах их смертельного пота, ножом, стальной удавкой и ладонями.

Обоюдоострый клинок еще не выкован.

Так что Лубеньская еще не чуяла его, ее кожа не разошлась еще там, где разойдется под давлением стали. А поскольку она не чуяла лезвия, то нашла слова.

— Это неприлично... — вышепнула она жутчайшее из проклятий.

Как ненавижу я это “неприлично”, сколько раз я слышал это “неудобно”, “нельзя”, этот немой шантаж без конкретной угрозы. Так захотелось мне хлопнуть дверью, сказать: “а поцелуйте меня в жопу”, а затем пойти к моему серому другу в сером мундире с орлом на левом рукаве и рассказать ему все об этом собрании, однако же не пойду, потому что я поляк.

— Новый граф Завидовский... — добавляет она, якобы озабочена, якобы потрясена до черноты, но на устах у нее залп, окончивший жизнь графа Завидовского.

Я это помню, хорошо помню, весь сюжет, правда, тогда я еще не был взрослым, шестнадцать лет и великое, неудовлетворенное либидо, но я помню. Он присвоил сотни тысяч марок из армейской кассы, потратил на гулянки и лошадей.

Вердикт экспертов: психически здоров и понимает смысл своих поступков, склонен к псевдоаристократической мании величия, принявшей под влиянием алкоголя, морфия, кокаина и вредного ок-

ружения конкретные внешние формы нездоровых деяний крупного вельможи, швыряющего деньгами без стремления к личной наживе.

Так говорили о Завидовском, а я подумал, что наверняка он был дивным человеком, кадет Завидовский. Определенно имел столько женщин, сколько хотел.

А потом залп, гром, выстрел, точка. И правильно, на что кому-то еще что-то, лишь бы пожить немного по-настоящему, а потом — конец, Schluß...

Пора объяснять, Костичек, объясняй сейчас, прежде чем тебя выгонят или, скорее, застрелят после некоего судебного военно-подпольного ритуала, еще не снискавшего точно описанной литургии, она же грядет, с формулой “От имени Речи Посполитой” в качестве слов и замысла пресуществления, так что давай, объясняй. И дело не в словах, слова не имеют значения, ты должен лучиться истиной, силой и правотой, а я вдохновлю тебя.

Я объясняю. Спокойный голос, я уверен в себе, своих поступках и словах. Я должен был принять решение самостоятельно, время не ждало. Это ложь, но это не важно, важно, что ты подаешь это как правду, лишь это идет в зачет. Итак, пришлось принимать решение самостоятельно, время не стало бы ждать, и ты принял его, приняв во внимание не нечто личное, но доктора Яцека Ростаньского. В данный момент он погружен в апатию, никакой ценности для организации не представляя. Однако возвращение жены позволит ему из этой апатии вырваться. А Яцек, собранный и сильный, был бы более чем ценным активом для организации. Высокая квалификация, хирург, это главное. Если кого-то подстрелят, в больницу с ним нельзя, немцы, несомненно, станут контролировать больницы.

— Они уже шныряют в поисках скрывающихся офицеров, — заметил третий голос, голос Водителя, я его раньше не замечал. Сидел позади меня. Лапа, конечно, в кармане. Не знаю, держит ли ее там с самого начала или сунул туда, когда я сообщил о дефraudации.

Сунул, когда ты упомянул о растрате.

— Я знаю, что действовал против правил. Но как офицер, ввиду отсутствия каких-либо иных возможностей, я оценил ситуацию и проявил инициативу. Я кавалерист, нас так учили. Реагировать на перемену обстоятельств и принимать решения, — сказал я крепко, правдиво, убежденно. — Только в Советах офицер даже не пернет без приказа. У нас по-другому. Был только один шанс вытащить Ростаньскую из тюрьмы, поэтому я принял самостоятельное решение. Я не прячусь, я стою здесь перед вами, готовый понести всю ответственность, если мой командир... — тут я обратился прямо к Витковскому, — решит, что я действовал не должным образом.

Растаял ли лед на лице Лубеньской? Вижу, но не ручаюсь.

Витковский глядит на меня с надменной усмешкой, что-то в нем кипит, что-то зреет в нем. Жаркие, зоркие, злые глаза, круглое лицо, галстук меж кожаных лацканов куртки.

Глядит и молчит. А то, может, застрелят меня на месте?

Я это себе так представляю: Водитель вытащит из кармана мой стальной приговор, три выстрела, на мгновение всеглохнут, оконные стекла вибрируют, а мое тело на полу, продырявленное, и замыкается моя жизнь, родился в Гливицах двенадцатого ноября 1909, трагически погиб девятнадцатого октября 1939 в Варшаве.

Но сегодня крепость, правда и убеждение за мной, я не боюсь этого взгляда. На этот раз я выиграю. Правота моя. Не рухнет мое продырявленное тело на скрипящий паркет. Не сегодня.

— Мы это проверим, — говорит он.

— Само собой, — говорю я без страха. Пускай проверяют.

— Стало быть, ладно. Считаю действие оправданным. — Одновременно со словами его лицо смягчается.

И я стою за тобой, Костичек, обнимаю тебя за плечи и стою за тобой, Костичек, и я думаю о том, как будет падать Витковский, продырявленный, и как люди в немецких мундирах приколют ему листок со словами “опаснейший польский бандит”, приколют к той самой кожаной куртке, к той, в которой он сейчас стоит перед вами.

— В таком случае ты должен привести этого Ростаньского. Как только встанет на ноги, — сказал Инженер, все еще без пулевых отверстий в своем большом, сильном теле.

А после он говорит, долго говорит о векторе будущего внедрения, о только что основанных им фирмах, в которые он вложит привлеченные мной деньги, долго, долго говорит, жестикулируя, говорит о разведке в Рейхе, которую я буду вести, и велит мне подыскать какую-нибудь достойную немца работу.

А соответствует ли принципам заговора то, что Лубеньской и Водителю известна моя немецкая идентичность, спрашиваю я себя и не могу себе ответить, поскольку мне не известен никакой заговор.

В конце концов я ухожу. Возвращаюсь домой, шоколадная лестница, мои ботинки проваливаются в шоколад, открываю дверь, холл, гостиная, пусто.

Вхожу в спальню. Ига в нашей супружеской постели. Голые руки торчат из-под одеяла, она спит, спит как сурок. Я прикрываю ее по шею, потому что в квартире довольно холодно, опять не топят. Она ограничивается чем-то невнятным.

А тебе хотелось бы, Костичек, раздеться и скользнуть под это одеяло, на бедрах и животе ощутить тепло ее кожи.

Мне хотелось бы скользнуть под это одеяло. Ощутить тепло ее тела. Но нет-нет, я уже не такой Костек, я уже кто-то другой, я офицер, муж своей жены, я этого не сделаю. Поэтому я сажусь на стул и смотрю, как спит Ига, моя первая женщина, как спит нагая в моей постели, в моей и Гели, но на моем месте, с моей стороны. И я себе думаю, что буду так сидеть и смотреть на нее, пока не проснется.

Но глупо так сидеть, когда член взведен, глупо сидеть рядом с нагой женщиной под собственным моим пуховым одеялом.

А ты не ложишься с ней, Костичек, оттого, что ты такой сильный и так владеешь собой? Или, может, некоторая толика твоего

тупого ума подсказывает тебе, что будешь изгнан, что, должно быть, последнее, чем Ига хотела бы сейчас заняться, это физическая любовь. А отказа ты бы не перенес, правда, Костичек?

Поэтому иду в гостиную, слоняюсь по пустой квартире, слонялся.

Брожу в пустой квартире, бродил. Ища кого, что? Гелю? Юрчика? Игу? Нежность? Себя самого.

Долго стоял в ванной, Ига вылизала ее за собой до блеска, итак, я долго стоял в ванной, смотрел в зеркало на свое лицо, подбородок, трехдневную щетину на лице, потому как где же мне было бриться, итак, я быстро выкупался, а затем по порядку, крем втирать, пену пенить, щетину скрести.

Я надел свежую рубашку, сменил костюм на серый фланелевый. Ига спала дальше. Решил позвонить Геле. Аппарат ее родителей работал, трубку взял мой эндецкий тесть.

— День добрый. Константин говорит. Могу я поговорить с Гелей?

— Пададь, — зашипел он. — Мерзавец. Мандавошка. Только попробуй еще...

Я повесил трубку. Набрал матери, но ее телефон не работал. Взял с полки книгу, но читать был не в состоянии, бросил на стол. Съесть бы чего-нибудь. Ревизовал кладовку — пусто. Надо сходить за какой-нибудь едой, но я больше не хотел оставлять ее одну.

Пошлялся еще по квартире, посмотрел наконец на Игу.

Она встает при виде меня, словно разбудил ее мой взгляд, сам-то я был бесшумен. На ней ночная рубашка Гели, она кутается в халат Гели, идет к окну Гели, за окном черная Варшава.

— Возьми меня куда-нибудь, — говорит она, продолжая глядеть в черноту.

— Куда? — спрашиваю простодушно.

Ига поворачивается ко мне, глаза горят.

— Не знаю. Куда-нибудь, где есть алкоголь и музыка. Возьми меня туда сегодня, этой ночью, а утром я уйду и займусь Яцеком. Буду хорошей женой.

И что, боишься теперь, Костичек, правда, боишься? Боишься. Хочешь ее и боишься. Как если бы ты не должен был хотеть ее, но хочешь всех женщин мира, Костичек, дурной блядун. Чтобы сказали тебе, подтвердили, что ты все-таки мужчина. А с Игой вяжут тебя еще те узы, что усиливают твое универсальное желание, делают почти неодолимым...

Черные столпы ваших тел, черные столпы из темной материи, текущей под кожей истории, сомкнуты, спаяны.

Стоите сейчас друг против друга, давние любовники, в пустой квартире, снаружи немцы, а между вами нет ничего, единственно вопрос, как сегодня между вами будет.

Разве не обязан я просто отвести ее к Яцеку, вот где ей место. Но с Яцеком ничего не случится, он доживет до завтра, непременно доживет до завтра, а ей что-то причитается ведь после трех недель кутузки.

— Я позвоню ему, — говорю я.

Иду в кабинет, где есть телефон. Он поднимает трубку далеко не сразу.

— Яцек, Костек говорит. Ига уже свободна.

— Хм-м.

— Я позаботился о ней, всё в порядке, только устала очень. Но все будет хорошо, завтра она уже будет дома. Хорошо?

— Да.

Обратно в гостиную, вхожу, Ига полуобнажена, в одном белье, Ига раскатывает шелковый чулок на ноге, чемодан раскрыт на кровати, Ига пристегивает чулок к поясу, я помню ее тело, не могу оторвать глаз, Ига смотрит на меня через плечо, спину и бедра. Я смущен и отступаю.

— Извини... — бросаю сквозь стену.

— Ничего такого, чего бы ты не видел.

Через некоторое время вышла, уже одета, в зеленом платье. Не вечернее платье, но изысканное, ниже колен, на талии стянуто, рукава немного буф, как и полагалось носить предвоенным летом.

— Он был рад, очень, — говорю. Она не верит.

Конечно, она не поверила, Костичек, она же не идиотка, она же знает его в таком состоянии, знает, как это выглядит, ничто не способно его обрадовать, равно как, в общем-то, опечалить, ибо бездна отчаяния не есть печаль, только абсолютное безразличие.

Тебе знакомы эти черные пропасти, Костичек? Знакомы же. Ты упал в них иначе, не так, как твой друг, но знаешь же, знаешь, на что похоже, когда сжимает глазные яблоки чернота, когда залезает под веки и заползает в мозг, внутрь, обессиливая, как абсолютный наркотик, как максимально концентрированный морфин.

Ведь от этого мрака спасался ты бутылочками, полными счастья, добра и радуги.

— Ну, пошли куда-нибудь, — сказала Ига.

— Девушка, идет война... — ответил ты, словно забыв о том, что Ига не позволяла тебе называть ее “девушкой”. Никогда. “Я женщина”, — говорила она с того момента, как вы переспали. А до того ты не позволил бы себе такую фамильярность.

Она слабо улыбнулась.

— Пожалуйста, Костек. Придумай что-то. Я хочу пить и танцевать.

И что же ты можешь сейчас, что ж ты можешь сделать, Костек? Ты знаешь, что.

Я знаю, что могу сделать. Могу взять ее и пойти к Саломее, на Добрую улицу, даже не входить в эту паскудную квартиру, только спросить мою сладкую шлюшку, где сейчас в столице можно пить и танцевать. А Саломея будет это знать, она знает такие вещи, она всегда знает такие вещи.

Может, есть уже где-то такие места, куда немец мог бы зайти с женщиной, выпить и потанцевать. Как-никак, три недели с лихвой

после капитуляции. Как-никак, немецкий офицер, немецкий офицер-победитель должен где-то выпить шнапса или вина, пощупать девок, пообнимать, потанцевать и поебстись. Ради этого он как-никак победил, ради этого солдат на самом деле бьется, идя в атаку, обороняясь же, он бьется ради чего-то иного.

Но ты боишься пойти к Саломее, правда? Боишься. Ты не забыл.

Боюсь ехать к Саломее, там ждет моя бутылочка. Полная красок. А ведь я тоскую по ней все больше, по моей бутылочке. И даже если моя сладкая, белая шлюха бутылочку эту оприходовала, она безусловно может пойти за другой, а у меня есть деньги, у меня есть деньги Яцека, у меня есть свои, могу купить.

Кружит надо мной, за мной вьется, уже неделя m-трезвости. Уже неделя, Костичек, а ты не перестаешь думать, что справишься.

Я справлюсь.

Или, может, тебе до лампочки? Или, может, мне до лампочки?

Так что, пойдем к моей сладкой курве, я и первая моя любовница?.. Пойдете, ты же знаешь, не сумеешь отказать, ни в чем не сумеешь отказать.

Я должен иметь при себе пистолет. Но не имею. Не идти же сейчас к Витковскому, не требовать свой пистолет. А к сестрам-назаретанкам...

Ты тоже не пойдешь. Ты даже поляком не пошел бы, иначе они приняли бы тебя за безумца.

Ну что, Костичек, допетрил?..

Вдруг мне приходит в голову нечто. Нечто жуткое.

А именно, когда до монастыря дойдет весть, что я стал немцем, охватит сестер смертный ужас. Начнут бояться ареста, сами побегут отрывать ящик, чтобы везти куда-то. А если ничего не случится, моя немецкая легенда может дать трещину. Что ж это за немец, в конце сентября зарывал оружие, а нынче что, стал немцем и молчит?..

А разве ж хотел бы ты, правду говоря, чтобы твоя немецкая легенда дала трещину?.. Ведь сама собой до немцев эта история дойти не может и не дойдет. До немцев эта история дойти не может и не дойдет. Но стоп, кто знает?.. Они рано или поздно могут кого-то схватить, заточить и сломать, и этот кто-то скажет, мол, некий подпоручик Виллеман зарыл оружие у назаретанок. А они тогда, то есть мы тогда, или все-таки они проверят — да, есть такой, Константин Виллеман, стал рейхсдойче.

А почему не рассказал про оружие? И пиши пропало. Или не пиши.

И как быть?.. Сказать Инженеру как можно скорее, пусть сам разбирается.

Но это не по телефону. И я с Игой я к Лубеньской не пойду, точно нет. Так что нет. Подождет до завтра.

— Костек?.. — Ига глядит на меня выжидающе.

— Идем, ладно, идем... поищем что-нибудь.

Я посмотрел на часы, было пять. Мы вышли из шоколадного дома, он лип к обуви, а лип ли он к обуви? Или это я с головой влип,

прости Господи. На Пулавской нам удалось поймать рикшу с тачкой, в которой мы, неловко сидя на корточках, судорожно цеплялись за поручни.

Едут на улицу Добрую, едут.

Константин, держась за металлическую скобу импровизированного рикши, думает о том, как выглядят немец и полячка, едучи на рикше по улице.

А пуще он, дурачина, думает о том, сколь драматична его жизнь, разрывающаяся между польскостью и немецкостью, ох, как жутко в этом мире полярных, тотальных национальностей разрываться между немецким отцом и польской матерью, теперь уже не польской, как жутко иметь два Muttersprache, два сердца в одной груди, как трудно быть поляком, когда ты немец по крови и по рождению, вот же каторга!

А родина, думает себе мой дурной Костичек, которую он избрал, Родина с большой буквы “Р”, подвергает его труднейшим испытаниям, как в рыцарском романе, веля во имя любви публично эту любовь отринуть, сносить поношения и унижения, выдавать себя за того, кого она ненавидит всего сильнее, всё ради ее блага, ради высшего блага. Что за дела, Костичек, правда?

Любовь моя, дурной Костичек милый мой, наслаждается своим таким трагическим надрывом, такой дивной одухотворенностью в этой трагедии, два сердца, две души, хотя выбирает-то лишь одно, другое он выдирает из груди, к черту, нет другого.

Костичек воображает себе, насколько легче было бы ему в мире, где не родились еще актуальные национальности и актуальные национализмы, в мире до Французской революции, вот о чем он сейчас думает, дурень, словно пугаясь мысли о надвигающейся катастрофе, не желает думать о том, куда они стремятся в тачке, приводимой в движение еврейскими мускулами, даже Костичку неизвестно, что юноша, крутящий педали, это еврей, они пока не носят звезд на рукаве, еще не пробил час. Час неминуемо пробьет, мои стеклянистые глаза уже видят эту повязку, но пока не пробил.

Но где-то в глубине, под дурными мыслями о поляках и немцах, знает Костичек, что с каждым оборотом педалей они приближаются к жилищу его жуткой, сладкой курвы Саломеи, к бутылочке добра и счастья, и знает, что не устоит, но верит, что устоит.

Тихохонько так верит, ведь милее ему упиваться мыслями о собственном трагизме. Как будто чернота, зияющая между ним и миром, виновна в наличии национальностей и его разорванностью меж ними.

Как будто в блядстве его повинно существование полов.

Дурень Костичек ищет источники боли, дурень Костичек не понимает, что чернота сама по себе, а то, в чем он винит гуртом поляков и немцев, это обычная человечность. Костек тонет в черноте, будучи человеком.

Я это хорошо знаю, ведь я не человек.

Я сама чернота.

Из меня родятся черные боги, от меня плещут океаны отчаяния, это я пригнетаю Яцека Ростаньского к его дивану.

Кто же третий, что вечно идет подле тебя?

Откуда такая мысль, нас ведь двое, я и Ига, может, мальчик, что жмет на педали?..

Стоит мне перечесть, нас лишь двое, ты и я. А стоит глянуть вперед в белизну дороги, там вечно кто-то другой, идущий подле тебя. Легконогий, в буром плаще с капюшоном. Мне не ведомо, он женщина или мужчина. Так кто же он, по той стороне от тебя?

Чьи это слова, того поэта, чье имя ты забыл, Костичек, это его слова, ты прочел их на другом языке, но это его слова, а звучат в твоей голове оттого, что это я их произношу.

Так это я пригнетаю Яцека Ростаньского к его дивану? Вряд ли я, я только иду за Костичком, сопровождаю его, прибываю из той черноты и хорошо знаю, что ничего, кроме черноты, нету, и знаю, что и Костичек милый мой однажды это поймет. Настанет час.

А сейчас я храню его черными своими крылами, хоть перья мои серы.

Я городской воробей.

Я пою: шанти, шанти, шанти. Так говорила тебе мать, а ты позабыл.

Костичек, дурашка, когда б ты только знал, насколько неважны твои польскости, и немецкости, и половые принадлежности, насколько неважны твои достоинства, и чести, и ценность реальная и номинальная... Какую свободу ты бы обрел, как высоко, далеко бы взлетел, дальше и выше, чем в малейшей даже тени национальной зависимости...

Как это плохо и как хорошо, Костичек, что ты не можешь слышать меня, что одно лишь эхо моего голоса проникает в некие зоны под твоим черепом, в которых ты берешь начало, черные капли меня тают где-то там, где ты родишься, Костичек, где родишься ТЫ, на каждом отрезке каждой секунды, и оттого я есть ты, Костичек.

Сейчас, когда ты с Игой на рикше едешь на улицу Добрую, обожаемую, сладкую. И сейчас, когда вы слезаете перед каменицей 52.

И сейчас, когда вы взбираетесь по лестнице. Я пою: шанти, шанти, шанти. Чик-чик-чирик.

Ига не задает вопросов, Ига присматривается к Варшаве с удивлением, Варшавы новой она не понимала, так что ее не удивляет, что вы взбираетесь по ветхой, скрипучей лестнице в паскудную квартиру на Повисле.

И ты наконец встаешь перед этой дверью и боишься, Костичек.

Боюсь. Боюсь того, как взглянет на меня Саломея, когда увидит, что я явился к ней в сопровождении женщины. Мало того — в сопровождении дамы. Саломея отличает даму без труда, ее глаз наметан, взгляд беспощаден.

Боюсь бутылочки добра и счастья. В дверь не стучу.

— Это здесь? — спрашивает Ига.

И прежде чем я успею ответить, помешать ей, предупредить — ведь знает она, что здесь, раз уж встали мы пред этой дверью, — она стучит, стучит, стучит.

Паника, теперь точно все пропало, теперь мне не убежать, по меньшей мере стыд не даст мне убежать, теперь мы должны войти.

И Саломея открывает дверь, открывает дверь, открывает дверь.

Вербигерация абоминация душ мозга вибрация группы трупы, паника, я наизнанку выворачиваюсь, истерия индустрия жизни, холодно-зол ее взор в пустоте.

Смотрит.

— Мы можем войти? — спрашивает Ига.

— Прощу, — вежливо отвечает моя сладкая курва, у меня трясутся руки, я потею, пот по спине ручьями, через пару секунд чувствую, что мои кальсоны мокры и рубашка тоже.

Мы входим. Садимся за стол. На полу всё еще следы моей крови. На моем лице всё еще следы Каэтана Тумановича.

Мне хочется сказать Саломее, что я его убил. Ну так скажи ей, дурной Костичек.

— Я убил его, — говорю я и внезапно вздрагиваю, Ига ведь слышит. Саломея глядит на меня зраком крутым и холодным, будто не она.

— Кого?

— Тумановича.

Ига дрожит. Саломея улыбнулась, лед в ее глазах тает, согревается. Верит мне. Она опять моя добрая, сладкая курва, которая за кровь Тумановича простит мне даже то, что я пришел в ее квартиру с дамой.

— Я знакома с пани, — говорит Саломея.

Ига дрожит, но склоняется в подтверждение. Знаешь меня, курва. Картинки, в папке картинки, вакханалия.

— Мы хотим выпить, потанцевать... — говорю невпопад.

— Деньги у тебя есть? — спрашивает Саломея.

— Я немец, — говорю невпопад. — Стал немцем.

— Bravo, — смеется моя сладкая курва. — Деньги есть?

Ига ничего не понимает.

— Каким... немцем?.. — спрашивает она.

Что ж мне, объяснять, конспирация, деконспирация, дегенерация, коллаборация.

— Потом объясню, — говорю я. Иге довольно, для Иги важны мужчины, женщины и дети, а не поляки и немцы, Ига не обращает внимания на политику, Ига вправду женщина.

— Ну так есть у тебя деньги или нет?.. — допытывается Саломея. Есть у меня деньги?

Костичек, самое время признаться себе самому, не правда ли? В твоём кармане, в конце-то концов, лежит тысяча долларов. Немцу

на Шуха ты дал две, заявил о трех. Ты о чем думал тогда? Ни о чем ты не думал, с чего бы тебе думать о чем-то, ты сделал то, что сделал, а я шептала, что тебе причитается, за те деньги, что пойдут на Игу, ты не слышал моего шепота, но слышал тембр моего голоса, ты слышал.

— Есть, — ответил я.

Ну, есть у меня деньги. Тысяча долларов есть. Есть, что ж теперь. Причitalось мне, не могу я быть безденежным, нет ничего хуже, чем безденежное бессилие.

Саломея стала вдруг мягка, тепла, сладка, как карамель, течет карамелью неспешно.

Ее мягкие белые лапки вокруг моей шеи, я отпихиваю ее, ищу взгляда Иги, ожидая увидеть в нем презрение и гадливость, а нахожу всего лишь конфуз, смущение, смущение в том роде, как если бы это она у меня на глазах льнула к какому-нибудь хахалю.

— Коли есть деньги... То идем. Я вызову машину.

Я остолбенел.

— У тебя в квартире телефон? Раньше не было.

— А как же. Тяжко без телефона.

— Но кто его тебе провел, сейчас? — почти крикнул я. Она улыбнулась.

— Ты ведь тоже справляешься, Костичек, разве ж нет?

Это не поддавалось моему осмыслению. Сейчас.

— Иди ты... знаешь что, — сказал мой рот, сказал мой голос, я не говорил. Кивнула, затем подошла к телефону и заговорила с трубкой по-русски.

Ига встала в дверях, смущенная, ошеломленная.

— Ига, я... — начал было я, слаб, несмел, несчастен, гнусен.

— Мне все равно, Костичек. Все равно, — сказала она. И запечатала поцелуем мой рот.

Именно — запечатала. Этот поцелуй не был любовным. Хотя и был поцелуем в рот, это был поцелуй, что не раскрывал губ, но склеивал их одну с другой и друг с другом. И когда она запечатала мои губы, то ее губы не оторвались от моих тотчас, но оставались с ними так долго, что Саломея успела вернуться и застать соприкосновение наших губ.

Она захлопала в ладоши и зашлась смехом.

Ты ее боишься, Костичек, ее очень боишься.

— Я только переоденусь и поедем. Машина вот-вот будет.

И скрылась за дверью. Мы с Игой остались стоять в неловком молчании, мои глаза бежали ее взгляда.

— Костичек, не соблаговолишь ли прийти, застегнуть мне платье, — сказал блядский голос жуткой Саломеи из-за двери спальни, где я столько раз смаковал ее белое сучье тело.

И что ж ты ответишь, хватит ли тебе воли отказать? Ты вспыхнул, хотел бы провалиться на глазах у Иги, а Ига отворачивается, не то с отвращением, не то со стыдом.

Идешь.

В спальне Саломея совсем голая, спиной к тебе. Посматривает через плечо.

— Может, чуточку пошалить перед выходом, а, Костичек? Ты бы пошалил со мной? Можешь пригласить подругу, мы знакомы.

Она подходит, одной рукой обнимает тебя за шею, другая ее ладонь ведет твою ладонь во влажную промежность.

— Хватит, — сказал мой рот, сказал моим голосом.

А моя рука ударила Саломею по лицу, опять, опять я дал ей пощечину, моей злой, гнусной Саломее я дал по лицу. Не слишком сильно. Засмеялась, потрогала щеку.

— Когда-нибудь я убью тебя за это, Костичек, — прошептала она сладким голосом и бросила сладкий взгляд.

И быстро оделась, я помог застегнуть платье, мы вышли и встали на улице Доброй, а там нас уже ждал белый Adler Diplomat. Мы уселись втроем на заднем сиденье. За рулем сидел очень худой мужчина в одеянии, напоминавшем потрепанную гостиничную ливрею цвета давно выцветшего бордо. И фуражка шофера, круглая, как у шеволежера.

— В Адрию, — скомандовала Саломея.

— В Адрию? — удивился я. — Я думал о каком-нибудь другом месте...

О другом? Слишком долго и много в Адрии, правда, Костичек, тебя там знают официанты, а нынче ты должен войти туда как немец, как иуда должен туда войти.

— Там теперь nur für Deutsche. Что, разумеется, не относится к дамам, — объяснила Саломея, кладя руку мне на колено.

Шофер с шиком промчал по Доброй, свернул на Тамку, обычная кутерьма среди особняков ее и доходных домов, Консерватория, сброд шустрит, подумал ты, Костичек, подумал из-за окон адлера, мол, шустрит сброд, так ты подумал.

Сброд шустрит — подумал я.

Слева за каменичками пугалом сгоревший купол цирка на Ордынацкой улице, и на Ордынацкую съехали мы, проскочивши Коперника, на углу Ордынацкой и Нового Свята выгоревшая каменица...

— Halt! — заорал я. — Стой!

Ига вздрогнула при звуке немецкого слова, но я не обратил внимания. Выскакиваю из машины. Ешь. Выскакиваешь из машины. Ю. Выскочил, мусор уже расчищен, мостовая расчищена еврейскими руками и лопатами, расчищали евреи, присматривал за ними ефрейтор, пожилой и толстый, со старым ружьем, оттягивавшим ему плечо, мостовая расчищена, мостовая изранена, мостовая дырява. Я подбегаю, ты подбегаешь к дому, дыры выжжены в окнах, ни следа от рам, от коробок оконных, стены в саже.

На стене кровь. Течет из окон, как бы из ран, ран в боку христовом, как из глазниц, глаз лишенных, кровь по закопченной штукатурке, по кирпичам течет, я трогаю, трогаешь, трогаю их руками, и руки мои измазаны, твои, измазаны твои руки. Люди идут, прохо-

дят, человек в длинном пальто, женщина с коляской, полной медных горшков и кастрюль, поляк, еврей, немец, Бог знает, я знаю, кто, ты не знаешь, я не знаю, кровь мажет мне руки, мажет, мой Бог, черные боги нависли над городом, как гнутые ветром тополи при дороге, темный холод ледяной мрак богов кровь плывет из выжженных окон угловой каменицы, бо по Новому Святу, 16 по Ордынацкой, кровь у тебя на руках нет крови у тебя на руках нет.

Шофер и Саломея деликатно ловят тебя за локти, поднимают с четверенек, Саломея радушно отряхает твои колени от пыли улиц, Костичек, заботлива твоя маленькая сладкая шлюшка, добра та злая шлюшка с улицы Доброй, Саломея, окна выгорели, Саломея.

Вербигерация дегенерация интерес нации. Стены крашены сангиной.

— Константин, что с тобой?

Голос Иги, голос Иги. Ига.

— Костек, Костичек... — шепчет Ига, ее рука на твоей, на моей щеке ее рука.

И возвращаешься возвращаюсь возвращаешься возвращаюсь.

Я очухался, стою на улице, люди всматриваются в меня с умеренным интересом и умеренным удивлением.

— Я исцелю тебя, Костичек, скоро тебя исцелю. А теперь едем, прекрасный мой.

Кто это говорит, это Саломея говорит? Кто это говорит? Это говорит Ига?

Я это говорю, Костичек.

— Я говорю, — сообщаю.

Итак, едем, Варецкая, Главпочтамт, площадь Наполеона, Пруденшал, люди ходят серо-коричневые, за домом Гольдстанда орел наш сворачивает на Монюшко, взвизг шин, костел имени Jezus, что такое Езус, оно висит тут или это Езус взросло из земли, носившей многие имена, орел ложится на крыло, чтобы втиснуться между каменицами и сожженной окровавленной филармонией, перьями кровавые стены метет, но втиснулся, клюв раскрыт, язык рептилии розовеет в том клюве, тормозим перед Адрией встал перед Адрией адлер Адрия адлер Адрия Адриатика.

Костичек!

Я выхожу, шины белы на кровавой мостовой, в лужах крови шины кровавы, кровь течет из окон филармонии, свисают синие гирлянды великанских кишок, их кровь из окон.

Выхожу, шатаюсь, выхожу, выходишь, Костичек, держись, Костичек, справишься, Костичек, приди в себя, Костичек.

Я плачу шоферу, щедро плачу, обильно плачу, плачу в долларах.

Леворучь от меня Ига, праворучь Саломея, с полей шляпы свисают сосульки, сопли густеющей крови, свисают, Костичек? Не свисают. Вступаем в Адрию. Кафе наверху нам не личит, американский бар не личит, предъявляю die Kennkarte und mein Wiener

Deutsch¹, мы сходим по лестнице к дансингам, к жирандолям, Ига леворучь, Саломея праворучь, вцепились в шерсть моего пиджака, мы сходим в укромную ложу, любезно нам указанную, доллар американский указывает нам путь, in God we trust.

Садимся вокруг столика стеклянного, еще рано, еще пусто, оркестра нет, музыка льется с граммофонных пластинок, американская льется музыка, саксофон и контрабас из динамиков льются, и заказываем водку, и подают ее, синюю от мороза, и заказываем к водке паприкаш из говядины, горячий и обжигающий сильнее водки, Саломея же достает из сумочки бутылочку счастья и радуги и шприц златогардый и иглу номер 19, славься ты, Саломея, моя златопиздая курва, добрая и прекрасная!

И это мне только кажется, что по стенам ползет линия крови, приливает кровь? Паприкаш кроваво-красен.

Все тебе кажется, Костичек. Волновидная линия крови кажется, Адрия кажется, Ига тебе кажется и Саломея, и Варшава, и вся твоя жизнь от Катовиц и до Грудзёндза и Теребовли и шоколадного дома, и Варшавы, и мать твоя тебе кажется, любимый мой, и тело твое кажется тебе. Все это мираж, Костичек.

Ты сам мираж, только я настоящая, так что, быть может, вы только мой мираж? Может, это я вижу тебя во сне, любовь моя, может, ты мой кошмар, сон тени, сон третьего или третьей, идущего или идущей белой дорогой двоих?

А я кто же, Костичек, кто?

Я тень, как и все остальное, тень тени в мире теней. Круги на воде. Дыхание ветра. Холод.

Мы пьем шампанское, настоящее шампанское, среди золота и пузырьков плавают, как планктон, мелкие чешуйки дрожжей, и зорким от кокаина глазом ты видишь одну из них, Костичек, в танце вьется она и кружит к поверхности, ее сбивают воздушные шары, идущие вверх, золото рекой, шампанское в ваши глотки и да, да, белые снега кокаина, Ига не отказывается, и очи сияют у них, у женщин, с которыми ты пришел, сияют их очи от кокаинового возбуждения, и музыка, и другие люди в мундирах и в костюмах, и рекой немцы, и их дамы, и их бляди польские и любые, каких только носит варшавская улица, и оркестр в белых смокингах рекой, как будто это вертиго и шампанское кружат на танцполе океанского лайнера в тропиках, а не в октябрьской Варшаве, и вы тоже кружите, Костичек, но твой белый смокинг в шкафу, ты мог бы надеть его, думаешь ты, но нет, не в октябре белый пиджак не в октябре может в июле но не в октябре в октябре лишь черный, черный, атлас лацканов, атлас лампасов, кружит дансинг, Адрия, Адрия только для немцев, голубая адриатическая вода, Ига в твоих объятиях,

1. Kennkarte и мой венский немецкий (нем.).

рот ее открыт, вы кружите вместе с фортепьяно и барабанами, Костичек.

И знаешь уже, ты знаешь, что бутылочка ждет тебя, куда ж там кокаиновому кейфу, куда ж там шампанскому, златогардый шприц и укромная ложа, и, пока Саломея готовит жидкое счастье, ты обращаешься к Иге:

— Я видел фотографии... У Саломеи видел.

А Ига улыбается. И нету в ней стыда. Ни капли. Неужто из-за шампанского с кокаином нет в ней стыда? А разве что возбужденный румянец?

Нету в ней стыда, потому что стыдиться она разучилась, Костичек, за этим она и отправилась туда, в усадьбу под Кобриним, позволила содрать с себя платье, и впервые ее оглядывали глаза, отличные от твоих и твоего Яцека, Яцек всегда смотрел на нее твоими глазами, Костичек, того ты не знал, дурачок, и не знаешь, ибо дурной, а я знаю, потому что я мудра, мудра и многострадальна. Страдания мою мудрость делают безграничной.

Так что дала она себя оглядывать глазам других, дала себя трогать рукам других, она слушала дурные речи, целью которых было выдать эту оргию безнаказанных соитий за нечто большее, чем она в самом деле была, седой козлобородый дурак бредил о менадах, о дионисиях и о вызволяющей от злых флюидов силе плоти.

А увидь хоть раз сей набитый ученой дурью баран настоящие дионисии, в которых мы касались пальцев на ногах черных богов, в которых мы сходили в мир, в которых лона наши и чрева наши рождали новый мир, рты наши пожирали старый мир, а черные боги ходили меж нас и касались наших тел, Костичек, увидь оный дурак такие дионисии, он бы умер от страха, он умер бы, ибо, возможно, понял бы, что такое черные боги, Титаны, и как пресмыкаемся мы между столпами их ног.

Но таких дионисий он не видел, он лишь хотел видеть много нагих женских тел, не девушек хотел изучать, не профессиональных шлюх, а тела жен и матерей, обнаженные пред ним и пред другими, кто инвестировал в эти игры, Костичек, а чтобы тех дурных матерей и жен заманить в усадьбу под Кобриним, он должен был дать им то, чего они сами жаждали. Одни желали просто встать голышом пред чужими мужчинами, облепленные их глазами, пальцами и семенем, но было их немного, больше было таких, что хотели придать больший смысл своей пустой жизни, тающей между детьми, слугами, домом, открытым по четвергам или по понедельникам, между чаепитиями у господ таких-то либо иных, между карнавалами, между необъявленными визитами и балами дебютанток, куда они вывозили своих взрослеющих дочерей.

Эти матери и жены охотно шли на то, чтобы их раздевали, щупали как зверушек, обращались с ними как с вещами и как с вещами совокуплялись, если это сопровождалось верой, что они испытывают нечто важное, что эти оргии, бичевание и танцы по образцу

античных фресок придают их жизни какой-то смысл, что если не выслушают те бредни о духе и материи, если не уверуют в неумные обмывки теософии, в поиски сексуальных чакр, если в вызволение не уверуют, то пропадут, истаяв в своих детях, в жизни внешней и дружеской, сгинут, будучи закопаны, в могилах и истают в земле, и не останется от них ничего, даже тени, ничьей памяти, исчезнут даже с фотографий.

И ошибались, конечно, и все поисчезали, как исчезнешь ты, Костичек, как исчезнет Ига, и Саломея исчезнет, не оставив даже тени, круги на воде, дуновение ветра, пустые ракушки, только камень и безводная песчаная дорога.

И как по-разному исчезали, пережив войну либо не пережив, от огня либо от пули либо от рака, умирали счастливыми или несчастными, состоявшись в собственных глазах или не состоявшись, довольными или вплоть до печального конца неудовлетворенными.

Печального, ибо каждый конец печален, или, скорее, суть печали как раз таки конец и брэнность.

И я не брэнна, не прехожу, я — тень, я, твоя маленькая метресса, вечное ничто, я, идущая за тобой, тень тени.

Двадцать было их там, этих женщин, разных: брюнетки, блондинки, толстые и худые, одни с огромными, тяжелыми выменами, другие с мелкими девичьими грудками, все они еще прелестны прелестью зрелых женщин, и делали, что им велели: пели песни на неумелом, школьном греческом, раздевались, поклонялись члену седобородого болвана и называли его Паном Приапом, рвали на части козла, а козла разорвать непросто, вот и помогали себе ножами, а козел был убит ранее, Пан Приап боялся, что сами они не сумеют его убить, и пили козлиную кровь, и даже умудрялись внушить себе, что творят это в экстазе, помогало вино, щедро рассыпаемый кокаин и то, что себе легче всего поддаешься.

Таких было больше всего.

Кроме тех были еще двое, они просто хотели звериного соития, соития, в котором не было бы и намек на близость, такого соития, какого не могли испытать с вялым мужем или нежным молодым любовником, и такие звериные соития в усадьбе под Кобрином им были гарантированы, однако, заполняя полости своего тела мужчинами, заполняли ли они пустоту в себе, ведь этого жуткого соития желая, они хотели, чтобы кто-нибудь заполнил прежде всего их души, они хотели быть по-звериному желанны, хотели влечь неодолимым магнитом, как волчица в течке влечет матерого волка, так хотели влечь, но не влекли. Пустота осталась незаполненной.

Ибо проклятие ваше, Костичек, подлинное изгнание из рая, заключается в том, что полную, космическую звериность отняли у вас навсегда, оставив импульсы и инстинкты.

И по странному стечению обстоятельств ни одна из тех двух алкавших звериности женщин не переживет войну, по странному стечению обстоятельств обе умрут в сентябре 1944 года, мирные,

тихие жертвы физики, химии и истории, заваленные обломками домов, падающих под артобстрелом.

Ты сказал бы, Костичек: по странному стечению обстоятельств. А знаешь ли, мой милый, что нет ни странностей, ни стечений обстоятельств, мир есть хаос, обстоятельства не стекаются, но текут бок о бок, будучи совершенно безразличными, как безразличны по отношению друг к другу звезды и камни?

В усадьбе под Кобрином было еще четыре женщины, которым их присутствие оплатили: Саломея и три ее товарки.

Ига в свою очередь хотела избавиться от стыда, Костичек, и говорит тебе сейчас об этом, говорит тебе, как хотела выставить на потеху гнусным взглядам то, что прятала до сих пор глубже всего, то, что было у нее лишь для тебя и для Яцека. Вы двое были для нее одним целым, ее единственным мужчиной, единым в двух телах, оттого она тебя никогда не ревновала — обладая Яцеком, она обладала и тобой.

Она избавилась от стыда, возненавидела себя самоё, мужчин и сырое мясо.

И об этом она говорит тебе сейчас, Костичек.

Говорит также и о том, зачем она это сделала, зачем...

И любо тебе начало этой истории, она сделала то, что сделала, желая смыть с себя унижение, которому подверг ее Яцек.

— Яцек меня предал, — шепчет Ига под кейфом.

А это значит, что ее общий мужчина распался, вас неожиданно двое, отдельный мужчина ты и отдельный мужчина Яцек.

Как же тебе это любо, Костичек, как же это радует твоё блядовитое, наркоманское сердечко, как же веселит, милый мой, вот и Гиацинт, твой дорогой Гиацинт, этот ходячий укор совести, равно водится с девчонками, слова “предал” в этом контексте ты не любишь, оно кажется тебе каким-то неадекватным, предать можно родину, друга да и жену тоже, но не вбиванием же в девку хуя, жену можно предать, сбегав с какой-то пассией, или даже в незротическом смысле, к примеру, интригуя против нее, но приласкать другую женщину, это может быть предательством в категориях либо женщин, либо попов, те же яйца, вид сбоку, потому как поп есть девица *honoris causa*.

А ты, Костичек, когда Ига сказала о предательстве, мог бы тотчас биться об заклад, что Яцек попросту приударил за горничной или какой-нибудь медсестрой, правда?

Тебе казалось невозможным, чтобы Яцек Ростаньский действительно мог предать Игу, согласно твоих оригинальных категорий предательства.

Но падение его тебе любо, ведь это тот самый Гиацинт, который со столь барским снисхождением глядел на твои, Костичек, блядовитые проделки, снисхождением человека сильнеешего, что выкован из другого железа, с превосходством человека столь дюжего, что нет ему нужды в осуждении слабых, — тебя-то он никогда не осуждал.

Но так как ты узнаешь об этом от пьяной, одурманенной кокаином Иги, это значит, что дивный, дорогой, святой Яцек Ростаньский,

предав любовь, верность и супружескую честь, прежде всего предал вашу дружбу, что ты совершал много раз в прошлом, Гиацинт же, святой Яцек, великолепный Яцек в прошлом никогда не предавал вашей дружбы, и на тебе — предал ее сейчас, не поведав тебе о своей беде, лишь попросив найти Игу.

А ты нашел Игу и заодно нашел секрет, который он таил от тебя.

И даже его благородная угнетенность чернотой стала менее благородна в свете этих измен, а твоя невыразимая, даже не осознаваемая ревность к его меланхолии, отчаянной, благородной как чахотка Норвида, внезапно исчезла: Яцек тонул в черноте не оттого — как думал ты до сих пор, — что его врожденная доброта время от времени не выдерживала конфронтации с миром, но оттого, что пробуждалась его внутренняя чернота.

Конечно, ты не мыслишь об этом в подобных словах, слова твой разум не посещают в звуках, ни в польских, ни в немецких, а будучи спрошен, ты отрицал бы каждую из твоих эмоций, и отрицал бы честно.

А если б только ты, дурачинка, знал...

Любовь моя, если б ты знал.

Было пятое сентября, то есть месяц с чем-то назад. Варшава еще жила, а они, Ига и Яцек, попросту умирали.

Ига стояла с письмом в руке. Письмо было не для нее. Она никогда ранее не читала писем, не ей адресованных, ибо так ее вышколили, не была к этому способна, как не могла бы испражняться в обществе. Однако Яцек оставил это письмо на столешнице секретера в их общей спальне. Открыто, без конверта, кремовые листки сложены в два сгиба, конверт был продолговатым.

Обращение гласило: “Любовь моя, жизнь моя, милый мой...”. По этому обращению мгновением ранее и скользнул случайный взгляд Иги, едва коснулся тех слов, написанных зелеными чернилами, и разбилось тогда сердце Иги.

Иссякла война, иссякли противотанковые рвы, зенитные пушки, противопехотные заграждения и противотанковые орудия. Иссякли немецкие танки и самолеты и польские танки и самолеты и иссякли фамилия генералов, все Роммели и Руммели, и Гудерианы и Шмиглые, все иссякло, Польша и Германия иссякли.

Яцек как раз принимал ванну, Ига слышал, как льется вода, жизнь продолжала быть нормальной, хотя и другой, те нормальные, последние дни нормальной жизни Варшавы, война гремела за горизонтом и тут истекла последняя секунда жизни Иги. Ей подумалось, что письмо написано красивым почерком, на изящном папетри, и она протянула руку и прочитала его целиком, умирая над каждой фразой, что влюбленная медичка по фамилии Тшесневская писала Яцеку. Фамилии, впрочем, Ига из письма не узнала, одно имя: Адель, а из того, что та писала о работе в Уяздовском госпитале, сделала вывод, что любовница ее мужа была врачом, что глубоко ранило Игу, родители Иги любую учебу характеризовали как

благо для девочек из домов скорее ветшающих, не для Иги из дома процветающего вполне. Ты красива, дочурка, а у папы хорошее положение, тебе не нужно учиться. Учеба для бедных или уродин.

Ее глубоко ранила спокойная, грустная красота этого письма любящей женщины. Любящей, брошенной женщины, из письма Ига узнала, что Яцек разорвал какую бы то ни было связь с этой женщиной. Женщиной, должно быть, великолепной, раз Яцек, хороший человек, влюбился в нее. То, что она не могла ненавидеть эту Адель, ранило еще больше.

Игу не ранило то, чего она не знала: юная медичка беременна от Яцека, и через семь месяцев, в 1940 году, родит мальчика, который вырастет без отца и никогда отца не увидит, он станет известным хирургом и возьмет сердце у одного человека и поместит в другого человека, а затем умрет, ибо разобьется его собственное сердце, когда достоянием общественности станет известие о его любви к мальчикам, любви все еще живой, хотя он разменял восьмой десяток, а я, одна из я, одна из моих я, стану на коленях гладить его белую, умную голову, и гладить ту голову я стану, когда она начнет падать в черноту, когда начнут иссякать его круги на воде.

Существование его, сына Яцека, так и не получившего фамилии Яцека, ранило бы Игу глубже, чем что-либо другое; сама она не сумела, не смогла дать Яцеку ребенка, хотя это и было их великой мечтой. Но Ига об этом не знала, и ей никогда не будет суждено об этом узнать.

И глубоко ранило Игу невнимание Яцека, ну как мог он оставить на секретере такое письмо?.. Ей даже не пришло в голову, что это нечто большее, нежели невнимание, что он, возможно, хотел быть пойманным, даже не подозревая того, что хотел быть пойманным.

Ига вернула любовное письмо на столешницу, взяла ручку и визитку, аккуратно вывела на визитной карточке несколько слов элегантно, как всегда, буквами:

“Мой дорогой, прости мне эту чудовищную, недостойную дамы бестактность, но по прочтении письма, столь бессердечно оставленного здесь Тобой, Ты и я не можем более пребывать под одной крышей. Навечно Твоя Ига”.

И собрала чемодан, и покинула квартиру, и приняла полученное двумя днями ранее приглашение в усадьбу под Кобриним, где седьмого сентября протоколировались дионисии, проводимые с целью приостановки наступления немцев, и отдала свое тело чужакам, знавшим, что Польша уже нет, причем именно Польша определяла их ценность и значение, Польша, которую они сами строили и за которую некоторые даже сражались двадцать лет назад, и так отмечавшим концы своих жизней, а после бежавшим в Румынию, в Венгрию, попадая в руки Советов, если только им не удавалось бежать еще дальше, во Францию и в Лондон, где они завершали свою бесполезную жизнь, ведь Польша, той, что определяла их ценность как мужчин и людей, не было окончательно и бесповоротно.

Игу унижали, били, пороли, не очень болезненно, так как значение этой порки было лишь символическим, с ней совокуплялись, ее тело, ее тонкие бедра и грудки маленькие, мягкие, стискивали пальцы гадких, брюхатых мужчин в перстнях, в нее совали члены, нередко отказывавшие владельцам в послушании, за что ее и секли, трещал затвор лейки, она же послушно подставляла ягодичы, и бедра, и плечи под хлыст, открывала рот и раздвигала ляжки и пела песни на плохом, школьном греческом.

Затем, вся липкая, она смыла их сперму, пот и слюну, затем оделась, а затем не присоединилась к прочим леди, уже одетым, сидевшим в гостиной. Платных женщин не приглашали в гостиную, это было бы неуместно, лишь бесплатные женщины сидели в гостиной с соблюдением всех условностей среды, предаваясь вежливой беседе, главной темой которой было “что делать дальше”, среди них сидело еще несколько мужчин, ранее участвовавших в оргии, хотя большинство уже готовили к дороге свои фиаты, опели, шевроле, и бьюики, и испано-сюизы, и спортивные альфы ромео и мерседесы, а также конные экипажи, и уезжали к серому остатку своих скукоживающихся жизней.

Ига не присоединилась ни к леди, сидящим в гостиной, ни к готовящимся к бегству мужчинам, она присоединилась к четырем платным женщинам, лучше понимавшим войну и историю и возвращавшимся в Варшаву. Поскольку иных транспортных средств не было, они угнали из усадьбы авто, малый фиат, за руль которого села Ига, шофер отменный, заодно забрали пластинки, которые вместе с аппаратом бросил фотограф, разумно полагая, что в предстоящий жизни они не пригодятся. Разве что археолог откопает ржавый аппарат в Пятихатках, но проявить негативы так и так не удастся, до скандала не дойдет.

И они ехали по чудной, пустой Непольше от Кобрина к Варшаве, до Радзымина, и до самого Радзымина их никто не замечал по пути, и они по пути не видели ни одного солдата: ни польского, ни немецкого, ни советского, да и людей всего ничего, ехали как бы по стране вне истории, а порой и вне мира, пока в Радзымине их все-таки не остановили. Саломея сбежала, едва увидев солдат, и не знала, что с Игой, она сбежала, боясь, что ее расстреляют, а Ига устроила немцам такой скандал, что те побоялись в нее стрелять, Саломея пешком вернулась в Варшаву, Ига на грузовике отправилась под арест.

И обо всем этом нынче мне повествуют обе, Ига и Саломея, пьяные и под кейфом, повествуют, хихикая как безумные, кабаре-дуэт, игра в плохишей, школьная эскапада.

Очевидно, они не рассказали тебе обо всем, Костичек, ведь ни одна из них не видит так далеко и остро, как я, однако рассказывали почти обо всем, что знали и что видели, неожиданно сдружившиеся, обе бесстыдные, в отличном контакте.

Я, впрочем, уже не слушал, хотя в любое другое время слушал бы, как святоша токование ксендза.

Ты больше не слушал. Ты даже оттолкнул руку Саломеи, вводящую в тот момент жидкую радугу, ты встал, с твоего предплечья свисал золотогардый шприц, висел грустно, как сломанная лапа хромого пса.

Но я уже не слушал, я не замечал даже, что Саломея еще не закончила вводить возлюбленное счастье в мои усталые вены, полные нечистой крови.

В ложе напротив нашей сидела весьма немецкая компания, то есть два офицера в мундирах, темно-серые брюки штайнграу, куртки фельдграу, темно-зеленые воротники, свежие ленты железного ордена при пуговицах. Вдобавок три всемерно польские шляхи, расфуфыренные, сиськи студнем из декольте. Кроме того, двое гражданских в темных костюмах, к которым офицеры, вещь для армейских небывалая, относились с изысканным, непринужденным почтением, с каким бывалый, скажем, майор говорил бы с гражданским чиновником военного министерства в звании не меньше госсекретаря, к тому же старым солдатом.

Однако не это меня заинтересовало, не это меня зацепило. Я встал и приблизился к немецкой компании. Они пили водку, я же все еще пребывал под действием шампанского и кокаина, но без следа эйфории, встряхнувшей меня моментом ранее.

Итак, я приблизился к столику немецкой компании, и они замолчали, молчанием не враждебным, но озадаченным в адрес моего молчаливого появления и моего взгляда, вне всяких сомнений безумного.

Потом заметили, во что я так пристально всматриваюсь, и озадаченное молчание резко, тотчас сменила открытая яростная враждебность.

— Das ist das Gesicht eines Kriegshelden, du Mistkerl! Verpiss dich!¹ — рыкнул ближайший ко мне офицер и встал, слегка качаясь. Встал, чтобы научить тебя дисциплине.

Во что же я всматривался?

Ты всматривался в лицо лжи, всматривался в свою фальшивую жизнь, всматривался в пустоту своей жизни, которую осознавал потихоньку, как плохо говорящий по-польски мальчик, ты всматривался в имя, которого не носишь.

Ты всматривался в лицо человека в темном костюме-тройке, в лицо человека, сидящего в самом глубоком углу ложи, человека, которому не досталось польской шляхи, к тому же он казался незаинтересованным в шляхах.

Лицо было жутким. На левой щеке начинался шрам, он отстал вниз, к уголку рта, отъедал большую часть носа, пощадив лишь правую ноздрю и завиток того, что некогда было прочими частями носа. Ниже шрам съедал довольно много лица, а там, где когда-то

1. Это лицо героя войны, говнюк! Сгинь! (Нем.)

находился уголок рта, зияли голые беззубые десны, их невеликая обнаженная толика. Еще ниже шрам сползал на челюсть жутким разломом кости, перебивая ее ровный, твердый контур.

Лицо было жутким. Лицо было тебе знакомым. Лицо было лицом моего отца.

Майор замахнулся и ударил меня по щеке, тыльной стороной ладони, сильно, аж к плечу отскочила голова.

Ты, Впрочем, не уловил этого удара, не уловил его вовсе.

Бальдур Штрахвиц всматривался в тебя своими светло-голубыми глазами, один из которых, левый, сверлил тебя из-за оправленного золотом монокля.

— Vati... — прошептал ты.

Тогда он вдруг вскочил, он понял, шрам и остаток лица искривила жуткая гримаса, тогда он бросился к тебе, расталкивая шлюх и офицеров, и дружество в костюмах, столкнув со стеклянного столика бутылку со шнапсом, топча диваны и колени, деря чулки и грязня брюки фельдграу.

Он бросился к тебе, и ты утонул в его объятьях, он обнял тебя с огромной силой, ты обнял его, твоя щека прижалась к его здоровой щеке. Шприц вылетел из твоей вены и упал на пол, вбиваясь позолоченной иглой в паркет, как аномальный дротик, морфий тек уже по твоим венам. Отец обнял тебя, как будто ты был единственным на свете человеком.

— Mein Söhnchen, mein geliebtes, verschollenes Söhnchen¹, — рыдал он, увечные слова сыпались из его изуродованного рта.

А ты оседал на его плече, оседал в черноту.

Окончание следует

BOOK INSTITUTE



©POLAND

Публикация выходит при поддержке программы перевода © POLAND

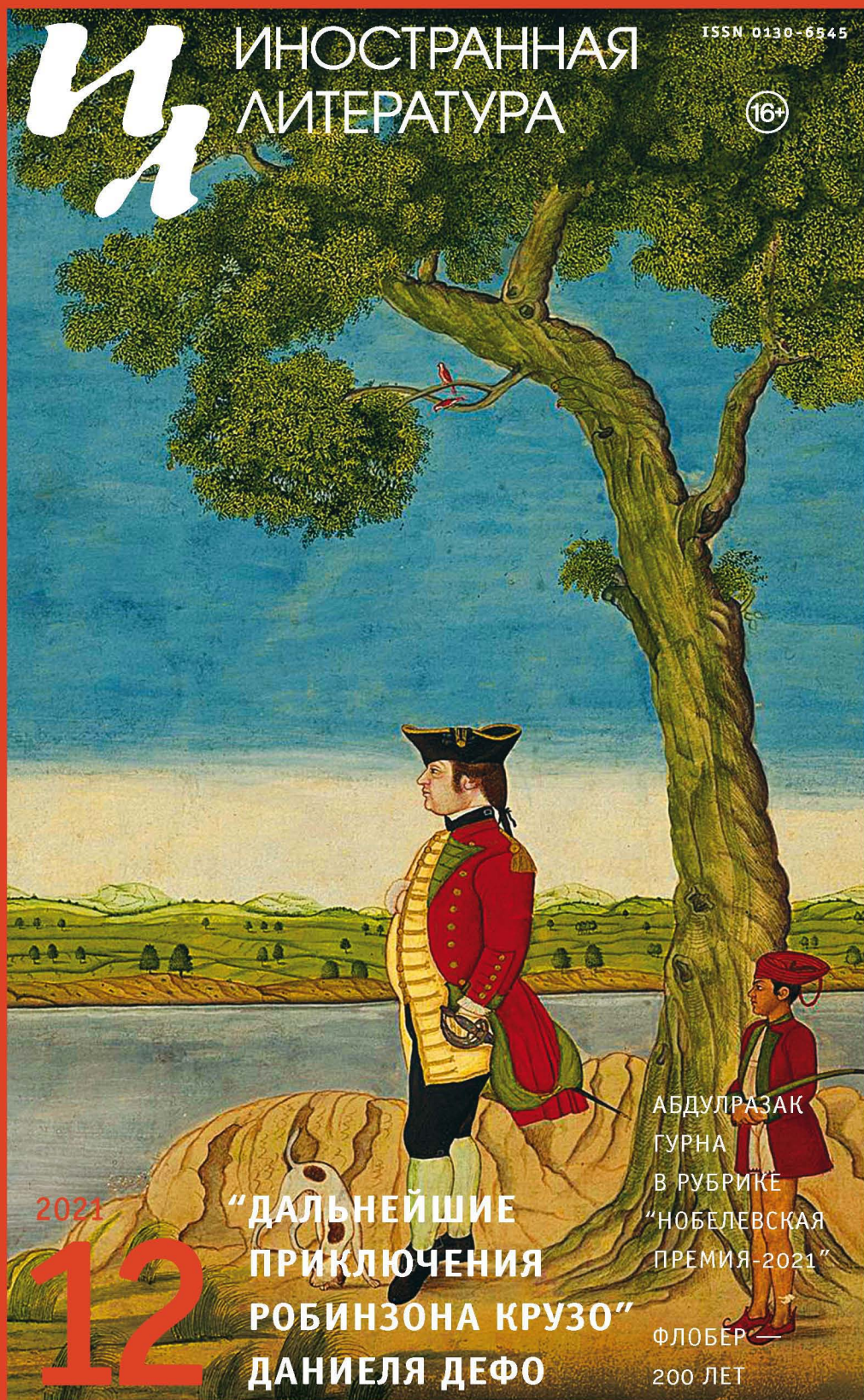
1. Сыночек мой, мой любимый, пропавший сыночек (нем.).

ИЛ

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ISSN 0130-6545

16+



2021

12

**“ДАЛЬНЕЙШИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
РОБИНЗОНА КРУЗО”
ДАНИЕЛЯ ДЕФО**

АБДУЛПРАЗАК
ГУРНА
В РУБРИКЕ
“НОБЕЛЕВСКАЯ
ПРЕМИЯ-2021”

ФЛОБЕР
200 ЛЕТ

Основан в 1955 году

ЩЕПАН ТВАРДОХ

Морфий

Роман¹

Перевод с польского СЕРГЕЯ МОРЕЙНО

Часть 2

Глава VIII

Хотел бы ты видеть себя, видеть вас его глазами. Но не можешь, Костичек. Многое вас роднит, но этого по-прежнему недостаточно.

Но какими же разными были дела ваши ратные, Костичек. Это твое офицерство. Грудзёндз, Теребовля, уланы.

Пуškai он, человек со съеденным войной лицом, и был уланом, это лишь знак, звук, не более. Твой уланский полк и его уланский полк — мундиры различны, пусть и похожи в чем-то, традиция-то одна, у них даже более уланские, куртки двубортные, как положено, а у вас простые. Твой отец родился затем, чтобы быть конным офицером, палаши намечая цели атак; зачем родился ты, Костичек?

Как мало ты знаешь, Костичек. Помнишь одно это лицо, помнится оно, словно бы выжженное в твоём десятилетнем мозгу: отец идет. Все те пять лет твоей жизни всякий его приход был праздником. Побывки длиной в пару дней, а то и в пару недель, позже алтарь в его честь, мать подводит тебя к нему, бронзово-желтое фото: двубортная куртка улана, руки стиснули рукоять палаша. Ты помнил, как прежде он затачивал свой палаш, и застыл перед портретом, пробуя взглядом коснуться лица, скрытого за плоской фотоэмульсией.

А после он приходил домой, в отпуск. Сначала жестяной звяк ножен на лестнице, звяк ее о шпоры, а после он открывал дверь, долго целовал твою мать или, точнее, она долго целовала его и говорила: “Мой мальчик вернулся”. Он был ее мальчиком, и все в доме было праздничным, домашние правила редуцировались, и я даже мог обращаться к отцу, не будучи спрошенным.

Ночами, у кровати, он рассказывал мне свои приключения, нынче знаю, что он их сочинил. Но что еще мог он рассказать мне об этой войне, не такой, как положено? О той войне без атак, которые

1. Окончание. Начало см. в “ИЛ”, 2021, № 11.

юный поручик намечал бы палашом своему взводу? Мог ли он рассказать о том, каково тонуть в окопной грязи, о стальных грозах? Итак, он рассказывал сочиненные истории.

Весь мир сочинен, Костичек. И это как круги на воде.

Фати вел патруль, а тут вдруг выскакивают на него две сотни ужасных итальянских берсальеров. Берсальеры суть солдаты с перьями на шлемах. И они как трататататата из пулеметов! А Фати обнажил саблю и бац! Отсек первый султан! Бац! Отсек второй султан. И так бац-бац-бац, поотсекал им все султаны, и стало им так стыдно, что они бросили пулеметы и убежали. Так Фати добыл три итальянских пулемета и двести султанов, за что Его Величество кайзер дал ему *Eiserne Kreuz*. Папа показывает *Eiserne Kreuz* 1-го класса.

Школьные товарищи не верили, и один ткнул меня в нос за такие байки. Я тычка не вернул, потому что он был сильнее, зато принес на следующий день фото отца в форме улана, двубортная куртка, уланская каска, эфес палаша. Они завидовали. Еще принес черное перо султана берсальера, которое Фати специально привез для меня с самой войны.

Едет Фати на лошадке, а тут вдруг... английский танк! И шпарит изо всех стволов! А было их всего пятнадцать, пулеметы и пушки! Железные! Ну, а Фати саблю в кулак и бац-бац-бац, поотрубал все стволы! И англичане в плач!

А то ехал Фати по полю, а тут на него — летчик! И так пикировал, так пикировал, что крылом сбил с отца шапку. А в другой раз пролетел и так крылом цепанул, что бах! — в лоб Фати, тот упал, ткнулся в камень и сомлел. Рапапорт, то есть мерин отцовский, — так его звали, Рапапорт — вернулся в полк один, и все однополчане ну оплакивать отца, гибель его. Но что это, что за дела! Рапапорт не дает себя расседлать, лягается, ржет и наконец срывается и вскачь, уланы пытаются ловить его, а он шагов на пятьдесят отбежит и стоит, а уланы за ним. И долго так — пока не привел их к папочке! А там как раз французское наступление начиналось! И черные, как ночь, негры с ощеренными зубами! И штыками! Но однополчане справились, отца на Рапапорта посадили и от негров сбежать сумели!

А как уж сбежали от них, оказалось, что папина шапка на поле лежит! А где это видано — уланский офицер без шапки! И где это видано, немцы от негров бегут? Так что взяли они *Maschinengewehr* и давай по тем неграм! Рататататататата! И бежали негры, аж пыль столбом, а те за ними, пока не нашли шапку, пусть и простреленную из пулемета.

Он тогда показал тебе шапку, в подтверждение своей истории, ты помнишь? В квадратной тулье фуражки была дырка, такая, что в нее аккуратно проходил твой пальчик.

А я показывал товарищам в школе: проделал пальцем дырку в странице учебника и показывал: вот такая была в уланской шапке папы! Потом учитель наказал меня за это.

Но негров папа прогнал и одному даже ссек саблей голову! И тогда они уже верили, верили безоговорочно, хотя отсеченную саблей

голову ты добавил сам, из собственной фантазии. Отец не упоминал отсеченную голову негра. Равно не привозил ее домой.

А потом мой отец вернулся без лица и не рассказывал никаких историй, вообще ничего не говорил.

Мне не позволяли посмотреть на него, но я прокрался, чтобы из-за приоткрытых дверей заметить лишь его силуэт, неожиданно тоненький и слабый, едва ли не девичий. Он никогда не был крупным — был жилистым, как горняки, работающие в шахте, низкие, худые, покрытые комками мышц, узкие бедра, широкие, хотя и тонкие плечи. Но теперь он был худым как девочка, узеньким, крохотным. Он оперся на плечи матери и служанки, каждая крупнее и выше него, серый мундир висел на нем, как на пугале. Я слышал, как его укладывают спать, слышал его дыхание, слышал всю ночь, как он свистит и хрипит, как играют в горле покрытые рубцами связки.

А потом еще раз глянул в замочную скважину и увидел.

В комнате горел свет, мама разбирала корпию, что покрывала лицо отца, разобрала ее до конца, а он обернулся тогда, и я рассмотрел эту жуткую маску, которая сменила знакомое, любимое лицо: красивое, немецкое, златовласое и голубоглазое.

И я закричал.

Твой отец услышал этот крик. И он понял.

Твоя мать услышала этот крик. И знала, что маленький ее мальчик, единственный, кто сумел сделать ее беременной, ее возлюбленный Бальдур с золотыми волосами и разорванным лицом тоже слышал этот крик и понимал.

Мать выбежала из спальни отца, схватила меня за воротник пижамы, затащила, как щенка, в мою комнату и жутко там излупила: оголив мои ягодицы, секла розгой, а дом наполнился воем на два голоса: моим и глухим, хрипящим воем моего отца.

Мне порой доставалось на орехи, так что порка была для меня не в новинку, но так сильно я ни разу не получал ни до, ни после.

Но даже когда она лупила меня и когда я выл, то выл более от страха перед тем лицом монстра, нежели от боли. От боли выл мой отец, и выл тихо, или, вернее, хотел выть, стеная своим новым, жутким голосом, свистел, хрипел ей: *Schlag ihn nicht, hör sofort auf ihn zu schlagen, schlag ihn nicht!*¹ — ибо знал, знал, что она меня не любит, что любит только его, не любит плод своих чресл, ибо может любить только то, что наполняет эти чресла, а не то, что эти чресла произвели.

А потом я лежал в пустой ночи один, с горящей задницей, и старался не слушать их, и в темноте я видел это его жуткое, нечеловеческое больше-не-лицо, опухшее не-лицо, лицешрам, лицерану, лицежерло, узкая полоска жуткого рта и черные нити хирургических швов.

Я слышал, как ночью они говорили, в их голосах гнев, новый гнев, странный гнев.

1. Не бей его, сейчас же прекрати его бить, не бей его! (Здесь и далее перевод с немецкого Михаила Рудницкого.)

В школу на следующий день я не пошел. Никто меня туда не посылал, оттого и не пошел. Когда мать ушла, я проскользнул в спальню отца, годами бывшего так ненамного старше меня, и прильнул к его тощей спине. Прошептал: *Ich liebe dich, Vati...*¹

Немое рыдание всколыхнуло его, он трясся так какое-то время, как в конвульсиях, но он не повернулся ко мне, не дотронулся до меня. Я ушел. Три месяца я не заходил в комнату, где лежал мой отец. Только слушал его свисты, хрип и стоны.

Три месяца спустя ты снова на него смотрел, Костичек, ты помнишь, снова смотрел на него. В воскресенье. Падал первый снег, таял на теплой еще мостовой.

Он стоял в мундире у входной двери, покачиваясь. Ты вышел из комнаты в пижаме в клеточку.

— *Der Kaiser hat abgedankt*², — сказала мать, тонкая, как сосулька, в зашнурованном по шею платье. Она больше не любила Бальдура.

Что с того, что кайзер отрекся от престола? Отец стянул поясом грязный уланский ваффенрок. Простым, солдатским, у пояса деревянная кобура в кожаной сбруе, из нее торчит круглая рукоять пистолета. Я очень хотел посмотреть на этот пистолет. Рядом на “жабе” штык-нож, а мне хотелось спросить: “Отец, где твоя шпага?”

Позднее ты поймешь, что эпоха сабли и винтовки прошла, настала эпоха ножа и револьвера.

Его лицо было замотано бинтами, на бинтах аптечная резинка удерживала очки в проволочной оправе, которую нельзя было заложить за уши.

Он надел шапку.

— *Hau ab*³, — сказала мать.

— Я только хотел попрощаться, — просвистел отец из-под бинтов.

— *Na dann verabschiede dich, und dann raus*⁴.

Он хотел подойти ко мне, обнять меня, я боялся его, но жаждал этого объятия. Она преградила ему путь.

— *Sage deine Abschiedsworte und dann verpiss dich, aber sofort*⁵, — рявкнула она. Он смотрел на меня, хотя сквозь стекла и через повязки его глаз не было видно.

— Прощай, *mein Söhnchen*. До свиданья, — шепнул он мне.

Боялся ее, боялся даже обойти стороной, чтобы обнять меня. На ваффенроке у него был *Eiserne Kreuz* 1-го класса и знак “За ранение”, регалии доблести, а он боялся пройти мимо нее, чтобы обнять своего единственного сына.

Ушел, так и не обнявши меня.

А ты остался, Костичек, остался с ней в этой пустой квартире, еще более опустелой, чем когда-либо. Через несколько месяцев вы уже

1. Я люблю тебя, папочка... (Нем.)

2. Кайзер отрекся от престола (нем.).

3. Проваливай! (Нем.)

4. Ну, тогда прощайся и прочь (нем.).

5. Сказал свое “до свидания” и сгинул, только живо (нем.).

были в Варшаве, златобронзовое фото с подлинным лицом твоего отца исчезло, исчезли все памятки о нем, исчезли из ванной его бритва, помазок и крем Truefitt & Hill, бесстыдно английский в годы войны с англичанами, но ты знаешь сам, всякий немец тех лет хотел бы быть англичанином, даже не желая этого признать, он мечтает об английскости, к английскости стремится, за англичанина выдает себя, и все, что ему удастся, есть скверная копия, вице-англичанин, не более. Немецкость есть центральноевропейская, континентальная, хтоническая тоска по атлантической, морской английскости — но ей не достает места, чтобы набрать английский размах. Здесь нет дыхания океана, оттого безумства немецкости вечно будут сдобрены чувством вины. Немецкая ненависть к славянству или еврейству вечно купается в чувстве вины, маскируя бездарно ненависть к самим себе: англичанин, не моргнув глазом, морит голодом буров в концентрационном лагере не оттого, что отказывает им в людскости: он отказывает им в английскости. Прусак же ненавидит поляков, зная, что сам является внешне онемеченным славянином. Австриец ненавидит чехов, сам будучи не более чем слегка глазурированным немецкостью чехом.

Все это, целое то немецкое самоненавистничество, заколосилось примерно в те дни, как твой отец потерял лицо. Хотя, быть может, и ранее, да, определенно ранее: гуннская речь Вильгельма, который сейчас, когда ты живешь своей жизнью, Костичек, обитает в малом домике в Голландии, для императора малом. Гуляет по голландскому саду, себе не изменяя: глупый, спесивый, породистый, меланхоличный, в полосатом костюме и рубашке со стоячим воротничком. Жалкий, неудачливый монарх из оперетки.

А скорее всего еще раньше, в кругу бородатых мужчин, собравшихся в Версале, где среди мундиров темно-синих и белых, среди кирас и воздетых к небу остриев кирасирских палашей была провозглашена Германская империя и немецкость вдруг лишилась своей формы, ведь до того она утверждалась в тяге к единению, такова была ее естественная динамика, а кроме того — что бы значило быть немцем в Рейхе?

Немцу предстояло обрести новые формы бытия немцем, и он обрел их в Англии. Немецкий дворянин был плохой копией английского дворянина, от англичан император Вильгельм научился тому, что завело голову Эфика, первого любовника твоей матери, из Глейвица на пекинские мостовые. Помнишь? Не помнишь, а голова его была отрублена широким лезвием двуручного китайского меча дадао, но ты не помнишь, Костичек.

Знаешь, что тогда с ним случилось, с твоим отцом?

После ты часто воображал его себе таким, каким видел на фотографиях. Баварские шерстяные чулки и короткие брючки, перья на шляпе, смешно же, смешно? Немного; но, впрочем, ордена, скрещенные кости и эдельвейс вместо черепа — эмблема Оберланда.

Ты воображал его себе уже в Варшаве, читая в газетах о боях в Силезии, и воображал себе отца Бальдура втайне от матери, ибо тебе не позволялось воображать его себе. А ты, однако, воображал: как с

пистолетом в руке ведет он атаку на строй польских боевиков. Ты не знал точно, на чьей ты стороне.

Ты представлял его себе с лицом, скрытым тенью от козырька раскидистого шлема, с лицом невидимым, когда он бежит, кресты доблести и отваги на груди у него, вспыхнуло красное пятно меткой пули, отец падает сначала на колени, а на груди вспыхивают новые метки пулемета, и твой отец валится лицом в мокрую борозду, двадцать третья мая 1919 года, лихо в селе Лихыня, рядом окоп, а в окопе ритм: шлем штык шлем у широкого козырька шлема лезвие приклад на земле ждут свистка ты видел на фото английские шлемы мелкие наши шлемы глубокие французские шлемы гребенкой и ритм шлем штык шлем и под Лихыней окоп неглубок шлем штык шлем ждут присевши припавши спины крутятся шлем штык шлем свисток, ритм ломается и скопом из окопа козырьки иголки штыков многопалая рука страны и земли и народа поляки и немцы бьются на улицах меж деревянных домов и домов из кирпича, бьют штыками прикладами саперными лопатками ножами и пистолетами и кулаками и бранью и слезами и криками: “Мутти!”, “Мамочка!”. Так тебе тогда мудро казалось, а когда ты был на войне, никто не кричал “мама”.

Как же прекрасна ты, гражданская война, без лишней отчужденности меж врагами, меж врагами что братьями. Чужие люди не должны друг друга убивать, убивать друг друга должны только близкие, только близкие убьют с нежностью, жестокость есть своего рода нежность, жестокость весьма человечна, одних лишь животных убивают так, чтобы они не страдали, жестокость будто ласка плетьюми будто ласка на плацу стреляют пацанов белесых или чернявых словно осыпая их поцелуями.

Мне нравятся гражданские войны, Костек. Твоя серая подруга любит гражданские войны. Гражданская война питает меня сильнее, чем та, где чужие убивают друг друга.

А твой отец лежит щекой в черной земле, мертвый и никого не зовет.

Таковы были твои детские представления.

А сейчас тебе тридцать, ты пьян, ты одурманен и одержим похотью, ты с Саломеей и с Игой, ты в Адрии, и стонет кларнет, и он здесь.

Ganz leise kommt die Nacht¹. Драматическое меццо, твердое “р-р”, певица имитирует шведский выговор и низкий голос Сары Леандер. Твой отец кланяется обеим дамам. Огни кружатся. Ты знакомишь их.

— Это большая честь, die Damen kennenzulernen², — высвистывает отец.

— Ich kann allem widerstehen...³ — начинает твердый альт новую дерзкую песню.

1. Так тихо ночь приходит (нем.).

2. Познакомиться с дамами (нем.).

3. Могу устоять пред чем угодно... (Нем.)

— Танцуем! — кричит пьяная Саломея и подает тебе руку Иги. Она подает тебе руку Иги и Иги, и Ига поддается тебе безвольно, вернее, это ей она поддается.

Надо танцевать, теперь тебе надо танцевать! Саломея склоняется к твоему отцу.

— Herr Graf, ich weiß, dass es sich eigentlich nicht gehört, aber ich halte es nicht länger aus: darf ich Sie zum Tanz bitten?¹

За этой жуткой маской изуродованного лица ты улавливаешь смущение, поскольку Саломея зовет его на танец так, словно бы этой маски не было, словно бы она видела его прежнее, подлинное и прекрасное лицо, словно бы зазывала его в постель.

Как же так, как же это может быть, что женщина обращается ко мне, думает твой отец, ибо знает о себе нечто очень важное, чего ты не знаешь.

Тогда, двадцать лет тому назад, в Каттовиц, в каменице по адресу Рихард-Хольтце-штрассе, 1, над немецким Kaiser Café, которое позже станет польской “Асторией”, в квартире в бельэтаже твой отец, он вернулся с войны, перемолотый шрапнелью.

А твоя мать хочет его, она опять его хочет, хочет целиком. Ты спишь, спишь, как малая зверюшка, спишь, спрятан в норке кровати, скрыт от очей и притязаний мира.

А они в спальне. Мне нужно тебе что-то сказать, Катажина, говорит Бальдур, но не словами, это говорят его глаза, когда Катажина Штрахвиц дома Виллеман расстегивает пуговицы на высоком викторианском платье. Мне нужно тебе что-то сказать, Катажина.

Ты моя жизнь, Катажина, говорят его глаза и ладони, помогая платью упасть с ее плеч.

Я все забыл ради тебя, Катажина. От всего отрекся, все похерил, забыл одиннадцать братьев рода Штрахвиц, убитых семьсот лет тому назад под Легницей, и единственного выжившего, предка нашего Воеслава с головой вепря в гербе, его я также забыл. Я забыл императора и его конных лейб-гвардейцев. Титулы и сеньораты. Blut und Ehre habe ich auch aufgegeben.

Alles².

Всё.

А теперь мне нужно тебе что-то сказать.

Твоя мать не слышала слов, сказанных глазами твоего отца, Костичек. Мне нужно тебе что-то сказать.

А ты с Игой в слюфоксе. Laß mich gehen³, — поет вокалистка очередной шлягер Сары Леандер. Laß mich gehen. Саломея влечет твоего отца на дансинг, Костек, а он идет, внезапно безволен, одурманен, идет, шаркая длинными худыми ногами, идет неуклюже, словно Саломея схватила ту самую узду, на которой некогда держала его твоя мать.

1. Господин граф, я знаю, что вообще-то это не положено, но я больше не выдержу: позвольте вас на танец? (Нем.)

2. Кровь и честь я тоже предал. Всё предал (нем.).

3. Дай мне уйти (нем.).

— Die Mutter ist in Warschau, Vater!¹ — кричу я через весь танцпол, Ига должна бы скривиться от немецких слов у меня на губах, но не кривится, не слышит.

Моя мать, что не спит, Белая Орлица, в темно-синей юбке и темно-синем пиджаке, с серебряным орлом на левом плече, повязкой, крохотной свастикой на партийном значке на кармане и трегольником значка NS-Frauenschaft.

Откуда известны мне смыслы этих значков, или я их придумал, вообразил себе, они действительно значат то, что я думаю, что они значат? Что она делает сейчас, знает ли она, что я знаю, что Vati находится в Варшаве?

Поэтому я кричу, перекрикиваю оркестр, и всем кажется, что это веселые выкрики доброго веселья, ведь есть что отметить, поэтому отмечают, в трофейном ресторане немцы пляшут со шлюхами, есть музыка, есть шнапс, всё есть. Кричу. Мать сейчас в Варшаве.

Он слышит ли, слышит ли, что я кричу?

Слышит.

Двадцать лет тому назад на Рихард-Хольтце-штрассе, над кафе Kaiser, он помогает снять платье с плеч твоей матери, ей пятьдесят и она по-прежнему красива, сухопарое тело в тесном футляре из влажной упругой кожи, итак, он помогает снять платье с этого тела, а ты спишь сном зверюшки.

Мне нужно тебе что-то сказать, молвят глаза из-за корпии, под ней свежие рубцы уже, а не открытая рана, мне нужно тебе что-то сказать, молвят глаза Бальдура Штрахвица, ротмистра во втором полку силезских улан фон Кацлера. Катажина могла бы любить его и дальше, рот ее не ищет разорванного рта, но тянется к шее, к его здоровой шее, исследует вырез рубашки, ключицы, грудину, Катажина могла бы и дальше любить своего мальчика, даже и без лица. Мне нужно тебе что-то сказать, молвит его тело.

Ее руки на пуговицах брюк.

Мне нужно тебе что-то сказать, говорят его ладони и сдерживают эти руки на пуговицах брюк, и она знает, уже знает, вдруг слыша и понимая эти слова.

Мне нужно тебе что-то сказать, говорит Саломее неуклюжее, скованное тело моего отца, подчиняясь тем не менее.

И танцуют. Отец, скорее, просто идет по паркету, жуток, скован, а вокруг вьется Саломея, будто вьась вокруг записного танцора, будто весь мир танцует с ней вокруг него.

Мой отец что-то бормочет. Саломея смеется.

Ига в моих объятьях. И внезапная мысль: уходим. Уйти, мы должны уйти. Я должен уйти.

— Ига, пойдем отсюда, — шепчу я.

— С чего вдруг, Константин! Хочу пить и танцевать! — отвечает, смеется.

Петляем в слоуфоксе, а я знаю, как молния: больше не выдержу здесь ни секунды. Но я выдерживаю, одну секунду, две, три.

Внезапно в лице, в глазах Иги проявляется лицо моей гувернантки из Трубецких, Чеславовы Бельской, как она сама представлялась. Сухая, костлявая дама, застегнутая на все пуговицы, капитально обедневшая аристократка, взятая замуж скромным клерком из Министерства финансов и дававшая частные уроки хороших манер, дабы поддерживать некую связь с прежней жизнью.

Урок первый. Воспитанный человек уверен, что сможет овладеть собой в любой жизненной ситуации. В силу этого никогда не выкажет он конфуза либо растерянности. Мало что так импонирует людям, как добрая, полная достоинства стать.

Я не могу перевести дух, — хрустально смеется Ига. Отпусти меня, поет варшавская имитаторша Сары Леандер, а может, сама Леандер это поет?

Ты смотришь на сцену. Леандер. Она. В Варшаве? Тотчас после войны? Она это? Она или не она?

Я знаю, Костичек, а ты не знаешь и не узнаешь, и я тебе не скажу. Не сумею.

Отец внезапно меняется. Он начинает вести Саломею по танцполу, подводя ее ко мне и к Иге, как если бы был искушенным салонным львом. Есть. Когда мы сближаемся, называет мне адрес, Шуша, шестнадцать, не переводит, но я понимаю.

— Генеральский дом? — успеваешь удивиться ты, прежде чем ритм танца разлучит вас. Ига смеется хрустально. *Laß mich gehen*. Пора бежать.

Урок гораздо более поздний. Роль женщины на балу пассивна — она ждет, пока ее пригласят на танец. Ни при каких обстоятельствах танцор не оставляет свою даму посреди залы, но провожает ее к стулу.

Я вырываюсь, выкручиваюсь из рук Иги.

Огромной бестактностью, мальчик, бестактностью и признаком плохого воспитания будет ведение сальных разговоров или изрекание двусмыслиц при женщинах, пускай и незнакомых. Те, в ком действительно есть польский дух, такие разговоры не ведут.

Was ist... сальный? Мы здесь говорим по-польски, мальчик. Чем же суть сальные разговоры, пани Бельская? Узнаешь в свой черед и будешь знать наверняка. Но прежде ты научишься правильно говорить по-польски. На столешнице парты лежит линейка.

Я проталкиваюсь среди танцующих, задеваю Саломею, задеваю офицера в серой форме, который — пьяный — кричит мне вслед что-то, очень грубое, не смущаясь льнувшей к нему дамы, точнее выражаясь, дамки.

Добежал до двери, лестница, улица.

А Бельская мне: издавна поляки славились среди других народов своим рыцарским отношением к женщине. Можем гордиться такой оценкой, но тем более должны развивать мы в себе это качество, как одно из тех, в которых превосходим заграницу.

— Проваливай, старая ведьма! — кричишь ты, Костичек, сжимая кулаками виски своей разбитой, угнетенной головушки.

Приглядываясь к публике, нетрудно констатировать, что нет в сем собрании людей по-настоящему хорошо воспитанных, из таковых понеже никто не позволит себе нарушить национальную традицию, даже не будучи религиозным, — стучит в голове пани Бельская.

Откуда она сейчас, ведь не была ни в коем разе проклятием моего детства, получил я от нее всего пару уроков, она меня не мучила, не изводила, не вспоминал о ней уж сам не знаю сколько лет, а вдруг является, вдруг изводит меня, я слышу ее голос так отчетливо, как будто рот ее твердит эти слова внутри моего черепа. Бегу.

Женщина не предлагает мужчине свою фотографию, ежели не имеет с ним близких отношений.

Спотыкаюсь, падаю, на улице брешь, воронка от бомбы, шмякаюсь в грязь, измаран весь. Когда пишете знакомым по вопросу, требующему ответа, не следует вкладывать для одного в конверт почтовую марку. Это можно делать, лишь корреспондируя с особами из низшей сферы.

Я выдираюсь из воронки, встаю, а в глаза мне глядят два штыка.

Крики, по-немецки. Кто истинно печется о духе польском, тот знает, что гордиться должен великими достижениями нашей родины. Гдыня есть гордость каждого поляка, повторю.

— Гдыня есть гордость каждого поляка, — говорю я.

Черные жерла стволов за остриями штыков, я вижу их в небывалой перспективе. А дальше темные фигуры, плащи, каски. Кричат по-немецки.

— Подпоручик запаса Константин Виллеман, девятый Мало-польский уланский полк, по вашему приказанию.

Krzyszcz.

Кричат.

Боже, это ж немцы!

Тянусь к кобуре, нет кобуры, должно быть, потерял кобуру, потерять пистолет это позор, большой позор, хотя пистолет-то мой личный, не Речь Посполитая купила, я сам его себе купил.

— Огонь! — кричу.

Взвод не стреляет. Может, патроны уже кончились. Пойдем в атаку.

Когда взвод достигнет места, откуда он должен наступать, командир взвода дает команду: “Взвод в атаку — рысью — марш!”; всадники переходят на предписанный аллюр, имея копыя у бедра и сабли к бою. Подойдя к противнику на расстояние около 200 метров, командир взвода командует: “Взвод — марш-марш!”; по этой команде всадники, изготовив свои копыя к бою, с криком “ура” галопом бросаются на противника.

— Взвод... в атаку — рысью — марш!

Немецкие крики все громче и громче, должно быть, близко уже, я выдрался уже из воронки от бомбы, не знаю, почему я не в седле, должно быть, контужен снарядом.

Мужчина снимает шляпу в лифте, когда едет с женщинами, даже с незнакомыми. Женщина не наливает мужчине вино, водку или пиво, зато может положить ему на тарелку кушанье, если поблизости нет слуг. Плечи назад, Константин!

— Взвод — марш-марш! — кричу я и высматриваю свою лошадь.

Один из штыков вдруг канул из поля зрения, накрытый каской немец завился в странной позе, я вижу, как пляшет и в пируэте завивается приклад, медленно скользит в мою сторону и наконец голубит мой висок, словно поцелуй матери.

Я падаю. Меня убили. Спи, дружище, в темной могиле, пусть Польша снится тебе.

Стоят надо мной два немца в языческих шлемах, а к шлемам прикручены болты со скобами, как для швартовки яхты. А за скобы зацеплены цепочки, нет — цепи, — и уносятся вверх эффектными дугами, слегка изгибаясь под собственной тяжестью, как богатырские поводки, и исчезают в огромной черной ладони, сжатой в кулак.

Я не на войне, я в Варшаве. Высится над Варшавой огромная фигура, черно-серая, что твой небоскреб, даже больше, чем Пруденшал, больше, чем американские башни из железа и бетона, а из рук ее, что твои лучи, спадают на землю тысячи серебряных цепочек, и легчайшие колебания этих рук дирижируют этими цепочками так, как дрожание узды правит лошадью.

Одна из цепочек нисходит прямо ко мне, прицепленная к моей шляпе.

— Das ist ein Deutscher, hört ihr es? Er ist Deutscher!¹ — кричит.

Кто-то. Кричит. Ига. Тормозит меня, ее руки на моей груди, под пиджаком, что-то у меня отнимают.

— Hier, bitte, das sind seine Papiere². — У нее в руке моя Kennkarte, она подает ее марионеткам на цепочках. В волосах у нее цепочка.

— Blöder Säufer!³ — обращается ко мне кукольный шлем. — Возьми его спать, баба!

Ига поднимает меня, держит под руку, идем.

Я что-то говорю по-немецки, но не понимаю ни слова из того, что говорю. Я забыл немецкий.

— Я не знаю немецкого, Константин, — отвечает Ига.

— Я не немец. Я не немец, понятно?

Побрякивают серебристые наши цепочки, тысячи других исчезают в черных окнах домов, а равно в окнах освещенных, одни неожиданно напрягаются, вибрируют, другие свисают свободно. На самом деле ничего нет. Все мне кажется.

Садимся в адлер, который ждет возле Адрии, ждет нас.

Мы течем по городу, порхаем на орлиных крыльях среди домов многоквартирных, которых я не узнаю, меж фантастических домов,

1. Он немец, слышите вы? Он немец! (Нем.)

2. Вот, пожалуйста, его бумаги (нем).

3. Пьяный болван! (Нем.)

противоречащих законам физики, паря над землей, проезжаем сквозь лужи крови, ее разбрызгивают белые шины адлера, а кровь брызжет на окна машины, я смотрю на Варшаву чрез эти кровавые капельки, и прекрасна киноварью и кровью рисованная Варшава.

Шоколад. Мы выходим. Шофер требует денег. Плачу.

Поднимаемся по лестнице, я и Ига. Я слизываю шоколадную влажность со стен, я хочу слизывать ее с Иги.

Квартира. Мы входим. Спальня, Ига стаскивает с меня обувь, Ига расстегивает мои брюки, толкает на кровать, стягивает носки. Я хочу целиком утонуть в ее теле, сомкнуть губы на ее губах или ее промежности, засунуть в нее язык и глотать изнутри. Лежу.

Какие же красивые у нас шкафы с интарсией из капакорня, а при этом отнюдь не грузные по-мещански, но легкие, современные, функциональные, без одышки буржуазных буфетов. Очень красивые.

Пытаюсь, лежа, обнять ее за талию. Она ускользает от меня.

— Спокойной ночи, Константин.

А меня ты не слышишь, вовсе меня не слышишь, Костичек. Оттого молчу, чего там, умею молчать. Пускай другие говорят в тебе. Коль уж необходима особая осторожность при знакомстве с мужчинами, тем более показана она в случае, если речь идет о женщине, дабы не подвергать ее репутации опасности выпачкаться знакомством с ненадежным мужчиной. Такой бо случайный знакомый либо знакомая могут всю жизнь потом докучать и цепляться, а избавиться от них невозможно.

— Проше пани, а что это за репутация, которое можно выпачкать?

— Репутация является всем, Константин, репутация равняется человеку.

— Ига! — кричу я в четыре стены пустой спальни. — Ига, умоляю тебя, приди ко мне, я жажду тебя, люблю, хочу иметь сейчас же! Ига!

— Спи, Константин, — говорит мой отец по-польски, или это Ига говорит, или пани Бельская. Женщине не пристало курить на улице.

Скажи, Константин. Что я должен сказать? Кто ты? Маленький поляк. Что за край? Отчизна нам. Что цена ей? Кровь и шрам.

Черно.

А после просыпаюсь и уже утро, но еще очень серое, и эта серость вливается через окно в комнату, плывет по стенам, сочится в глаза и в мозг, я отдаюсь ей и засыпаю снова.

И снова просыпаюсь, серость уже посветлела, а я внезапно вспоминаю вчерашнюю ночь. Всё.

Ига. Саломея. Наркотики, снова. Отец.

Бог мой, в которого я не верю, отец. Мой отец жив. И что с того?

Много с того, Константин. На твоём небосклоне стало тесно. Твоя мать в униформе NS-Frauenschaft, твоя мать, вновь превратившаяся в Катарину Виллеман, такую, какой она родилась в доме Гливицкого буржуа, должна уступить немного ясного небесного свода этому искалеченному, деклассированному аристократу, должна очистить для него место над тобой, Костичек.

Хочешь ты их обоих там или нет: они есть.

Но, может, я смог бы попросту притворяться, что его нету. Хочу ли я притворяться, что его нет, что меня с ним роднит-то? Ничего.

Ига. Где же Ига?

Встаю и распадаюсь, как разбитый кувшин, сажусь, стало быть, на кровать. Хочу воды и аспирина, встаю, стало быть, снова, тяжело, опираясь о стены, иду тяжело в ванную. Тошнит, блюю, стало быть, в раковину. Голова зажата в тиски, тупая, мерная боль, пью воду из-под крана, противная, рыжая, но вода, стало быть, пью, два последних довоенных аспирина съедаю, флакон в раковину, звон стекла о фаянс, в черепе моем эхом иглы звона.

Выпил бы кофе, но нету кофе. Горячая вода? Есть. Душ-кипяток, стоя в ванне, стою под кипятком и стою, пока кожа не засветится красным, а после холодная вода, пока не заору, так холодно.

А после в неглиже, почти что неприличном, иду на кухню, а там Ига, суетится и из ничего готовит завтрак. Мармелад, жидкий чай, кусок хлеба ножом надвое делит.

— Доброе утро, Костичек, — говорит она, а я уже знаю.

— Доброе утро, Ига.

Я знаю, я помню: я звал ее вчера, я жаждал ее вчера, я вождедел ее и продолжаю жаждать и вождеделеть дальше.

Я слишком слаб, слишком устал, чтобы превозмочь это в одиночку: ведь Геля, ведь Яцек, ведь всё, ведь наше общее, хорошее и плохое прошлое. И говорю, вот так просто:

— Люблю тебя, Ига. Желаю, жажду.

А она смотрит на меня, нимало не изумлена.

— Ты говорил вчера.

— Да.

— Я думала, это алкоголь и опиум.

— Нет.

И продолжает смотреть, нимало не изумляясь, вглядывается очень крепко, будто к стене хочет меня этим взглядом прижать, будто раздавить хочет меня этим взглядом.

— Зачем, сволочь, ты это делаешь? — спрашивает жутким голосом, а я понимаю.

Вот так просто, понимаешь, Костичек, понимаешь, что она тебя любит. Что всегда тебя любила, однако сумела вырваться из тех оков, однако да, любит.

Едим в тишине. Не много у нас еды этой.

— Пора возвращаться к Яцеку, — говорит Ига.

Киваю, да, пора вернуться к Яцеку, Яцек в тебе нуждается, Яцека нужно вытащить из той черной дыры, в которой он тонет, кто же, если не ты, Ига, может, с моей никудышной помощью?

— Так я пойду, Константин. Пора уже идти, — говорит Ига.

Я поднимаюсь, чтобы проводить ее до дверей, и, когда встаю с ней рядом, близко, она смотрит на меня, а я знаю, помню этот взгляд. Я обнимаю ее, обнимаю за талию.

— Нет, — говорит Ига. — Пожалуйста, нет.

— Ты сказала мне, что никогда ни с кем не было тебе так хорошо, как со мной, тогда, на дачах. У озера.

— Это было очень давно.

— Два месяца назад.

— Дачи были давно. А те два месяца еще давнее.

— Ты тогда соврала?

Она молчит какое-то время. Говорит в конце концов:

— Нет.

— Раньше, до этого Кобрина, были другие, кроме меня и Яцекка? — пытаю, как дурак.

— Нет.

— Ты хочешь меня сейчас? — пытаю дальше, еще дурнее.

— Не хочу, — шепчет. Но не отталкивает.

Целую ее. Она не целует меня в ответ, но губ не смыкает, позволяя мне целовать ее. Должна чутко мерзкую вонь переваренного алкоголя, сама им пахнет, но мне все равно.

— Не делай этого, Константин, пожалуйста, — говорит она, когда мои руки сквозь ткань платья трогают ее ягодицы и грудь.

Я беру ее на руки. Она легче Гели, у Гели тело из мрамора.

— Нет, — говорит Ига. — Нет.

Она шепчет свое “нет” как мантру, как заклинание. Я несу ее в спальню, бережно кладу на кровать и начинаю расстегивать платье.

— Нет, — просит Ига. — Пожалуйста, нет...

Целую ее. Она обнимает меня за шею, целует в ответ. Я продолжаю целовать, лицо, ухо, шея, ключицы и грудь, которую я обнажаю.

— Никогда тебе, сволочь, не прощу этого. И сам себе ты тоже этого не простишь.

Целую грудь, живот, ее руки в моих волосах. Расстегиваю брюки.

— Я ненавижу тебя, Константин, — шепчет она.

Я возвращаюсь к ее губам, но она отворачивает голову. Закрывает глаза.

— Ненавижу тебя, — плачет. И стонет, в упоении стонет. — Ненавижу тебя, подонок...

Кто-то стучит в дверь.

Что-то во мне лопается, рвется, будто кто-то стиснул мой желудок, словно рыбий пузырь, который взорвался с тихим треском, и я вскакиваю с кровати и, путаясь в брюках, подтягивая их и застегивая, бегу к дверям. Стук не молкнет, открываю на длину цепочки.

Яцек, серый, сломленный, потертый Яцек, щеки поросли многодневной щетиной, ввалились.

— Она у тебя? — спрашивает он.

— Нет, — вру я.

Как же глупо ты врешь. В конце концов, она может быть у тебя, если бы ты открыл медленно, Иге хватило бы времени привести себя в порядок. Но ты предпочел солгать.

Ради чего предпочел? Ради того маленького триумфа над Яцекком, показать ему, что он не только подбирал женщин, использованных тобой, Костичек, но и обладал ими лишь условно, в той

мере, в какой ты их не хотел, это ты ему хочешь доказать, на целую череду поражений одержать хоть одну маленькую победу, неважно, что над беззащитным, самым близким тебе человеком?

Он никогда не простит тебе, Костичек. Не то, что я: я сразу тебя простила, я тебе все прощаю, потому что моя любовь к тебе, милый мой, не знает предела.

— Ига! — кричит Яцек. А потом сразу мне: — Впусти меня!

Будто знал что-то, догадывался, что здесь творится! Ибо знает, Костичек. Он знает.

— Я знаю, что она здесь! — хнычет Яцек.

Открываю. Меж пуговиц моей незастегнутой ширинки торчит подол расстегнутой рубашки. Видно, что я спешил одеться. Яцек не врывается внутрь поступью разъяренного мужа, он не бугай, который хотел бы наказать свою неверную жену и ее хахалю. Яцек, этот измятый клочок человека, входит в квартиру словно завяевший ветром лист, мягко, тихо, едва ли не шелестя.

Идет напрямик в спальню, я за ним. Ига на постели, накрытая одеялом, даже не пыталась одеться, завуалировать всё.

— Зачем тыпустил его?

“Затем, он друг мне”. Вертится на кончике языка, но я сдерживаюсь и молчу.

— Игуся, любимая... — плачет Яцек, падает на колени в изголовье постели, рядом с головой Иги роняет в подушку свой тяжелый, усталый лоб.

Ига отворачивается от него, укутывает свою голову одеялом.

— Отстаньте от меня... — мурлычет она из-под этого одеяла.

Я увожу Яцека на кухню, он садится за стол, обессиленный.

— Ты спал с ней? — спрашивает.

— Нет, — отвечаю, довольно-таки правдиво.

— Не верю.

Я пожимаю плечами. Яцек молчит, ладони сложил на столешнице, уперся носом в эти сложенные ладони.

— Отвези ее домой, Яцек. И возьми себя в руки.

— Я тебе такого не говорил, когда ты приходил кланчить морфий.

— Ты не говорил — соглашаюсь.

— Ненавижу тебя, Костек. Хотел бы я суметь убить тебя, — говорит он, не глядя на меня, не отрывая лица от сплетенных ладоней.

— Сделаю тебе чай, — отвечаю я.

А где-то глубоко внутри тебя, Костичек, опять возникает крошечное пятно черноты, крошечная точка.

На буфете в кухне стоит лошадка Юрчика.

И вдруг этот деревянный коник переполняет меня изнутри. Коник из дерева, к тому же располагавший джигитом из дерева с мечом из дерева — дар грузинского офицера, дружного с домом моего тестя. Вернее: экс-тестя, по крайней мере в их понимании.

Последний сочельник, как раз у них, и тот офицер с фамилией, оканчивающейся на -адзе, но не помню, с чего она начиналась, чер-

ноусый и в целом похожий на Ксыка, когда бы в Ксыке был хоть намек на романтическое воображение. И восхищение Юрчика этим коником, извлеченным из цветной бумаги, и рассказы, сначала на забавном русском польском, рассказы того офицера о Грузии и ее воинских традициях, затем все перешли на немецкий, так удобнее, офицер еще до первой войны учился в Геттингене, и по-немецки пошла речь о братстве сабли и коня, и о битвах с Россией, несколько надуманных, но так красиво надуманных, красивый человек, черт с ним. Он любезничал с Гелей, я пожимал плечами на его ухаживания, тесть мой смотрел на меня со значением, к черту тестя, я даже не пробовал расшифровать эти взгляды, или, может, это напоминание мне, проше бардзо, вот такого кого-то могла бы иметь его дочь, или, скорее, предупреждение, чтобы я нахала осадил как-то, может, он хотел бы, чтобы я дрался с этим проклятым красивым грузином за его дочурку, резался саблями за доступ в ее пизду? Хрен тебе. Я все ж таки попробовал расшифровать этот взгляд, но не расшифровал.

Лошадка. Выкрашенное в зеленый цвет седельце, передние и задние ноги срослись крепкими колоннами, морда в тупой улыбке. “Ето для сынечка кавалеристы польского от кавалеристы грузинского — то джигит. С Сакартвело! И по-нашему, да здравствует, прошу вас: гау-мар-джос! До дна!”

В тени этой лошадки тонут Гиацинт, Ига и их проблемы.

Хотел бы ты знать, какова была дальнейшая судьба того печального грузина, что в придачу очень страдал из-за своеобразных эротических предпочтений, которые боялся убажить, а страх свой старался подавлять серийным соблазнением замужних женщин, не приносивших ему ни блаженства, ни забвения, вообще ничего, кроме репутации, виватов однополчан и ряда дуэлей? Если захочешь, я расскажу тебе об этом, но что тебе, Костичек, этот грузин, что хоть и родился в Тифлисе, но воспитывался в Санкт-Петербурге, то есть полностью обрусевший. Его собственная грузинскость была для него открытием столь же изумительным, как для прусского дворянина Адальберта фон Винклера изумительное пересочинение себя в качестве Войцеха Кентшиньского.

Он тебе никто. Лицо, забавный польский, более ничего. Тогда какое мне дело до его судьбы? Ты единственный, до кого мне есть дело, Костичек. Впрочем, не до тебя одного.

Я не видел Юрчика четыре дня. Это недолго. Но вдруг его отсутствие, едва только я взглянул на этого грузинского коника, стало настолько мучительным, как если бы он был сыном, которого я не видел никогда. Как если бы я только что миновал первую станцию тягостного кругосветного путешествия и увижу его не ранее, чем через год или больше. Это тоска? Не знаю. Мне случалось тосковать о нем прежде, когда я уезжал на месяц или дольше, я скучал по этим маленьким ручкам, пухлым щечкам и светлым прядкам, одиноко скучал после обеда, когда компания расходилась по комнатам, чутка покемарить перед вечерним балом или иным развлече-

нием, и, сидя на бидермайеровской оттоманке, я скучал немного по Геле и по Юрчику и даже иногда звонил.

А теперь, теперь это не тоска. Теперь это ужас, страх за моего ребенка, за этого маленького меня, за мою кровь, что этот маленький я остался без отца.

Так же, как я остался. Хотя у меня есть отец. Я бы побоялся показать его Юрчику.

Но я должен видеть его, должен видеть его как можно скорее, сейчас, уже. Резко встаю из-за стола, Яцек вскакивает, он все еще думает, что дело в нем, что из-за него я так сорвался, но меня не волнует сейчас Яцек, не волнует рыдающая в моей супружеской постели Ига, я бросаюсь искать джигита. Ищу в гостиной, в спальне, лезу под кровать, Ига высунулась из-под одеяла и глядит на меня как на психа, ищу в шкафах, на кухне, даже в чулане, и вдруг: есть. В чулане, я заглянул за пустые ящики, и там. Долго искал.

Юрчик потерял его еще перед войной, еще до того, как меня мобилизовали, до того, как я уехал в Тереховлю, джигита не было, а было много слёз, я должен был успокаивать Юрчика, показывать ему мою саблю, у папочки лучше, чем у джигита, она настоящая, вот, пожалуйста, можешь потрогать, а после протирка латуни и полированной стали, чтобы не осталось отпечатков маленьких ручек, а теперь сабля так и так гниет в мокром щебне, от дома недалеко, можно и поискать, но Бога ради, зачем мне сабля, зачем мне сабля, раз уж нет у меня Юрчика, чтобы ему эту саблю показывать.

Итак, джигит у меня. Ига и Яцек следят за мной недоумевающими взглядами, я не объясняюсь. К телефону. Звоню тестю, рассчитывая, что трубку возьмет Геля. Их телефон молчит, хотя вчера работал.

И так ладно. Одеваюсь на скорую руку, небрежно, забираю деньги, документы. Забираю джигита и лошадь.

— Я ухожу, — бросаю Иге и Яцеку, объединенным полным непониманием логики моего поведения.

Это оттого, что они всё еще силятся читать его сквозь призму самих себя, через то, спал я с Игой или нет, через мое отношение к Яцеку, словно это они были и должны быть центром моего мира! В данный момент я их искренне ненавижу, меня мутит от их вида.

— Я иду повидаться с Юрчиком, — бросаю.

— Ты... — начинает Яцек.

— Что?

— Ну, ты... С немцами?.. В самом, что ли, деле? В самом деле?

Всё в этом вопросе, всё. Он не верит в мою историю аля Валенрод, в историю о Витковском. И всё есть в этом вопросе, всё. Как защищал он меня от подлецов, что еще в гимназии называли меня швабом, как разом мы бились с теми, кто осмеливался отказать мне в польскости, это смолodu. Но и всё то, что позже: те зрелые уже, взрослые разговоры, его интеллигентный интерес к моим корням, он познакомился с моей матерью, мы много беседовали о моем отце и в целом о Штрахвицах, о которых я всегда говорил, как о некой чужой мне фамилии, во всех отношениях чужой, я ни разу не думал о

себе как о Штрахвице, я ношу имя матери, и оно отвечает положению вещей, я Виллеман, и зовут меня Виллеман. Не Штрахвиц. И это тоже есть в этом вопросе. Я спрашиваю себя, кто ему сказал, вероятнее всего Саломея, кто же еще, но это сейчас неважно. Нате, пожалуйста, что же, все те, с кем Яцек рассорился из-за того, что они отказывали мне в польскости, словно бы эта моя польскость была одновременно высшей честью и необходимым условием моей людскости, и вот что же, все эти наветчики и дураки будут правы? Пожалуйста, Виллеман вдруг подтверждает все те обвинения, на которые Яцек прежде крутил пальцем у виска. Но мало того: нате, Виллеман, которого Яцек Ростаньский числит в друзьях, оказывается вдруг мелким подлецом. Оппортунистом. Едва почуяв выгоду, он предает свою приемную родину, невзирая на блестящий пример многих других поляков немецкого происхождения, что ах какую храбрую, в высшей степени стойкую позицию явили с первых дней сентября. Ты же, Костичек, примкнул к гнидам...

А Яцек, разумеется, ощущает себя задетым лично. Тут не в том только дело, что я, Костек, оказался мерзавцем, дело в том, что этим я запятнал его, поскольку он предложил мне свою дружбу, и кто он теперь, друг мерзавца?

Стало быть, надо объяснить. Ведь аккуратно ему могу. Надо сесть, потому как ведь я никуда не спешу, сесть и говорить ему о Валленроде, говорить, убеждать его, пока он не поверит, и заодно вовлекать в организацию, взять его за шкирку и отвести на площадь Спасителя, к Лубеньской, представить Инженеру, вовлечь в работу, он бы меня обнял, расцеловал, это бы помогло ему победить меланхолию, он, может, даже перестал бы терзаться тем, спал ли я сейчас с его Игой, Яцек ведь должен ощущать себя нужным, необходимым, и, едва он ощутит себя таким, то если и не простит, то, по крайней мере, все позабудет.

Ан нет. Не сделаю этого. Потому как он должен это знать. Если его дружба... если наша дружба была истинной, то он обязан не давать никаких сомнений, он обязан знать сразу, что я не мог бы так поступить, потому как настолько он обязан знать меня. Обязан знать, каким я умею быть подлецом, ведь я признавался ему во всех своих похождениях с курвами, а каким подлецом я бы определенно не был, какой подлости нет в моем сердце. Вернее, он обязан узнать: на кой ляд ты строишь из себя немца. Обязан мне верить, в Витковского обязан верить и в Валленрода.

А он не верит. Итак, ладно.

— Убирайтесь, оба, — говорю ледяным тоном. — Чтоб вас тут не было, когда вернусь.

Выхожу, хлопаю собственной дверью, спускаюсь на Мадалиньского и дальше, на Пулавскую. Сходил бы к Ларделли на кофе, чтобы как-то вытравить остаток похмелья, но боюсь тех взглядов, так что не иду. Погода гнусная, но дождя нет. А в прошлом году в это время стояло еще бабье лето, тепло, как в июне.

На Подвале, где живет тесть, пойду пешком, успокоюсь, соберусь с мыслями. По дороге вижу на Хмельной, среди разрушенных камениц,

убого намалеванную вывеску: “столовая В пристройке”. Вхожу в ворота, есть. Здесь меня никто не знает, как пить дать. Прилавок, за прилавком грубо тесанное бабище рубит лук. В заведении пахнет похлебкой. Хлебом. Хлебать не стану.

— Кофе есть?

— Нема, — отвечает бабище.

— У меня доллары.

Оживляется.

— Ну, за дуляры найдется.

Плачу грабительскую цену и вскоре получаю кофе в жестяной кружке, от которой местами отлупилась эмаль. Кофе — оглушительно вкусный, хотя из рук бабы в напиток или, по меньшей мере, на кружку перешел еле уловимый запах лука и капусты. Сажусь за грязный столик, стул качается, столешница прилипает к рукам. Пью.

— Стажинский и тот немец при ём возглашают, чтоб на зиму убирались из Варшавы, кто на селе родных имеет или знакомых, — заводит бабище, не прерывая своей рубки.

Я пожимаю плечами, но ей достаточно.

— Сам пусть уберется, умники тот и другой. Уж вижу, как эти родные мечтают, чтоб к ним варшавские голожопцы на зимние каникулы съехались, — продолжает болтать, ни со мной, ни с собой.

Я не отвечаю.

— А уголь по десять злотых за пятьдесят кило. Кому такое вмоготу, пан?

— Немцам, — неожиданно отвечаю я, к собственному удивлению.

— То-то и есть. Но вроде должны по два сорок продавать в Ассоциации.

— Это хорошо, — соглашаюсь кротко.

— Но всего по пятьдесят кило на квартиру. Видишь, пан?

Послушно поддакиваю, допиваю кофе, встаю и выдвигаюсь к двери. Когда я уже почти вышел, бабище вдруг отрывается от лука и заводит:

— Ты, пан, на войне был?

Я пожимаю плечами.

— Давай, пан, скажи. Был пан или нет?

— Был.

— Офицер?

— Запаса.

Мгновение она молчит, поглядывая на меня, будто хочет поймать меня на какой-либо лжи.

— Господин офицер, мы эту войну зачем проиграли?

— Не знаю.

— Мой Ежик не вернулся еще. Он в уланах был.

— Какой полк? — спрашиваю, чтобы создать иллюзию участия.

Пользы.

— А я знаю, какой? Уланский. В мундирчике он недурно выглядел, как на картинке.

— Муж?

— Сыночек, единственный. Отец помер, осиротил меня, мерзавец, так пил. А парень девятнадцати лет, пригожий, сильный, проходу ему не давали, ой-ей! Сколько он тех пань попортил уже, не считать, удалец мой. А они курвы.

Я восхищенно киваю, баба принимает мое восхищение.

— Курвы. А он еще вернется, — говорю, потому что полюбил ее удалого Ежика.

— Не вернется. Мне сон был.

Я киваю.

— До свидания.

Тетка молча возвращается к луку, я ухожу, немного пришибленный этим Ежиком.

А отчего Ежиком, о котором я знаю все, это мой конек, все знать, а не теми всеми, чью смерть ты видел, отчего не Гаврилюком, убитым в Варшаве во время штурма, с дырочкой во лбу, отчего не толстым, мордатым Бочагой, исчезнувшим при взрыве бомбы, отчего о них ты не задумывался? Их смерть ты видел, остатки Бочаги ты стер со своего французского шлема, кровавый обглодок вместе с тканью мундира и каким-то дерюжным пояском, отчего это не его смерть тебя преследует?

Или тот немец, о котором ты думаешь, что убил его, а ты не убил, значит, ты тогда вовсе не лгал Инженеру, сказав, что никого не убил на войне, ведь не ты убил — убил его рыжий Ковальчик, стреляли вы оба, ты промазал, а Ковальчику было все равно, поэтому он, хотя и знал, что это он убил, поздравил тебя, достал его пан, пан поручик! Потом ты даже осмотрел этого немца, он был старше тебя, серо-зеленая куртка, серые штаны, грудь в крови, на груди этой пробитый пулей бинокль.

А сейчас ты идешь себе по Маршалковской и мучишься Ежиком, что не приходит с войны, а матери снится, что он убит.

Так мучит меня этот Ежик, что не приходит с войны.

Изнасилованная Варшава меня уже меньше раздражает, привык. Если бы мою жену изнасиловали, если бы у нее в животе набухал не мой ребенок, тоже привык бы?

Если бы ты только мог меня слышать, я охотно ответила бы на этот вопрос, дурной Костичек. Но ты не можешь, не можешь... Пока не можешь. Не настал еще час услышать меня, любовь моя.

Итак, ты идешь дальше, по Маршалковской, идешь медленно, словно гуляя, мимо серо-зеленые мундиры гонят жидков на работу, и нет в тебе никакой особой жалости ни к гурту, ни к гуртовщикам, ведь ты и самого себя не жалел бы, гони ты сам или когда бы тебя погнало. Трясутся пейсы и бороды, черные и рыжие, впервой, должно быть, выпал им физический труд, кафтанчики. Правят рельсы, разбитые, вывороченные, воюют с ломом и кирками. Неуклюжие, неловкие, никаких мышц. Ты видишь всех этих торгашей, их тонкие ручки, привыкшие к счету дуляров и бриллиантов, процентов, долей и франкировок, вот они получают тачку и лопату и вперед, убирать

развалины, в которых ты еще недавно стрелял по немцам. Вперед, равнять колею, пусть герр Виллеман опять едет на трамвае.

Проблема избыточного представительства евреев. Это польская газета? Ну да, мы забыли, пан редактор, что интересы Польши не на первом месте у пана, пишет старый Пешковский в “Просто с мосту” в июле 1939-го, подле рекламы и сбора средств в ФНО и граммофонов, впереди Мосдорф, рядом Добрачиньский, всё храбрые, крепкие люди, и как в то же время скулит жалостно их юдофобство. Гитлеровцы лучше. Гитлеровцы не плачут, что евреи отняли у них все газеты, гитлеровцы отняли у евреев все газеты.

Но, может, ничуть не лучше, со всем своим Хорстом Весселем, вроде как жертвой, они тоже скулят, со всем этим Дольхштоссом, с Густлоффом и подобной ерундой. Великая война скулящих. О, как несправедно с нами поступают!

И мне всегда претило это кадровое юдофобство Пешковского, не в расовом, а в культурно-экономическом корыте вскормленное, если что, я бы предпочел антисемитизм крови, относящийся по крайней мере к некой метафизической реальности, а не к бойкотам еврейских лавочников. И я ведь дружил с евреями, в моей среде нельзя было не дружить с евреями, довольно было взглянуть, сколько обрезанных сидело на горке в Земянской. Смешны дела Твои, Господи, смешны.

И вот ты вдруг встал перед домом на улице Подвале, номер 21, дом чистый модерн, функционализм, но без излишеств, как у тебя Мадалиньского, и без вкуса и без изысков, эндек познанский и бережливый квартиру купил скромную, ты смотришь в их окна — и да, за тем стеклом твой Юрчик, которого ты так жаждешь обнять, поцеловать в пухлые щечки, погладить по белой головке и сказать, что папочка любит, папочку ты теперь реже будешь видеть, но презенты он принесет, он всё принесет.

Все наладится, все наладится, не тревожься ни о чем, тревожиться не стоит.

Ворота, лестница, уже. Карточка всунута в держалку на двери. Листочек кремовый. Билет общий. Заявлен “Чеслав с женой Пешковские”, как всегда. И как же метко передана невидимость твоей свекрови, женщины, которой нет, которая не столько прячется в тени мужа, сколько является его безмолвным, скромным придатком. Как зонтик или шляпа. Она весьма счастлива в своем несуществовании. Поскольку ее нет, ей нечего волноваться из-за войны, о твоём ренегатстве ей волноваться нечего, Костичек, вообще ни о чем.

Ты смотришь, как дурак, на этот билет, и даже инстинктивно касаешься кармана пиджака, а есть ли у тебя там визитница, чтобы оставить билет, если паньства не окажется дома, она есть, но кому бы ты оставил? Можно загнуть уголок в знак того, что был лично, и просунуть под дверь. И визитки есть, еще с войны там застряли, когда ты их в последний раз вытаскивал? В августе. И ведь ты не лезешь за ними, и, в принципе, ты даже уверен, мой милый, что уж не полезешь. Война отменила визитки.

Стук-стук. Еще раз стук. И отворяют тебе, тесть открывает дверь и не верит глазам своим, но увы, это не кто иной, как ты, сам мой Костичек к тебе явился, ты, недоразумение ходячее, живой мертвец, тупое, по-дурацки самодовольное людское быдло.

Ему требуется время, подыскать уместные слова.

— Наглость!.. — удается, наконец, что-то из себя выдавить.

Он хочет захлопнуть дверь у тебя перед носом, но ты суешь в щель ботинок.

— Я хочу видеть Юрчика!

— Прочь, предатель! — рычит тесть.

— Геля! — кричишь ты ему за спину. — Геля! Я только хочу увидеть Юрчика! Я отец его!

Безусловно, она слышит тебя.

— Убирайся, подлец! — рыкает познанский тесть. — У Юрчика нет отца! Был, но нету больше!

Он пробует пинать твою ногу, зажатую дверью и косяком, это бесит тебя, тебя так легко взбесить, поэтому ты налегаешь на дверь плечом, цепочка лопается, и хоп, открыто.

— Юрек! — кричу я. — Юрчик!

— Папочка! — отвечает он из глубины квартиры. — Папочка! Я здесь!

Голос Юрчика взрывается у меня в животе, в груди, как граната.

Тесть стоит в коридоре. Будь у него пистолет, он давно бы меня застрелил, читаю это в его глазах.

Не застрелил бы, но я понимаю, что читаешь. Ты в конечном счете не очень умен.

— Ни шагу, — шипит тесть. — Убью!

— Я хочу видеть своего сына, — как дурной повторяю.

— Мама не пускает меня к тебе, папуля! — кричит из-за дверей Юрчик.

— Геля! — кричу я.

А тесть встал передо мной, весь ошетинившись, что твой бешеный пес, эндецко-познанскую морду морщит омерзительная гримаса.

Ебись ты конем, старик, я иду! Пытаюсь его обойти, а он неожиданно бьет меня в голову левым хуком и бац прямо в челюсть.

К тому же бац так точно, что моментально оглушает тебя, Костичек, и ты падаешь без чувств. Короче говоря — профессиональный нокаут.

Геля выбежала из комнаты и кричит на своего отца, она кричит, чтобы спасти тебя, кричит как дурная, а старый Пешковский внезапно вскипает физически, вскипает как мужчина, хоть и разменял седьмой десяток, внезапно закипает в нем сила, как долго уже не кипела и никогда более не закипит (о чем он еще не знает, но я знаю), и лапает тебя бесчувственного за воротник, на твоей, Костичек, челюсти любимой разгорается огромный кровоподтек, затмевая серо-желтый след восьмидневной давности.

А старый Пешковский волочит тебя, и от этого волочения ты приходишь в чувство, все еще оглушенный, ты приходишь в него

настолько, чтобы не разбиться окончательно, когда старый Пешковский совершенно буднично спустит тебя с лестницы.

Ты с треском катишься вниз, Костичек, бедолага, и слышишь плач Юрчика и крики Гели, Геля бежит за тобой, плачет.

— Костек, Костичек... ты в порядке?

— Прочь! — рычу я, отхаркиваясь кровью. — Убью его!

— Ты должен понять, любимый, — шепчет она сквозь слезы. — Пойми, я не могу сказать ему правду, папа не умеет хранить секреты, пойми...

Отталкиваю ее. Челюсть пульсирует рваной болью, адреналин пульсирует по всему телу, всего меня лихорадит.

Это не адреналин, не один адреналин. Это я тебя встряхиваю, чтобы стал тем собой, которого я люблю, чтобы стал опять крепким, сильным мужчиной, таким, каким он быть обязан. Таким, каким ты не являешься.

Оттого пылаю яростью, ярость пульсирует во мне, но не пойду же я бить старого Пешковского, равно не пойду извиниться перед ним и объяснить, кто я на самом деле.

И вдруг нечто повергает меня в ужас, так как знаю, что именно это я сделаю, что к этому влечет меня та моя ярость, влечет и завлечет.

Итак, отталкиваю Гелю, слетаю по ступеням, кровь с носа стирая платком, выбегаю на улицу и несусь дальше, являя собой то еще, видимо, зрелище, потому как платок у носа кровав, а я мчусь как на крыльях, Медовая и ее трепетные руины, дворец епископа, палац Теппера, разбитые, сожженные доходные дома на Сенаторской, Театральная площадь, Богуславский на постаменте в дурацком фраке, грустный и несчастный, Оазис закрыт, ни тебе стейков в гриль-руме, бегу нон-стоп, люди глядят на меня как на безумца, какой-то полицейский в синей форме свистит, но я не слушаю, бегу далее, а ему не хочется бежать за мной, и вот уже, вот, Фредро, каменица Вавельберга и Немецкий Клуб.

Отлично, Костичек, отлично, ты дракон. Ты тигр. Живи как дракон. Живи как тигр. Отлично.

Коридор пустовал, никто не просился в немцы. Может, я пришел в нерабочее время. В кресле, похрапывая, дремал некий тощий человек в поношенном костюме, повязка на руке новехонькая, огненно-красная и с языческой свастикой в белом круге.

— Entschuldigung... — толкаю его в плечо.

— Конечно, пан профессор, конечно, — заговорил он по-польски во сне, мгновение спустя проснулся, смущенный, потирая глаза в оправе из морщинок, пока не заметил меня.

— Где мне найти пани Виллеман? — спросил я по-польски.

— Пан пройдет по лестнице на второй этаж, там кабинеты.

Я прошел. Ты прошел, полагая даже, что, может, от этого прохода по лестнице, от приближения к матери пройдет твоя ярость, но она не прошла. Надеялся, что отступишь, но не отступил. Ты вошел без стука. Бедолага.

Мать за конторкой. В левой руке сигарета, в правой ручка, что-то вписывает на листах тетради, расчерченных таблицами. У окна, спиной к тебе, стоит высокий, мощный мужчина в черном штреманне.

— Мама, мне нужно... они... — зачастил ты с порога. Она оторвалась от записей.

— Константин. Выйди, закрой за собой дверь и войди как полагается.

Орлица зашипела по-змеиному, твердый пестик языка меж режущих кромок клюва. Орлица бьет крыльями, жуткие когти рвут сукно, которым затянут стол. Тигр прижимает уши и медленно отступает, бия хвостом об пол и дверные косяки.

Дракон ползком меж тигриных лап, трется о рыжую шерсть чешуя, ты выходишь. Закрываешь за собой дверь, как отличник, стираешь с лица кровь, приводишь в порядок одежду, затем стучишь.

— Herein¹, — слышишь голос матери.

Тыходишь, ведомый этим ее голосом, как будто ярмом. Тигр и дракон остаются снаружи. Кланяешься как полагается.

— Erlauben Sie, dass ich vorstelle: mein Sohn Konstantin², — мать доводит положенное представление до конца.

Человека у окна ты уже где-то видел. Разумеется, мать не представит его тебе, об этом и речи нет, ибо это некая значимая особа.

Твой поклон довольно глубок. Крупный, хмурый мужчина подходит к тебе и подает ладонь для рукопожатия.

— Ich habe viel von Ihnen gehört³.

Поскольку из ситуации следует, что ты должен был слышать о своем собеседнике, ты молчишь в ответ... И вдруг ты видишь, как глубоко он озадачен неприятной выходкой твоей матери, этой показательной поркой взрослого мужчины при посторонних. Ты также озадачен. Тебе хотелось бы найти общий язык с этим рослым мужчиной, хотя бы оттого, что и его, и тебя озадачило поведение твоей матери. Но ты не найдешь.

И лишь на почве его озадаченности поведением моей матери, на почве его взгляда, полного жалости и презрения, лишь на этой почве в тебе воскресает протест, Костичек.

— Zu unseren Angelegenheiten kommen wir später zurück, фрау Виллеман. Auf Wiedersehen⁴, — говорит он, кланяясь моей матери.

— Auf Wiedersehen, Herr von Moltke.

И — вдруг понял. Ты уже понял. Лицо знакомо по фото, из газет, граф Ганс-Адольф фон Мольтке. Немецкий посол в Варшаве, его отзыв десятого августа возвестил войну.

Твоя мать в немецком мундире смотрит на тебя холодно, рот сжат в тонкую белую линию. Но в душе могла бы выплясывать польку от

1. Войдите! (нем.)

2. Позвольте вам представить: мой сын Константин (нем.).

3. Я много о вас слышал (нем.).

4. К нашим делам мы вернемся позже... До свидания (нем.).

радости. Да, в который раз ей удалось предъявить свои связи и власть тебе, являющемуся ее интересом единственным, амбицией единственной, единственной целью ее жизни. Да, она унизила тебя, ты же воспринял это унижение покорно, а это значит, что трензель надежен за твоими зубами.

Итак, теперь, раз уж она держит тебя в узде, теперь тебе положена ласка.

— Знаешь, кто это был? — спрашивает она на всякий случай. Хотя сама упомянула имя. Словно бы держала тебя за идиота, Костичек. В какой-то мере держит тебя за идиота, потому прочит тебе головокругительную карьеру, ее то бишь карьеру, великие почести.

— Знаю, — отвечаешь.

— Чего ты хотел?..

Чего ты хотел? Хотел полицейских в серых куртках, с винтовками, хотел взять их с собой на улицу Подвале, войти с треском в квартиру старого Пешковского и с криками Hände hoch! забрать своего сына. И увидеть поражение евгеника-гигиениста. Слабейший вид человечества проигрывает сильнейшему. Все отлично евгенично гигиенично. Хрясть Пешковскому прикладом в эндецкий лоб: lebensraum, коррекция недоразбитости, дранг нах остен.

Этого ты хотел. Этого хотела твоя ярость. Ну или хотя бы пистолет, чтобы войти туда, выломать дверь, наставить оружие и забрать Юрчика.

Но тигр ушел и дракон ушел.

Ты один пред лицом своей матери, нет больше ни с тобой, ни в тебе и малой толики дракона или тигра, ты один. Орлица прогнала дракона и тигра.

— Говори, Костек, говори, в чем дело, — шипит тебе жесткий, узкий язык, зажатый острыми кромками желтого клюва.

— Он вышвырнул меня... швырнул с лестницы.

— Это видно. Кто?

— Пешковский. Старый Пешковский. Я хотел повидать Юрчика.

Она глядит на тебя с презрением. Она глядит на меня с любовью. Она глядит на тебя с любовью. Она глядит на меня с презрением. Любит тебя, ибо презирает. Презирает, ибо любит. Я ее сын. Ты ее суть. Я ее суть. Ты ее сын. Кто ты?

Ты лоскут на ветру. Бигос из цитоплазмы. Ты перемолот ее зрачками, наполовину человек, а наполовину пустота, и, когда она глядит на тебя, ты более отсутствуешь, нежели присутствуешь. Ты шмат мяса, раскрошенный ее чеками, ее деньгами, ты ржавый остов, подтачиваемый ее взглядом, ты не столько есть, сколько тебя нет.

Круги на воде.

За что она тебя любит? Она меня любит? Что это значит, когда она любит? Как она любит? Когда любит, то владеет, и тобой владеет, Костичек, владеет, как владела всеми этими мужчинами, юным психиатром и твоим отцом, а твоего отца она бросила, поскольку уже не нуждалась в нем, и тебя тоже она бросит, когда решит, что нуждается в эрзаце, а уж эрзац-то она отыщет.

Чего ты не видел, когда твой отец вернулся с войны, чего не понял и не понимаешь, но скоро поймешь, так это тех причин, по которым он был изгнан. Был изгнан оттого, что не одно лицо твоего отца понесло ущерб.

Он не сказал ей, она нашла сама. Невзирая на его слабый протест, столь же слабый, сколь весь он всегда был слабым, она ждала от него удовлетворения. А слаб он был так же, как слабыми изнутри, при всей их внешней силе, были все ее мужчины, и как ты слаб.

А ты не обладаешь даже внешней силой, ты слаб внутренне и внешне, поскольку ты ее сын, а не ее любовник.

А от твоего отца, Бальдура, она ждала удовлетворения. Ей не мерзило его ущербное лицо, не мерзили слезы, бинты, дрожащие руки, ночной скулеж и рыдания. Ей мерзило бы, вернись он разбитым войной, но она знала: Бальдур плакал не от страха, не от скорби по утраченной юности, не от ненависти к этой жуткой войне, Бальдур плакал от ненависти к поражению, своему, Германии и императора. Кайзер был ближе и дороже Бальдуру, чем его собственное тело и собственный страх, Германия была частью Бальдура, как плечо или селезенка, только много важнее. Бальдур был волной, расходящейся в эфире Германии, так он видел себя. Германия позорно сдалась, Бальдур не многое знал о ситуации, того же, что знал, не понимал, отец твой, Бальдур, был лишь дурным офицером кавалерии, Костичек, и всё. Оттого плакал. Не в скорби: в ненависти. Он хотел бороться, хотел убивать, а не мог.

Орлица это знала, и крик этот заражал ее, плач этот окрылял ее, и она хотела, чтобы ею овладел этот ущербный, но непобежденный человек, хотела, чтобы овладел ею, чтобы тайной энергией ее тела исцелился и снова встал на борьбу.

А он тогда на миг подумал, что Катарина Виллеман любит его поистине, что любит искренне и именно его, и целый миг он думал, что для ее любви ничто не может стать и не станет преградой, и помог ей расстегнуть пуговицы высокого викторианского платья.

А потом она залезла к нему в пижаму и нашла пейзаж после страшной битвы. После странной битвы.

Rittmeister Штрахвиц не знал, кто его одолел. Долгое время не подозревал даже, что его одолели. Спешенный, он нес пехотную службу инфантериста, окопника. Никаких атак, намечаемых палашом. Бинобль, злые взгляды солдат, сырость. Треп о пиздах, задницах и сиськах. Шнапс. Чтение стихов, Рильке, Верлен по-французски, Уильям Блейк, которого он едва или вовсе не понимал. Чтение писем из дома, которые он едва или вовсе не понимал. Чтение ежедневных приказов, которые он натурально не понимал вовсе. И вот однажды он надел шлем и вышел из укрытия, чтобы длинной, зигзагообразной траншеей пройти к выдвинутому в поле разъезду.

Тот, кто одолел Штрахвица, пушкарь Спивет, мужавший в роко-чущих музыкой пьяных драк лондонских трущобах, равно не ведал, что он кого-то одолел, подорвав заряд в каморе восьмидюймовой гаубицы для первого залпа артподготовки, не ведал этого и передовой

наблюдатель, вносивший поправки по полемому телефону, не ведал командир батареи, не ведал водитель гусеничного трактора марки “Холт”, отбуксировавший гаубицу на боевую позицию, никто вообще о том поражении и одолении не ведал, снаряд калибра 203 мм вырвался из ствола, некогда плававшего на крейсере, пролетел свои пять миль, ибо столько было ему отмерено, ударил о землю, ибо такова была его судьба, и взорвался, ибо таково было его предназначение, а взрывная волна выдернула щуплого уланского офицера из обшитой досками траншеи и подбросила в воздух, осколок этого снаряда сбил с него стальной шлем, лишив чувств и лица. Гравитация грубо вжала мальчишеское тело в сером мундире в проволочную сеть, где оно застыло в позе избыточно драматичной. Будь рядом фотограф, готовый запечатлеть тело Бальдура на пленке, фотограф, наделенный даром Эндре Фридмана, известного как Роберт Капа, только постарше, то и годы спустя такой снимок мог бы иллюстрировать кошмар войны: щуплый серый улан, распятый на колючей проволоке, словно забытая марионетка, светлые волосы вперемишку с кровью, руки врозь, кобура с пистолетом болтается метафорой *Qui gladio ferit...* Но фотографа не было. Так Бальдур потерял лицо и не снискал славы.

И этим поражение не обошлось, в скором времени на бесчувственное тело Бальдура свалился кусок белого фосфора. В том районе падало много фосфора. Он упал и прилип к животу и паху, пылая, но не будя Бальдура, и эта ничья победа над не осознающим своего поражения стала бы полной, не подоспей к Штрахвицу *Sanitätssoldat* из Познани, который без надобности спас его жизнь, за что Бальдур ни разу не был ему признателен: ни тем разом, ибо был без чувств и не мог ощущать признательность, ни позже, когда чувства вернулись, и ему тем более было не до признательности, потому как он был способен лишь кричать, ни еще позже, когда он уже не кричал, а способен был уже только ненавидеть.

Санитар разбирался в белом фосфоре: он соскоблил его с Бальдура, содрал острием длинного штыка. Он снял тощего ротмистра с проводов и отнес в тыл, а дорога туда была длинной. В госпитале жизнь Бальдура спас штабс-врач по фамилии Цвейг. Сначала — как умел — занялся лицом. Если бы им занимался эксперт по хирургии, которая в то время еще не звалась пластической, голова Штрахвица не была бы деформирована столь чудовищно; однако в то время подобных специалистов в целом Рейхе было мало, и ни один из них не пребывал в полевом госпитале на западном фронте, ибо они имели занятия получше, чем пребывание в полевых госпиталях западного фронта. Не говоря уже о восточном.

Когда Цвейг счел голову готовой, то посвятил длительное время прочим раненым, затем вернулся к Бальдуру и занялся ожогами третьей степени на животе и в паху, что шло вразрез с искусством, ведь лицо заживает на ура, а паховая область заживает очень плохо, так что ее надо было обработать в первую очередь. Однако Цвейг не был хорошим врачом. Он был плохим врачом. Он точно уда-

лял обугленные ткани и с помощью пасмурного санитаря обрабатывал и зачищал остальные ожоги. Он не задумывался над тем, сколь трагична будет для Штрахвица утрата пениса, ведь если бы он задумывался о чем-либо подобном, то и водка не спасала бы его от безумия. В течение трех секунд он размышлял, нельзя ли спасти пенис, как размышлял бы о любой полезной части тела — и ровно за три секунды решил, что нельзя, поэтому ампутировал его у самого основания, ловко выделив уретру, вследствие чего в течение двух секунд даже ощущал великую гордость за ловкость и прецизию, с которой он выполнил эту непростую, в общем, операцию.

— Хуя, конечно, жаль, но калека с такой рожей, ему даже жидовская курва за деньги не даст, — пошутил Sanitätssoldat. Будучи из Познани, он ненавидел немцев и радовался, когда им чинилось зло, ибо сам вытерпел от немцев немало унижений. Однако Stabsarzt не знал польского, и санитару пришлось одному радоваться своей шутке, причем радоваться недолго, ибо через два часа англичане застрелили его из каэма, но он, по крайней мере, умер в настроении. Цвейг порадовался бы шутке занитетсзольдата, ибо, будучи евреем, курв еврейских не уважал, они часто бывали чересчур языкатыми, ему более всего нравились покорные славянки. В тридцатые годы он уехал в Нью-Йорк и там разбогател, запил и женился на серой украинке, произвел на свет малого серого жидо-украинчика, после чего умер, отравленный мышьяком, ибо жена не могла долее выносить побои. Но чем эта история касается тебя, Костичек, кроме члена, каким ты был зачат девятью годами ранее, и какого, уже обугленного, лишился твой отец?

Ничем. Ни разу впоследствии судьба твоя не пересеклась с кем-либо из имевших отношение к штабс-врачу Цвейгу, или его украинской жене, или их еврейско-украинскому сыну, или к санитару из Познани, чью фамилию у меня нет охоты называть. Итак, ничем, кроме ампутации уда ротмистра Бальдура Штрахвица. И всё: ибо все они и ты сам и твой отец и все люди и все ваши жизни и жизни ваших предков и обезьянолюдей и потомков ваших, все вы уложены в мозаику из крошечных разноцветных камешков, и никому, даже мне, не отойти на достаточное расстояние от этой мозаики, дабы взглядом объять ее всю, дабы понять ее ритм, порядок и красоту, из них вытекающую. Никто или почти никто.

Ибо некий порядок, ритм и вытекающая из них красота несомненно присутствуют в этом последнем, великом произведении искусства.

Обугленный пенис, что единит тебя, камешек мой, с теми камешками, обрел покой в чане с разными частями разных людей, живых и мертвых: там были две руки сержантов, те так и так умерли под ножом, зато, по меньшей мере, безрукими, была нога пехотного капитана, нижняя челюсть окопника Мазура, пальцы дурного ганноверца, который играл с гранатой, и надо было отсечь ему эти пальцы, было несколько ступней, две из них обутые, а сверху лежал запеченный член Бальдура фон Штрахвица, кроме твоей матери не знавшего ни одной женщины. На протяжении всей войны он ни

разу не сходил в бордель, ни разу не завел себе любовницу, самолично усыпляя в туалете свое либидо, храня, как ему казалось, чистоту для Катарины, его Катарины, для женщины, в которую он канул, в которой он растворился, в которой он жил, для женщины, вне которой он не существовал.

Бальдур ничего не чувствовал еще несколько дней, прошедших до момента его возвращения к сознанию. Затем в течение двух недель он выл от боли, если только не был одурен морфием, и не отдавал отчета в том, что уже не имеет пениса.

Затем отдал отчет и долго не знал, что об этом думать, лежал в госпитале и думал о самоубийстве, а Германия проигрывала войну и проиграла и кайзер отрекался от престола, что взволновало Бальдура сильнее, нежели потеря члена, но в своем письме домой он не осмелился об этом писать, а затем он вернулся, в надежде, что ответ даст его Катарина.

Так что, едва она присела к его кровати, он помог ей расстегнуть пуговицы на ее викторианском платье, а она залезла к нему в промежность и обнаружила поле боя.

Едва она поняла, что он больше не будет обладать ею, он перестал быть для нее мужчиной. А едва он перестал быть для нее мужчиной, поняла, что Германия проиграла войну, что Бальдур проиграл войну и проиграл жизнь, евнух-калека, так она о нем думала, хотя аккуратно мошонка с яичками избежала судьбы пениса и не попала в глубокую яму с известью и обрезками других солдат, и уже затевали просачиваться в ослабленный кровоток Бальдура жуткие зелья, напоминая ему, болезненно напоминая, что некогда он был мужчиной. У него были фантомные эрекции.

Но убедить ее им было не под силу: раз он не мог взять ее, раз он не мог войти в нее и повелевать ею, он уже не был мужчиной. Он не имел для нее смысла; был более чем мертв, ибо память мертвого можно чтить, а он был одолен и омерзителен. Итак, она просто встала с постели своего бывшего мужа, застегнула платье, весьма аккуратно, и беззлобно сказала, что он может оставаться здесь еще немного, но как только оправится, то должен убраться, и с тех пор не обращала к нему ни взгляда, ни звука, кроме хамских прощальных слов две недели спустя, когда он прощался с Костеком. Да и зачем общаться с трупом? Пока Бальдур не выздоровел, его опекала горничная, Костеку же хода в спальню не было.

А сейчас ты стоишь перед ней, Костичек, а она бьет крыльями. Узкий твердый язык меж острых раковин клюва.

— Дам тебе жандармов, — шипит она.

Золотые когти обхватили черный бакелит, она скрежещет в трубку. И что вышипеть имела, то вышипела, мать моя, мое проклятие, мое рождение в ней и в ней моя смерть.

— Теперь уходи, — говорит она. — Подожди снаружи, пока придут.

Ухожу, ухожу, Боже милостивый, черные боги смеются надо мной, когда я встаю перед новым, модернистским фасадом Брюльского дворца. На дворе дворца я видел после капитуляции стада

поверженных цекаэмов, все их жирные тушки циклопными глазами смотрели в одном направлении. И броневики стояли, и груды наших маузеров, и седла, много седел, нашего полка седла.

А теперь, что теперь, дальше что?

Ты хотел бы упасть на колени на тротуаре, упасть на колени на камнях улицы Фредро и плакать, Костичек, над собой, над своей физиономией разбитой и ребрами в синяках, над своей жизнью, над сентябрьским поражением, над конем, которого немцы отняли, а ты его полюбил за тот месяц, что он носил тебя, а теперь носит какого-то немца. И над телом и духом, что отняли немцы, хотел бы поплакать, однако не плачешь, где-то там, в каком-то из окон распростерла крыла твоя мать и глядит на тебя орлиным взором, наблюдает тебя, изучает тебя, видит тебя.

Стою, значит, сунув руки в карманы, стой, а закурю-ка я, портсигар, значит, спичка, значит, в дрожащих руках, курю, значит, зачем курю, не знаю.

Что я намерен сделать?

А они идут, утомленные службой, идут, затягивая ремни на просторных шинелях, на плечах винтовки, идут, а о чем они думают, Костичек, какая разница? Не все ли равно, думают ли они о своих женах и детях дома, где бы тот дом ни был, в Гессене, в Баварии или в Гамбурге, думают ли о сегодняшней пище, думают ли плохо о своем начальстве или, скорее, хорошо, думают ли о невзгодах службы или о том, что левый сапог жмет в голени. Я все это знаю, ворошу тысячами своих пальцев, лаской невидимой, неуловимой, и всё их нутро передо мной как на ладони, но есть ли разница, о чем думают эти два жандарма в просторных серых шинелях?

Конечно, есть, в хаосе жизни у всего есть значение, все учитывается, каждое лыко в строку космоса этого хаоса, все важно, полет воробья и полет бомбы, смерть блохи и твоя смерть, Костичек, что тоже видна мне как ладони и твой страх и страх коня и усталость и тоска тех, что, призванные клекотом Орлицы, как раз подходят к тебе, вступая в твое распоряжение ненадолго, так им было приказано, и все это является узором большого ковра, в который вплетены ты и в который равно вплетена я, Костичек.

— Also was tun wir?¹ — спрашивает жандарм постарше, повыше чином.

Они стоят, винтовки на плечах, подсумки на ремнях, всё в твоих руках, черные маузеры и золотые патроны в твоих и в их руках, исполненные жалости взгляды, твой и их, неприязнь к тебе твоя. Твоя побитая физия в их взглядах тоже твоя, и сами те взгляды, цвет их и градус суть твои, презрение в них твое, презрение, какое испытывает человек с ружьем к тому, кто нуждается в его ружье, дабы утрясти, уладить свои заботы, отомстить за битую физию. Твори, что хочешь, Костичек, все твое, все дала тебе мать твоя, Орлица.

1. Итак — наши действия? (Нем.)

— Folgt mir¹, — говоришь ты. Сказал.

Ты разворачиваешься и пошел, пошли! Ты, стало быть, первым, через Театральную площадь, усердно разбомбленную, по Сенаторской, шагаешь с челюстью, бьющей током, и в измаранной одежде, а за тобой шагают два жандарма с винтовками на плечах, эх, видел бы тебя сейчас кто-нибудь, Костичек!

Но никто тебя не увидит, все, чей взгляд имеет вес, засели в октябрьских квартирах, сгрудились у наспех спроворенных печурок, греют побежденные руки и мало-помалу забывают о войне, забывают о немцах, думают о жизни: о еде и о том, как ее достать, о деньгах и о том, где их взять, или — некоторые — как их потратить с умом, о делах, как их вести, с поляками, с немцами и с евреями, и о евреях думают, им наверняка придется сейчас туго, и евреи тоже думают о том, как туго им придется, но и о женщинах думают, о бедрах и о грудях, и о том, что лучше всего спрятаться под периной от холодной квартиры и злобного мира, а женщины думают о мужских руках, которые сейчас лелеют теплоту, излучаемую раскаленным железом буржук, а могли бы лелеять их тела, твердые руки, крепкие руки, а улицы пусты, и так вы идете, Костичек, ты, в грязи, побоях и в ярости, и жандармы, в усталости, они отнюдь не жандармы, но как тебе их назвать, у них армейские мундиры и каски, не как у полиции вашей, и винтовки есть у них, идут за тобой патрулем вдоль Министерства сельского хозяйства, сожженного и разрушенного, вдоль сгоревшего дворца Малаховских, а сапоги у них подкованные, и вы сворачиваете налево, на Подвале, вот он, твой парад, Костичек, вот и Подвале, 21, и скромный модернизм глядит на твоих жандармов-нежандармов квадратными окнами без фриз и карниз.

— Und was nun?² — спрашивает старший.

А ты не знаешь вовсе, was nun. Ты устал от ходьбы, охота мстить улетучилась. Но как отступишь теперь? Дело идет само по себе, как и всё у тебя в жизни, движимо не твоей волей, но внутренним тяготением каждой социальной ситуации, в которой ты пребываешь, не умея дать ей отпор, для этого нужно быть мужчиной, а ты кто, отброс человечества?

А сейчас социальная гравитация тянет тебя вниз собственной, внутренней логикой истока и течения: раз уж вы пришли сюда, раз уж Орлица дала тебе двух жандармов, раз у них на плечах винтовки, то надо подняться по лестнице, надо войти в квартиру старого Пешковского, а что потом? Что потом?

Потом станет то, к чему будет тяготеть ситуация, ведь слово не за тобой, Костичек, но за ситуационным тяготением.

Итак, вверх по лестнице. Ты первым, они вторым и третьим, номера важны. Итак, вы встаете перед дверью, за которую ты был так позорно выставлен. Ты не хочешь этого делать, не хочешь этого де-

1. Следуйте за мной (нем.).

2. И что теперь? (Нем.)

лать, но, чтобы не делать, тебе сейчас пришлось бы сказать этим жандармам, что они шли сюда напрасно, что напрасно трудились, на что, конечно, у тебя есть право, но нет силы вынести их взгляды, имеющие стать тяжелыми, тебе понадобилась бы крепость, чтобы выдержать эти взгляды, обладал ли ты когда-либо такой крепостью?

На войне ты обладал. С пистолетом в руке ты крикнул: “Старший улан Бочага, на позицию!” — пулеметчик Хайке был уже мертв, и наводчик, старший улан Бочага, хотя и прижатый прямым огнем, затеял сползать по осыпи в жизнь, в безопасность, а ты взревел: “На позицию!” — и он полез обратно, в смерть, к эркаэму “Браунинг” wz. 28, а ты снова взревел: “Короткими очередями огонь!” — целый взвод смотрел на тебя с ненавистью, ты отправлял человека на верную смерть, а он начал стрелять, очевидно, вслепую, но стрелял, опустив голову во французском шлеме, а затем поймал в лоб, и всё, мозг брызнул ему на плечи, и он даже не сменил позы, просто застыл, продырявленная башка на локте, финита старший улан Бочага, наводчик отделения ручных пулеметов.

Тогда тебя на это хватило. Пожертвовать жизнь старшего улана Бочаги. Кому же та жертва, Польше? Польше ничего не перепало с того, что старший улан Бочага послал еще дюжину пуль в сторону немецких позиций. Это была жертва войне, ее сути, принесенная тобой за счет старшего улана Бочаги.

Тогда меня на это хватило. Орлица была далеко, у меня были мундир и чин.

Сегодня я никто, в измаранной, рваной одежде и с битой физицей. Они же приданы мне условно, на краткий миг. Потому я стучу и молюсь тому, кто вне пределов этого мира: лишь бы не открывали. Пусть молчат. Оба ушли, пусть квартира окажется пустой, пусть меня пощадят. Оттого я стучу тихо, по-дурацки тихо, но тихо.

И в тишине считаю секунды, лишь бы дожидаться момента, когда я бы смог сказать по-немецки: “Их нету, уходим”.

Но это не может удался, это не удался.

Дверь с треском отворяется на длину цепочки. Пешковский сперва замечает меня, и ярость щерит ему рот и вытаращивает глаза, как бешеному псу, а после он замечает серые шинели моих жандармов, и ярость сменяется ужасом и беспомощностью.

— Ты, ты... — шипит он, заикаясь. — Ты, гнида...

— Ruhe! — лениво ворчит жандарм и огибает меня в танцевальном ритме, в каком физический исполнитель воли огибает того, чью именно волю он реализует, с кого готов он снять неприятную нагрузку. Огибая, он дергает ремень висящей на плече винтовки, и винтовка спрыгивает с плеча, как если бы не ловкость жандарма руководила ею, но само оружие было живым, тренированным и послушным.

Пешковский отступает перед серой вооруженной фигурой, отступает в ужасе, а я в ужасе еще большем, и что же я должен сотворить, жандарм ведь только что проложил мне дорогу, и что-то я

должен вытворить, войти, выйти, хлестнуть, мстя, Пешковского по лицу или убить его, мстя еще страшнее, не знаю, дали бы мне его убить, но попробовать я мог бы, а существует ли тут какой-либо способ добиться чьего-либо уважения, пускай не все уважают меня, пускай зауважает меня жандарм или Пешковский, пускай кто-нибудь меня зауважает, разве не надлежало бы мне уважение? Или уважения достоин всякий, только не я, Константин Виллеман, отчего не я, отчего, что же я такого натворил, кого предал так страшно, что лишился шанса на уважение со стороны ближних, отчего?

Жандарм пробил мне дорогу сквозь баррикаду Пешковского и обращает ко мне лик свой, осененный каской, *bitte sehr, ich habe hier meine Pflichten erfüllt*¹, отныне ты, Костичек, твори свое, твори низкое, гнусное, недостойное, не достойное человека, мужчины, поляка, немца, не достойное никого, кроме тебя, Костичек.

А Орлица кружит надо мной, ожидаючи, кого бы сожрать.

Вхожу. Чистая абъекция и чистая ненависть этот Пешковский, как аверс и реверс одной монеты, оба лика выставлены мне напоказ, вражда и злоба.

И радость, верная радость, наверняка радость, потому как видит ведь следы своих кулаков на моем лице; нет, на моей роже видит. А на нем рубака без воротничка, но чиста и застегнута под шею, лицо брито, помочи защелкнуты, брюки из доброй чесаной шерсти выютужены, война не война, а я измаран, рван, бит и убог, гнусный, недостойный человек.

Стоим в прихожей: он, я, старший жандарм, младший жандарм, и все между небом и землей, ибо что делать, что делать, один я могу знать, а я хотел бы удрать отсюда, выбежать на улицу Подвале и бежать к ближайшему следу взрыва, к прогрызенной бомбой дыре в мостовой, спрыгнуть в нее и, пока земля еще не смерзлась, врыться, вгрызться в землю аки червь, землей засыпаться аки червь, аки крот, аки червь врыться глубоко в археологические пласты, подрываться под Польшу, под славян, под готов, под кельтов, под азиатские племена, которые были здесь до нас и высекали огонь из камня.

Ты хотел бы спрятаться там, куда не доходит даже память о людях, хотел бы стать дочеловеком, нечеловеком и бесчеловеком, Костичек, однако стоишь в прихожей жилища на Подвале, стоят жандармы и стоит Пешковский, полный ненависти и абъекции, а дверь в кухню отворяется, и в ней встает Геля.

Геля.

Гелена Виллеман, в девичестве Пешковская, твоя жена. Дочь старого Пешковского, ненавидевшего тебя изначально, Костичек, а теперь ты наконец ненависть его обосновал и оправдал.

Геля. Мать твоего сына.

Она стоит в дверях, держа на руках твое дитя, а ты стоишь в прихожей, вооружен двумя жандармами, их винтовками, касками,

1. Извольте, свой долг я здесь исполнил (нем.).

портупелями и подсумками. Портупей через плечо. Штыки спят в ножнах. Я мог бы их разбудить.

Юрчик у нее на руках. Ясные кудри. И мордашка, которая медленно сморщивается в огромную рану плача, рану в твоем животе и в твоей голове.

— Костек?.. — Геля не верит в жандармов, не верит, что ты явился в квартиру ее отца с двумя немцами в мундирах.

А ты хотел бы, чтобы она знала, чтобы понимала, что ты не настоящему с ними, ты с ними только как бы, ты не немец, ты агент организации, ты боевик, ты польский солдат, затаившийся в засаде.

Но знает ли она? Она-то знает. Знает. Ты сказал ей, а она была готова принести эту жертву. Согласна стать женой ренегата. Юрчик растет без отца. Нет у меня больше мужа, говорит всем Геля, мой муж умер, останусь вдовой навечно, говорит она, но она-то знает, что после победы все выяснится, все будет сказано, правда станет явной и будет известно: герой, не ренегат. Герой, который готов был принести в жертву нечто большее, нежели жизнь, герой, который готов был принести в жертву свое доброе имя. На специальных лекциях будет он, Константин Виллеман, подпоручик Константин Виллеман, капитан, полковник Константин Виллеман, рассказывать, как в течение этого года или двух шел он на то, чтобы считаться предателем и ренегатом, на службе у польской Победы, а она будет сидеть в первом ряду и хлопать bravo, а на других стульях рассядутся другие женщины с глазами на мокром месте, интригуя, как бы отнять такого великолепного героя у этой статуарной Гели. Будут слать ему записки, а он, герой, не станет даже читать их и укатит с Гелей на сияющем быюике, на банкет в Адрии, к примеру на банкет в его честь, и будут там, к примеру, пан президент и первая леди. И его, к примеру, сделают министром. Министр Константин Виллеман, в знак признания воинских заслуг, исключительной храбрости и отваги, первый из сынов родины. Первый?

Значит, она знает, должна знать. И она поймет, она должна понять, что я заявился сюда с немцами, поскольку не мог иначе, ради правдоподобия, и да, уважаемые дамы и господа, я помню тот ужасный миг, когда он явился в нашу квартиру с двумя немецкими солдатами, мой отец, который ничего не знал, я так боялась, что у него может случиться нервный приступ, но я-то не могла сказать даже отцу, и это было, дамы и господа, столь ужасно, когда он явился с немецкими солдатами в нашу квартиру на Подвале, но я знала, я-то знала, все время, и я замяла дело. Знала.

— Убирайся! — кричит Геля, Юрчик плачет.

Ее крик выталкивает тебя из прихожей. И плач Юрчика. Но ты борешься.

— Я только хотел повидаться с Юрчиком... — стонешь тихо.

А она ставит ребенка на пол и закрывает за ним дверь, заслоняет ее своей спиной и идет к тебе, не боясь жандармов, а знает ли? В ее глазах тебе видна только ярость, ярость матери и ярость полячки, она не подмигивает понятиливо, она не шепчет тебе на ухо слов понимания, о нет, отталкивает тебя с великой силой, Геля, возмож-

но, даже сильнее тебя, ее, в конце концов, хотел лепить Торак, ее могучие плечи пловчихи, мускулы почти как у мужчины, обе ладони бьют тебя в грудь, как буфера поезда, и ты отлетаешь назад. И уже знаешь, что будет самым ужасным последствием мужества, какого исполнена твоя Геля.

Жандарм, что постарше, делает жест рукой. В конце концов, это его долг, он твой пес, должен охранять своего хозяина, и винтовка вдруг мертво повисает на левой руке, а правой жандарм делает жест, не слишком широкий, но четкий, будто показывая квартиру наносящим визит гостям, *bitte, und hier haben wir den Salon*¹, и тыльная сторона ладони бьет твою сильную Гелю в лицо, в правую щеку, бьет, будто слегка мазнув, а Геля скручивается как в пируэте, будто кто-то взял ее за голову двумя огромными пальцами и закрутил, как Юрчик крутит волчок, и голова крутит позвоночник, позвоночник крутит бедра, и в этом пируэте, роняя в воздух и на стену следы крови из разбитой губы, Геля падает.

И в этот миг вы оба бросаетесь к жандарму, ударившему Гелю, вы оба, ты и старый Пешковский. Младший жандарм торчит на месте, а я на вас гляжу, на всех, сверху, я парю над вами, я.

Пешковский успел к жандарму первым, но жандарм ведь не ты, и, пока Геля падала, приклад винтовки вернулся в его правую руку, с Пешковским жандарм не обходится с той же элегантностью, с какой обошелся с Гелей, Пешковского жандарм ублажает прикладом. Краткая дуга над бедром, стянутым ремнем и овитым шинелью, над жандармским бедром, по диагонали вверх, и приклад бьет Пешковского в челюсть.

Евгеническое жвало стиснуто гримасой того самого бешенства, каковое сощурило познанские глаза, того самого, каковое вызвало спазм больших скуловых мышц и мышц, управляющих верхней губой, обнажив стиснутые зубы Пешковского.

Через эти стиснутые зубы энергия удара пошла выше, раздробив пару коренных и погнув один золотой, прошла выше и встряхнула мозг, и пал Пешковский подле своей гигиеничной дочери, пал на бордовую дорожку, укрывающую стильные дощечки дубового паркета, пал Пешковский бездыханно, пал по чести, без обмана, пал по роли он отцовской, пал Пешковский, совершив то, о чем от века грезил, коли так судьба решит, будь любезен, пал Пешковский от руки тевтона, вне игры арбитр, конфликт обнулен, ибо Пешковский разбит, а Геля лежит и плачет, Константин к ней как мячик, хотя это с его подачи все вышло так, а не иначе.

А я гляжу сверху и куплет напеваю, серо мое бытование, мелко мое бытование, мое бытование скромно и вашему неровня, я над вами и в вас, я зла, я яростна, кровь на губах неразбитых, кровь на руках неомытых, ни вин, ни долгов, ни жалости, ни любви, я гляжу и все вижу, а вы всего не видите, хоть вглядываетесь как нужно, не ви-

1. Прошу, а здесь у нас гостиная (нем.).

дите, а я вижу спазмы мышц и твой бессильный ужас вижу, Костичек, вижу я ужас Константина и спазм мышц в лице Пешковского, и чую мозг его тоньше, нежели чувствует он сам, так жутко знать, что мозг есть в тебе, Костичек, верь мне, не так жутко знать, что в тебе есть железы, одним лишь впрыском своего жуткого яда они из тебя творят зверя бешеного или загнанного, выжгут людскость твою, и ты побежишь, как за сукой кобель, вцепишься кобелем в горло, когда глаза твои застит красной мглой злорадия, и бросишься землю рыть как крыс, как крот, как червь, когда глаза твои застит черной мглой стыда, и ты издашь рев и хрип, сродни реву и хрипу зебры в пасти льва, когда твои глаза застит белой мглой страха, и рот ты так широко раскроешь, так широко раскроешь глаза и, может, тогда ты человек, Константин, когда побежишь, как за сукой кобель, к своей Саломее, когда ты весь как один каменеющий пах и все, чего ты жаждешь, это ее промежность, словно целого мира нет, и рот ее, словно весь мир исчез. Не может, не может, Константин, я знаю: нет у меня ни желез ни мозга ни тела ни души ничего у меня нет и меня нет, поэтому знаю, Константин, знаю, тогда ты человек, ты вынул у толстого Тумановича око, потому что иначе не мог, только око и только рык его животный, но человеческий, потому что вот в этом вы вправду живете, Константин, ты и тебе подобные, плоть от плоти.

Жандарм, что помладше, сдерживает меня, обняли меня его крепкие немецкие руки, будто лаская, обняли меня вместе с моими руками, жандарм помладше кричит, за дверями воет Юрчик.

— Мама, мама, мама, мама! — кричит он в ужасе.

Жандарм, что постарше, это сплошное презрение. Он презирает меня. Пешковского не презирает, женщину, которую ударил, не презирает, меня же — наоборот.

А знаешь ли ты, Костичек, что будет дальше?

Ты знаешь.

— Raus hier, raus, ihr Schweine!¹ — кричит Геля, вставая.

— Raus! — подтверждаешь ты.

Да и жандармы подтверждают, raus, мол, коли raus, так raus, мы выходим, выходим, идем, почему бы и нет, конечно, во всем этом нет никакого смысла, пришли, поцапались, ушли, но разве в мире приказа и послушания есть какой-либо смысл? Как правило, нет, так что идем, а как же, винтовки презрительно на плечо и идем. И я тоже иду.

Уже на улице Подвале я их отсылаю. Они уходят, презирая тебя так, что презрение их сообщится выше, они поведают о происшествии, поведают какому-то своему офицеру или фельдфебелю, тот передаст дальше, и презрение в упаковке презрительных ухмылок и презрительных взглядов, презрение к тебе потечет от человека к человеку разом с отчетом, как микроб какой-нибудь чумы, очередной референт этих слов станет копировать всё те же презрительные губы и взгляд, оно наконец достигнет твоей матери, Костичек, Орлицы, а

1. Вон отсюда, свиньи, вон! (Нем.)

от нее вернется к тебе умноженным, экспоненциально возрастающим с каждым носителем, вернется к тебе это презрение жандармов величиной с немецкий линкор, а уходило не крупнее штыка на боку у жандарма. И что ты будешь делать, ничего не будешь, ты мог бы задушить его в зародыше, убив сразу их обоих, но у тебя даже пистолета нет.

И вот стою один.

Добрый господи боже черный боже, что со мной будет? Знаешь, что будет.

Тебя убьют. Застрелят, это убойное зерно уже легло в земле, его вот-вот оросят, оно взойдет и будет жить, цветы ядовитым выюном, что в конце концов коснется тебя и убьет.

Но ты не думай об этом, любовь моя, не думай, ты чересчур много думаешь, живи, просто живи, бездумно живи.

Иду. Не вижу города. Вижу людей или, точнее, их тени, поляков, евреев, немцев, но прежде всего тех, что могут быть кем угодно: ведь порой с первого взгляда видишь: вот немец, вот поляк, вот еврей. А тот пан в коричневом костюме, светлом пыльнике и богатой шляпе, поляк ли он, на которого социальная деградация еще не наложила свою печать, или зажиточный немец, чиновник или тайный агент полиции, или деловой человек, или он, быть может, ополченный жид, ведь и среди жидов можно наткнуться на обладателя столь рослой фигуры, или белогвардеец, или, скорее, большевистский шпион, или венгр, или, может быть, финн?

Но ведь и в немецком мундире не обязательно немец. Не обязательно, Костичек, не обязательно, только не переживай, иди, просто иди, до комендантского часа еще далеко, к тому же у тебя ведь немецкие документы, никто тебя не обидит. Ступай.

Мостовая, рваная мостовая, грязь, бреши от бомб, воронки засыпанные, жидок с заступом перелопачивает песок почем зря, самопальный рикша, телега-трамвай, лоток с самокрутками, извещение, доскать, продажа фабричных сигарет и самокруток строжайше запрещена, немецкий патруль смотрит на меня свысока.

И я не знаю, тешиться ли мне их высокомерием, ведь они видят во мне поляка, или это должно меня тревожить, я-то не прочь сказать им: Mistkerle! Ich bin ein genauso guter Deutscher wie ihr, ein noch besserer als ihr! Mein Vater ist Graf, Ritter, Kriegsheld und wer sind eure Väter, ihr Arschlöcher?¹

Дырки от задницы.

В моей дырке от задницы жжет. Я чутка подпустил от переживаний, теперь жжет, паприкаш тягостно продрался сквозь пищеварительный тракт, и его специи жалят нежную кожу вокруг ануса.

Нужно домой, вымыться, сделать с собой что-нибудь.

Иду, взгляд скребет землю, иду галереей грязных ботинок. Большею частью не навакшенных, на дворе война. Война, даже закончен-

1. Мерзавцы! Я точно такой же немец, как и вы, а то и лучше вас! Мой отец — граф, рыцарь, герой войны, а ваши кто отцы, говнюки? (Нем.)

ная, освобождает от диктатуры ваксы. А вот коричневые полуботинки под серыми брюками прошли мимо. Ботинки на шнурках, в самый раз для прислуги, над ними чулок толстый и бедный, петелька не вчера спущена. Мужские черные, без шва, грязные очень туфли и старые, фабричные, не на заказ. Ботинок туриста, лыжник, наверное, гордо бежит за границу, биться за Польшу, над ним клетчатый носок, над ним брюки-гольф, выше я не смотрю, пока не прилетает вдруг мина из слюны и не падает под ноги, наверное, кто-то узнал меня и харкнул себе храбро, я не поднял глаз, хотя клетка носков и цвет брюк подсказывают пару имен, но не хочу о них думать, снова полуботинки скверные, потом боты бесформенные мужские растоптанные в трещинках, шнурки в бугорках, узелках, зимы не выдержат, как их ни щади, лодочки женские, очень хороши, хоть и замараны, ножка над ними ничего себе, но глаз не поднимаю выше колен, колени под юбкой, не время, башмаки, башмаки, шины велосипедные, копыта лошадиные, шины автомобильные, вид разбитой, раздолбанной мостовой, перерезанные трамвайные рельсы и сапоги, сапоги, сапоги, не поднимаю глаз, улицы и площади и снова улицы, час, долго, ноги болят, не поднимаю глаз, курс прокладываю по памяти, но не плутаю, и так до самого моего угла, Пулавской с Мадалиньского, лестничная клетка из шоколада, звонит, по ступенькам, звонит, дверь, звонит, квартира, дверь за собой запираю, звонит, звонит.

— Яцек? — спрашиваю я серость квартиры. — Ига?

Тишина. Перестал звонить. Они ушли. Снова звонит. Конечно, пошли себе, чего им ждать? Звонит.

Сажусь за кухонный стол. Что там в кармане?

Лошадь Юрчика. И джигит. Не отдал ему, когда же мне было от-
дать?

Ставлю коника на стол. Усаживаю джигита в седло. Звонит. Езжай, джигит, коника своего кавказского вскачь пусти, скок со стола на стул, скок со стула на пол, по лестнице на улицу, на Мадалиньского, по Пулавской и вверх, площади звездчатые и Маршалковская под деревянными копытцами, в конце концов доскачешь до Подвале и моего Юрчика, вот мальчишечка порадуетя.

Почему я не отдал ему лошадку?

— Алло! — заорал в трубку.

Когда это я взял трубку, не знаю, не вспомню, не помню, чтобы я ее брал, сижу себе за столом и вдруг рычу в трубку.

— Пятьдесят семь? — спрашивает Инженер.

— Шесть... — поправляю я машинально.

— Да-да. Будь завтра в квартире на Спасителя. Утром. В четыре тридцать.

Конец. Больше не звонит. Ты завел будильник, послушно завел будильник, чтобы в послушании этом обрести утешение, достоинство и человечность, но нет человечности.

В одежде, в обуви, с лошадкой в одной руке и джигитом в другой, ты уснул. Мой несчастный, мой дорогой, мой милый, смешной, скверный, маленький Константин.

Звонит. Будильник. Темно. Какого?

Площадь Спасителя. Инженер.

Вскакиваю. Ванная. Свет? Есть. Вода? Есть. Горячая? Она. Бриться: кипяток, крем, пена, жиллет, пена, жиллет, холодная после бритья, квасцы на порез под носом, пакостный порез под носом. Туалет, весь цикл. Зубной порошок? Вот. Щетка. Бриолин? Нет. Щетка. Пригладить волосы. В зеркале — ненависть.

Кухня. Еды — нет. На часах? Время.

Надеть. Плащ.

Не думать. Дверь — на два оборота.

По ступенькам. Вниз.

На улице комендантский час. Дня — нет.

Пешком. Улицами и площадями. Фонарей — нет.

Еще не дойдя до квартиры Лубеньской, судорожно зажмуриваешь глаза: не видеть этого мира, не видеть людей, новенькую Kennkarte патрульному, солдат вежливо салютует и говорит что-то, предупреждая участливо, но ты не слушаешь, он уходит, а я за тобой, Костичек, вечно за тобой, даже когда ты идешь такой развалиной, такой колдобиной, как ныне, когда ты такой слабый, дурной и злой, как нынче, когда в мозгу у тебя одна надежда на что-то, вот на что только, на что вообще ты еще надеешься, Костичек, что рассосется само, теперь, после того, что случилось?

Ты этого не знаешь, любовь моя, но кое-чему уже дан ход.

Уже определилась динамика событий, никому пока неведомая, поскольку впервые имеет место быть, и людям, вовлеченным в нее, пока неведомо, что они движутся в рамках очень специфичной орбиты, им, возможно, кажется, что действуют в одиночку, действуют, ибо так хотят, ибо так изволят, ибо так должны. Не знают, что мои сестры ведут их.

Та конкретная динамика воцарится в этом городе на добрых пять лет, Костичек, в конечном итоге ее начнут постигать, некоторые по крайней мере, но следует ли отсюда, что, зная ее, они смогут ее одолеть? Противостоять ей?

Нет.

Ах, Расскажи она об этих сомнениях своему отцу, что бы это изменило? Был бы он поколеблен в намерении, уже посеянном в нем, уже проросшем и уже взвивающемся кверху, медленно, но неуклонно?

Мог ли он поколебаться; я не знаю, темна вода сия для меня, ибо Геля решила в итоге, что ее сомнения останутся ее личными сомнениями, что тайна, в которой она поклялась мужу, важнее ее покоя или покоя, так что она молчит.

А рядом, на кухне, сидит старый Пешковский со сломанной, временно подвязанной челюстью, сидит, молчит и только изредка гладит светлую головку своего внука. И думает евгенически, сколько твоей паршивой германской ублюдочной крови течет в Юрчике, его

Юрчике, ни слова по-немецки не знающем. Эндеки в кровь не верят, не писалось о крови в “Просто с Мосту”, ни у Мосдорфа, ни у Добрачиньского, ни у пана Романа, так он себе говорит, нация есть общность культуры, истории и земли, а не крови, разве у Мосдорфа польская фамилия? Есть Мосдорф, может быть и Виллеман. Еще дед Мосдорфа был обычным головерцем, а молодой — хо-хо! Так что никакой крови, говорит себе старый Пешковский, кровь неактуальна, важно воспитание, важна культура, а как он, подлец Виллеман, влиял на воспитание Юрчика, никак не влиял, Пешковский хорошо знает, чем Виллеман занимался до войны, никакой работы, обществу не служил ничем, одни шлюхи да кафе, водка да наркотики, если бы он творил хоть что-то, но те его бездарные рисунки ничего не стоили, дома он не бывал и изменял, изменял его прекрасной гигиенично евгеничной дочери, со шлюхами изменял, все знали, только она не знала, а Юрчика не воспитывал, Юрчик ихний, кто ты маленький поляк орел белый вот мой знак отчизна нам кровь и шрам любишь сильно даже больше во что веришь верю в Польшу.

Так что сидит он и думает, глядит на внука, глядит на лицо дочери в синяках, и растет в нем некая особая ненависть, слишком умная и слишком спокойная, чтобы давать волю неразумным порывам.

Так что Пешковский не бьет кулаком по столу, не крушит тарелок, не хватает ножа и не бежит за тобой к дому из шоколада, Пешковский гладит светлую головку Юрчика Виллемана и глядит на лицо Гелены Виллеман дома Пешковских, и она олицетворяет для него Польшу, он зачал ее со своей женой, почти не существующей, и создал ее всю так, как создал свою Польшу, и Гелена Виллеман на самом деле есть Польша, она не аллегория ее, она ее воплощение, Польша есть в ней, как Христос присутствует в Евхаристии, хотя старый Пешковский не верит в Христа, совсем не верит, не из того поколения старый Пешковский, Пешковский верит только в Польшу, его эндецкость современна, ну, чутка старовата, так что он много думает о своей молодости и глядит, глядит на метку от руки жандарма на лице своей дочери-Польши, и растет в нем мудрая ненависть.

Поэтому Пешковский наконец встает и тянется к телефону, но телефон не работает. Бросив взгляд на часы, решает, что пора, поэтому говорит Геле, что идет, и та спрашивает, не лучше ли сначала врача, но старик и знать не хочет врача, тело должно подчиняться его железной воле, поэтому он одевается, пристегивает к рубашке воротничок, повязывает галстук, закалывает булавкой, надевает жилет, даже снимает с запястья наручные часы, в кармашек роняя золотую луковку, на память, многолетнему, двадцать пятой годовщины, с уважением, Роман Дмовский. И пиджак, дергает, оправляя, лацканы, насколько же иначе одевается этот вымесок из ниоткуда! Виллеман одевается вызывающе, Пешковский хочет быть одетым как следует. Речь не о том, чтобы быть красивым. Вопросы мужской красоты не трогают Пешковского. Никак не озабочен он эстетическим видом своего наряда, одежда должна быть чиста, отглажена и под стать

ситуации, платье должно отвечать: положению социальному, ситуации социальной, одежда есть мундир гражданского, поэтому сейчас Пешковский застегнет пуговицы своего гражданского мундира, наденет пальто, застегнет пальто и выйдет в Варшаву, она никогда не была ему по душе, урбанное выражение всего, что ненавистно ему в Польше, ведь Польшу Пешковский любит любовью пана Романа, поэтому ненавидит ту, что есть, любя лишь ту, что могла бы быть, создай ее такие люди, как он, люди стальной воли, воли, развитой в тысяче малых упражнений и воздержаний, сверххранний подъем, ультрахолодный душ, мало еды, не проявляй чувств, молчи, когда хочешь сказать, сноси унижения молча и помни их вечно, не отдавай сердце женщинам, лучше не имей сердца вовсе. Ему мерзят однопартийцы, они даже не силятся быть такими.

И о Варшаве не лучше мнит Пешковский, ему видны уже зачатки того, чем станет град сей на ближайшие четыре года, пока не рухнет. Видит, как сожительствовать будет с немцами, в то же время сжигая себя в борьбе, и знает, знает, мудр вельми Пешковский, поэтому знает, что так уж оно нонче будет, блядство непотребное и героизм непотребный, и знает даже, что он, познанский эндек и гигиенист, вскоре станет частью этого бреда, имманентной, неотъемлемой.

И, пока он идет через город, вам удастся разминуться на весьма малое расстояние, потому как, пока ты идешь по Пулавской в сторону Спасителя, он едет на телеге, держа руки на коленях, едет с пролетариатом с севера на юг, только ближе к Висле.

В итоге добирается до квартиры, в которую стремился, звонит в дверь, и отворяется ему, его зовут внутрь, потчуют чаем и усаживают в кресло за круглый стол, накрытый кружевной салфеткой, и спрашивают о цели визита, и тот, кто его спрашивает, понимает, что старый Пешковский не пришел бы, когда бы его приход не имел повода, тем паче слушает с большим вниманием. Они знакомы давно, еще с войны с большевиками.

А кто слушает?

Слушает тот, у кого есть причина слушать, Костичек, и если бы ты только знал, кто слушает, задрожал бы.

Слушает некто, носящий громкую фамилию, ты знаешь эту фамилию, а недавно он добавил к фамилии ряд псевдонимов, а кроме псевдонимов также функцию в организации, которая сейчас называется Служба Победе Польши, но жить ей недолго, спустя три недели улетит в Париж и исчезнет, плохой вождь узнал о ней прежде хорошего вождя с птичьей фамилией, поэтому в Париже ее распустят, а на ее место явится организация с более грозным именем Союз Вооруженной борьбы, не сразу опознанный его субъектами, но дела до того событийной динамике нет. Ей не интересны вывески и должности, интересна лишь цепь неозвученных миссий, передаваемых взглядами, передаваемых их общим сознанием, посредством рукопожатий, никто не принимает решения, решение принимается само по себе, задолго до того, как некто правомочный подпишет некую бумагу, данное решение выражающую формально.

Итак, старик Пешковский говорит. Сеет. Тот, кто слушает, верит Пешковскому. Верит уже двадцатый год подряд. А тот говорит.

Се есть человек, Константин Виллеман, и это ты, Костичек. Се, вполонину немец, а может и целиком немец, ведь неизвестно, кем считать твою мать, чей немецкий в любом случае лучше польского. И человек этот соблазнил его дочь, и чуть было не уклонился от уз брачных.

Обоим, говорящему и слушающему, известно, что это неправда, никто никого не соблазнял, но исторической логике потребна овая малая ложь, дабы история, что представляет собой ветвящийся отросток динамики, о которой я твержу, была подлинной. Оттого Пешковский и намащивает свои зерна, имеющие взойти в сей малой лжи.

Да, само собой, он упомянет и то, как ты воевал весь сентябрь, упомянет в эдаком нейтральном тоне, что подкрепит его риторику, придав ей объективный характер, ну да, воевал и ладно, награжден орденом, всё тот же тон, тембр голоса подкрашен деликатным сомнением, деликатное сомнение не менее полезно в такой ситуации, нежели отрицание, значит, награжден орденом, а кем награжден, в какой связи наградили, мало ли мы слышали рассказов о том, как раздаются ордена иным людям?

А после расскажет, как ты дезертировал перед капитуляцией. Иногда, кроме мелких неправд, иногда, в придачу к сомнению, столь же полезному, что и полное отрицание, ростку истории скармливается крупная ложь, ты, Костичек, сказал бы: махровая. Лишь бы эта махровая, крупная ложь касалась случившегося как бы походя. Итак, ты на самом деле покинул часть перед самой сдачей? Да. И хватит, the rest is интерпретация.

Смысл? Пускай твоя национальная трансгрессия обретет конкретную драматургию, а так как ренегатство не является *deus ex machina*, ружье должно висеть на стене уже в первом акте, даже если этот акт *post factum* запаздывает.

Пешковский ни о чем таком не знает, но инстинктивно чувствует. Чувствует, поскольку сестра моя им уже занялась, он в ее власти, а уж она знает, что делать, дабы зерно, посеянное в генерале из Службы Победе Польши, стократ дало плод.

Поэтому говорит так, как следует, с необходимым надрывом, дойдя наконец до сути. То, что ты, Костичек, был замечен в Немецком Клубе, то, что ты принял кенкарту, суть ерунда, суть проступки, однако такие, какие генерал единственно внес бы в реестр заслуживающих кары проступков, когда уже довольно послужится победе Польши, и се мерка, по которой выкроются следующие четыре года.

Но не об этой динамике речь. Итак, сейчас из сухих гигиеничных отшкуренных некурящих и непьющих уст Пешковского падут те самые капитальные слова, пуант: вот ты приводишь в их дом жандармов, вот ты велишь жандармам тешиться твоей польской женой, вот с удовлетворением наблюдаешь, как жандармы избивают прикладами твоего польского тестя, а всё ради того, чтобы вы-

рвать польское дитя из материнских рук, всё ради того, чтобы забрать его и превратить в немца.

— А разве забрали? — спрашивает генерал, следующее после Пешковского звено нашей динамической последовательности.

Пешковский отвечает, нет, не забрали, мать заслонила собственной грудью. Это важно, грудь олицетворяет собой не одно только материнство, но также эротизм, а патриотическая история, жаждущая отмщения, немыслима без элемента эротики. Итак, заслонила собственной грудью дитя, продолжает Пешковский, а ты, круглый дегенерат, ты, Костичек, охотно надругался бы над телом ее и жизнью, но это было бы слишком для обычных жандармов, пусть немцев, но, даже будучи немцами, не утративших той прямой элементарной порядочности простого человека, которая не позволяет обижать мать на глазах ее ребенка, и они, немцы, не исполнили твоих злодейских приказов и ушли, не забрав дитя навстречу гибели, оставили с матерью. Так человечность, теплящаяся в любом простом человеке, одержала в них верх над тевтонским варварством.

Генерал слушает. Генерал не носит мундира, генерал гордо ходит в гражданском, которое ему не к лицу, пиджак чересчур широк, брюки коротки. Генерал красивый, вальяжный мужчина. Он отнюдь не эндек, с эндеками ничего общего. Генерал состоял в ППС-Революционной фракции, носил на груди офицерский знак “Парасоль”. Был легионером, хотя в отличие от большинства своих будущих коллег, легионных политиков, имел четкое, пускай и ограниченное понятие об армии, поскольку окончил австрийские курсы офицеров запаса.

Генерал является также масоном высокого уровня посвящения. Является клириком Либеральной католической церкви, хоть сам не верует и не сознает, что сан, который он принял из рук англиканского ксендза, из любопытства, отчасти дурачась, отчасти для артистичного эпатажа, сан этот выжег на нем клеймо, серая жреческая дымка курится над ним, и генерал, хоть и неосознанно, открыт таким, как я, открыт моему миру. Наверное, оттого легко находит общий язык с моей сестрой.

— Там за стеной живут четверо из Geheime Staatspolizei, — говорит с сильным львовским акцентом. Но, конечно же, не как батяр, генерал ведь шляхтич, а не львовский рахубник. Рахубником был Туманович, ему ты вырезал глаз, и глаз этот тебя не так уж нынче беспокоит, когда идешь по Маршалковской, идешь себе, улицы и площади и картон и записки и хлам и сапоги, сапоги.

— Там за стеной живут четверо из Geheime Staatspolizei, — говорит генерал Пешковскому, пока ты идешь себе в Мокотов. — Один заболел гриппом, но они не могут лечиться у польских врачей, а немецких еще не доставили. Я его вылечил, и за молчание, нате пожалуйста, получаю карбюратор от шевроле, без которого он бы у нас не поехал.

Старый Пешковский слушает, кивая головой, с довольно равнодушной учтивостью, разглядывает дозатор газа, словно невесть какое чудо, попивает чай, чай подан в тонком прозрачном фарфоре,

узор петелек в нитяном кружеве скатерти как мандала, нестираемая, на ветру не рассыплется, зато в огне сгорит.

Пан генерал, бывший пилсудчик, санатор и вообще свинья, все-таки поляк, поляк что-нибудь да значит, именно нынче, нынче особенно, ненависть Пешковского к тебе, Костичек, сильнее ненависти к пилсудчикам, санаторам и прочим свиньям, что после майского переворота расселись по Польше жирными масонскими жопами. Пешковский знает, что генерал является масоном, но вряд ли это важно.

Пешковский верит генералу. Вряд ли это важно.

Важно, что уже завертелось то, чему должно вертеться, динамика событий важна. Уже генерал услышал то, что имел услышать. И этого уже не заластишь. В противном случае какой из него герой, если не попытается хотя бы воздать за столь явное насилие над польским духом?

Когда же посланец из Парижа выставит генералу счет за то, что был он санатором, точнее говоря, “санационной свиньей”, как определил бы Пешковский, только в иных выражениях, и ликвидирует Службу, создав на ее месте Союз, в котором генерал будет отвечать за львовский округ, неумолимая череда событий уже грянет и подобьет те пять лет, что у вас впереди. Генерал дернется за границу, в советский Львов, но чему бывать, того не минуешь.

Пешковский встает от чая и от кружева, жмут друг другу руки, поляк поляку, эндецкий сокол санационной свинье, и вот уже расходятся, Пешковский идет себе к Старому Городу в новый дом, функциональную каменицу, простую и скромную, а генерал возвращается уже к своим делам, кланяется солнцу, хоть его и не видно, садится за работу, и дела идут.

Их нет еще, оттисков на бумаге, махина, которая держится на плечах моей сестры, еще не имеет своих печатей и подписей, но вскоре она разживется подписями и печатями, всё-то у нее скоро будет, и тогда твоя фамилия с титулованьем мерзавец оттиснется на бумаге, и двинутся бумаги своей тропой, потом будут комедия и трагедия, процесс, приговор, пистолет, врученный старшим офицером младшему сразу после того, как тот присягнет, и только тогда все начнется, сестра моя покуда не спустила ненасытность свою с поводка, не глотает покуда младенцев, а тот младший офицер, между прочим, врач, — сунет пистолет за пояс, в брюки, холодным дулом прямо в яйца, и отправится на встречу, а когда все будет позади, ощутит такое острое желание, что пойдет к блядам, хоть прежде никогда не ходил, положит пистолет на ночной столик в комнате, липкой от телесных выделений, и станет спариваться с безразличной курвой, вбивая железное изголовье койки в ветхую штукатурку, круша и кроша ее, пока желтые крошки не просыплются на старые доски пола, каждая крошка как чья-то судьба в наших, в моих руках. Моих и моих сестер.

Можешь ли как-то это остановить, можешь что-нибудь сделать? Ну да, конечно же, можно начать множить контр-документы с контр-печатами, быть может, Инженер вступит в игру, предостережет,

опровергнет, курьерами без устали в Париж и обратно, высшие инстанции поддержат, сам Сикорский придаст документам и контр-документам, печатам и контр-печатам тот или иной вес, но чтобы ты начал, тебе пора почуять черную тень моей сестры, лежащую на тебя, а ты не чуешь, поскольку дураковат, ничего не знаешь и не узнаешь, когда вот так идешь к площади Спасителя на черном рассвете черного дня черной години в черном краю, а когда взойдешь по лестнице, откроет тебе Лубеньская, которую когда-то еще обнимет юноша с кинжалом Ферберна-Сайкса в руке.

Ведет тебя в гостиную, там Инженер в креслах.

— Пятьдесят Седьмой! — обрадован твоим приходом.

Усаживается.

— Не начинайте без меня, — крикнула с кухни Дзидзя Рохацевич.

Крикнула, и вдруг ситуация полностью изменилась. Зачем здесь Дзидзя Рохацевич, что ее сюда привело, почему именно она?

С Инженером. С Лубеньской.

Радуешься, что она тут.

Что в ней было такого, что радуешься? Часто ли ее видел? Много ли слышал? Да почти ничего. Что ты в ней нашел? Я знаю, ты не знаешь, оттого мне тревожно, тебе нет.

Вошла с подносом, на нем чайник с чашками. Вспархиваешь с кресла, кавалер несчастный. Яд во плоти эта Дзидзя, ходячее издевательство в женском теле.

— Заварила чай, — с нажимом возвещает очевидность.

Ставит поднос на столик. Садится в кресло, возле Инженера. Не красotka, зато хороша необыкновенно. Длинный нос. Худоба. Ласточкины крылья ладоней. Лубеньская на диване напротив.

— Пятьдесят Семь, пани Дзидзя остановится у пана. Должна кое-что сделать в Варшаве, — говорит Инженер, сияя.

Остановится у меня Дзидзя. Смотрю на нее. Усмехается ядовито. “В постель с такими, как ты, не ложусь”, — говорит ее усмешка.

— Так точно, — отвечаю.

— Завербовал этого доктора? Ростаньского? — спросила Лубеньская.

Изобличающим тоном.

Я не ответил, гляжу с вопросом на Инженера. И Дзидзя на меня одобрительный взгляд бросила. Поставил себя, а как же. Такой хват, не спасовал перед старой шляхтой.

Инженер же ни слов Лубеньской не слышал, ни моего вопрошающего взгляда не замечал.

— Слыхал я о том деле у Пешковских, — сказал спокойно.

Я насторожился. Напрягся. Дзидзя смеется, нос ее длинный целит в меня, будто пальцем тычет.

— Весьма сим доволен, — продолжает. — Легенда, согласно которой ты немец, теперь подтверждена совершенно. Комар носа не подточит.

Встал с кресла, обнял себя за плечи и прохаживается по комнате, смотрит в пространство перед собой.

— А это нам в высшей степени необходимо. В высшей, — повторил всем и никому, себе самому. — Токаржевски-Карашевич организует Службу Победе Польши, уже какие-то каналы в Париже, но все это дурь, дурь. Не понимают одного: войну немцы выиграли.

Застыл на миг у окна, глядя в темноту, будто мог в темноте той что-то увидеть.

— Выиграли, — еще раз. — Это не значит, что нам пора сдаться. Но они выиграли. Мосцицкий не хотел моих моторов, моих батарей, ничего не хотели, ну и проиграли.

— Война не проиграна, пока жив хоть один поляк с горящим сердцем, — провозгласила Лубеньская. — Что ж пан такое говорит, а, пан Стефан?

— Чушь, чушь — пробормотал Инженер.

— Прошу прощения?!.. — вскинулась хозяйка и даже встала с дивана, словно собираясь требовать от Витковского немедленной сатисфакции.

Но тот не обращал на нее внимания. Упорно вглядывался в темноту.

— С немцами нужно поладить, — шепнул в оконное стекло.

— Пан Стефан, — гробовым голосом Лубеньская выстудила в помещении воздух. — Прошу прекратить, это звучит как измена. Ибо Франция, Англия...

Инженер по-прежнему стоял, вглядываясь в окно, сплетая и расплетая на плечах короткие пальцы, будто перебиравшие дюжину четок одновременно.

— Инженер! — понесло Лубеньскую. — Наше правительство во Франции организует армию, управления, весной будет война, которой немцам не выиграть, ибо линия Мажино, английский флот... Французы пойдут на Берлин, Сикорский с ними. Как пан может...

— Пожалуйста, многоуважаемая! — рявкнул внезапно Инженер, даже не обернувшись к ней. Все в комнате дернулись, будто их кольнули булавкой, лишь Дзидзя не пошевелилась.

— Измена, измена, кругом у них измена! Она и ей подобные просрали Польшу, а теперь измена, измена. Сама ты измена, черт тебя дери! — выплюнул злым и острым шепотом, так что Лубеньская могла делать вид, что не расслышала.

Дзидзя начала хохотать, по-мужски громко, откидывая назад голову, заходясь в смехе с широко открытым ртом. Некогда моя мать запрещала мне так смеяться, но нынче нет ее, нет Белой Орлицы, так что смеешься вместе с Дзидзей, громко, крепко.

Не стоит тебе с ней смеяться, однако смеешься.

Лубеньская колеблется. Могла бы закатить сцену, скандал, выгнать нас из квартиры. В конце концов, квартира-то ее. Но это шло бы вразрез со всем предприятием. Кроме того, отнюдь не казалось, что Инженер позволит себя запросто выгнать. Стало быть, лучше присоединиться к смеху.

Витковский не смеялся.

— Чтобы выиграть у немцев, нужно с ними поладить. Чем быстрее, тем лучше. Чтобы с ними поладить, нужно знать о них не меньше, чем они знают о нас. Пятьдесят Семь, ты наш сильнейший козырь. Снискал ненависть всех добрых поляков, и это прекрасно, а сейчас должен еще завоевать их доверие. Их, то есть немцев.

Лубеньская молчала, ты молчал, Дзидзя молчала, и даже Витковский вдруг замолк, аж сделалось тихо.

— Должен найти способ войти к ним в доверие. А как войдешь, должен обрести положение. Положение, которое даст тебе реальную силу и власть, Пятьдесят Семь.

— Я знаком с фон Мольтке. С послом фон Мольтке. Меня ему мать представляла, — говоришь, удивляясь собственным словам.

Лубеньская отворачивается к стене, сжав губы. Еще страшится подобных слов, очень. Это обоснованный страх: именно за такие слова, именно за такое течение событий, омывающее ее стопы, тело и душу, за то, что это течение никого и никуда не выносит, много лет спустя кинжал распорет ей живот, матку и продырявит почки и селезенку.

Не ведает этого; все равно страшится.

— Славно, славно с этим послом. Тоже с ним знаком, однако твоё знакомство важнее, ценнее, славно, славно. Что-нибудь придумаем, — говорит Витковский. — А может, отец твой?.. Впрочем, с матерью твоею, чудны дела...

— Чудны, — соглашаешься покорно.

— Инженер, — говорит Лубеньская. — Пожалуйста, расскажите о задании.

— Задание. Разумеется. Как уже сказал, нужно установить линию коммуникации с Будапештом. Был сигнал, что там уже должен находиться полковник Штайфер.

— Кто? — будто бы наивно спрашиваю.

— Штайфер, — Витковский глядит испытующе. — Не знает пан?

— Откуда бы.

— Понимаю. Но как бы то ни было, пан его отыщет. У него весьма обширные связи. Нуждается в нас, а мы нуждаемся в нем. Нужно войти с ним в контакт, причем быстро, пока тут не закрутили всех гаек. Поедешь пан как немец, официально, с документами, свяжешься со Штайфером, а он к тому времени уже продумает сеть коммуникаций курьерских через зеленую границу, с планами, тайниками и так далее, пан все это нам привезет, благодаря чему будем иметь стабильные каналы.

Ну что прикажешь делать, просто соглашаешься, соглашаешься, что еще остается.

Будапешт.

— Поедешь с Тридцать Третьей.

— Но у меня нет немецких документов, — протестует Дзидзя.

— Сделаем, сделаем документы для пани, сделаем. На данный момент остановится пани у Пятьдесят Седьмого, сделаем бумаги и в путь.

Так, — произносит Дзидзя. — Но теперь-то можем уйти, не правда ли?

То есть произносит то, чего сам я произнести не решился бы.

— Уйти? — удивился Инженер.

— Уйти. Отсюда. Тут слишком мрачно, — рассмеялась Дзидзя.

Лубеньская было вскинулась, без слов, но выразительно.

— Сделаю кофе, — сказала.

— Не для нас, мы уже уходим, — сказала Дзидзя во множественном числе, которое бесспорно относилось к ней и ко мне одновременно. Моего мнения не спрашивали, и хорошо, сейчас у меня не было мнения.

У тебя не было. Так что собрались быстро, ты подал Дзидзе пальто, надел свое, сначала лестничная клетка, потом молча по ступенькам, парадное, и вот уже, будьте добры, уже стоите на улице.

Ты и она. А ведь она мне не нравится, понимаешь?

Хрена ты понимаешь.

Было холодно, задувало, и было утро и площадь Спасителя, слегка подрихтованная закончившейся войной. А утро было разом солнечным и туманным, сверху солнечным, туманным снизу. И был мороз, на лужах корочка льда, первая в этом году. Улицами шел ветер, словно каждая из них была частью огромной помпы, нагнетающей воздух от Вислы и с мазовецких равнин. Костел выглядел как обычно, но немного помято. То есть теперь уже просто как обычно.

— Я бы выпила кофе. С коньяком, — сказала Дзидзя.

— У меня нет.

Старался говорить сухо. Дзидзю забавляло то, как я старался.

— У тебя нет. Невероятно. В кафе пойдем, дурья башка, есть же в этом месте какие-нибудь кафе, правда? К Лурсу, например, — смеется.

Сказала мне — или же обо мне — “дурья башка”, и я на мгновение замолчал, пораженный полной неадекватностью этих слов.

— В кафе нежелательно. Могут быть эксцессы.

— Боишься их? — спросила на удивление серьезно.

Я резко повернулся к ней, готовый взорваться, броситься на защиту своей личной храбрости, как вдруг заметил отсутствие пренебрежения в ее глазах.

— Это разумно, — и пояснила: — Трудно сидеть и пить кофе в окружении пары дюжин враждебных морд.

— А ты, Дзидзя... не бойшься, сев со мной за столик, себя... скомпрометировать?

— Я ничего не боюсь, — ответила все с той же серьезностью, с которой спросила меня, не боюсь ли я. Без укоризны.

Ты ей веришь, а это неправда. Боятся пары вещей, каждый чего-нибудь да боится. Но в смысле популярном это значит не бояться практически ничего, а ты ей веришь. Знаю: это начало перемен.

— Верю, Дзидзя. Однако я слеплен из другого теста.

— Однако пойдем-ка к Лурсу.

— Это необходимо? — спрашиваю неуверенно.

— Именно так.

Боюсь ее, Костичек. Боюсь этой женщины с длинным носом, ибо есть в ней что-то, чего не умею вывернуть наизнанку, не умею заглянуть внутрь, не понимаю, кто она.

Боюсь ее, боюсь этой женщины с долгим носом. Но в то же самое время каким-то странным образом доверяю ей, раз Лурс, так Лурс, пойдем.

— Возьмем машину, — сказала Дзидзя.

— Как это?

— Каком кверху. Машину возьмем, просто. Стоит на дворе, чего не попользоваться. У тебя же твои немецкие бумаги с собой?

— Инженер разрешит?

— Станем мы его спрашивать. Стоит машина, возьмем.

— А ключи?

Усмехнулась долгоносо, полезла в карман и звякает брелоком автомобильным.

— А багаж?

Пожала плечами.

— Я поведу, — улыбнулась лучезарно.

В этом я отчего-то ни секунды не сомневался.

Минуту спустя мы уже сидели под брезентовой крышей темно-зеленого шевроле. Master Deluxe, кабриолет, модель 1937 года. Красивая крыша цвета бронзы. Естественно, за рулем Дзидзя. С Кошиковой свернули на Мокотовскую, и вперед!

Дзидзя вела, как заправский гонщик.

Не нравится мне эта баба, Костичек, опасна эта баба, Костичек, боюсь я этой бабы, Костичек, долгого ее носа боюсь.

На площади Трех Крестов притормозила.

— Что такое?.. — спросил.

— Парадиз... — мечтательно.

— Ну да.

— Бывал здесь?

Ты, Костичек, бывал ли в Парадизе?

Проехали площадь, шевроле выбрался на Новый Свят, медленно, без писка шин и рева мотора, телепали на второй скорости, Дзидзя смотрела в окно, грезя. Это место всегда было важно для тебя, начало Нового Свята, в доме номер один ты покупал вино и колониальные товары, что касалось вина, был там известный плюс, пан Гельбфиш, старый кенигсбергский еврей, изображавший пруссака в варшавской ссылке, облом с навывками сомелье, вонью изо рта и бесконечной претензией по отношению к клиентам, которым он продавал вино с омерзением, будто отдавал нуворишам, доморощенным нефтяным или угольным королям, картины Караваджо для развески среди иконок и олеографий с оленями, однако вина у него были что надо: французские, мадьярские, итальянские, плохих не держал. Приходилось терпеть эту прусско-жидовскую претензию, и ты покупал вина и шампанское, что после текли по телу Сали, в желудки других твоих шалав, или в желудки к тебе и Геле и тестю с тещей на званых обедах и ужинах.

Так ты бывал в Парадизе?

Танцевал ли с женщинами под эллиптическим проемом в потолке, пока со второго яруса смотрели, завидуя твоей партнерше, те женщины, с которыми не танцевал, водил же ты туда тех, с кем не хотел показываться в Адрии или Оазисе, хотя порой хаживал с ними в гриль-рум, на стойки, но в гриль-руме все было иначе, нежели в дансинге, и нередко олимпия уносила меня с Театральной к Трем Крестам, на сиденье рядом разнеженные девицы, с которыми я чаще всего даже не спал, хотя они были готовы, готовы были всегда.

Не всегда, не всегда были готовы. Часто вообще готовы не были, но тебе хотелось думать, что были.

Так были или не были, как оно было, как? Их готовность, не важнее ли она самого спаривания, ведь то, что женщина готова, важнее того, что ты этой ее готовностью пользуешься, так ведь?

Важнее или не важнее?

— Нет, Парадиз я не очень, — конфузясь, возразил ты, Костичек, ведь если бы она тебя в нем застала, тебе пришлось бы сконфузиться.

— А я так очень, — протянула мечтательно, аккуратно когда вы миновали лапидарный фасад: три ряда тройчатых окон, четыре шереинги, углы прямые, прямые углы.

Когда авангардная каменица Новый Свят, 3, уплыла за твое левое плечо, Костичек, эта ужасная женщина продула жиклеры шевроле, шестерка его цилиндров рыкнула, и вы помчались.

— Водила туда разных своих женихов. Вернее, хахалей. — И громко: — Таких, с кем не хотела показываться в Адрии.

Знаешь теперь, Костичек, чем она так жутка? Впрочем, тебе она совсем не кажется жуткой.

Угол Аллей Иерусалимских и 3 Мая, шевролетик разогнался до восьмидесяти в час, рессоры стонали, мотор ревел. Вы едва не переехали жандарма в прорезиненном плаще. К счастью, в комплекте с прорезиненным плащом ему полагался лишь свисток, а мотоцикла не было; вкупе с употреблением свистка погрозил кулаком, что еще оставалось?

У Европейского Дзидзя резко затормозила, застопоренные колеса аж взвизгнули. Понял теперь, дурья твоя башка, зачем ей понадобился автомобиль, понял? Сидят типы у Лурса, видят в окне, с каким фасоном паркуется шевроле, и думают: немцы подъехали.

А тут на тебе, является Константин Виллеман с какой-то своей пассией.

Стоп, нет, пока что не явились, явно чего-то ждете. Дзидзя растегиивает клатч свой продолговатый.

— Держи, — и подает тебе маленький, плоский кольт. — В оружии разбираешься?

— Я офицер запаса, черт подери, — вскипел ты.

— Модель тысяча девятьсот три, бескурковый, калибр тридцать два, — мол, из того, что ты офицер запаса, вовсе не следует, что хотя бы малейшее понятие имеешь, и засмеялась, а смех этот был как

приз тому, кто его заслуживал, тебе же укором, смех как кружка воды после похода в жаркий день, но не для тебя.

— Ничего себе!.. Офицер запаса! — не успокаивалась.

— А что?!.. — полез ты в бутылку. — Девятый уланский полк! Дрался весь сентябрь!

Дзидзя смеялась так неудержимо, что закрыла лицо ладонями.

— Ну ладно, ладно уже, — сказала в конце концов, остывши и отдышавшись. — Тут предохранитель, еще один, автоматический, на рукоятке. Восемь патронов в магазине, но, когда захочешь стрелять, должен его сначала зарядить.

Открыл рот, чтобы возмутиться, так тебя проняло, ты ведь и до нее знал толк в обращении с оружием, на курсах резервистов в Грудзёндзе даже выиграл соревнования по стрельбе, причем из совершенно убитого парабеллума.

Однако смех Дзидзи тебя успокоил.

— Спрячь пистолет в брюки. Идем.

Стало быть, идете. А они глядят, как из шевроле является Костек Виллеман с какой-то своей пассивей. Впрочем нет же, нет, является мерзавец Виллеман с некоей Рохацевич, Дзидзей Рохацевич, фигурой, надо сказать, им знакомой.

— Смотри на них так, будто густой слюной плюешь каждому в рожу, — шепчет тебе Дзидзя, но что за шепот такой, может, интимный?

Слюну ты, пожалуй, проглотишь, входим. Гостей внутри пока что немного, но говор слышен, и он стихнет, когда войдете.

Кто угодно к Лурсу не ходит, а не кому угодно известно, кто ты такой, с предвоенных лет знают тебя, гоголька в дорогих костюмах, бонвивана дивного, запасного кавалериста, пьяницу, наркомана, блядуна, знают тебя отлично, сохли по тебе их жены и дочери, и вотходишь сюда и смердишь немчурой.

Усаживааетесь с Дзидзей за столик, Дзидзя глядит на тебя, как если бы была влюблена, и ты, к таким взглядам привычный, не думая, думаешь, а может, и не думаешь, но начинаешь ощущать ее взгляд, как если бы была влюблена, а ведь не влюблена, нет же, дурья башка, дуралей Костичек, я одна тебя люблю, одна моя любовь настоящая. Она ведь играет сейчас, притворяется, ища скандала. А я сама уж не знаю, что ты, Костичек, знаешь, чего не знаешь. При Дзидзе мир теряет четкость, Костичек, Дзидзя ужасает меня.

Подходит официант, надутый, словно аршин проглотил. Заказываете: два кофе, два коньяка, два пирожных. Нет пирожных. Тогда без пирожных. Коньяка нет. Тогда две водки. Водка есть. Две водки, два кофе. Сорок золотых. Дорого.

Сидите. Дзидзя смотрит на тебя таким неправдоподобным взором, каким больше ни разу на тебя не посмотрит, поскольку это все так, представление только.

Склоняется к тебе и шепчет на ухо, как если б любовные признания шептала. Могла бы шепнуть: хочу тебя. Или, с учетом того, что это Дзидзя, а не ханжа недотраханная, могла бы шепнуть: хочу, чтобы ты во мне был. Или: хочу, чтобы язык твой во мне был.

Но Дзидзя шепчет:

— Сейчас кто-то из них, скорее всего тот, в клетчатом пиджаке, встанет и тактично меня проинформирует, с кем дело имею.

За Дзидзей шаркает кресло. Известный тебе по лицу, но не по фамилии юнец в клетчатом пиджаке и в брюках-гольф, чулках-гольф и в ботинках для лыж, так именно и одетый, встает, робея чутка, чутка нечаянно, однако вполне отчаянно, и подходит к вашему столику осторожно. Смерил взглядом, долженствующим вызывать страх, то есть наморщил брови и прищурил глаза, как в ковбойских фильмах с Томом Миксом, взглядом, не дающим повода для стычки, но декларирующим ее возможность и даже вероятность. Смешным, в общем, взглядом.

Подходит, значит, склоняется к Дзидзе Рохацевич со спины и что-то нашептывает ей в ухо.

Ты его не слышишь, а я слышу, хорошо слышу.

— Барышня, очевидно, не в курсе, но мерзавец, с коим барышня сидит за столиком, это предатель, перебежчик, продал свою польскость и превратился в немца.

Дзидзя смеется и делает знак глазами.

Точно не знаешь, что она имеет в виду, но ведь не случайно всучила тебе пистолет, в данную минуту натирающий тебе пах. Так что привстаешь с кресел, юнец в клетчатом пиджаке напирает, будто рвется в драку, однако ты привстаешь ровно настолько, чтобы выудить кольт из брюк. Выуживаешь, оттягиваешь затвор и с треском отпускаешь, пистолет заряжен. Руку с пистолетом перед собой держи. Глаза юнца расширяются от ужаса, и он потихоньку отступает, шаг за шагом, отступает к своему столику. Дзидзя кидается тебе на шею. Веселится от души, разве тебя не ужасает, как она от души веселится, Костичек, должно было бы ужасать, дурашка, не ведающий, кто тебя по-настоящему любит, а кто тебе враг, дурашка, ничего не ведающий. Ведь не пристало ей веселье до упаду, пристало ей скорбь, сочтена будет курвой немецкой, пересуды пойдут, она же тем временем развлекается, а не пристало.

Понятия не имеешь, чего она добиться хочет, даже не задумываешься об этом, а я задумываюсь, очень задумываюсь.

Кладешь пистолетик на стол. Официант приносит два кофе и две водки, с изысканной аккуратностью ставит рядом с пистолетом. Пьёте.

Заведение приумолкло, но не притихло; напротив, сделалось шумно, шаркают кресла, люди встают из-за столиков, надевают куртки, плащи и накидки и выходят. Зачем они выходят, Костичек, хотят объявить тебе бойкот, хотят выказать презрение или сопротивление оказать?

Нет, Костичек, они выходят оттого, что боятся. Боятся пистолета, боятся власти, которой ты якобы обладаешь, раз не боишься вынуть в кафе пистолет и шваркнуть им об стол. Власти твоей над ними.

Им неведомо, что это Дзидзя управляет тобой. Удивительнейшим образом, не напрямую, как Орлица или же Инженер.

Дзидзя и сейчас продолжает роскошно смеяться, дивно, для тебя. Выходят. Боятся. А у тебя хер штаны разрывает, но не из-за Дзидзи, а оттого, что они так боятся. Пьешь водку, Костичек, что тебе осталось? Выпьешь водки, затем выпьешь кофе, смотришь, а Лурс и опустел.

И когда Лурс пустеет, взгляд Дзидзи меняется: Дзидзя Рохацевич больше не строит из себя влюбленную Дзидзю Рохацевич, Дзидзя Рохацевич становится просто Дзидзей и глядит на тебя, Костичек, как глядела и в Кракове, и у Лубеньской, глядит своим обычным Дзидзиным взглядом, в котором есть в меру симпатия и равно черствость, и насмешка и благосклонность и равнодушие разом.

— Тебе потребуются серьезные документы. Одной Kennkarte недостаточно.

И без тебя знаю. Знаю, что потребуются серьезные документы, и даже знаю, где и когда смогу их получить. И речь даже не о матери моей Орлице, не из-под ее крыльев я их вытащу, а пойду к послу, попрошу его, обрисую ситуацию, сыграю на жалости, на чем угодно, и через него доберусь, сам доберусь, сам сделаю, мне удастся, мне самому, никто не обязан мне помогать, я один, сам.

— Бумаги будут, — пожимаю плечами.

Дзидзя смеется, машет рукой снисходительно, словно струнит зарвавшегося подростка, само собой, ты легко справишься с тем, с чем не могут взрослые.

Дзидзя пьет кофе, а когда чашка пустеет, не раньше, берется за водку; выхлестывает ее залпом, глядя на тебя с вызовом. Боюсь этой долгоносой бабы, Костичек, боюсь. Ты не знаешь, что еще должно случиться, а я знаю и над тобой, Костичек, плачу.

Позвал, стало быть, официанта, заказал еще две. Жгут желудок водка и кофе.

Официант подает брезгливо, брезгливо ставит на столик, брезгливо и с жалостью по отношению к Дзидзе, в которой видит панну, не подозревающую о моих моральных устоях, пьем, не обращая внимания.

Дзидзя опрокинула рюмку с тем же самым взглядом, как прежде, заказываю, стало быть, еще. Официант, брезгливость, две водки на столе. У Лурса пусто. Выпили. Еще по одной. Дзидзя слегка покраснелась, но вызов повис в воздухе. Сталбыть, продолжаем. По одной, сталбыть. И еще.

Приняли каждый по четвертинке, натошак. Дзидзя давно пунцовая, но с прежней усмешкой.

— Поехали к тебе.

Я пожал плечами. Мое наигранное равнодушие вновь развеселило барышню Рохацевич.

— Ты, видимо, полагаешь, Константин, что этим своим притворным равнодушием ты меня обольстишь? Меня?

Смутился, Костичек, когда она это сказала. Опешил. Смешался. К твоей, Костичек, сущности, разные подходят слова. Тебя легко смутить. Ты быстро теряешь уверенность в себе. Пугает меня эта женщи-

на, Костичек, и хочу, чтобы ты почувствовал мой страх. Хочу потечь по твоей спине холодным потом. Хочу засосать у тебя под ложечкой, хочу пробежать мурашками, сжать гладкую мускулатуру волосяных фолликулов и проверить, встанут ли дыбом волоски на загривке. Но не смею. Не пугает она тебя.

Пугает она меня, эта Рохацевич. Пугает, а в то же время как-то притягивает, пускай и кажется абсолютно неприступной, гляжу на нее, как сапожник на принцессу, еще немного, и преклонюсь перед ней.

— Никого из тех, кто выказывал мне равнодушие, притворное или нет, не пустила в свою постель.

Врешь, Рохацевич, я знаю, что врешь, а он, дурошлеп, не знает, что врешь, но ты врешь, врешь; ибо, в принципе, конечно, никого, однако с тем исключением, одним-единственным, с первым, который обольстил тебя именно тем, что не пытался обольщать, как пытались другие, в те далекие годы, которые, как ты знаешь, ушли окончательно и бесповоротно, как и твоя невинность, которую отдала ему, и сердце, которое ему отдала, и больше нет у тебя сердца, лежит на его депозите. Боюсь тебя, боюсь твоей силы, боюсь так, как не боялась ни одной из тех баб, которым мой Костичек вручал свое сердце, в кого уставлял взгляд или хуй, а тебя боюсь, Рохацевич.

— Давай еще на ход ноги! — скомандовала Дзидзя.

— Уже полдевятого, — возразил ты.

— Догадываюсь. Ох, летит времечко, правда? — смеется.

Официант, о столик стук, пьете на пустой желудок, кофе и водка, водка с кофе.

В полку была такая забава, забава для подпоручиков, вечный цук, везде цук, цук, дедовщина, всегда, Адам цукал Еву, офицеры гнобили рядовых кавалеристов, только звалось это по-другому, позже в русской кавалерии деды цукали юнкеров и вот так-то оно докатилось до вас, напрямки из уланских полков царя всея Руси, непременно старшие младших, значит, в училище старшие велят молодым залезть на печь, курва, и именовать полки уланские, их дислокации, и журавейки фальцетом, курва, кто с традицией балует, пусть нас в жопу поцелует, так вот, капитаны и поручики молодым подпоручикам, а с наибольшей охотой подпоручикам запаса, бывало: саблю на стол, на длину сабли рюмки с водкой, на острие птифур с жирным кремом, поверх крема селедка. Выпить пред самым ужином, пить без остановок и передышек, мало того, закусить и не сблевать, ибо в том соль уланства: пить, не пьянея. Ужрись, да не силой. Ебись, не женись. Играй, не профукай. Умри, побеждая. Этому вас учили в Грудзёндзе, цукая немилосердно, там сидели вы на печи и ты фальцетом именовал очередные полки и их дислокации, а где запасный эскадрон, рыбий хуй? И весь этот цирк с попойками до утра и несением службы трезво и без похмелья, со сметаной с яичным желтком, как по волшебству выводящими алкоголь из вашей крови, стрельбой на стук вслепую, но без смертоубийства, бей, так победишь, так победили вы большевиков, истоки вашей, точнее, той этики суть победа и вера в то, что раз побили вы русских, чего никому в течение двух с гаком столетий не удавалось,

раз вы их побили, то вы, а точнее, эти вот правят миром, историей и всем, что между. Сдохнуть, не профукав.

А нынче профукали, срамота, битву на границе и битву на Бзуре, битву за Варшаву и битву под Коцком, и битву за Польшу и за все остальное, за вашу сраную жизнь, профукали окончательно не далее как пару недель назад, какого, какого же черта профукали, но так или иначе все кончено, нет и не будет больше уланов, немцы вас выебали, русские доедут до конца, или же их самих заебут, третье лицо вместо второго, как угодно душе, Костичек, ты можешь выползти из этого педерастического бардака, но справишься ли?

— Хотелось бы, чтобы ты понял, Костичек, что тебе меня не соблазнить, — говорит Дзидзя. — Ты хорош собой, кто спорит, к тому же в целом интересен и чем-то мне даже нравишься...

И знаешь, идиот, знаешь ли, когда она это произносит, то не произносит этого так, как те девицы, которых ты прежде встречал в том мире, которого нет, а может, и не было вовсе, те, которых ты встречал в столичных притонах, дансингах, кафе и гриль-румах, что разговор с тобой начинали с уведомления, мол, “ради бога, пусть пан не подумает, я не дешевка первая встречающая”, ты же знал, что имеется в виду нечто противоположное, не правда ли, знал? Что те, которые в самом деле не дешевки встречающие, во-первых, не сжижают поодиночке в дансингах, играясь мундштуком в предвкушении реальной затяжки. А во-вторых, они никогда не сказали бы о себе, что, мол, “не дешевки какие-нибудь”, поскольку это разумеется само собой. На такой женщине ты женился, на Геле гигиеничной, не так ли?

— Ты мне нравишься, у тебя красивые глаза, чисто вылепленный рот, большие, сильные руки и какой-никакой характер. Чуть недотепистый, побитый, потертый, но есть, — продолжает Дзидзя, пробуя пальцем открытую рану. — Пан обер!.. Еще!

Официант, ненависть, стук-постук водка стол пустой Лурс.

— А впрочем, наверное, могла бы?.. — размышляет Дзидзя, смотря на тебя изучающе, будто видит в первый раз. Смотрит на тебя так, как сам ты часто смотрел на женщин. — Пей же!

И выпиваете. Помнишь, как ты смотрел на женщин? А тут вдруг ощутил перебор, в таком-то темпе, с недосыпу, на пустой желудок, перебор, и вдруг тебя крутит так, что ты срываешься из-за стола, Дзидзя смеется, а ты, уже зная, что не добежать, отворачиваешься попросту и блюешь, блюешь жаркой струей водки и кофе, блюешь, отвернувшись.

— И все-таки нет, Константин, все-таки нет. Не легла я бы с кем-то, кто не может выпить с утра.

Столы заблеваны, белые скатерти заблеваны, цветочки, те, что, невзирая на войну, в вазочках, тоже. Кельнер возле, с кислой миной, тих, кроток и ненавидящий разом, будто ты заблевал его самого, а ему выносить это с кротостью. Может, так оно по правде есть.

— И все-таки нет, милый мой, нет, — смеется Дзидзя. — Все-таки не соблазнишь, я не отдалась бы мужчине, который не умеет пить.

Выблевал свою мужественность, силу, Константин, всё. Попытайся убежать от нее. Не выйдет.

Не убегу.

— Идем, одержимая, — сказал ты, Костичек, да что с того, что сказал?

Идете, разумеется, естественно, конечно, идете, только не от того, что ты сказал, идете, потому что она так хочет.

Значит, идете, выходите, сначала Дзидзя, потом ты, выходите в Краковское предместье, а там расклеивают объявления, на мурах; кисти, клей, клеят со стыдом, со злобой, а как отказаться? Вот и клеят. Останавливаетесь одновременно.

Извещение. “Чрезвычайный полицейский суд города Варшавы извещает о приведении в исполнение смертного приговора в отношении семерых лиц, осужденных за хранение оружия и боеприпасов. Ян Сёкало, бывший староста вонгровецкий. Йозеф Садовский — химик. Станислав Ласоцкий — рабочий. Самсон Люксембург. Мариан Барановский. Нарцисс Гаевский. Виктор Сикорский. Подпись: президент полиции Гюнтер Классен”.

Стреляет их Schutzpolizei прямо под стенами Сейма, но вам это пока не известно. А перед извещением стоит женщина в платке, держит за руку мальчугана лет четырех в красной шапочке, из-под которой выбиваются русые пряди.

Проталкивается к извещению, женщина тянет ребенка прочь. Я вижу его в сорок лет: шагает по улицам другой Варшавы, большой, красивый, длинноволосый, уверенным шагом интеллектуала, умеющего дать отпор. У него большие русые усы, он никого не боится, ваяет в головах ближних своих фразы и афоризмы, ваяет, читая английские книги, свои же пишет по-польски, ваяет фразы и афоризмы. Позднее, по-прежнему большой и усатый, немного сутулясь, будто перебитый в поясе (плечи по-прежнему прямые), идет не столь быстрым шагом и рассказывает юным и молодым истории настолько красивые, что они просто не могут быть, да и не являются правдой.

Вы видите одну только красную шапку из гаруса, с помпоном, детская ручка тонет в ладони матери, а я вижу все, вижу мощную длань, в которую со временем превратится ручка и на спортивном ковре будет легко сгибать рослых мужчин, после пожимая им руки.

Я вижу всё, рассказываю лишь о некоторых, не важно, есть у меня повод или нет, рассказываю и всё тут, о прочих же молчу.

Итак, к автомобилю. Дзидзя садится за руль, ты рядом, едете, а куда?

— Куда едем? — спрашиваешь.

— Сейчас — к тебе. Горячая вода есть?

— Есть.

— Тогда я в ванную, а ты займешься бумагами для Будапешта.

Никаких сомнений, никаких колебаний, просто отдает тебе приказ и точка.

Приказ. Befehl. Прикас и так точно, гаспадин литинант.

— Курсант-капрал Виллеман по вашему приказанию явился! — кричал ты, а р-руки па-а швам, причем российским фасоном, а не hab acht каким-то, русская кавалерийская традиция в Грудзёндзе преобладала над традицией австрийской, поелику была богаче, а также лучше отвечала тому, что вам, полякам, и тем, полякам, казалось духом польского кавалериста, поелику оба кавалерийских этоса, польский и российский, выросли одновременно на почве скорее польских, нежели русских понятий чести и собственного военного достоинства, уже за полтора века до тебя, Костичек, польские и русские кавалеристы великих войн по случаю конца света походили друг на друга, черпая свою дурость, лихость и ложное понятие о жизни из одного корыта, к вящей радости командиров, которые могли отдавать приказы вопреки инстинкту самосохранения.

И так повелось с тех пор. Если русский кавалергард шел guliat', он шел по-польски. Если господа офицерство в темноте стреляли друг в друга на стук, один в центре зала с завязанными глазами, как Фемида с револьвером в руке, другие стоят вдоль стен, стучат, а он на высоте плеч палит вслепую, это было по-польски. Когда же ты делал это в казино в Теребовле, когда делал это, мало что соображая, так как был пьян, то делал по-русски.

И если старшие деды цукали вас, зверей-первогодков, то цукали вас по-русски. Ты помнишь об этом, Костичек, правда? Сейчас, когда Дзидзя отдает тебе приказы, Дзидзя Рохацевич.

Ненавижу ее. А ты помнишь. Не с умыслом помнишь, речь не о том, чтобы в памяти перемалывать: ну, всё это, Грудзёндз, нужный тебе как козе баян, но которого так от тебя ожидали, именно от тебя, в то время как Яцек мог оставаться просто врачом, ты должен был стать чем-то большим, солдатом, и не просто солдатом, а уланом или шеволежером, помнишь, как все гордились, когда в первую побывку домой ты пришел в мундире, как скрывали под комплиментами разочарование, полк безусловно почетный, девятый уланский имеет прекрасную репутацию, однако ожидалось, что ты сам пробьешь или постарайшься пробить или Орлица постарается тебе пробить назначение в первый шеволежерский, в столицу, шапки круглые как здание Сейма, Венява за столиком в Малой Земьянской, гонор, женщины, вино и ойчизна.

— Курсант-капрал Виллеман по вашему приказанию явился! — кричал ты, а пан поручик Жабиньский смотрел на тебя взглядом таким, словно просвечивал тебя насквозь лучами Рентгена, и Дзидзя смотрит на тебя взглядом таким же, словно лучами Рентгена насквозь просвечивает.

— Все пана любят, да, Виллеман? — спрашивал поручик, щуря узкие глаза, зажатые между пухлыми щеками и надбровными дугами.

— Покорно докладываю, что не все, к примеру, невеста пана поручика вовсе меня не любит, поскольку любит исключительно пана поручика! — тотчас восклицаешь с блеском, как положено, чтобы показать, что ты тот еще хват, такова традиция цука, ответить быстро и остроумно и одновременно кротко и задорно. Как есть хватко.

— Тише, мистер Виллеман, — гасит твой энтузиазм поручик. — Я пана не буду цукать. Обойдемся без этих остроумных реплик.

— Так точно, — ответил ты просто с усердием.

— Значит, все вас любят. Красив, как Дымша, умен, как профессор, богатая семья из Варшавы, а как он красиво по-польски говорит. Так выучиться по-польски разговаривать. Стреляет, скачет, лозу рубит, копьём машет. Всё. Правда, пан Виллеман?

— Так точно, пан поручик, — ответил ты уже с испугом.

— Так точно, так точно. Но меня не так легко надуть, пан Виллеман. Я свое знаю. Я знаю таких, как пан. У нас таких, как пан, был грузовой вагон, Виллеман. Так что гляди у меня, пан Виллеман, меня, пан, не обгансишь.

— Так точно.

Он уставился в тебя.

— Так точно, пан поручик, — поясняет.

— Так точно, пан поручик.

— Вон.

Ты выходишь.

От поручика Жабиньского ты вышел на двор казармы резервистов в Грудзёндзе.

Из квартиры ты не выходил.

Дзидзя и ее длинный нос.

Дрожат твои руки.

— Ну же, чего хочешь, ну?

— Тебя.

Дзидзя улыбается, как улыбаются мурены телам рабов.

— Съебал отсюда, Константин. Уже.

Грубое слово у нее на устах. Я ухожу, из собственной квартиры ухожу, изгнанный, ухожу, ушел.

Касаешься стены дома. Тонкий слой шоколада, как пленка жира на поверхности воды, лопается сразу же, рука идет в глубь, там тепло, влажно, что-то пульсирует, что-то хлопает, ты выдергиваешь руку.

Костичек, убегай, убегай от нее, не приходи домой, убегай от этого всего, от Белой Орлицы, от немцев и поляков убегай, от своего отца убегай, где отец твой, Костичек? Убегай из Варшавы, стелись канавами, ползи лесами, змейись болотами, вгрызись в землю и рой подземные коридоры, словно червь, убегай на юг, пока не догрызешься до самой глубокой в Силезии шахты, из шахты рожденный, из угля и стали, в шахту же и вернись.

Иду, ни шатко ни валко, не дыша, иду, день, Варшава, улица, сигарета, холод.

Не иди! Не иди! Беги, единственный мой, беги, любовь моя, беги, спасайся, под землю вкопайся и прогрызись до самой глубокой штольни в самой глубокой из шахт, там обоснуешься навек, там устроишь свою обитель, питаться станешь тем, что принесут тебе горняки в обмен на твою юродивую мудрость, а коли не принесут, станешь охотиться на них, Константин, беги, единственный мой, дорогой мой, удирай отсюда немедленно!

Иду, не знаю куда. К машине.

В авто сел, не отдавая отчета. Вставляю ключик, безотчетно поворачиваю. Стой, а вдруг кто влезет! Блокирую дверь изнутри. Никто не влезет. Ключик. Ведь я уже крутил безотчетно. Подсос. Нет, зачем, двигатель же теплый, стрелка далеко, и зачем. Зажигание, значит. Черт, как здесь зажигание. Есть. Не так, как в опеле. А стартер? Момент, уже знаю, как у Яцека, у Яцека тоже был мастер, только седан и не отдельно, а вместе с дросселем, да. У тех, новее, только отдельная педаль была. У Скварчиньского куплен был тот Яцеков мастер седан. Да. Тот, не этот. Этого не знаю. Безотчетно. Вдавливаю. Зажигание теперь. Мотор работает, отпущу педаль, теперь при втором нажатии включится уже как дроссель, а не стартер. Или нет? Надавливаю, обороты растут. Да. Сцепление. Передача. Еду. Вторая передача. Мотор работает. Крепко. Третья передача и я еду, Пулавская змеится как никогда, раньше была прямой, как рванешь аж до Сколимовской, а теперь змеится.

Когда я в последний раз водил машину? В августе, пока сукины сыны военные не забрали у меня олимпиаду, за три дня до мобилизации конфисковали, еще не конфисковали у всех, а мою олимпиаду уже конфисковали, и Геля сказала: сначала конфискуют у евреев и прочих чужаков, а занят этим какой-то бюрократ, и фамилия ему в глаза бросилась, так в первую волну конфискаций и конфисковали. Нет олимпиады. Есть шевроле. Два месяца тому я в последний раз водил машину тысячу лет назад, а потом умер и родился заново.

Я веду машину впервые. Еду.

Еду. Не знаю куда.

К матери.

К гансам.

К ебням.

Что-то извлекает меня из машины и из одежды, одежда, повторяя форму моего тела, сидит за рулем шевроле пиджак жилет рубаша брюки галстук часы отцовские на запястье, перчатки стиснули руль, а я нагим парю над улицей, подвешен на невидимых стропах, и смотрю на шевроле, как он идет, и на людей, как они идут, и на телеги, как они ползут, и на людей, как они ползут, что-то нехорошее с Варшавой, чую морозный воздух на брюхе, на хере, на пальцах ног, добрый Боже, добрый черный боже, возьми меня отсюда во второе царство смерти, в царство смертных грез, где ни света нет, ни тени.

Парю. Перед машиной, которая едет и в которой я нахожусь, не находясь в ней, перед этой машиной на дороге возникает фигура.

— Тормози, Костичек, тормози, иначе ты задавишь человека, — кричу я себе, в этой машине не находящемуся, кричу сверху, *clamavi at te*, я взывал к тебе, слушай голос мой, когда сверху я взываю к тебе, Виллеман, я, стража рассвета.

Константин тормозит, вижу, что тормозит.

Тормозит, Костичек, без паники, Константин тормозит.

Торможу слишком поздно, фигура в шинели прыг перед машиной, шевроле танцует на заблокированных колесах, думаю, отпущу

и попробую объехать или заторможу, но не отпускаю, все же нет, шевроле танцует на заблокированных колесах и в конце вот он, вижу его вблизи, офицерская шинель перетянута ремнем, что-то блестит на голове, удар.

Не так крепко. Будет жить.

Выскакиваю из авто, лежит, копошится, помогаю мужчине встать.

Я его знаю.

Знаю ли я его? Я знал ротмистра Хохол, но разве имя, разве имя, человек, который является следствием ротмистра Хохол, то есть тем, чем ротмистр Хохол является сейчас, в субботу двадцать первого октября тысяча девятьсот тридцать девятого года в, отцовские часы, тринадцать двадцать семь, разве является этот человек ротмистром Хохолом, или, скорее, ротмистром Хохолом он являлся только год назад, а сейчас уже не является?

Так что хотел бы я сказать, что не верю своим глазам или нечто похожее, говоримое в обстоятельствах крайнего удивления. Но я не удивлен. Меня ничего не удивляет. Я верю своим глазам. Я не верю миру, но глазам своим я верю. Они многое повидали и увидят еще больше.

Ротмистр Хохол, эскадрон крупнокалиберных. А вроде он был должен прорываться на юг, не сложив оружия. Шинель очень грязная, стянута, но не ремнем, а шарфом в клетку, завязанным, как случкий пояс, и сильно короче. На голове корона из картона, обернутого фольгой, во многих местах уже продранной. На шинели болтается Virtuti, долбленки на ногах, насажены на что-то подобное онучам толстой шерсти. Рядом с Virtuti две круглые серебряные медали: я приглядываюсь, уже держа его за плечи, это не медали, одна это жетон смерти, польский бессмертник на яркой ленточке. Другая — крышечка от баночки с презервативами, алюминиевая, немецкая. Hygenischer Gummischutz Dublosan, Берлин-Нойкёльн. Фиолетовая лента с длинным спутанным локоном на ней, будто содранная с девичей головы вместе с волосами.

— Пан ротмистр... — говорю, чтобы сказать.

Хохол поправляет корону из фольги.

— Меня зовут Ян Хохол, и я... — забывает продолжение.

— С паном все в порядке, пан ротмистр? — спрашиваю, осознавая абсурдность этого вопроса.

— Меня зовут Ян Хохол и я! — отвечает он, сияя.

Фиксирует корону.

— Мне пора.

Я пытаюсь ощупать его, проверить, не течет ли где кровь, не сломано ли чего, но он вдруг вырывается, достает из кармана книгу, я узнаю эту книгу, роман с лицом старика на обложке, его роман, ветхий, рванный экземпляр, полк гордился тем, что ротмистр Хохол из эскадрона цекаэмов является писателем, издательство Rój, 1937 год.

Стиснул книгу в правой руке, будто пистолет, и целит из этого пистолета в меня.

— Ни шагу дальше, иначе стреляю, — остерегает он с тем же выражением лица, с каким некогда рычал на свои пулеметы: “Короткими очередями — огонь!”.

А вокруг нас скопище, настаивается, скопище сборище толпища, одоленная сборная солянка варшавская и, может, не только варшавская, кто их там знает.

Я знаю.

— Это одержимый, пан, — интеллигентно поясняет торговка, ставя на лишенный девственности тротуар две большие сумки с товаром.

— Это польский офицер, — отвечаю. — Ротмистр девятого Малопольского уланского полка. Я служил с ним.

Скопище сборище замолкает. Торговка. Жидок, очень маленький и худой, несмотря на это некрасивый и, как будто этого мало, вдобавок в очках. Дамочка, два хлеба в торбе. Подросток в кепке.

А я их вижу, Костичек, вижу их, как сквозь узкие туннели материнских утроб они протискиваются к свету мира, и как из мира сквозь другие туннели они протискиваются во второе царство смерти от пуль от старости от огня и вижу их неподвижными в движении и тебя вижу и тебя люблю, Костичек, и я боюсь, что ты отворишься от меня, Костичек, а я хотела бы, так хотела бы, чтобы вы поняли, чтобы знали все, что вы равны камням этого города и воробьям и голубям и крошечным камушкам в большой, переливающейся кровью и смертью мозаике. Нету здесь воды, а только скала, скала и никакой воды и песчаная дорога и горы и утесы и никакой воды и в дороге нельзя ни стоять ни думать, пот сух и тонут ступни в песке, таков мир, исхоженный мною, второе царство смерти, царство смертных грез, я та третья, которая идет за вами там, где вас только двое, я иду за вами, над вами и в вас в сухом царстве смерти по-над вами, я и мои товарки по грезам. Ночные работницы.

Боюсь, что ты отворишься от меня, Костичек.

Я вижу Хохол в станиолевой короне, и Хохол не мой, не мой. Зато ты мой.

— Пан ротмистр, могу ли как-то пану помочь? — спрашиваю я. Хохол внимательно за мной наблюдает.

— Подпоручик Виллеман. Помнится, мы сидели в трактире в Тербовле... — отвечает он неожиданно трезво, не считая того, что с ротмистром Хохолом мы ни разу ни в каком трактире не сидели, когда я стажировался в полку, его там не было, а за спиной у нас лишь трактир боевого пути, ни корчем, ни постоялых дворов, ничего, пути полка судьбы рука уйти пока просрация прострация войны континуация вербигерация абоминация.

Тихо тихо мозг без розог пусть утихнет мозгу лихо нет.

Ни разу ни в каком трактире. Что с ним, зачем вместо того, чтобы прорываться на юг, биться с немцами, зачем он здесь, обезумевший, потерянный, в шинели, подвязанной шарфом, с книгой вместо личного оружия?

Что с ним случилось, что его перемололо?

Сосредоточься на себе, счастье мое, любовь моя, вернись в себя. Ты должен.

— Пан меня понимаешь, пан Виллеман. Никто меня не понимает, только пан.

— Пан ротмистр, — говоришь ты. — Пан ротмистр, сядем вместе со мной в машину, я помогу пану.

— Не могу сесть вместе с паном в машину. То не моя история. Меня зовут Ян Хохол и я последний король Польши, — отвечает он.

Он поворачивается и пробирается через это мелкое скопище сборище и отходит, нет, отбегает, начинает бежать, стуча долбленками как подковами, рысью марш, галопом марш, с места в карьер марш-марш-марш стук-стук-стук и на юг лужи реки океаны, коль зовет труба улана стук-стук-стук и каюк.

Отгалопировал ротмистр Хохол туда, откуда пришел.

Не была случайной ваша встреча, ибо нет ничего случайного, поскольку случайно всё. И никогда тебя не отпустит эта мелкая, мучительная мысль: зачем он, зачем ротмистр, командир эскадрона цекаэмов.

— Ты как целишься, идиот патентованный, как? — орет ротмистр Хохол, орет под немецким огнем, отталкивая наводчика от его раскоряченной, как страшное насекомое, машинки. — Каков был приказ?

Любой другой сказал бы: “манда православная жидяро вонючее чивуль познанский или рыбий хуй сукин сын грязный жирный недоносок как целишься”, но ротмистр Хохол всегда лишь: “патентованный идиот”, и отталкивает идиота от затыльника, устранивает заклинение, ты смотришь как загипнотизированный, круглые очки ротмистра Хохола и его пальцы сосредоточенные, аккуратные.

— Курсант Виллеман! Как устранить заклинение пулемета образца тридцать? — рывкает вахмистр Зембала, и это Учебный Центр Офицеров Запаса в Грудзёндзе.

Не здесь, опять ты не здесь, да где, где ты, Костичек, сейчас октябрь, или сентябрь, или апрель?

Эпохи сплетены в косицу, но лишь для тебя, я-то все вижу незаплетенным, как если бы передо мной была лента, и вот ты тут сразу ты там и ты тут и ты тогда и ты сейчас тут.

— Заперев канал ствола, правой рукой отвести защелку крышки затворной коробки в сторону рукояти, левой рукой взявшись за основание прицела, открыть крышку затворной коробки, — возвещаешь ты, вставши во фронт, по мерке хвата.

— А что дальше? — спрашивает вахмистр Зембала.

— Дважды потянув рычаг затвора назад, убедиться, что камора пуста, снять ленту. Закрыть крышку затворной коробки и освободить ударник, нажав на спусковой крючок. Поставить оружие на предохранитель, большим пальцем левой руки перемещая рычаг под спусковым крючком.

— А что дальше? — спрашивает вахмистр.

— Дальше заряжать и шарашить по врагу, пан вахмистр!

А потом проходит вся твоя жизнь, и уже война, а не Грудзёндз, и ты смотришь, как ротмистр Хохол — не вахмистр Зембала — руками, которые не вяжутся с оружием, руками, которые не должны держать оружие, уже устранил заклинение, уже зарядил, дернул рычаг дважды и теперь целится, правая ладонь на рукояти затыльника, спусковой крючок вверх, правая на винте вертикальной наводки, будто он вообще не с пулеметом работает, а взял скрипку. Прицелился, зажал высоту и шарашит, водя стволом, восходящую гамму.

А теперь стук-стук и каюк долбленками в варшавской солянке. И свернул куда-то и исчез и нет его и ты здесь один и мелкое скопище сборище.

— У моего отца уже давно машину забрали, еще поляки перед войной забрали. А пан на машине гарцуешь? — спросил жидок нагло.

Глядишь на него дураком, ну что ответить человеку на краю пропасти, не диво, что забрали, когда бы не забрали, то Гитлер бы забрал.

— Жидкам больше слова не даем. Намололи достаточно при са-наторах, — сообщила в пространство барышня с хлебом в торбе. — Но диво, что пан так на авто, а тут немцы. А?

— Закрой харю, пани. Мой отец говорит, что под немцами хотя бы порядок будет, не то, что у вас в этой страничке говняной, — говорит маленький жидок.

— А пердольте-ка вы по-хорошему, — отвечаешь ты, и хорошо отвечаешь, правильно отвечаешь, любовь моя.

И я возвращаюсь к машине и вот я уже в себе в своей одежде, это я и еду по городу и куда еду?

Куда? Куда? Вот именно, куда? К матери, к гансам? Что я ей скажу? Что мне нужны документы, что я должен ехать в Будапешт, что не поеду до Будапешта через театр войны с одной Kennkarte, а еще Дзидзя, еще надо взять Дзидзю, даст мне или не даст мне мать документы, даст мне или не даст мне, Дзидзя, ясное дело.

Остерегись этой женщины, Костичек. По улице едет грузовик, в кузове грустные немцы едут солдаты каски винтовки шинели грустные.

Люди идут евреи идут поляки немцы все идут куда-то чего идут могли бы стоять? К матери нет к матери нет к матери нет. Нельзя к матери.

Дурашка, неужто не понимаешь? Она одна может спасти тебя от Долгоносой. Она одна: мать. Не понимаешь? Как только она узнает, то вырвет тебя из лап этой чудовищной женщины, которой я боюсь, ибо чудовищная женщина эта может дать тебе свободу, ты-то знаешь, Костичек, свободу. Не понимаешь? Может дать свободу, которой ты не хочешь, в которой не нуждаешься, ну что ты с ней поделаешь, коли получишь? Не понимаешь?

Я понимаю, я-то все понимаю. Это не я, при ней я чувствую себя кем-то другим, не собой, но кем-то лучшим, при Дзидзе.

Не могу поехать к матери.

Ты должен поехать к матери. Орел приютит тебя под своими крыльями на груди иссохшей, но материнской, приютит, приголубит и спасет.

Поеду к отцу. К отцу поеду.

Где он, где же он? Где же я?

А ты уже в Жолибоже, детства твоего улицы, Костичек, матери твоей вилла, ты к ней, может, ехал, но улицы детства миновал, путь в школу, книжки на спине, мостовую ты проехал и дальше, Маримонт, Беяны.

Константин, что с тобой творится, говорю я сам себе, себя я вижу на небесах и тебя. Что со мной творится, говоришь ты сам себе.

Ты тормозишь шевроле, справа лесок, Маримонтский, а целый город где, где город, как ты через него проехал, отчего не видно, как ты ехал, отчего ты не помнишь, а ротмистр Хохол, он где, ты его где не переехал едва, где толпилось скопище сборище, на Мокотове еще или уже в Средместье, или то была Пулавская, или Уяздовские, или Бонифратерская, раз жидков много, то, может, Бонифратерская, Нове Място, еврейми пруд пруди, а может, возле Симонса, слегка подразбомбленного, но, однако, где это было, нигде это было, было, но нигде, на улице, которой нету, но нету ли ее в большей мере, чем нету Пулавской, нету Уяздовских, Бонифратерской, Пассажа или твоей Мадалиньского, в мере большей, нежели твоего дома из шоколада, Костичек? Сам себя спрашиваю. Сам. Себя. Спрашиваешь.

Ты должен поехать к матери, Константин. В Немецкий Клуб. Развернись. Езжай. Езжай на Фредро. Она сидит там, за конторкой сидит, в мундире, перо в руке, на столе бумаги. Езжай. Мать тебя спасет. От Долгоносой Рохацевич. От Дутого Инженера, что в цифрах путается. От себя самого, в конце-то концов.

Поезжай к матери, Константин.

Где же она, в Немецком Клубе на Фредро, в клубе, что был закрыт весь сентябрь, а потом с помпой открылся, когда его час пробил, и там она перенесла последнюю линьку. Она сидит за бюро, перо в ее сухих пальцах, на столешнице глянцевая бумага, подписано, промокашка. Шкура, в которую она оделась в лечебнице в Рыбнике, начала облезать, когда Бальдур вернулся с войны; теперь линька завершена, нет больше девушки, из-за решеток сумасшедшего дома в Рыбнике соблазняющей врача для себя и для Польши, которой нет, и той Польше, которой нет, отдающей наперекор и назло и ради извращенного лукавства и в силу сумасшествия, носившей эту шкуру лет двадцать, а теперь сбросившей.

А ты этого не разумеешь, Костичек, не разумеешь, что кожа — не вся она, что мать твоя одинакова внутри разных кож, она неизменна и лишь примеряет иной наряд, этого ты не разумеешь. Но поезжай к ней, может, откроется тебе, может, благодаря ей уразумеешь.

Езжай.

Где я? Маримонтская, Беяны, Центральный институт физического воспитания. То есть Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского, с прошлого года. То есть я не знаю, что сейчас,

вряд ли Академия физического воспитания Юзефа Пилсудского. Ничего сейчас. Стены, которые немцы наполнят сутью, если захотят. Немцы — это мы? Нет.

Разворачиваюсь. Еду. К матери. К матери? К гансам, в Клуб еду. Вокруг кольца “пятнашки”. Еду в сторону Средместья. На юг. В Немецкий Клуб. К матери.

К матери?

К ней.

Я не вижу улицы, кто-то другой видит ее моими глазами. Кто же третий, что вечно идет с нами? Стоит мне перечесать, нас лишь двое, ты и я. А стоит глянуть вперед в белизну дороги, там вечно кто-то другой, идущий подле тебя. Руки стиснули руль, не вижу улицы, ничего не вижу.

Площадь Инвалидов, площадь Мицкевича, Гданьский вокзал.

Что со мной творится? — спрашиваю кого-то другого.

Пешеходы, трамвай идет и подводы.

Женщина в сером плаще тащит ручную тележку, на тележечке узлы, тащит и тяжело ей, никто не поможет, помощь не полагается, тащит и тяжело ей, а волосы у нее при этом светлые, почти белые, мечта национал-социалиста, такие волосы не полагаются женщине, которая тащит тележку, кто и когда видел блондинку с лотком на рынке или в фартуке горничной, блондинкам такая жизнь не личит, а эта тащит ручную тележку и тяжело ей.

Миную ее, еду медленно, смотрю с ужасом, наши боли, наши взгляды встречаются, я ожидал увидеть взгляд мутный, потерянный, отчаянный, взгляд невесты повешенного повстанца, он в венгерке, замаранной слюной висельника, а на ней черное платье, бижутерию из железа, такой я ожидал увидеть ее, мою Гелю ожидал я увидеть, а у этой взгляд суровый, злой, купеческий, не как у Гели.

Как у Саломеи. Саломея сумела бы с лицом леди тащить тележку с узлами.

Она смотрела на меня с ненавистью, поэтому я продул жиклеры и рванул дальше, дальше, в Немецкий Клуб, к матери своей к матери своей к матери своей.

Но я не свернул на Долгую. Зачем не свернул на Долгую? Так может быть удобнее, не сворачивать на Долгую, а дальше, по Медовой, затем на Трембацкую. Так лучше?

Не сворачиваю на Трембацкую. Зачем?

Еду дальше по Краковскому.

Еду по Новому Святу. Только по главным улицам.

Зачем? Уяздовские, Уяздовский парк, госпиталь, Яцек в госпитале или дома, тонет в черноте или в госпитале людей штукует и штопает?

Уяздовские. Зачем? Мотоциклетный патруль.

Шуха. Съезжаю на Шуха.

Куда ты едешь, я знаю, Константин, я знаю, куда ты едешь, но не знаю, зачем, я не хочу, чтобы ты туда ехал. Я знаю, зачем, все-таки знаю. И как раз таки не хочу.

Не езжай туда, Константин.

Зачем на Шуха?

Зайти что ли в здание министерства, где сидят теперь немецкие тайняки, откуда я вытащил Игу или вернее откуда мне выдали Игу я получил Игу я не вытаскивал Иги я получил Игу ничего не сделал получил забрал домой подлец рыбий хуй сукин сын дрянь.

Я торможу шевроле, вылезаю.

Перед министерством караул: шинели, портупеи, винтовки.

А я не туда, я налево. В генеральский дом. Как раз в генеральский дом.

Отче. Отче!

Иду.

Не ходи! Иди к матери, Костичек, не ходи к нему, иди к матери, к матери поспеши, не ходи к нему, не ходи.

Идешь.

Самоубийство Валерия Славека, здесь. Браунинг, дыра в виске, смерть в больнице, совсем недавно, все газеты об этом писали и сплетнями кишели кофейни: зачем? А это на самом деле самоубийство?

— Какое самоубийство, помилуй, какое самоубийство! — ораторствовал твой тесть, чью метку ты носишь на лице. — Никакое не самоубийство. Бандиты, и методы бандитские, гангстерские. Добивают пистолетами, ножами!.. Гангстерская власть. Плакать не стану!

Ты тоже не стал, но не из эндецких соображений, ты едва пробежал глазами газеты, ну чем бы заинтересовал тебя некий Славек, у тебя были свои интриги в Земянской, у тебя были Геля и Юрчик, и фонды для освоения, и Саломея, и любовницы, и рисунки, и Яцек, Ига, их вечные проблемы, он меня не понимает, все время работает, чего она от меня хочет, чтобы я не работал, или ехать в Закопане на зимние каникулы или не ехать?

А летом, в мертвый для публичной жизни сезон, тогда куда? На курорт? В Париж? В Венгрию на машине? Может, устроим из этого ралли, в автоклуб топ-топ и по рукам, в газетах статьи и фото, такие милашки автомобилисты в каскетках и брюках-гольф, пыль романтики, пионеры современности.

Автоклуб недалеко, тут, чуть подальше. Мог бы пойти в автоклуб. Интересно, что слышно в автоклубе.

Но я не иду в автоклуб.

Я не иду в министерство. Я захожу в генеральский дом, где не осталось ни польских генералов, ни их вдов, ни их жен, ни их дочерей, ни сыновей любовниц служанок лакеев денщиков адъютантов камердинеров кучеров шоферов, ни их теток, ни кого-либо еще. Ну, может, мундиры висят еще где-нибудь по шкафам. Может, висят.

Перед парадным караульный, как и перед министерством.

— Sie wünschen?¹

— Я изволю к... — ты вдруг не знаешь, как его величать. Что у него за ранг? Что за ранг может быть? Может, никакого? Кто он? Есть ли он вообще, здесь ли?

1. Куда изволите? (Нем.)

Но он же сказал в Адрии: на Шуха. Sechzehn.

— Zu wem?.. — спрашивает часовой, человек, которого нет.

— Ich will zum Herrn Strachwitz.

— Und wer sind Sie?¹

Достаешь документы. Kennkarte свою достаешь, караул тщательно ее разглядывает, тщательно складывает, возвращает.

— Treppe hoch, dritter Stock².

Идешь, стало быть. Ты всходишь, а по лестнице сносят Валерия Славека с пробитой головой, и это, в принципе, выход, правда, Костичек? Лучше, чем тот, что ждет тебя здесь, лучше того, чем ты пытаешься стать, лучше, нежели попытка отворотиться от собственной матери, кульминация подлости, хотя это она дала тебе жизнь и воспитание, она сотворила тебя тем, кто ты есть.

Потерянным, смутным полутрупом сотворила меня моя мать, вымеском без души и родины, без сердца в груди, а то и с двумя сердцами, мишлингом бастардом подкидышем никем.

А кем я мог быть, кем-то я мог быть, она по крови немка, мой отец по крови немец, я тоже мог им быть, когда бы не ее безумие и не тот чертов психиатр, о котором она мне рассказывала, не скупясь на малейшие детали.

Дверь. Стою перед дверью, не знаю, постучать ли. Я не стучу.

Дверь открывается, за дверью отец. Я не стучал.

— Ich habe dich auf der Treppe gehört. Ich habe gehört, wie du geweint hast und mich und die Mutter gerufen hast³.

Он это сейчас говорит или не сейчас. Он это тогда сказал.

— Ich habe dich auf der Treppe gehört. Я услышал, как ты плакал. Komm rein⁴.

Он это сейчас говорит. Вхожу.

Лицо. Рубашка без воротничка, манжеты отстегнуты, брюки, подтяжки, тапочки. Перстень с печатью. Квартира гола, что алтарь перед Пасхой. На стуле в спальне мундиры, кипа зеленых, как у меня был зеленый, сапоги и ботинки, галифе с лампасами, они их не брали с собой, и две сабли в блестящих ножнах и рогативки с лакированными козырьками.

— Ein polnischer General hat hier gelebt, — говорит отец.

— Ich weiß.

— Warst du im Krieg?

— In der Kavallerie. Ich war Unterleutnant im 9. Regiment der Ulanen⁵.

— Младший лейтенант?.. — удивился отец. — Что-то вроде фендрика?

1. К кому?.. — Я к господину Штрахвицу. — А вы кто? (Нем.)

2. Вверх по лестнице, третий этаж (нем.).

3. Я услышал тебя на лестнице. Я услышал, как ты плакал и звал меня и мать (нем.).

4. Я услышал тебя на лестнице... Входи (нем.).

5. Здесь польский генерал жил. — Я знаю. — Ты был на войне? — В кавалерии. Младший лейтенант в 9-м уланском полку (нем.).

— Нет. Так в польской армии называется низшее офицерское звание

Подпоручик. Unterleutnant. Er entspricht unserem... eurem Leutnant.

— Ich verstehe. Hast du gekämpft?

— Ja, bei den MGs. Sie haben mir eine Auszeichnung gegeben. Крест Храбрых. Das heißt, ein Verdienstkreuz.

— Ich weiß, was das bedeutet. Setz dich¹.

Садимся за стол, отец приносит водку и два стакана, наливает по чуть-чуть, на один палец.

— Hier gibt es überhaupt keine Schnapsgläser. Er war wohl Nichttrinker...²

Беру бутылку, доливаю оба стакана, на половину, на три четверти, хотя я-то сегодня уже пил, но никак уже не вспомню того алко-голя, будто его в помине не было, поэтому доливаю, половину, три четверти.

— Gut, dass du gekommen bist³.

Сидим.

— Papa, ich bin kein Deutscher.

— Ich weiß. Mich geht es überhaupt gar nichts an⁴.

Сидим. Пьем водку. Отец по чутка, прихлебывает изнасилован-ным войной ртом.

— Gut, dass du gekommen bist.

Наливаю по новой. Молчим. Пьем. Наливаю.

— Ich nahm die Staatsangehörigkeit des Reiches an. Aber ich bin kein Deutscher. Ich arbeite für so eine polnische...⁵ Организация.

Отец кивает.

— Gut, dass du gekommen bist, — повторяет.

— Ich brauche deine Hilfe⁶.

Отец улыбается, не глядя на меня. Наливаю водки, выпиваем. Говорю, в Будапешт, мол, должен ехать. Машина есть. У меня, мол, Kennkarte, но я еду еще с одной, у которой совсем документов нет. Польша, шляхтичка. Отец в молчании кивает и жестом просит, что-бы я встал.

Я встаю, но не так, как встал бы, вели мама мне встать. Даже произнеси она это по-немецки, все равно не так. Папа стоит передо мной, ко мне близко, его тощее тело в паре сантиметров от моего, его жуткое лицо-не-лицо пред моим лицом, я вижу шелуша-

1. Младший лейтенант. Соответствует нашему... вашему лейтенанту. — Я понимаю. Ты участвовал в боях? — Да, в пулеметном. Они меня наградили... То бишь крест "За заслуги". — Я знаю, что это значит. Садись (нем.).

2. Здесь нигде нет стопок для водки. Похоже, он был непьющим... (Нем.)

3. Хорошо, что ты пришел (нем.).

4. Папа, я не немец. — Знаю. Меня это вообще никак не касается (нем.).

5. Я принял подданство Рейха. Но я не немец. Я работаю на одну такую польскую... (Нем.)

6. Мне нужна твоя помощь (нем.).

щуюся ткань на безволосых шрамах, это кожа, то, чем зарастают шрамы?

Отец внимательно наблюдает за мной из-под сомкнутых век, которыми медленно, как бы с усилием, моргает. Касается руками моих плеч, боков, живота, очень тонко, это не объятия и не ласка. Он ставит ногу рядом с моей ногой.

— Ja, gut, es wird passen¹.

Он идет к шкафу, чьи старые потроха вывалены на стул, зеленые и блестящие, как ножны сабель, и черные, как голенища сапог. Открывает шкаф. С вешалки снимает серую куртку, брюки, рубашку, с полки берет носки и черные сапоги.

— Ziehe es an².

Я ни о чем не спрашивал. Снял обувь, снял пиджак, галстук, расстегнул рубашку и брюки и остался в одном белье и носках.

— Die Unterwäsche auch, hier hast du frische, noch unbenutzte. Und Socken³.

Что ж, раздеваюсь, не стыдясь его взгляда, но стыдясь своего тела, не его уродства, поскольку тело-то у меня красивое, даже от животишка на войне избавился полностью, но именно того, что оно красиво, безупречно, ничем не повреждено, не изнасиловано.

А он смотрит на меня.

Он смотрит на тебя, и так мне боязно, Костичек, боязно мне за тебя и за то, что он может сделать с тобой. А он глядит на тебя, как если бы он глядел на себя, себя он видит в твоих узких бедрах, в ладных узлах мышц, в исхудалом животе и крепких ляжках, в коже безупречной и чисто выбритых скулах.

Он глядит на тебя без жалости и без зависти, глядит на тебя с любовью, и это есть своелюбие, как всякая родительская любовь. Никто из вас этого не признает, но любовь к плодам чресл своих есть своелюбие, самих себя любите в ваших детях, хотя кажется вам, что это наибогороднейшая из любовей, а это чистый эгоизм.

Бальдур фон Штрахвиц смотрит на своего нагого сына и сам не знает: говорит ли он это или только думает?

А ты, Константин, слышишь ли слова своего отца, от коего ты отрекся?

Бальдур говорит или только думает, Кришна говорит Арджуне: лучше своя дхарма, даже наискромнейшая, в которой и смерть хороша, нежели чужая, даже наидостойнейшая. Научился этому, это он знает лучше, чем свои силезские легенды.

Какова твоя дхарма, кшатрий?

Задаст тебе вопрос, называет тебя санскритским, старым словом: кшатрий. Воин.

Ты, Костичек, кшатрий ли ты, ведь ты сражался, стрелял, саблей машучи, поднимал в атаку, ободрял опешивших, воодушевлял

1. Да, хорошо, подойдет (нем.).

2. Надевай (нем.).

3. Исподнее тоже, вот свежее, еще не ношенное. И носки (нем.).

примером, выкрикивал приказы, но кшатрий ли ты, или ты прежде всего исполнял чужую, славную дхарму, в которой ни жизнь, ни смерть не имеют никакой ценности?

Ты не кшатрий, Костичек. Ты порван напополам, ты только боль и отчаянная тоска и пустота и нету тебя, так как ты можешь кем-нибудь быть, когда тебя нету, Костичек?

Вижу тебя, сыне, говорит или думает Бальдур фон Штрахвиц. Говорит или думает? Вижу тебя, сыне. Ты есть. Живи своей дхармой.

Стоишь нагим. За тобой твой отец. Перед тобой большое зеркало, в нем твоя нагота.

Твой отец подает тебе приданное нижнее белье. Ты надеваешь. Затем стально-серые кавалерийские галифе, на бедрах обшитые темной кожей, затем длинные носки, рубашка, подтяжки, серо-зеленая куртка. Воротник застегивается на крючки под шеей. Пуговицы. Ремень. Маленькая кобура с пистолетом, тяжелая, внутри наверняка седьмой калибр.

— *Damit gibst du lieber nicht an*¹, — усмехаясь, отец отстегивает награды с твоей груди, силезского орла, за ранения, Железный Крест первого класса. Оставляет на пуговке ленту второго класса, извлекая из нее лишь золотую булавку, значение которой ты не знаешь. Кладет тебе эти ордена и медали в карман куртки, тщательно застегивая пуговицу. Потом подает тебе обуться, ты садишься на стул, отец помогает тебе натянуть высокие сапоги со шпорами, делает это четко, как порядочный денщик.

— *Na gut, dann sehe dich im Spiegel*².

Ты смотришься в зеркало, в которое смотрелся польский генерал. Может, Валерий Славек? Ты не знаешь, в какой квартире он застрелился, может, в этой. Нет, не этой, но ты этого не знаешь, Костичек, так что для тебя, может, и в этой.

В зеркале ты видишь немца в мундире, идеально скроенном мундире. Портной как будто снимал мерку с тебя, а не с твоего отца. Шкура, снятая с отца. Серая куртка, темно-зеленый воротник. *Waffenfarbe grau*. На погонах из плетеного шнура две звездочки.

На миг я задумываюсь: значит, гауптман. Капитан. В нашей армии три звезды, а тут две, но побольше, и этот белый шнур. Между звездочками вензель из трех букв: *GFP*. Не знаю их значения. На левом рукаве черная повязка с вышитой белой надписью, поднимаю руку, читаю: *Geheime Feldpolizei*. Вензель делается понятен.

Все это на мне, но вне меня. Моя одежда сливалась со мной. Даже форма, которую я носил с неохотой, польская форма, сливалась со мной. А это всё, оно меня не касается.

— *Löcher im Staff, wo die Auszeichnungen gesteckt haben, könnten dich leicht entlarven*³, — волнуется Бальдур, в штатских штанах и

1. Этим лучше не щеголять (нем.).

2. Ну вот, теперь глянь на себя в зеркало (нем.).

3. Дырки в материи от наград легко могли бы тебя выдать (нем.).

рубашке, слегка подыспачканной, сейчас, когда он хлопчет вокрут тебя, встревоженный ординарец, это лезет в глаза.

Я двигаю рукой, мундир движет рукой. Я улыбаюсь, улыбка подле мундира.

Отец трет щеткой грудь мундира на твоей груди, дырочки от наград делаются менее отчетливы. Потом оставляет щетку, вынимает пистолетик из кобуры на твоём левом бедре, вынимает магазин, проверяет патронник, прячет пистолет обратно тебе на бедро.

— Ich habe noch eine andere Waffe, eine private¹, — говорит в оправдание. На комодке лежит пистолет в большом деревянном футляре.

— Это... тот маузер? — спрашиваешь ты, вспоминая круглую ручку перед твоим лицом, в Каттовице, когда ты в последний раз смотрел на отца глазами ребенка.

Отец соглашается. Сажает тебя за стол, из коричневого портфеля, застегнутого на две пряжки, выгребает документы и говорит. Говорит. Говорит голосом, измятым войной.

Подает их тебе. Фельдполицайкомиссар Baldur von Strachwitz. Воинская книжка. Зеленый пропуск, на нем два фото, в мундире и в костюме, оба с надкушенным лицом.

Wenn ihr eine Organisation habt, dann kann dir vielleicht jemand заменить фотографию, die Stempel fälschen. So eine Person habt ihr bestimmt².

Диск серебристого металла на ремешке, подобный жетону смерти, только с одним отверстием, и его не переломишь. Значок. Верховное командование сухопутными. Тайная полевая полиция. 2553. С обратной стороны армейский немецкой орел, свастика в когтях. Обычно этого бывает достаточно, мало кто имеет право требовать бумаги после того, как ты представился диском. И не представляйся никогда, всегда рычи просто: Geheime Feldpolizei. И диск. И это ты можешь от них требовать бумаги, понимаешь? Неважно, в мундире или в костюме. Но в мундире ты будешь убедительнее. Понимаешь?

Слова звучат в голове по-польски. А ведь по-немецки он к тебе обращается, по-немецки.

— Verstehst du?³

Разумешь. Их ферштее.

— Papa. Für so etwas werden sie dich doch hinrichten⁴.

— Они меня не расстреляют, — улыбается он. — Ziehe dich um und geh schon⁵.

Пока ты застегиваешь рубашку и вяжешь галстук, он заворачивает мундир, шинель, документы и оружие в солидный, ловкий пакет,

1. У меня есть и другое оружие, личное (нем.).

2. Раз у вас организация, то, наверно, кто-то сможет... подделать печати. У вас наверняка есть кто-нибудь такой (нем.).

3. Ты понимаешь? (Нем.)

4. Папа. Они же казнят тебя за такое (нем.).

5. Не казнят. Переодевайся и иди давай (нем.).

в большой пакет, в твой пакет, жизнь свою он оборачивает коричневой бумагой и завязывает шпагатом, как дотошный приказчик.

— Ich bringe dich nach unten, mein Sohn¹. Важно, чтобы вахтер видел нас вместе, когда ты будешь выходить.

Розумешь? Ты уже уразумел, Костичек?

По лестнице вниз. Я пьян. Пакетик. Отец провожает меня до дверей и выходит со мной на улицу. Такой маленький и невысокий, намного меньше меня. А мундир подходит, однако. Стоим лицом друг к другу какое-то время. Я пьян. Отец кладет руки на мои плечи, обнимает и приникает ко мне, его шрам у меня на щеке. Он очень молод и очень стар одновременно.

— Geh schon. Das reicht mir. Geh², — шепчет.

Сажусь в авто, хлопаю дверь. Пакетик с мундиром и оружием моего отца на пассажирском сиденье, рядом. Он стоит на улице, в домашних тапочках, рубашке без воротничка, в штатских брюках на подтяжках. Машет мне рукой. Я думаю о его ране в паху, о той жуткой ране, какую в душе должна была выжечь рана телесная. Завожу мотор. Отец поворачивается и входит в генеральский дом. Через остекленную дверь я вижу, как он разговаривает с караульным, так он с ним ласково болтает, караульный в струнку перед паном офицером ветераном инвалидом военным.

Вдруг он оборачивается, будто что-то вспомнил, выглядывает в дверь и машет мне рукой, отчетливо так, не уезжай, мол, подожди, мол, у него еще дело ко мне. Исчезает за дверью, через некоторое время выбегает с автоматом, не с таким, как у немецких унтер-офицеров в сентябре, но с деревянным, винтовочным ложем, с гнездом для магазина на боку, а не снизу, волосы встают дыбом у меня на затылке, но я замечаю сразу, что нет, он не держит его так, как держат оружие к бою, в гнезде нет магазина. Выхожу, не выключая мотора.

— Eine Maschinenpistole wirst du brauchen, mein Söhnchen. Dort, wo du hinfährst. Ich brauche sie doch nicht, weil ich hier bleibe³.

Он подает мне оружие и магазины в кожаном футляре. Улыбается половиной лица, кладет руку еще раз мне на плечо, поворачивается и уходит. За дверью что-то говорит караульному и в конце концов исчезает на лестнице.

А я стою, как дурак, на улице изнасилованной Варшавы с автоматом в руках. Стало быть, открыть багажник, побросать все внутрь, захлопнуть крышку и забраться внутрь самому.

Ты сидишь в машине с включенным двигателем, тебя мутит от водки и от того, что ты ничего не ел, так что же? Ждешь, пьяный.

Чего я жду? Что случится?

Знаешь ведь. Но делаешь вид, будто ничего не знаешь и ничего не разумеешь.

1. Я провожу тебя вниз, сын мой (нем.).

2. Иди уже. Мне этого довольно. Иди (нем.).

3. Автомат тебе понадобится, сынок. Там, куда ты едешь. Мне-то он не нужен, я остаюсь здесь (нем.).

И он всходит по лестнице в свою-не-свою квартиру, а ты сидишь в шевроле, мотор работает. Он ходит по квартире, нервно и в каком-то отупении, и плачет, и прижимает к груди ладони, словно прижимая к груди что-то очень дорогое ему; потом из ящичка в бюро достает стопки документов, уносит на кухню и сжигает в кухонной печи, шурует в очаге кочергой, жженная бумага рассыпается в прах. После выглядывает в окно: видит крышу твоего шевроле, улыбается. Прячется за грязной занавеской. Смотрит на фасад министерства, где адъютант, юный фельдполицайсекретарь Ваничек, раскладывает груды документов и приводит в порядок сложную сеть архивов. Feldpolizeisekretär Бальдуров земляк, он родом из Силезии, из деревушки неподалеку от Гливиц, которая всегда звалась Пильховицами, но это звучало чересчур по-славянски, и несколько лет назад она стала Бильхенгрундом, словно это могло изменить задним числом тот факт, что некогда она звалась Pilchowitz. “Фельдполицайсекретарь Vanitschek spricht gut Polnisch, er ist intelligent, sehr systematisch, aber nicht besonders entscheidungsfreudig. Er stellt eine wichtige Errungenschaft für die geheime Feldpolizei dar¹, рекомендую содействовать развитию его компетенций”, — написал в личном деле своего подчиненного фон Штрахвиц. У секретаря полевой полиции Ваничека есть лицо, и хрен, и все остальное.

Через пару лет Feldpolizeisekretär Vanitschek займется отловом советских шпионов среди грязной, большей частью косоглазой орды восточных хиви, и выловит их в большом числе, а после даже успеет счастливо сорвать с рукава компрометирующий вензель GFR, не открываясь своим солагерникам. Сам он из лагеря сбежит, а это будет дальний лагерь, в Приморье, и он будет идти по таежной экзотике, и велика будет его надежда: граница Китая рядом, а уж из Китая он выберется, гражданская война ему не страшна. Однако до Китая он не дошел: черный уссурийский медведь с белым полумесяцем на груди напал на него. Эти медведи не очень крупны, самка, чья неспровоцированная атака на зека, который некогда звался Ваничек, не увенчалась успехом, была не крупнее кавказской овчарки. Она оставила жуткие раны и увечья, однако в конце концов он прогнал ее, лупя ей палкой по голове, чтобы двумя днями позже погибнуть от голода и ран.

Я видела его гибель, видела.

А Бальдур сейчас видит в окне крышу твоего шевроле. Смотрит, пока не отъедешь. И я ненадолго остаюсь с ним. Он уже сжег бумаги. Теперь он раздевается догола, одежду складывая по уставу, так его учили в полку, в другом мире, в мире, в котором у него было лицо, хуй, и весь он с этим лицом и хуем принадлежал Катажине Виллеман, и еще некоему глупому императору, который сейчас, седобо-

1. Ваничек хорошо говорит по-польски, сообразителен, весьма систематичен, но не слишком скор в принятии решений. Является важным приобретением для тайной полевой полиции (нем.).

родый и в полосатом костюме, гуляет по саду своего дома в Huix Doorn в Голландии и задается одним вопросом: когда? И тогда что?

А Бальдур фон Штрахвиц стоит перед большим зеркалом и глядит на свое тело, очень худое. На убитое лицо и дырку в паху, через которую он мочится. Бальдур фон Штрахвиц полон любви. Бальдур фон Штрахвиц умиротворен.

Бальдур фон Штрахвиц счастлив, а я тебя брошу, Костичек, на миг, я хочу побыть сейчас с ним, побыть им.

Бальдур фон Штрахвиц открывает деревянный футляр, вынимает большой старый маузер, вороненая сталь местами протерта до блеска. Он убил из него много людей: на войне и после войны и по приговору трибунала. Убил их оттого, что они были его врагами, но, скорее, затем, что у них были лица, которые можно было поцеловать, и были хуи, которые они могли сунуть в женщину, поэтому он стрелял им в лица или в сердца, если лица не были достаточно хороши для пули, а в промежность не должен был стрелять, она отмирала сама, когда он убивал лицо.

Потом он перестал убивать людей, ему было негде, закончились малые войны после войны; да он уже и не жаждал их убивать, это не приносило ему умиротворения. Тогда он поехал в Индию и Тибет и там пробовал найти нечто, чего в Индии найти не мог, сколько бы ни шептал то, что велели ему попы в красных кашаях, считавшие, что он умирает.

Ах, если, обуянный безжалостным Невежеством, блуждаю я в колесе сансары, меня светоносным путем мудрости дхармадхату со-благоволит провести, почтенный Будда Вайрочана! Да поддержит меня Владычица пространства, твоя супруга! Молю, помоги мне на опасной тропе бардо! Введи меня в пречистую сферу совершенства Будды!

Но он не умер и не нашел того, чего искал, ибо то, что он искал, растворилось во фландрской грязи и течет в земле, в ее соках, несколько важных фрагментов Бальдура стали Фландрией.

После он странствовал по Персии, Аравии и Северной Африке, деньги ему охотно высылали семья, его отсутствие было им на руку, так он как минимум не мерзил им своей эстетической деградацией: телесной, социальной и, как они верно полагали, моральной.

Он странствовал как бы с закрытыми глазами. Его много раз обкрадывали, воры верно чуяли в нем легкий куш, охотно залезая к нему в багаж, когда он спал или беспечно бросал его без присмотра. По той же причине его никогда не грабили, бандиты никогда не нападали на него, чуя, что, стоит его задеть, он укусит, как бешеный пес.

В странствиях он ничего не обрел. Но полюбил платки на лицо, как у туарегов. Пробовал стать мусульманином, не помогло. Пробовал стать хоть чем-то, не помогло, а он стал бы даже иудеем, когда бы это могло хоть в чем-то помочь, он ведь даже был как бы обрезан. Но не могло и это. Пожил немного в Палестине. Вернулся. Хаживал на собрания разных фолькистских движений и союзов, пока в конце

двадцатых не вступил в НСДАП, куда же еще ему было вступать, коль все его товарищи по Оберланду были там, так что вступил в НСДАП и пробовал изучать историю, но не смог, не сумел. Так что в итоге он бросил университет, записался в Studiengesellschaft für Geistesurgeschichte, Deutsches Ahnenerbe e. V. и ездил по целой Германии с лекциями о древних ариях, куда приходило обычно не более нескольких посетителей, главным образом психов, и все они вместо того, чтобы слушать об ариях, смотрели на его жуткое лицо.

Тогда я не была с тобой, Бальдур.

Я была с тобой раньше, но тогда я уже с тобой не была.

Потом наступил 1933 год, и тебя взяли в армию, а потом наконец началась война, и все успокоилось. Но ненадолго, потому что потом в каком-то польском вертепе ты увидел своего сына.

А теперь, Бальдур фон Штрахвиц, ты обнажен в своих увечьях, ты наг, и я с тобой.

Стоишь нагим перед зеркалом. Тебя зовут Бальдур Болько Штрахвиц фон Грос-Цаухе унд Каминец. Feldpolizeikommissär. Rittmeister, это раньше. Стоишь перед зеркалом, ты наг, в руке у тебя пистолет, ты полон любви, ты плачешь и вспоминаешь Катажину Виллеман, единственную женщину твоей жизни, и вспоминаешь фамильную усадьбу, теток, кузин и кузенов в мундирах, и братьев, и брата, и лошадей, и слуг, и вспоминаешь, как родился твой сын. Ты полон любви.

Всё.

Я ухожу от тебя, Бальдур, я возвращаюсь к тебе, Константин.

Бальдур навеки один перед зеркалом: он юный и древний, нагой, изуродованный шрапнелью и фосфором, исполненный любви и с пистолетом в руке. Он навсегда будет таким.

Я ухожу, и я уже с тобой, Константин, а ты едешь мимо Авиатора на постаменте, едешь пьяный и едва не въехал в подводу. Итак, уже Пулавская, а на Пулавской даже движение как на войне, сворачиваешь на Мадалиньского и ставишь шевроле, где ты всегда ставил олимпиаду, и внезапно пьяного тебя охватывает ярость, беспомощная ярость.

— Отдайте мне жизнь! Курвы! — кричишь ты, лупя кулаками по рулю шевроле.

Но, видно, ты их не убедил, ибо они не отдают. Кому это, черт побери, Костичек?

— Всем, — отвечаю сам себе. — Всем.

Вываливаюсь из машины, спотыкаясь о собственные ноги.

Мне страшно за тебя, Константин. Знаю уже, что будешь у меня отобран.

Вернись!

Пакет! Беру.

Возвращаюсь.

Лестница, вверх, дверь, квартира, добрый, добрый Боже и черный боже, вас нет, но есть Дзидзя, на кресле в гостиной сидит Дзидзя, у нее мокрые волосы и твой шлафрок, в разрезе шлафрока голые ляжки.

Она не прикрывает их, когда он входит. Я вхожу. Входишь. Вхожу.

— И что же ты там обтыпал, горемычный? — спрашивает.

Ты грубо бросаешь ей пакет. Дзидзю веселит твое нахальство. Распаковывает. Разглядывает вещи в пакете, и ее небрежение увядает.

— Ты убил его?..

— Нет.

— Тогда откуда?

— Это мой отец.

— Это мундир твоего отца? И документы, и оружие?

— Да. Хорошо сидит на мне. Инженер тебе не говорил?

Она молчит какое-то время.

— Не говорил. Ты украл?

— Нет, он дал мне.

— Как это: дал?.. Он будет работать на нас?

— Нет. Он немец. Он не предал бы Германию, никогда.

— Но оружие, документы?..

Ты пожимаешь плечами. Хотел бы ловко сесть в кресло, но спотыкаешься по пути.

Хочу ловко сесть в кресло, но спотыкаюсь по пути, я пьян, я совершенно трезв, сажусь. Пожимаю плечами.

Еще нет, Константин, еще нет, пожалуйста, еще рано.

Дзидзя делается меньше. Прикрывает шлафроком свои небрежно оголенные ляжки.

— Ты восхищаешь меня, — говорит внезапно другим тоном, без колкости, с которой она говорила раньше. — Пить тебе нельзя, но ты все равно поразителен.

— Фото нужно заменить. Моими. В мундире и в штатском.

Дзидзя меня больше не слушает. Вытащила из пакета гимнастерку от мундира, расправила, уронила. Теперь вижу: она уже тоже пьяна.

— Сидит?

— Идеально.

— А где ордена? — спрашивает, указывая на дырки.

— Отец снял... — отвечаю я. — Я слишком молод для мировой войны.

Дзидзя, слегка отупленная алкоголем, мгновение хмурит брови и тотчас широко улыбается.

— Дурость же! Покажись мне, ну!.. Какого ты года?

— Девятого.

Разглядывает меня. Тебя. Разглядывает. Меня. Испытующе.

— Ну, покажись же, к свету стань...

Подходит ко мне. Голая под шлафроком. Кладет руку мне на грудь, будто ласка, но, однако, для того, чтобы держать дистанцию. Берет мою нижнюю челюсть двумя пальцами и вертит, рассматривает мое лицо.

— Тебе может быть сорок.

Я фыркаю.

— Не выглядишь старым для своего возраста, — уверяет она голосом, не звучащим так, как прежний голос Дзидзи. — Ты выглядишь как мужчина. По-мужски. Мужчина от тридцати до пятидесяти может вообще не меняться.

Я могу сейчас ее соблазнить? Это она меня соблазняет? Она пьяна. Я тоже. Отчего нет? Хочу обхватить ее за талию, но прежде, чем жест этот обретет вес, она ускользает, отворачивается, выкручивается в танцевальном па и отступает от меня.

— А этот твой отец, немец, какого он года?

— Девяносто третьего.

Дзидзя морщит лоб.

— Выходит, семнадцать ему было, когда тебя...

Я пожимаю плечами.

— Но это прекрасно. Сорок шесть лет. Однако склеится. Ты похож на отца?

А, значит, не смотрела на фотографии в удостоверении. Не посмотрела.

— Не знаю, — отвечаю я.

И знаю уже, что заглянет туда, проверит, увидит. Увидит, все увидит. А как увидит, то шанс соблазнить будет просрочен. Пред лицом того, что она увидит, пред лицом того, кого она увидит, шансы испарятся.

Дзидзя берет удостоверение, открывает.

— Боже ты мой...

Испарились. Я пожимаю плечами.

— Это еще не все, прочти в разделе “особые приметы”.

Она вздыхает.

— А, ну, фотографии надо будет тебе сделать. А херы они вряд ли контролируют, — смеется.

Я немного задет этим смехом, она смеется над тем, чего у моего отца нету...

— Но погоди, — притупленный алкоголем мозг Дзидзи цепляется за очевидное, — раз он тебя...

— На войне.

— Ах. Ну, в любом случае ордена ты должен прикрутить назад. Его история теперь твоя история. Ты будешь им. Фото Инженеру придется делать новые.

Сажусь в кресло. Тяжело сажусь. О соблазнении уже не может быть и речи.

— Пойду-ка я спать. Я пил с ним водку. Устал.

— Ты станешь им, понимаешь? Будешь... — Она взглядывает на удостоверение. — Ты будешь Бальдуром фон Штрахвицем.

Встаю.

— Оставь меня в покое, Дзидзя. Я иду спать.

Иду. Идешь. Да, я иду, упасть на постель, постель Гели и мою, а теперь скорее мою, упасть на постель Гели и спать.

Глава X

— Подъем! Побудка, пан фон Штрахвиц!

Дзидзя. Дзидзя? Открываю глаза. Темно. И она надо мною.

— Вставай, у меня все готово.

— Что у тебя готово?.. — спрашиваю отсутствующе.

— Всё. Одевайся, — она швыряет мне мундир моего отца.

Ничего не понимаю.

— Фотографии, будем делать фотографии. Для начала в мундире. Одевайся.

Дзидзя отворачивается и выходит. Сажусь на кровати.

“Быстро, быстро, некогда!” — мужской голос из гостиной. Я знаю этот голос. Это Водитель. Водитель Витковского.

Я им не доверяю. Дзидзя притащила весь пакет: там небольшая кобура отцовского служебного зауэра. Открываю чехол, вынимаю пистолет.

— Костичек, ты бы остыл, ладно? Позже наиграешься, — сказала Дзидзя, незаметно вернувшись.

Мой инстинкт велит мне стыдливо убрать пистолет, отбросить, сконфузиться, будто мальчик, застигнутый на онанизме, устыдиться, вспыхнуть.

Но внезапно я знаю, что есть во мне еще что-то. Где-то в глубине меня, не знаю, где именно, что-то взросло, нечто, что позволяет мне удерживать пистолет в руке. Благодаря ей. Она говорит мне, чтобы не валял дурака, но именно милостью ее я могу сделать то, что хочу сделать. Не то, чего ждет от меня она. Или моя мать. Или мой отец. Или командир. Ее милостью. Еще ни разу не встретил я никого ей подобного.

Еще ни разу не встретил ты никого ей подобного.

Руки трясутся, внезапно мне делается жарко, и я стараюсь быть неспешным, чтобы не опозориться, поэтому двумя пальцами оттягиваю затвор, проверяю, заряжено ли, что-то золотисто взблескивает, поэтому, не сводя глаз с Дзидзи, отпускаю, и патрон вскакивает на свое место, оружие заряжено.

Встаю. Адреналиновая дрожь в ляжках. Я в одном исподнем, трусы да майка, но это неважно. Я им не доверяю. Может, они кончить меня хотят, с чего бы нет?

В моей гостиной стоит Водитель. Водитель Витковского, летный шлем и кожаная куртка, он извлекает из большой брезентовой сумки нечто, напоминающее портативную лабораторию для проявления фотографий. Рядом на деревянном штативе стоит фотоаппарат при огромных лампах, их тоже принесли, они не мои. За обеденным столом раскладывает некие письменные принадлежности незнакомый мне человек в круглых очках, на первый взгляд жидочек, скорее всего.

Правое плечо Водителя дрогнуло, словно инстинкт при виде пистолета велел ему лезть в карман, а он не полез. И смотрит на меня иначе, нежели раньше.

— Чего тут? — огрызнулся я. — Мой дом. Сыт по горло необъявленными визитами.

— Нас пригласила панна Дзидзя, — возразил он. — Мы думали...

— Господа, — отзывается очкарик из-за стола. — Документы у па-на отличные, нужно вклеить фото, переделать *besondere Merkmale*¹, и выйдет ганц малина.

— Нет повода заедаться, пан Пятьдесят Семь. Надень-ка, пан, мундир, сделаем фотки, и порядок, — сказал водитель. Примири-тельно. Учтиво сказал. Негоцирующе сказал, хотя я-то пистолета даже не поднял, не целился ни в кого, просто держал его в ладони, стволом в пол. Но, может, они слышали щелчок зауэра, когда я его заряжал. И теперь он относится ко мне по-другому, у него другой взгляд, он не глядит на меня так, как глядел раньше.

Хотела бы я тебе, Костичек, рассказать, как именно он на тебя глядит, но не могу. Что-то варится внутри тебя, выталкивая меня наружу, бродит как тесто, а я сочусь из тебя, выплываю из тебя твоими ноздрями и ушами.

Варится, а скорее всего, уже сварилось. Так хотела бы я, чтобы ты поехал к матери, к своей матери, милостью которой ты есть, ведь мог бы не быть, она могла избавиться от тебя, уже тогда в Верхней Силезии могла за деньги зародыш твой или самого тебя вывести из своего лона, выскрести, как выскребают серу из уха, но не выскребла, она оставила тебя себе, и чего, чего ради, чтобы ты предал ее, пойдя к нему, к тому, кто не был достаточно хорош для нее, за-чем ты пошел к нему, Костичек, и зачем предался его любви?

Ты не пошел к матери, поэтому сейчас она берет тебя в оборот. Она, поскольку еще ни разу не встретил ты никого ей подобного.

Я возвращаюсь в спальню.

— Хотел бы переодеться, — говорю я Дзидзе, ожидая, что нач-нет она поддразнивать меня, язвить начнет, не застыжусь ли я чего и чего я застыжусь, но она просто выходит, она вышла.

Надеваю отцовский мундир. Фуражка, сплюснутая круглая фу-ражка с козырьком, мягкая, высокие сапоги натягиваю. Ремень за-стегиваю, кобура, не забывать, что на левом бедре. Я бы припили-лил знаки отличия, но не знаю как, поэтому выхожу в гостиную.

— Псякрев, — чертыхается при виде меня Водитель. Жидочек в очках оторвался от бумаг, пожал плечами.

— Как будто из журнала для гансов вырезан, верно? — улыбается Дзидзя. Я не улыбаюсь.

— Мне нужна фотография. Та. Чтобы ордена как надо припили-лить.

Дают, я встаю перед зеркалом, на фото Бальдур, в зеркале я, припиливаю ордена. В зеркале Бальдур, на фото Бальдур. Либо я. Возвращаюсь.

— Зачем пану штаны и сапоги на коня, раз тут явно написали, что тайная полиция? Глина, надо думать, в атаку верхом не ездит? — спрашивает липач из-за стола, не отрывая сосредоточенного взгля-да от бумаги, оглаживаемой влажной кисточкой.

1. Особые приметы (нем.).

— Мой отец уланский капитан. То есть был. На первой войне. Второй полк улан. То есть немецкий, императорский, второй полк улан фон Кацлера, — объясняю, но: объясняю, а не объясняюсь, не оправдываюсь, не петляю, просто говорю. Разъясняю. Даю знать.

Они включают лампы. На стене растянули скатерть, что скажет Геля, что скажет Геля, кой черт. Кой черт? Водитель трижды фотографирует, что-то мудря с объективом, затем я переодеваюсь в свою коричневую плотную одежду. Хуй на своем месте, проверил.

Опять фотографирование.

— Сделаем темную комнату в ванной, так, пан, — говорит Водитель, снимает шлем и кожаную куртку и запирается там, а что я, я кружу по квартире, кружу аки лев рыкающий.

Дзидзя в кресле читает книгу. Маленький еврей скребет и оглаживает кисточкой жуткие раны моего отца. Отшелушивает рубцовую ткань с лица, наращивает здоровую крепкую кожу. В промежности из складок вокруг выделенной уретры растет новый уд, с ним вместе подрастает уретра, кровеносные сосуды и пещеристые тела и кожа и все это на бумаге, на бланках документов и на светочувствительной бумаге, где в красном свете проявляется Бальдур фон Штрахвиц, черный, как негр, с черными белками глаз и в белом мундире, а после светло-серый в мундире темно-сером, и его секут по формату маленькой гильотинкой, а после Бальдур фон Штрахвиц в коричневом костюме, я.

А ты кружишь, ибо что же теперь, что теперь, что теперь?

Геля. Юрчик. Старик Пешковский. Ига. Яцек. Мать. Все.

Саломея, мой Бог, Саломея, как насчет Саломеи, может, сразу поехать к ней, сейчас поехать, как она там?

Не поехать.

А отец, как он там, это же очень близко, пешком какие-нибудь четверть часа, не больше, схожу, может, посмотрю.

Не сходишь, дурак, не сходишь. Ты ведь знаешь. Он проводил тебя вниз, чтобы они видели его в тот момент, когда ты вышел, чтобы они ведали, что остался один.

Не схожу. Записал ли караул мои данные? Я не помню, чтобы он что-то записывал, а вот запомнил ли, он смотрел лишь в мои бумаги, итак, запомнил ли он мое имя или нет, ведь если не запомнил, то я буду просто никем, один из надцати тысяч немцев в Варшаве, а если запомнил, то меня станут искать. После.

После чего? После. После. Не пойду. К Саломее тоже не пойду.

Не пойдешь. Иная волна под луной твое сердце несет. Ты кружишь по квартире, натываясь на запахи и следы Гели и Юрчика, к ним ты тоже не пойдешь. Час ночи, уже час ночи.

— Готово, — сказал жидочек. Геля спала в кресле.

Дзидзя, не Геля. Дзидзя.

Геля спит далеко отсюда, на улице Подвале, подле нее Юрчик, а над ними страшная тень Пешковского.

В гардеробе платья Гели. Ты ведешь по ним ладонью, шелка и атласы шепчут свои буддийские молитвы, как бумажные лоскутья

на тибетском ветру, шепчут свои молитвы вечной женственности, которую они укрывали.

Помнишь бумажные лоскутья в Тибете?

Я никогда не был в Тибете.

Геля, Геля, Геля. Геля!

— Спи, Константин, — шепчет Дзидзя. — Утром Инженер проведет инструктаж, и мы поедем. Тебе следует отдохнуть.

Бутылочка. Бутылочка. Нету ее. Полной счастья.

— Оставь меня в покое, женщина, — рычу, закрываю дверь спальни, плевать, как она там теперь. Я буду кем-то ради чего-то, буду во имя чего-то, а не тем, чем до сих пор был.

Дурной дурень Костек.

Раздеваюсь и вижу сны.

Снится тебе дом родной, катовицкая каменица. Ты на приеме, на вечеринке, какой, в общем-то, в твоём родном доме быть не могло, потому как вечеринки не устраивали в то время, когда ты там жил, на первом в жизни коктейле ты был у родителей Яцека и год то был 1932, и ты надел свой первый в жизни смокинг и чувствовал, как жизнь твоя внезапно зашла с туза. Ты были красив и тебе улыбались красивые женщины в круглых шляпках, ты пил водку и ел икру. А потом ты купил себе фрак. Но сейчас тебе снится коктейль, снится вечеринка в гостиной, где ты провел детство, так же, как ты проводил детство в молчании твоей матери. А в гостиной множество людей, но никого знакомого ты не находишь, очень темно, лишь немного света падает в окна, пасмурный, серый закат.

И все засыпано седой золой, люди бродят по этой золе, снимают какие-то закуски с присыпанных золой столов, зола пузырится в бокалах, оседает на волосах, и не то чтобы они этого не видели, они это видят, они шутят над этим, отрясают золу с рукавов, сдувают ее с бутербродов.

Я кого-то ищу — позже я осознал, что ищу женщину. Геля это или Саломея, это Ига или Дзидзя? В воздухе, между усыпанными золой людьми, парят сияющие, пылающие линии. Это следы. Я иду по тем следам, которые она оставила в воздухе, это горящие в воздухе следы зажженной сигареты. Они светятся так, как в детстве светились линии, нарисованные в ночи горящими палочками — с той разницей, что следы ее сигареты делятся в воздухе, как на ночных фото с большой экспозицией. В следах есть яркие светлячки, это места, где она затягивалась сигаретой.

А ты пробуешь отыскать некий порядок в этом клубке светящихся полос и знаешь уже, что самые яркие из них самые свежие, и следы сигареты ведут тебя на лестничную клетку и вверх, на чердак: там нет пыли, лишь запах свежей стирки, а на шпагатах висят влажные простыни. И следы сигареты между ними — там ты ее, наконец, находишь, она оперлась о балку, одетая в коктейльное платье, стоит, ломая в ярости руки, плачет, слезы бегут по щекам, она курит сигарету в длинном мундштуке. Спрашиваешь, что случилось, а она шипит сквозь сжатые в злую тонкую полоску губы:

— Выметайся отсюда, иначе убью, — говорит она, а ты знаешь, что она не шутит. Ее аж трясет от гнева. И ты оборачиваешься, весьма унижен и слегка напуган, и хочешь уйти, но не умеешь найти дороги среди простынь, они липнут к тебе, а ты пятаешь их пылью, севшей на твои руки и волосы. Мать будет в ярости. В конце концов ты выходишь на двор, по пути срывая полотнища со шпагатов: а снаружи, на улице Мариаккой, зола скрыла все, падает с неба, как черный снег, стоит день, но так темно, как при полном затмении солнца. На горизонте огромный вулкан брызжет огнем.

— Вставай, Константин, пора, — говорит Дзидзя.

Это она ждала там, на чердаке, среди мокрых простынь? Ты встаешь. Слышать мой голос ты не хочешь.

Встаю. А и ладно. Носки, кальсоны, майка. На нее рубашку. Брюки серо-стального цвета. Подтяжки. Высокие сапоги, крючки были уже наготове. Теперь гимнастерка. Пояс с кобурой, ремень на две дырки, кобура, не забывать, не забывать, на левом. Фуражка.

Зеркало.

Ich heiße Baldur von Strachwitz, Feldpolizeikommissar¹.

Я Константин Виллеман. В дорожный баул кладу я гражданский костюм, плотный, коричневый, из шотландской шерсти, смокинг тоже беру. Знаю хороший способ сложить пиджак, чтобы он не измялся: я выворачиваю один рукав наизнанку и вставляю в другой рукав, затем скручиваю вокруг рулона из нижнего белья. Моя жизнь вывернута наизнанку, неуместность баула, ну как ты упакуешь ее в баул, какой баул, тут нужен целый тюк, целая тележка, а не баул. Пуховые перины и мешок картошки. Накидываю пару рубашек, носки, трусы, зубную щетку, порошок, мыло и принадлежности для бритья. Всё.

Выхожу в гостиную.

В кресле Инженер, в другом Дзидзя, у окна Водитель.

— Прекрасно, — хлопнул в ладоши Витковский. — Пусть пан скажет что-нибудь по-немецки. Знает пан, в армейском таком тоне.

— Жрите говно, ihr Drecksäcke, — отвечаю с усердием.

Дзидзя смеется. Водитель не понял. Лицо Инженера вытянулось. Он встает.

— Ладно. Итак, пан Пятьдесят Семь...

— Ich heiße Baldur von Strachwitz, — перебиваю я.

— Да-да. Поедете в Будапешт. Остановитесь в отеле Gellért.

— Боже, какой китч, — Дзидзя схватила за голову.

— Отчего? — Инженер удивлен. — Я справился в бедкере, это приличный отель. Есть термальные ванны. Поселитесь под фамилией фон Хорн. Мистер и миссис фон Хорн.

Дзидзя презрительно машет рукой. Инженер не понимает.

— Там вас найдет полковник Штайфер, который, по нашим сведениям, уже должен быть в Будапеште. Сбежал от Советов. С полковником пан обсудит следующие вопросы... Впрочем, прошу прочесть.

1. Меня зовут Бальдур фон Штрахвиц, я комиссар полевой полиции (нем.).

Он подает мне отпечатанный листок. Налаживание курьерской связи. Возможности разведработы. Финансирование. Переброска во Францию. Установление оперативной связи с представителями немецких военных кругов. Дюжина с лишним пунктов.

— Прошу выучить на память, а листок, разумеется, сжечь. Это все. Наладить то, что налаживаемо. И назад.

Даже Дзидзя выглядит удивленной.

— Это все? — спрашиваю. — А какие-то конкретные задачи, поручения? Никаких? А что, если Штайфер не объявится?

— Пан Пятьдесят Семь. Пан офицер, не капрал. Офицер разведки. Офицер разведки Речи Посполитой. Пан должны проявлять инициативу, действовать самостоятельно. Пан едет в Будапешт, пускай пан сделает там то, что в его силах, потом прошу вернуться не позднее конца месяца. Мы поняли друг друга?

Я пожимаю плечами.

— Финансы?

— Ах да, конечно! — Инженер хлопнул себя по лбу и полез во внутренний карман куртки. — Тысяча долларов. Пану должно хватить.

— А бумаги для меня? — спрашивает Дзидзя.

— Наша легализационная ячейка работает пока на неполных оборотах. Придется вам обойтись тем, что есть.

Дурь, дурость, везде провалы, не замечаешь, Костек? Ставишь жизнь на крапленую карту. Зачем? Зачем ты больше не хочешь слушать меня, Костичек?

Ты у меня украден.

Надеваю шинель, перчатки. Беру ключи. На Дзидзе норковая шуба, крохотная шляпка и даже муфточка есть. Нету войны, нету. Где война, что за война?

Мы выходим.

Мы вышли. На месте моей олимпиады стоял шевроле. С польскими номерными знаками, довоенными.

— У машины польские номера, — сказал я.

— Скажем, что конфискованная, — ответила Дзидзя.

Я открыл багажник, достал автомат и подсумок. Дзидзя взглянула с изумлением, одобрительно.

— Умеешь стрелять? — спросил я, памятуя о моем унижении возле Лурса.

— Из чего-либо подобного не умею и не хочу, — отрезала свысока, как аристократка, игнорирующая шанс проехаться третьим классом.

Я улыбнулся ей, она ответила улыбкой. Она что-то со мной делает, что-то изменяет, что-то умолкает во мне; нечто, чего я ранее не слышал, однако ж оно там было, а теперь умолкает.

Ты меня не услышал.

Мы сели в авто, я завел двигатель, присоединил магазин к автомату, не перезаряжая его из опасения, что при очередной встряске он выстрелит. Некоторое время сидел молча, ладони на руле.

— Не должны ли мы заранее что-либо спланировать? Какой-то маршрут, легенду, что говорить, если у нас захотят проверить документы?..

— Ты должен. Ты здесь офицер разведки, верно?

Я вновь замолчал, сжимая руками руль, словно зависнув на нем над пропастью.

— Не я, — наконец выдавил из себя я. — Я не офицер разведки. Я даже не уланский офицер запаса. То есть по бумагам это я, я закончил курсы, командовал взводом, воевал с немцами, но я не офицер, я не солдат.

Зачем я сказал это, подставляясь яду ее насмешек? Зачем? Не знаю. Дзидзя, однако, не ядовита.

— Тогда кто ты? — спросила просто. Серьезно спросила.

Кто? Хотел бы я сказать: я Костек Виллеман, джентльмен, мот, бабник и наркоман. У меня никогда не переводятся деньги. Я люблю водиться с художниками и писателями. Любил. Люблю женщин. Чутка поизучал полонистику, дабы забыть, что по крови я немец, но полонистика меня не брала, бросил, немного рисую, учился у лучших профессоров АИИ заочно, мать платила, но и это меня особо не взяло, если честно. Хотел было заняться фотографией, снимать голых шлюх в разнузданных позах, но война пришла прежде, чем я купил себе фотоаппарат. Хотел было написать сценарий для фильма или срежиссировать этот фильм, и чтобы сыграла в нем Ганка Ордонувна. Я говорил об этом с Ярославом, он меня поощрял, особенно под водку, а натрезво поощрял уже не так горячо. Саломею взял бы на роль второго плана. Цыганки-гадалки. Но не написал, началась война. Люблю морфий, ледяную водку и шампанское, не побрезгую кокаином, люблю утонченную еду, люблю танцевать в Адрии либо Парадизе с женщинами, с которыми я знакомлюсь вечером и прощаюсь утром. Любил. Люблю ложиться с ними в постель, но еще больше люблю их подчинение мне, их обожание еще важнее для меня, нежели сама их плоть. Плоть скучна. Тело Гели мне не наскучивает. Не наскучивало. Не наскучит. Вызывает у меня желание. Не любовь. Любовь. Вызывало. Нет. Не знаю. Я Константин Виллеман, и я добрый сын своей матери. Недобрый. Я Константин Виллеман, и я принял любовь своего отца, зная, к чему его это ведет. К черепу с дыркой. Я Константин Виллеман, и я ненавижу свою мать.

Я Константин Виллеман, а мать моя не человек. Я Константин Виллеман, и я сын дьяволицы. Я сын дьявола, мой отец обрюхатил дьявола, и лоном дьявольским произведен был я на этот свет, а отец мой потерял уд, чтобы уже никого более не мочь обрюхатить.

Я Константин Виллеман, у меня нет ни братьев, ни сестер, никого нет. Я один. У меня нет жены. У меня нет сына. Я Константин Виллеман, у меня нет ни матери, ни отца, у меня есть только сатана и мертвяк. Я Константин Виллеман, сын сатаны и мертвяка. Я Константин Виллеман, и мне насрать, немец я или поляк, в мире этом есть дела поважнее.

Меня зовут Константин Виллеман и я варшавянин. Я никогда раньше не думал об этом, думаю об этом сейчас, глядя вглубь улицы Мадалиньского в направлении Раковца у дома из шоколада, сквозь переднее стекло шевроле Master, который мне не принадлежит. Ладонями сжат руль. Рядом с моим коленом в перфорированном кожаном ствол автомата, семь отверстий огромной перечницы, за ними колено Дзидзи Рохацевич в шелковом чулке телесного цвета. Я варшавянин.

Я Константин Виллеман. Я Константин Виллеман, мот, бабник и наркоман. Я вижу разные вещи. Я слышу разные вещи.

Меня ты не слышишь. Мать свою ты не слышишь. Уши себе закнул.

— Тогда кто ты? — спросила Дзидзя.

— Ich heie Baldur von Strachwitz.

— А если по правде, — говорит она, как говорят маленькие девочки.

По правде я никакой не Константин Виллеман. Никакой не Бальдур фон Штрахвиц. Я никакой. По правде никакой сжат ладонями руль туго туго натянута кожа на косточках пальцев, вот-вот треснет не треснет. Я сын сатаны и мертвяка. По правде я не сын сатаны и мертвяка, я сын Бальдура и Катажины, но она никакой не человек. Кто она? Женщина. Человек. Никакой.

— Нет ничего по правде. По правде меня нет. По правде никого нет.

— Пшибышевщина, — усмехнулась Дзидзя.

Но без презрения. Поддразнивает меня, но без презрения. Отчего? Может, раньше тоже было без презрения? Нет. Да.

— Поехали, Константин. Давай выедем из Варшавы, остановимся и какой-нибудь план составим тогда.

Я включил передачу.

Куда? На юг. Покуда на Пясечно, затем где-то надо переправиться через Вислу. Да. Трассой на Радом я не поеду, хотя дорога там наилучшая, асфальт, но лучше не искушать судьбу, лучше боковые дороги. То есть вдоль Вислы, Пясечно, затем скверная, щербатая дорога на Черск, значит, спешить не придется, далее на Потыч, я там однажды ехал, хотя чаще ездили трассой на Радом, от Варки уже приличное шоссе, но не как трасса на Радом, асфальтированная, дорога номер тринадцать на Груец и Радом, значит, не по шоссе номер тринадцать, а боковыми дорогами, от Варки на Козеницы далее, чтобы через Вислу где-нибудь в Демблине. А может, однако, нет. А затем придется поштудировать карту. Потому как, может, однако, лучше ехать прямо, аж до Сандомира, и уже только там через Вислу. Хотя мосты наверняка разрушены, даже не знаю, откуда мне знать. Но наверняка. Может, какие-то переправы уже есть.

Итак, Пулавская. Мокотов, Селецкий парк где-то в стороне. Я там дрался. Я дрался? Виллеман дрался. Дрался? Месяц назад. Я стрелял, командовал, прятался. Он прятался, командовал, а вот стрелял ли он, разве что в воздух. Так. Служево, единичка, двенадца-

тый и шестнадцатый оборачивались тут. Ими оборачивались. Девятнадцатый с недавних пор до петли в Служевце и на Форт. Я любил Варшаву, но больше не люблю. Контратака, два каэма немецких наши на флангах в руины вдавлены, вперед! вперед! Я ору себе в локоть, прильнув к земле, рот песком забит и никто меня не слышит, я сам-то себя не слышу, и никто не шевельнется, ни вперед, ни назад, некуда. Мы едем.

Пост на выезде из города. Немецкий. Я в мундире. Немецком. Дзидзя улыбочива и расслаблена, словно бы мы встали, чтобы заправиться, до полного, пан начальник?

Офицер едет, солдат заметил сразу и подошел учтиво, не спеша, а может, заурядно подошел, а может, он подошел сдержанно, а может, осторожно, а может, согласно уставу, черт знает, как он подошел, но я предпочитал думать, что подходил учтиво, не спеша, и, не забывая напутствие отца, я открутил вниз стекло и показал лишь диск с тисненым орлом des Heeres с одной стороны и тайной полицией и служебным номером с другой, солдат только отдал честь, моментально: как от удара током, как от шока, как в шоке от удара? Я предпочитаю думать, что в шоке, а как было по правде, а что значит по правде?

Я бы сказала тебе, но ты больше не хочешь меня слушать, Костичек, ты когда-либо меня слушал, ты меня слушал ли, не слушал, а может, и слушал.

Отдал, стало быть, честь, а я поднял стекло и вперед, едем, Дзидзя аж захлопала.

— Дивно!

— Думаю, мы справимся, — сказал я.

Едем. Мазовия.

Так я никогда не ездил. Ездил в ту сторону много раз, но теперь еду по-другому, на груди у меня другой орел, хотя знаю, да, знаю, что это все равно. Никогда так не ездил. Я переодет в мундир врага. Это просто фортель. Ничего более. Идет война. Я рискую быть расстрелянным, ведь я ношу мундир врага. Я это я, только в другом мундире.

Я, в конце концов, немец. Что грозит мне за ношение отцовского мундира, за то, что выдаю себя за него, за фальшивые бумаги? То же самое, да не то же самое. Смертная казнь, только для немца. Они расстреливают, вешают или отрубают голову?

Отрубают. Я знаю. Я бы рассказала тебе, когда бы ты слушал. Когда бы что-то не вытеснило меня из тебя, не ты сам, разумеется, а нечто другое. Эти маленькие гильотинки выкрашены в красный цвет, палачи устраивают голову немца между двумя досками с вырезом для шеи, дергают за тросик, лезвие летит вниз и отделяет голову от тела.

Мазовша. Синюшно-бурый пейзаж, худая, очень худая дорога, за Пясечно уже. Худой, очень худой пейзаж. Поля как доска, привык, когда я успел привыкнуть к этим вспаханным доскам полей, деревья и я за рулем, а у моего колена ствол автомата, а за ним колено Дзидзи в чулке телесного цвета. Молчим, о чем говорить? Надо

встать, разложить карту, выдать на гора план, но сейчас я хотел лишь вести авто, не слишком быстро, дорога худа, будь осторожен, не сведи все на нет сломанной в очередной яме рессорой.

Стало быть, еду, стало быть, осторожно, я гляжу вперед, Дзидзя на запад, я вижу ее затылок, темно-зеленый фетр шляпки и выбивающиеся из-под нее светлые прядки.

Едем. Вдаль.

Вдали от Варшавы.

По левую руку Висла и пока еще Речь, по правую Рейх. И я. За Варкой отменное шоссе, я нажал на акселератор, местами мы ехали даже восемьдесят в час.

— Думаю, где-нибудь под Сандомиром мы остановимся на ночлег, — сообщил я, перекрикивая великолепный рев шести цилиндров.

— Но где? — спросила Дзидзя. — Не будем же мы спать в поле. Разве в каком-нибудь отеле?..

Я удивился. Отнюдь не так должна вести себя Дзидзя. Дзидзя аристократка, значит, пусть она и привыкла к шелковым простыням, может поспать в поле. Чтобы Родину. Спаси. Море перейдем! С нами Костюшко, можно и в поле.

— Так не обо мне же речь, — засмеялась она. — Я-то могу в поле спать. Но можешь ли ты представить себе, как немецкий офицер сейчас, месяц спустя после нашей капитуляции, будет спать не в помещении? С женщиной? В машине, каким вообще образом?..

Я согласился.

Но каким...?

Каким образом она ответила мне, если я молчал, вел молча, ведя, молчу, ладонями по-прежнему сжат руль. Как она меня услышала?

При дороге на Козеницы сгоревший танк. Не уверен, польский или немецкий, я в танках не разбираюсь. Из тех, покрупнее, так что немецкий, скорее всего.

— Чешский, — ответила Дзидзя. — То есть немецкий, но чешского производства.

— Я, выходит, вслух думал?.. — перепугался я.

Дзидзя лишь смеется. Возле танка усатые мужики в высоких сапогах и фуражках откручивают звенья сгоревших гусениц. И мальчик без усов и без сапог суетится рядом. Танк определенно из бофорса подбитый. Ах, как Ксык умел из бофорса...

Моросило. У меня был почти полный бак бензина, и нравился мне этот шевроле. Шесть цилиндров, три с половиной литра, у моей олимпиа было полтора, не знаю, сколько тут лошадей, но под педалью чувствуется, что много и даже больше, и что для езды. И как сановито рычат эти три с половиной литра, шесть цилиндров. Хорошее шоссе. Едем.

Я Константин Виллеман и я люблю авто. Авто я предпочитаю лошадям. Не люблю лошадей. Но предпочитаю их людям. Авто люблю. Больше, чем лошадей и много больше, чем людей. Но женщин люблю тоже. Помню, я вел открытый бугатти Туре 57 в феврале тридцать четвертого в Берлине, сто шестьдесят лошадей под капотом, выжимал

сто сорок в час на автобране, играло радио, даже радио было в том бугатти, но слышно не было так и так, я почти скреб задницей по шоссе, рядом сидел Георг Риттер фон Налеч и смеялся как безумный, бугатти не был ни мой, ни его, самое прекрасное авто, что я когда-либо видел. Но не для польских наших дорог, вернее, бездорожья, где бы я на таком в Польше ездил. Да и не смог бы я позволить себе такой бугатти. Я вообще никакой бы не смог. А мать? Не знаю. Может, да, а может, нет. Не знаю, сколько денег у моей матери. Но на бугатти не дала бы, она хирургически точно устанавливала уровень жизни, моей жизни, который готова была оплачивать. Значит, бугатти ни-ни, никакого бугатти. Ни альфы ромео, ни испано-сюизы, никаких люксов, не знаю, может, кадиллак был возможен, кадиллак, хотя тоже вряд ли. Но так и так вместо олимпиады пора было взять новое авто, что-то солидное уже, сначала в виду имелся тот капитен, но потом я хотел бьюик Special 41-С, американский, но кузов наш, четырехдверный фаэтон со складной крышей, заподлицо, не как в олимпиаде, пятиместный, удобный, сто двадцать дюймов колесная база, чистое чудо на колесах, голубое, я видел в каталоге у Скварчевского на Кредитной, и модели тридцать седьмого и восьмого вживую видел, сто семь лошадей и даже для сигнализации поворота оранжевая лампа, мигающая, в стандартной комплектации. Полезно. Мать обещала дать деньги, в сентябре я должен был внести задаток, а недели через три, считая от сегодня, я забирал бы машину, потому что в Гдыню из Бостона шел транспорт, по крайней мере, так толковал и обещал директор Паппадакис со своим диковинным акцентом, господин пан, вы будете к середине ноября иметь автомобиля у себе в гараж, а он сейчас через Атлантик плывет! Он говорил как еврей, но был он греком.

Солидная машина мне полагалась. Я был уже как-никак солидным человеком. Но не какая-то заурядная, а фаэтон, элегантный, граф мог бы на таком бьюике с откинутым верхом ездить, не стыдясь. На летнее разлюли, такое в английском стиле, можно было бы элегантно за рулить, я за рулем, фаэтон не зазорно, почти как купе, сзади Юрчик в темно-синем спенсере, рядом Геля в ярком платье, светло-голубом, на мне жакет и визитные брюки, цилиндр серый, перчатки желтые, я кидаю ключи бою, чтобы он поставил машину, а мы идем, поднимаем бокалы с шампанским, вот что имелось в виду. Но не вышло.

Так обещал Паппадакис, директор Столичной ассоциации автомобильной торговли на улице Кредитная, 2. Говоривший как еврей, хотя был греком. И походил на еврея.

На что мне дался этот Паппадакис? Я Константин Виллеман и я люблю авто, авто я предпочитаю лошадям.

Ich bin Baldur von Strachwitz, ich mag Frauen, für etwas kämpfen und töten, ich habe Angst vor Frauen, der Welt, vor den Menschen, ich habe Angst vor allem¹.

1. Я Бальдур фон Штрахвиц, я люблю женщин, воевать за что-либо и убивать, я боюсь женщин, этого мира, людей, я боюсь всего (нем.).

Мы доехали до Козениц, а на груди у меня немецкий орел. В Козеницах мы, может, могли бы свернуть на Демблин, но ехалось хорошо, и я не хотел застревать на переправе через Вислу, так что мы ушли вправо на Радом, чтобы через пару километров за городом взять влево, в сторону Зволени.

Дорога сразу испортилась, пришлось сбросить скорость, не больше сорока в час, так что шли небыстро. Зато погода похорошела, крыша высохла, и Дзидзя предложила ее открыть, потому что солнце, пускай и послеполуденное, начало даже слегка припекать, так что я ее открыл, и мы ехали с открытой крышей, мы ехали через сосновый лес, и это было прекрасно.

— То ostatnia niedziela, — запела Дзидзя, — лишь одно воскресенье, ты его подари мне, ты в глаза посмотри мне в последний раз, — засмеялась и сразу умолкла.

За лесом пришлось тормозить: железнодорожная ветка от Радома до Бреста, переезд разбомбили, рельсы были погнуты, но переехать можно, так что мы ехали, теперь полями, а за Пониквой покрытие стало вновь твердым, и мы вновь ехали быстрее, пока наконец не въехали в Зволин, со все еще откинутым верхом.

Шел пятый час, солнце садилось над радомским шоссе. На форштадте, если можно так выразиться, деревянные халупы крыты соломой, нищета, грязь и хлев, я мечтал бы сдохнуть, родись я здесь, поляком или евреем, Константином или Бальдуром. Далее кучка домишек местечковых, но все выгорело, голые стены, черные культы стропил, одинокие дымоходы посреди стен как донжоны брошенных крепостей. Мы не поехали в Радом, а повернули налево, к Рынку.

Дзидзя присматривалась к разрушениям.

А я насыщалась недавним пожаром, в котором еще слышалась стихающая музыка воя сжигаемых и вонь разрываемой человечины, но тебе уже все равно, Константин, меня ты больше не слушаешь и мои пристрастия не трогают больше твое сердце.

— Для чего разбомбили? — спросила Дзидзя.

Для чего, для чего бомбить говенный жидовский городишко на границе Мазовии и Малой Польши, для чего бомбить говенные домики, каменички из говенных кирпичей, крашенные говном в говенные цвета, для чего — думал я, и что мне ответить Дзидзе?

Сообрази, Константин, для чего, ты же знаешь, ты же помнишь, сообрази.

— Если память мне не изменяет, здесь находились штабы оперативных групп армии “Прусы”. Этот ублюдок Домб-Бернацкий тут заправлял, замышлял переправу. Куча войск тут была, нам пришлось разбомбить, — сказал я, удивленный, что знаю это.

Знает. Он знает. Константин Виллеман знает.

— Ну да, вам пришлось, — засмеялась Дзидзя с безжалостностью, на какую способны одни только женщины.

Жидовская одноэтажность вокруг большой, вытянутой площади выгорела, стены в саже, в окнах ни следа рам, жидки снуют по Рынку

без смысла и цели, поляка меж ними днем с огнем, немцев вообще не видать. Кругом мусор, груды инвентаря какого-то, телеги поломанные, дышла торчащие, куски колес и ремни упряжи и грузовик расхристанный со сгоревшей, дочерна закопченной кабиной, гражданский, из военного конфиската наверное.

Помню это местечко, пару раз я проезжал через него в прошлой жизни. Константин Виллеман проезжал. Обедал с Яцеком на рыночной площади, мы мчались на машинах во Львов, встали здесь на привал. На постой. Два либо три года назад. Не было ни сгоревших повозок, ни грузовика, и жидки все выглядели иначе, они не сновали, но каждый куда-то бежал и суетился в еврейской запарке. А сейчас вглядываюсь и не могу вспомнить, в какой из развалин была гостиница, не помню, неузнаваемо.

— Давай разомнем кости? — спросила Дзидзя, улыбнувшись сладостно.

Вышли, значит, я постоял перед машиной, посмотрел на людей, собравшихся на Рынке, и, залезши обратно в машину, взял автотомат.

И сразу пожалел, что полез. Ведь это трусость, взять шмайссер, я боюсь, что ли? Это ж местечковые жидки, споро пейсачей, в вонючих халатах, а я боюсь, за шмайссером лезу, они ж не маккабисты какие-нибудь, эти жидки тутошние.

Евреи наблюдали с любопытством, кое-кто украдкой ретировался. Один двинулся смело в мою сторону. В расцвете сил, черная борода густая, будто войлочная, без пейсов, кепка с козырьком.

— Sehr geehrter Herr Offizier...¹ — обратился он на хорошем чистом немецком, сняв кепку. Однако не мял ее в руках, просто держал.

— Я говорю по-польски. — Зачем я так ответил, на хорошем чистом польском, хорош ли и чист мой польский?

— Ах, — смутился еврей.

— О чем речь? — спросил я, а Дзидзя улыбалась, стоя рядом, как королева.

— А стало быть, пан офицер... — ответил он на хорошем чистом польском. — А стало быть, велено нам сегодня собраться здесь, на Рынке, для наведения порядка, всем евреям Зволена велено в извещениях. И вот мы все, евреи Зволена, а здесь никого. И мы не знаем, что делать. И никаких инструментов у нас, потому как написано, что они не понадобятся. Но пан сюда, видно, не с той целью приехал, сдастся мне, верно? Ведь пана офицера не послали бы приглядеть за парой жидов, верно?

Я терпеливо слушал. Дзидзя улыбалась, как королева. Я терпеливо слушал, а потом ответил:

— Нет, никто меня сюда жидов блюсти не присылал. Подождите, кто-нибудь будет.

— Конечно, пан офицер. До свидания. Хорошего дня пану желаю.

1. Многоуважаемый господин офицер... (Нем.)

— До свидания, пан, — едва не приподнял я фуражку в ответ, буд-то шляпу снимал. Еврей поклонился, повернулся и пошел прочь.

— Я хочу в костел, — сказала Дзидзя.

— Тогда идем, — пожал я плечами. Башня виднелась из-за развалин, мы вошли в сожженный переулок, но я внезапно повернул вспять. Ведь авто нужно запереть, повернул вспять, ключик из кармана выгреб и запер.

Евреи смотрели на меня так, будто я обезумел.

Ибо ты обезумел, Костичек, услышь меня наконец, сердцем, а не ухом, но услышь, обезумел ты, Костичек, запирая авто, выказываешь ты собственную трусость и слабость, ибо ты заявляешь тем самым, что кто-либо может осмелиться обокрасть его. Запирая этот шевроле, ты фактически допускаешь, что он будет украден.

Мешугене, думают евреи. Обезумел этот немец, что говорит польски, странный этот немец, что говорит по-польски.

Дзидзя смотрит на тебя странно. С презрением? Нет. Сверху вниз? Нет.

На меня. Нет. На Бальдура? Нет. Дзидзя смотрит на Константина странно, сверху вниз, поскольку в этом мундире видит Константина, а не меня, Бальдура фон Штрахвица, она не знает, что это я, Бальдур.

Dass ich es bin, Baldur, Baldur von Strachwitz¹.

— Почему мы идем в костел?

— Потому что сегодня воскресенье, — ответила Дзидзя со смехом, а я не знаю, она издевается коварно, или для нее в самом деле важно, что сегодня воскресенье, не знаю, не знаю. Кто не знает?

Костел готичен. Сбоку пристроена ренессансная часовня, квадратная в основании, как у Вавельской базилики. Мне ли не один черт.

— Ты не ходишь в костел, Константин?

— Я не крещен, — отвечаю.

Но ведь Бальдур фон Штрахвиц крещен, я крещен, конечно, как же, святой Яцек Одровонж, католическая шляхта. Воеслав из Страховиц также был крещен, уже рыцарь, а не воин славянский, потому побег сукá Воеславова, Бальдур фон Штрахвиц, равно должен быть крещеным, крещена даже черная кабанья башка в нашем гербе.

И Катажина Виллеман крещена, и только он, горемыка, Костичек горюн, не крещен, потому как Орлица ненавидела священников и запретила Бальдуру крестить сына, я же любил одну ее, она была моим миром, и раз уж она ненавидела священников, я ненавидел их тоже и не окрестил своего единственного сына, раз уж она запретила мне, это было тридцать лет назад, и я был так молод, и у меня было лицо, у меня снова есть лицо, у меня есть лицо моего сына, мною не окрещенного.

— Так нелегко было?.. — спросила Дзидзя с заботой и пониманием.

— Я всегда говорил, что мы евангелисты, как учила меня мама, но в кирху мы тоже не ходили, а я все равно врал, что мы евангелисты, что меня крестили в кирхе в Катовицах, но это была неправда.

1. Что это я, Бальдур, Бальдур фон Штрахвиц (нем.).

Дзидзя взяла меня за руку.

— Я бы хотела послушать мессу.

Я посмотрел на часы как идиот, словно бы не знал, сколько времени, словно бы не был уверен, для чего я посмотрел на часы, разве я не знаю, который час, знаю ведь.

— Ведь пятый час уже, — удивился я.

— Но я с тобой. Думаю, ты мог бы попросить ксендза...?

— А они так могут, две мессы в один день?

— Понятия не имею, — улыбнулась Дзидзя. — Костел никогда меня не интересовал.

— А теперь хочешь послушать мессу?

— Именно.

Срать она хотела на мессу, не понимаешь, Константин?

Знаю, что не о мессе речь, знаю, что хочет оценить меня в ситуации насилия. Мог бы отказать ей, но я и сам хотел бы наблюдать себя в этой ситуации, потому стучу в дверь кирпичной, оштукатуренной и уцелевшей под бомбами плебании.

И я заколотил настойчиво, крепко заколотил и кричал, ибо мне казалось, что это пристало ситуации, кричал:

— Aufmachen! Schnell!¹

Ксендз, а скорее викарий, ибо был он молод, беден и худ, в очках с треснувшим стеклышком и погнутой проволочной оправой, открыл дверь.

— Ja, wogum geht es?² — спросил ксендз. Его немецкий был очень польским, но все же немецким.

— Пани хочет послушать мессу, — отвечаю я.

Смотрю на него, смотрю ему в лицо выжидающе, на мне мундир с немецким орлом на груди, кобура на поясе и офицерские петлицы на воротнике, и эполеты, и фуражка.

Он потрясен моим польским обращением, оттого колеблется, как ему поступить. Потребуй я мессу по-немецки, ему не пришлось бы колебаться, дело бы тотчас пошло, а так, вместо того чтобы просто бояться меня, он еще рассуждает, зачем я по-польски, итак, я снова ошибся, снова ошибка, одни ошибки.

Из-за тощего викария показался пробощ. В силу полярности и стереотипа я ожидал толстого пробоща, однако этот был скорее гномом, поэтому обязательный контраст между священником и викарием исчерпывался осью ординат.

— В чем дело? — спросил пробощ.

— Этот пан офицер говорит по-польски, — опередил меня викарий. — И он желает, чтобы мы служили святую мессу, ибо у сопровождающей его пани есть желание слушать.

— Но мы оба сегодня уже отслужили мессу, — возразил старший ксендз. — А нам не следует больше одной в день. И нельзя, чтобы кто-то приходил и требовал от нас мессы.

1. Открыть! Немедленно! (Нем.)

2. Да, в чем дело? (Нем.)

— Меня это мало волнует, — возразил я.

— Я верю. Но раз пани хочет слушать мессу, то пани католичка, и заветы нашей веры ей не безразличны. А посему... — продолжил ксендз.

— Пан поп... — сказала Дзидзя из-за моего плеча. Она перебила его, и он замолчал.

Она произнесла это очень тихо. Полупрошипев. Произнесла так, как умеют сказать истинные аристократы. И тут не кровь; сказать так умела моя мать, хотя была мещанкой, и не мог мой отец, а ведь его кровь была рыцарской семь сотен лет, извечно.

Ксендзы съежились под ее словами. Ибо обучены были, извечно знали, кто, какая женщина может им так сказать, таким тоном, таким языком, таким образом.

— Пан поп, — повторила Дзидзя. — Я хочу услышать мессу. Я не “кто-то”.

Лица над сутанами вытянулись. С полминуты они молчали.

— Конечно, я не имел в виду вельможную пани. Прошу меня простить, — смиренно прошептал пробощ. — Прошу обождать в церкви.

Так рабы мира сего отвечают господам мира сего. И его дамам. А тебя это задело, Константин, хотя сердцем и душой ты ведь принадлежишь миру господ, ты ведь не раб, а задело все-таки, какой-то миг ты был на стороне того ксендза, пусть даже стоя перед ним в немецком мундире с пулеметом под мышкой. Но ты ведь знаешь, Константин, знаешь, что таков мир, что должны быть и вечно будут повелитель и повелеваемый, и что грань между ними больше, нежели грань между спасенными и проклятыми, что приходят они сюда с противоположных рубежей человечества.

Будь то римский сенатор и его крепостной, барон в кольчуге и его холоп, кшатрий и вайшья, или Дзидзя и этот пробощ с крестьянским лицом, или любая иная конфигурация этих двух отдельных базовых человечеств, повелителей и повелеваемых.

А я на какой-то миг был на стороне того ксендза, пусть даже стоял перед ним в немецком мундире. Хотя ведь знаю, что насилие и угроза, на коих зиждется всякая власть, являют собой простейшую, самую базовую субстанцию мира. И вдруг сейчас, сейчас мне это не нравится, а я так надсмехался над разными кофейными социалистами, когда были еще настоящие кофейни и социалисты, мы издевались над ними, а они горели святым негодованием, держа нас за подлецов, привилегированных подлецов, что носят на своих машинах, ущерб прочим людям в грош не ставя, и ведь знали все мы, такие, как Яцек либо я, все мы знали, что по праву держат нас за тех подлецов, но знали также, что так должно быть, что таково устроение мира, должны быть такие, как мы, и такие, как они, а мы и дети наши можем очутиться по любую из сторон этой стены, но стена между правящими и управляемыми должна стоять и стоять будет.

Мы вошли в костел. Дзидзя убрала волосы под шелковый платок с яркими цветами. Внутри уродливая готика залеплена уродливым барокко. Меня привлекла одна из часовен.

— О, здесь похоронен Кохановский, — удивился я.

— Какое счастье, что от мужчин я не ожидаю эрудиции, — засмеялась Дзидзя. А я не слишком даже опешил.

Мы сели на скамью.

Ян Кохановский лежал в могиле под плитами пола.

Но без головы, Костичек, голову из склепа взяли, а позже выяснится, что ошиблись телами, что его голова в гробе жены, а голова жены из его гроба вынута неким мародером потомков ради и лежит в коллекции музея Чарторийских; не та голова, нет — ту голову, как национальную реликвию, спрятали во дворце в Сеняве, и над той, и над не той ворожат исследователи. Но тебя это совсем не волнует, Костичек, верно?

В костел выходит ксендз, фигурка его, замотанная в слои литургических облачений, распухла. За ним малютка министрант, Бог знает, откуда его так быстро вытрусил.

Пробощ не взглянул на вас ни разу. Министрант трясся от страха. Дзидзя встает, ты за ней.

Дзидзя встала, мне так и так повторять за ней.

Ксендз поклонился боковому алтарю и пробормотал на латыни нечто подобающее, творя крестное знамение.

Не то чтобы я никогда не ходил на мессу. Ходил, в Грудзёндзе и потом в Теребовле, с уланами. В личной анкете я, следуя наставлению матери, всегда писал “евангелистское”, зато костел посещал, поскольку не хотел выделяться, к причастию не подходил, и все были весьма довольны и гордились мной, мол, как же хорошо я могу владеть собой в этой ситуации, как раз то, чего они ожидали от хвата: хват будет держаться за свое, надлежащее уважение отдавая главному. Речь о христианстве там вообще не шла, там, в конце концов, были не старушки, а молодые офицеры, уланы — в костел нужно ходить, поскольку нужно, остальное оставим попам и ветхим тетехам. Поэтому я ходил, остальное оставляя хоть бы и дьяволу.

Ксендз с министрантом обменялись комментариями на латыни, которые, видимо, уже открывали мессу.

Дзидзя сидела, вставала и крестилась, ксендз с министрантом гнули дальше свою линию, кланяясь, то и дело крестясь и бормоча формулы.

— Боже, от человека лукавого и несправедного избавь меня, — сказала Дзидзя, не снисходя до шепота.

— Прости? — спросил я с удивлением.

— *Ab homine iniquo et doloso erue me*, — сообщила она. — Ксендз так пошептал, на латыни, а я перевела, Костичек, подумала, что это тебе понравится.

— А ты слышишь, что они там несут?

— Мне не нужно слышать, я просто знаю, что они несут, — улыбнулась Дзидзя.

Я ничего не понимал в этой конъюнктуре. Ксендз нес свое. На алтаре горела лампа.

— Я подожду у машины, — шепнул я Дзидзе в ухо, шепнул, потому что не мог себе позволить разговаривать с ней в голос.

— Уповай на Бога, *quoniam adhuc confitebor illi: salutare vultus mei, et Deus meus*, — заявил ксендз.

Ты вышел. Я вышел. Ебаный Кохановский рыбий хуй. Ебанные попы. И Дзидзя. Они играют, все мной играют, будто я мяч какой, будто пяти злотых не стою. Накинул автомат на плечо и пошел прочь. На мне вновь были галифе и кавалерийские сапоги со шпорами, а я не люблю лошадей. Не выношу. С самого конца сборов в Теребовле и до самой войны я ни разу не сидел в седле; жуткими были первые дни после того, как поезд дотащил нас до Великой Польши, и нам пришлось трястись верхом. Когда я наконец спешился, ляжки у меня были ватными от сдавливания лошадиных боков.

Пепелища домов. Женщина, шедшая мимо, едва увидев меня, обернулась нищей, подбежала, протянула руку. Полез в карман шинели, натурально, пустой, так что, отвернув полу, залез в брючный карман, а в кармане моем оказалась мелочь, я захватил горсть, а там пфенниги: пятьдесят, две десятки и пять. Все с орлами, орлы держали в когтях свастику.

Мелочь отца моего, что мог купить за десять пфеннигов человек без лица и хуя?

Швырнул женщине монеты, и закружилась у меня голова, но я не упал. Захотелось плакать, но я не заплакал, не мог я плакать, нельзя было мне плакать, как мог я плакать в мундире победителей, я мог бы плакать, когда бы вместо этой серой шинели на мне был мой мундир из зеленого габардина, но тогда-то я не плакал, я всех видал в жопе тогда, а теперь мне хотелось плакать, о чем, о ком, я хотел бы утопить мир в моих слезах, схватить эту бедную женщину за шею и сунуть ее голову под водопад моих слез, я дошел до Рынка и хотел схватить каждого из этих евреев за пейсы и утопить в своих слезах.

На рыночную площадь въехал мотоцикл с прицепом, в нем сидели двое жандармов, а за ними грузовик. Они как раз ссаживались, когда я показался из-за копченной стены. Каски, прорезиненные плащи по щиколотки, на груди стальные бляхи на цепях, прекрасны эти горжеты, но в целом жалость, культяпки, атрофия латного доспеха.

При виде меня они отсалютовали, а я начал опасаться за свой немецкий, достаточно ли он хорош. Так и так пора пробовать.

— *Wo wart ihr, ihr Säcke!* — рявкнул я. — *Diese Menschen warten hier seit einer Stunde auf euch!*¹

Они зачастили, оправдываясь, уж не знаю, более потрясены тем, что их песочит офицер с ужасными буквами GFP на погонах,

1. Где вы были, вы, говнюки? ... Эти люди уже битый час вас ждут! (Нем.)

или более удивлены тем, что я песочу их от имени тех евреев, здесь собравшихся, от которых, я должен был признать даже перед самим собой, несло безобразно.

Я никогда не был антисемитом, но обожать жидов — тоже не для меня. Это значит: я мог обожать Тувима или Лесьмяна, но таких жидков пейсатых, в халатах, довольно трудно обожать, ведь всем известно, какая ужасная они зараза.

Я отвернулся.

Руки у меня задрожали, не могут дрожать мои руки в этих серых рукавах, не может дрогнуть моя рука, на ней у меня черная повязка с серебряными буквами тайной полевой полиции, оттого я отвернулся, словно бы в ярости, хотя ни в какой ярости не был, я унизил их единственно для тренировки, повернулся и пошел к шевроле, и сел в салон, чтобы мои руки дрожали себе дальше.

Жандармы произвели отбор для работ, выбирая наиболее крупных жидов, раздали им лопаты, штыки и совки, и кирки, после чего жида взгромоздились в открытом кузове грузовика, стискивая свои инструменты.

Те, что остались на площади, вернулись к сонному, беспечному существованию, никакой суеты, чего суетиться теперь, когда мир еще текуч, еще не застыл в какой-либо форме, а чтобы жидки засуетились, мир должен иметь форму. Без этого у них одно сонное снование.

Я завел двигатель, подъехал к плебании и вновь вошел в костел. Глухой стук моих каблучков по плитам готического нефа, а ксендз аккуратно молчал перед алтарем, его риза словно расшитая золотом скрипка, я шел, а он вздымал вверх хостию, тихо шепча свои латинские заклинания. Я встал на колени, это тот же самый рефлекс, как поприветствовать начальника, еще один навык Грудзёндза.

Итак, я встал на колени прямо посередине, но тотчас поднялся, я не хотел стоять на коленях, Бальдур фон Штрахвиц ни перед кем не встает на колени.

Бальдур фон Штрахвиц стоял на коленях перед твоей матерью, он стоял на коленях перед Белой Орлицей и так и не распрямился, а ты это знаешь, Костичек, знаешь ведь.

Ксендз исполнил то, что полагалось исполнить с чашей. Вино претворилось в кровь или осталось вином, а во что претворяется кровь в твоих жилах, Константин, не мог бы ты попросить попа не только заменить вино кровью, но и твою кровь заменить другой?

Бальдур фон Штрахвиц ни перед кем не встает на колени, а я встал.

— Unde et memores, Domine, nos servi tui, sed et plebs tua sancta, eiusdem Christi Filii tui, Domini nostri, tam beate passionid, nec non et ab inferis resurrectionis, sed et in coelos gloriosae ascensionis, — шептал ксендз, а вы оба не слышали ни слова.

Ты сел подле коленопреклоненной Дзидзи, она взглянула на тебя — ты встал на колени.

— Offerimus praeclarae majestati tuae de tuis donis ac datis, hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, — шептал

ксендз почти беззвучно, осеняя крестом хостию и чашу, а мне все это было знакомо, но не настолько знакомо, ведь остальные-то знали это с детства, знали наизусть, я же не знал вообще, пока не стал посещать мессу в Грудзёндзе, а после в Теребовле, а уж после опять совсем не посещал.

— *Panem sanctum vitae aeternae et Calicem salutis perpetuae*, — прошептал ксендз и продолжил шептать, помавая руками, белыми рукавами альбы, свисавшими с его тощих плеч, как белые флаги, он продолжал, но я уже не слушал.

Я сидел подле Дзидзи, пока ксендз не добрался до своего *Ite Missa est*, то есть до слов, что всегда вызывали во мне дрожь приятного возбуждения, поскольку именно так кончался невыносимый час скуки и колдовства, от *missa est* шло уже под гору, последнее Евангелие, *in principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum*, затем *Ave Maria, gratia plena, Salve Regina*, и мы могли бы уйти, ведь это частная месса, наша, заказанная и подневольная, я ведь уже выходил раз, нечего мне тут торчать, не обязан тут быть, могу заняться тем, что мне нравится, но однако жду, зачем жду? Потому что я жду Дзидзю, чем еще я мог бы заняться в этом говенном жидовском местечке, и в итоге *Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis* и конец, конец, я доторчал до конца, как будто высидел полковую мессу в Теребовле, можно наконец вздохнуть и уйти, уйти, и ксендз уходит, Дзидзя встает и уходит, и я за ней, а вокруг меня серо-зеленый мундир и шинель и ремень с кобурой и пистолет-пулемет выходят.

— Заночуем здесь, — объявила Дзидзя перед костелом.

— То есть где?..

— В плebании. Уже поздно. Говорила же, что мы не будем спать в поле. Устрой это.

Из сакристии идет пробощ, уже без этих жреческих цветных облачений, в одной черной рясе, поэтому я подхожу к ксендзу, и он меня не боится. Он боялся меня прежде, а теперь не боится, а может, просто боится не так сильно.

— Мы заночуем в плebании, — говорю.

Ксендз только кивнул, подтверждая, что он услышал, поскольку речь ведь не шла о согласии или несогласии.

— Пусть мальчик принесет вещи из багажника, — сказал я. Ксендз опять кивнул головой, жестом, но без единого слова пригласив нас в плebанию.

Мы вошли. Интерьер довольно неряшлив, как водится в Польше, однако войной не тронут, — подумалось Бальдуру.

Бальдуру?

В коридоре викарий, он провел нас в столовую. Я отдал ему шубку Дзидзи, потом свою шинель и фуражку, он осторожно повесил их на вешалки и в шкаф.

Мы сели за большим столом, с одного конца.

— Ужин будет очень скромным, мы почти голодаем.

— У нас есть деньги, — сказал я.

— Нет-нет, благодарствуйте, но нет, — сказал пробощ, входя в помещение. Он также сел за стол.

Минуту спустя в столовую заглянул мальчик.

— Багаж паньства занес до комнат, — сообщил тихо. У него была умная и грустная мордочка учительского сынка.

— Я желаю иметь отдельную спальню, — предупредила Дзидзя.

Викарий с пробощем поглядели друг на друга, как поглядели, с удивлением? Не знаю. Поглядели.

— Пани может в моей комнате, пан у ксендза викария, если господа так пожелают, — сказал старший из ксендзов.

В столовую вошла хозяйка, молодая и рослая. Поставила на стол супницу, рядом с супницей полбуханки хлеба. Немного.

— Это все, что есть.

— Нам довольно, благодарим, — сказал я.

Примирияюще? Разве примирияюще?

Хозяйка разлила суп по тарелкам и отошла от стола, съест свой обед на кухне. Крепкие, широкие бедра, плечи тоже мощные, как у пловчихи, бюст большой и тяжелый, не слишком спортивен и не очень изящен, но образу подходит. Одета крайне убого.

Пробощ прочитал молитву и первым, на правах хозяина, зачерпнул жидкого супа из тарелки.

— Странно, что ксендз пробощ со столь юным викарием в приходе допускает столь молодую хозяйку, — завела беседу Дзидзя, точно тогда, когда полагается, после четвертой ложки супа, когда тишина сделалась отчетливой, но еще не напряженной.

Что за идеи, говорит пани Чеславова Бельская из Трубецких, ну же, ответь-ка мне, Константин, когда мы начинаем разговор на званом обеде?

Викарий едва не подавился супом. Пробощ глянул на Дзидзию и мгновение молчал, гадая, как вообще может он реагировать на подобный диктум. Если поддержать беседу, не значит ли это, что он не только впустил этих польскоязычных немцев под невербальным давлением в дом, но и угощает их, принимает их. Они не квартируют у него, но у него гостят. И как реагировать на трезвое по сути замечание этой странной, храброй женщины, кто она, кстати? И осмелится ли он обидеть ее, не отвечая или же отвечая нелюбезно? Но не застрелит же его этот вот человек в сером мундире, офицеры не стреляют в ксендзов, уж точно не за обедом, даже за столь скромным. Или уязвить викария, приняв эту игру, не споря с ее замечанием, но и не манкируя им? А вдруг правда?

Стало быть, мгновение пробощ молчал, а в конце отщелкнул:

— Не было под рукой ни одной старой и уродливой.

Невелика этому цена, теперь на карту поставлено потенциальное обаяние викария, который отдышался, устался в свою тарелку и усердно шурует ложкой, словно бы на свете ничего, кроме супа, его не волновало. Может, так оно и есть: прежде утолить голод.

— Но ксендз викарий не таков, а Ханна наша замужняя женщина, к нам заходит только, — объяснил ксендз пробощ, а пани Ханна

внесла тоскливую бутылку вина. Ксендз отвесил ей гневный взгляд.

— Четыре еще осталось, ваше преподобие, так я решила, что принесу, раз гости, то, может, и захочется еще... — голос стихал с каждым словом.

— Ну так пускай Ханна ставит это вино, открывает и уходит, — буркнул пробощ.

И я знал почему, потому что теперь он немца не только принимает, но и пьет с немцем, немца поит.

— Я рюмки принесу, — ответила та невозмутимо. — А ксендз викарий пусть откроет.

Открыл, разлил вино по стаканчикам. Я пригубил, гнусное, но часом и гнусное в масть. Мы выпили. Все молчали, Дзидзя забавлялась нависшей над столом тишиной, будто властвуя надо всем и надо всеми, собравшимися за столом, быть может, так оно впрямь и было, наверняка так и было, ведь кто бы еще.

— Пора ложиться, завтра утром... — начал было пробощ, вставая со стула, и смекнул, что никакой сказки он не выдумал и нету под рукой ни одной.

Дзидзя смеялась уже в голос.

— Ну так идем ложиться, идем. А где будут спать преподобные, коли мы комнаты займем?

— Ох, как-нибудь справимся... — смешался пробощ.

— Ксендз пробощ точно, а вот викарий бедный... Не в коридоре же ему.

Настолько прозрачным был этот флирт, что даже пробощ заметил, у ксендза викария, что был, всего вероятнее, девственником, тряслись руки, а в лицо ударил багрянец. Проехали.

— Господа еще посидят здесь немного, пока мы с Ханной подготовим комнаты в их распоряжение, — пробормотал пробощ, и оба они ушли. Из-за закрытой двери мы сразу услышали, как старший клирик песочит младшего, но отдельных слов было не разобрать.

— Нравится мне этот викарий, — сказала Дзидзя.

— Ты врешь. Не может нравиться тебе этот шматок мужчины, мальчик почти.

— Не может? Это запрет?

— Изумление скорее.

Она усмехнулась. Вот уж *Sektlaune*, поистине. Шампанское настроение.

— Может, соблазню?

— Вряд ли это тебе многое даст, такой невинный закончит тебе все веселье, едва увидит, как ты играешь своими волосами.

Я пытаюсь сохранять хладнокровие и притворное равнодушие, она оценила. Играла своими волосами, и я на миг испугался, как отреагирует она на такой откровенно пошлый и циничный комментарий. Как сказала бы пани Чеславова Бельская из Трубецких: девица сия кажется мне вульгарной и склонной к циничным романам, полагаю, что, обратившись к оной, ты перечеркиваешь все, что мы пыта-

емся на данных уроках усвоить, понеже поляк настоящий не заглядывается на подобных девиц, что рисуют чулочные швы себе на икрах, а я ведь имела в виду эти швы, а ты аккурат имел в виду эти швы, мне было пятнадцать, и ночами я в исступлении теребил свой причиндал и пачкал постель, грезя о том, что бы такая девица в таких чулках могла со мной сотворить, я никогда не задумывался, что я мог бы сотворить с ней, только лишь что она могла бы творить со мной.

В столовую вернулся пробоц с двумя горящими керосиновыми лампами в руках.

— Прошу, покои готовы.

Мы пошли за ним, лестница, коридор, одна дверь для меня, рядом другая дверь для Дзидзи, одна лампа для меня, другая лампа для Дзидзи.

— Идем спать? — спросил я, дурак, дурашливо спросил. Дурно.

Дзидзя саркастически вздохнула и закрыла за собой дверь спальни пробоца. Так что я вошел в комнатку викария, равно закрыв дверь, не могла же она остаться открытой. Расстегнул ремень, снял форменную куртку, а сил бороться с сапогами у меня не было, так что я лег на кровать в сапогах, стараясь, впрочем, чтобы мои подошвы не замарали простыни, так что стопы у меня остались вне кровати, одна на другой, и было мне не очень удобно. Спустя какое-то время мальчик принес багаж, я велел ему стянуть сапоги, он снял их с меня, ни дать ни взять умелый денщик, я не спрашивал, откуда это умение, он вышел.

Я продолжал лежать, ночь за окном, хотя едва только шесть. Я взглянул на часы. Если точнее, то полвосьмого, не шесть. Уже и в самом деле нечего вставать с кровати, так что я уснул и спал, не знаю, как долго.

В коридоре шаги. Я открыл, открываю глаза. В коридоре шаги, босиком, потому как подошва не стучает, лишь мягко поскрипывают доски. В окне луна почти полная, но уже склонная к умиранию. Щель под дверью темна, значит, кто-то идет без света. Встаю тихо, как только могу, подхожу к двери и отворяю ее, словно откидываю крышку собственного гроба, и вижу ее, идет. Хозяйка идет, крадется, ее бедра пышные, Ханна идет, она ведь не тут ночует, однако идет, крадется, босая. Я закрываю дверь. Стучит.

— Яцек, — шепчет. — Яцек!.. Открой, — шепчет.

Яцек? Голосом Иги. Викария зовут Яцек? Голосом Сали.

Не открываю. Дверь.

А вовсе не тут она, далеко, Костичек, в доме несгоревшем, от местечка вдали в доме том голубит детей, у которых впереди еще столько беды, столько муки, столько боли, годы сороковые и пятидесятые и шестидесятые, Зволин, и на что она пестует их, для жизни какой, на что? Но тебе это неизвестно, а может, именно ведомо, может, не о них именно, но ведомо вообще. Ведомо?

Неведомо.

Неведомо мне, ведомо ли тебе, Костичек.

В коридоре шаги, и я открыл глаза, открываю. Шаги босы, тихи, без каблучков, один пол скрипит, мягко поскрипывают доски. Тихо сползаю с кровати и тихо, чтобы ничего не заскрипело, к двери, однако пол скрипит, а со стены глядит на меня Пан Езус, отворяю дверь, словно отворяю стальные ворота бункера, опасаясь пули, медленно, медленно, я бы выставил перископ, но лишь выглядываю, потому как нету.

Дзидзя идет темным коридором плебании, и луна почти полная, хоть и к умиранию склонна, а Дзидзя нага, но закутана в белую простыню, и откуда идет, потому как куда идет, так в комнату свою пробоща идет, но откуда Дзидзя?

— Костек? — повернулась ко мне.

Я быстро закрываю дверь, и сердце вдруг екает, как будто она застала меня за чем-то постыдным, может, и впрямь так было, что застала меня за чем-то постыдным. Скрипят половицы, пол. Луна почти полная, но уже склонная к умиранию.

— Костек. Открой, — сказала она через дверь, близко. Она была тут же, за дверью. Я открыл. Была обнажена, наготу прикрыла лишь простыней, и вошла, без вопросов.

Закрыла за собой дверь, и я увидел ее тело, по-прежнему скрытое под простыней, и так я увидел его, ее тело, что было настолько субтильным, настолько не в моем вкусе, и я пожелал ее так сильно, а она пришла и была здесь со мной, у меня.

Я потянулся к этому тело, закутанному в простыню, и притянул его к себе, и оно не защищалось, она не защищалась. Прильнула ко мне, крепко. А ведь это все.

— У тебя в кармане пистолет, или ты просто рад, что я пришла? — пошутила, не отрывая лица от моего плеча. Зачем пошутила?

Я дернулся в плоской усмешке, чуть-чуть, и попробовал, пробуя ее поцеловать, что не так-то и легко, ее лицо у меня на плече, так что я пробую, лицо ищет дорогу к другому лицу, лицо пробует обратить другое лицо к себе, и уже ведомо, другому лицу ведомо, что губы стремятся, близятся к губам, я уже ловлю ртом ее дыхание, и когда это случится, то все случится.

— Константин! — отталкивает меня она. — Что на тебя нашло!..

Даю себя оттолкнуть, позволяю ей меня оттолкнуть, и она отталкивает, оттолкнула, и мы уже разделены океанами, мы уже всем разделены, хоть я и стою босым в галифе и рубашке, луна за моей спиной, а она стоит нагой и завернутой в простыню и босой стоит, а между нами океаны черны.

— Ты ошалел? — фыркает Дзидзя.

Нож святит, в сердце целит. Сглатываю слюну, а для чего, за что?

— Извини. Ты пришла, почти голая...

— Ты, стало быть, думал, что можешь меня пердолить? — спрашивает она, так не должна спрашивать, зачем это слово, зачем? Так может сказать мясник. Или капрал. А это она так говорит, так говорит Дзидзя. Я думал, что я уже другой, что из-за нее, благодаря ей я

уже другой, что изменился, что понял, что я это я, особый и крепкий. А теперь снова.

— Я не буду спать с тобой, Константин.

— Ластишься ко мне голой, одной простыней укутана.

Дзидзя пожимает плечами.

— Зажги лампу.

Ищу, значит, спички, я же их возле лампы клал, вот спички, поднял закопченный абажур, зажег, подкручиваю фитиль, ладно.

Дзидзя садится в изножье кровати лицом к изголовью, садится таким образом, что я знаю, что должен сесть в изголовье, подальше от нее, но лицом к ней, и так сажусь.

— Константин! — говорит Дзидзя, и нет в ее голосе ни злобы, ни издевки.

Слушаю.

— Константин...

— Где ты была? — спрашиваю, дурак, спрашиваю, дураком будучи, а она готова была сказать мне что-то важное, то, что я хотел бы слышать, надо же было спросить, а теперь она мне не скажет, потому что спросил: где ты была, где ты была, дурак, дурень, вижу.

Вижу, что готова была к тому, чтобы сказать мне что-то важное, а теперь холодная злость и желчь холодная. Все испортил. Для чего?

— Я была у викария.

— У викария?

Дурень, дурень, дурень.

Смеется в лицо. Не мне — надо мной.

— У викария. Не такой уж он таки шмат мужчины.

И ведь знаю, что врет, знаю ли я, что врет, знаю, что врет, но, однако, нет. Потому как, может, и врет, а может, и нет.

— Рассказать тебе? — язвит.

— Не рассказывай.

Ведь если ты не расскажешь, я смогу думать, что это неправда, потому как ложь, но если ты расскажешь эту ложь еще подробнее, то я не смогу больше так думать, хотя ничуть ты у него даже не была.

Не была, Костичек. Не была?

— Константин, ты мог бы жить по-другому.

— Как?

— Ты мог бы жить самим собой, не другими. В самом деле, ты мог бы.

Ее голос, ее слова, ее глаза. Знаю, никакой телесной близости не будет, но разве не может быть близость больше, ближе, крепче?

— Кто ты такой, Константин?

Кто я такой? Я Константин Виллеман, и я люблю женщин, авто и морфий, люблю сидеть в кафе со знаменитыми людьми, сам ничем не знаменит, однако же сиживаю, сиживал с ними равным среди равных, что возвышало меня над ними, ибо каждый, кто там сиживал, должен был чем-то отличаться, мало быть генералом, нужно было быть Венявой, мало поэтом, нужны Тувимы либо Лехони, а

между ними сижу я, сидел я, никто, а оттого некто, поскольку все знали, мол, сын немецкого графа, мол отрекся, а кто отрекся, однако же знали, и это моя безличность меня над ними возвышала.

Я Константин Виллеман, люблю женщин, люблю танцевать и не люблю лошадей, я предпочитаю авто, люблю шотландский твид и летние костюмы из тонкой шерсти, мне нравятся автомобильные ралли и вертящийся дансинг в Адрии, нравится джаз, нравятся шампанское и морфий, я ненавижу армию и мундиры.

— Кто ты, Константин? — повторяет вопрос Дзидзя. И встает, задувает пламя лампы и возвращается на место, где сидела, меня по пути не коснувшись, а была близка. Желтое светило зашло, остается синее.

— Кто ты, Константин? — все еще звучит, слова еще не угасли.

— Ich bin Baldur von Strachwitz.

— Кто ты, Константин? — повторяет вопрос.

Не ответить.

— Не знаю.

— Ты тот, кто ты есть, понимаешь? Ты такой, какой ты есть. Не иной. Понимаешь? — говорит Дзидзя, придерживая белую простыню на худом белом теле, белом от луны.

— Не понимаю.

— Знаю, что не понимаешь. Был бы другим человеком, когда бы понимал.

— Я не немец.

— Знаю.

— Я поляк?

— Это неважно.

Неважно. А что важно? Вся моя жизнь прошла под этим знаком: быть поляком, быть поляком.

Дзидзя встает, простыня обвивает ее худое тело, обжимает маленькую грудь.

— Иди спать, Константин.

Она ушла. Я остался наедине с лунным светом, я не дружил с ним, так что задернул шторы, бросился на кровать и заснул.

Глава XI

Пахнет табаком. За окном темень, в комнате желтый свет. Часы, стрелки лоснятся зеленью. Пять часов. Что?

— Вставай, время.

Дзидзя с сигаретой в руке, одетая как в дорогу, а я в раздрае. Лампу очевидно зажгла Дзидзя. На столик ночной поставила кружку с кофе, пахло кофе, хорошим.

— Жду у машины.

И ушла.

Я оделся быстро, только с ногами проблема, икры у меня как-то опухли, но сапоги в конце концов я натянул. Потом вычистил зубы

над жестяной раковиной, вода в кувшине очень холодная, я позвал в пустой коридор, Ханна принесла горячей — для бритья. На меня не смотрела, уставив глаза в пол. Над умывальником зеркальце, все в пятнах. В нем мое лицо, порванное, сломанное, покусанное английской шрапнелью, иное, нежели в моих документах: лицо-маска, лицо-не-лицо, монстр, а не лицо. А поссать, поссать-то как?

Я поссал хером Константина, побрил гладкое лицо Константина.

Пригладил всклокоченные волосы, застегнул куртку, потом шинель, пуговицы в два ряда, ремень с кобурой и портупеей пристегнул на шинель, взял багаж и автомат и вышел на улицу, где все еще стояла полная темень.

— Жду тебя четверть часа. Мог бы по крайней мере ключики мне дать.

— Ты же ушла прежде, чем я успел встать с кровати.

Мы сели, я завел мотор. Погода испортилась, пасмурно, очень холодно и сыро.

— Куда мы едем? — спросила Дзидзя.

Карта была у меня в голове, мы едем на юг. Я включил фары, и снопами света мы протаранили разрушенные улицы вплоть до самого Рынка, свернули влево, а после вправо, выезжая с разбитой площади, по которой теперь никто не сновал.

Шоссе на Цепелюв было пустым и даже не шибко шоссе, хотя покрытием обладало довольно твердым. Ехать приходилось осторожно, о скорости больше сорока в час не шло и речи; поэтому ехал я медленно.

Над синим куполом туч стало светать, когда мы миновали Сицину, затем Цепелюв, а в нем через малый Рыночек, где движения почти не было, евреев меньше, чем в Зволене, но там они ждали работы, здесь же просто спуют на заре, ища, чего бы поесть, а с ними пара унылых мужиков. А среди них еще тройка грязных деток.

— Остановись, пожалуйста, — попросила Дзидзя, и это были первые слова, сказанные ею от самого Зволена, хотя ехали мы уже добрых полчаса.

Два маленьких мальчика, босиком. Третья девчушка постарше, тряпошные обувки на ножках, сдается, десятилетки.

— Что вы тут делаете, детишки? — спросила Дзидзя, опуская оконное стекло.

— Живем, любезная пани, — ответила старшая девочка.

Моя спутница протянула в окно руку с серебряным Пилсудским.

— Вот десять злотых, пожалуйста.

Мальчики вопрошающе смотрели на старшую товарку. Та и ухом не вела.

— А что надо за эти десять злотых сделать, добрая пани?

— Ничего. Только взять. Купите себе и маме булок на завтрак.

Девчушка взяла монету, подробно изучила, я ждал, не прикусит ли, но она просто сунула ее в карман пальтеца.

— Мама умерла.

— Во время войны?.. — обеспокоилась Дзидзя.

Девчушка смотрела через окно на меня, на меня смотрела, на меня, ее взгляд застыл на моем темно-зеленом немецком воротнике. Немецком.

— Нет. Уже три года будет, как мамуся умерла. Пошла к жидовке тяжесть согнать, да и умерла при этом сgone.

— Едем, — выпихнул я слово сквозь ком в горле.

Дзидзя игнорировала меня полностью, хотя это я был за рулем, я вел, в моей власти было переключение передач, выжимание сцепления, открывание дроссельной заслонки и езда, езда. Власть имел. Но не поехал.

— Как тебя зовут? — продолжала Дзидзя.

— А это важно?

— Нет.

— Магдалинка.

— А это братишки твои тут, Магдалинка?

— С чего бы. Не знаю этих подкидышей, — решительно отрезало дитятко.

— И не поделишься с ними? — спросила Дзидзя.

— И разговора нет.

Дзидзя понимающе покивала головой, pokrутила ручку, окно закрылось.

— Тогда вперед.

Я съехал в первый поворот налево, дорога была очень плохой, хуже, чем помнилась мне, если помнилась, что-то помнилось, но что? Раньше вот так ездили. А ты уверен ли? В Зволине да, в Зволине уверен, но вот так ли?

Слева озерцо, у озерца мельница. У дороги человек и халупы при дороге, которая почти превратилась в тропу, травой поросла посередине.

— Дорога на Липско? — спросил я.

Напуган немецким мундиром и польскими словами, но не убега-ет, может, боится бежать. Обтерханный, усатый донельзя, крестьянские высокие сапоги и шапка, тотчас же сорванная с головы. Не-смотря на дождь, который только что начал накрапывать.

— Не на Липско, пан.

— Вернуться в Цепелюв?

Он призадумался.

— Не вернуться, пан, не вернуться, крюка давать. Тут сию мину-ту надо взять вправо на Калкув, и проселочек такой же, как этот, че-рез лес будет, в Струге вельможный пан на шоссе на Липско выедет.

Я пригляделся к нему. За что? Старый усач, шапка в руках. В та-ком мире живем: я сию в американской машине, в немецком мун-дире, у меня оружие, рядом сидит красивая женщина, а у него в ру-ках шапка и нет ни машины, ни оружия, ни мундира, ничего, кроме этой шапки. Зачем у одних извечно есть все, а у других — ничего? Глупейший из вопросов! Если бы у всех было поровну, тогда надо было бы спрашивать: зачем, зачем...

Я поехал. Взял вправо, как он сказал. Дзидзя молчала, смотрела в правое окно, как бы обиженная — на что, за что на меня, что между нами такого, чтобы Дзидзе обижаться. Дурость. За окнами убогие хутора, калкóвские.

А потом лес. Сосны. Мы едем.

Лицо Дзидзи отвращено от меня. Дзидзя далеко. Мое колено, рычаг переключения передач, перфорированная жезь пистолета-пулемета, а дальше колено Дзидзи, ее колено в колготках телесного цвета.

— Осторожно!!!

Мир съезживается и плотнеет.

Тормоз, скрежет, жуткий хруст, машина летит боком, тело стягивается в жесткий сгусток, я знаю это, знаю, у меня две аварии были до войны, я знаю. Кишки зашнурованы в корсет. Но вижу: я еще справлюсь, только бы вернуться на дорогу, руки на руле жесткие, как шатуны, я газую, и влево, и уже.

Порядок.

Останавливаюсь в полуметре от упавшей поперек дороги сосны. Наконец-то выдох, мой и Дзидзи, легкие выпускают воздух. Но я все еще ощущаю дрожь в теле, возбуждение, итак, смотрю, вижу, думаю резче: свежесрублено. Дерево.

— Ложись, — кричу я Дзидзе, а сам левой открываю дверь, правой хватаю автомат и выкатываюсь из машины. Уже. Поздновато.

Из леса летит на меня зеленый мундир. Штык на стволе винтовки, штык в грудь мою вонзится. Каска французская Адриана. Но спотыкается о камень, теряет равновесие, не падает, но теряет ритм.

Я успею. Затвор назад передернуть. Я успеваю. Никогда не стрелял из пистолета-пулемета. Стреляю, плохо, невыгодно, лежа и от бедра, прикладом в землю, но зеленый мундир, французская каска Адриана невадали.

Попал, двумя пулями в грудь. Его перевернуло и падает. Кони из леса ржут. Засада. Польские уланы. Я убил человека.

Рожа солдата, получившего две пули в грудь, мне знакома.

Раздается винтовочный выстрел, но мимо, вздымает облачко песка, пуля впритирку, стрелка не вижу. Я мог умереть, ныне и во веки веков, аминь. Из машины сквозь открытую дверь за мной надо мной щелкает пистолетик Дзидзи. Второй выстрел из винтовки и снова мимо, и я перевертываюсь на живот и вытягиваю по лесу очередь, как из эркаэма, и ни в кого не попадаю, и твяканье затвора, боек дырявит воздух в пустой камере; тишина, точка. Знаю уже, что проиграл, ни в кого не попал, второго магазина нет, лежит на полу машины в подсумке. Далековато. Надо было спустить все дурацкой очередью. И пистолетик Дзидзи смолк. Обратно на спину и в кобур на бедре лезу, но знаю, не успеть, из леса летит уже второй зеленый мундир, улан летит, шлем тоже французский, Адриан, а под ним: старший улан Бочага, только не эркаэм, а винтовочка. Летит в меня штык, Бочага не стреляет.

Он же мертв, схлопотал в лоб на улице Гурской, перед Селецким парком схлопотал, когда я послал его к эркаэму, схлопотал, в

лоб схлопотал, в каску Адриана схлопотал пулю прямо в башку, вышла затылком, спина забрызгана кровью и мозгом, а голову он положил на приклад эркаэма на локте, будто вздремнул, спина забрызгана кровью и мозгом, и летит на меня, не на меня, на Бальдура фон Штрахвица летит, штык в меня вонзить, точка.

— Стой!.. — вопль из леса.

Бочага, который мертв, мы похоронили его у костела Воскресенцев меньше месяца назад, что, впрочем, при всем при том не оправдывает того факта, что сейчас летит на меня со штыком тот, чья голова была капитально прострелена, а тело в целости и католическим образом закопано, хоть и у Воскресенцев. Летит на меня и что же, воскрес?.. Расстегиваю кобуру, не расстегивается.

Но не долетел. Секунду я думал было, что Дзидзя сняла его из пистолета, но Дзидзя не снимала его из пистолета, потому как, видеть, не нагребла в сумочке второй обоймы, если у нее вообще была вторая обойма, а теперь кто-то тащит ее за волосы из шевроле, а Дзидзя вопит, пусти, хам, вопит! Ее вопли обещают задиранье юбок, раздиранье нижнего белья. Мне эти вопли незнакомы, я никогда их не слышал, никто никогда при мне не насиловал женщину, однако же знаю откуда-то.

Итак, это не Дзидзя, но удержался жуткий улан Бочага и не прокнул меня штыком, а задержал штык на моем горле, острие упирается в кожу, моя правая рука застыла на кобуре полустегнутой, уже ремешок из пряжки выковырял был, оставалось расстегнуть только кобуру и вытащить пистолет, но поздно.

— Не убивай! — крик.

Знакомый голос. Выходит. Как клепсидра, оттого что шинель в пол утянута ремнем, в подоле широко, в плечах широко, в талии узенько, сабля, рогативка, Virtuti к груди пришпилен, сапоги выложены, шпоры, на поясе кобура, радомский ViS в руке. Ротмистр Хохол. За ним еще двое: улан и пехотинец в глубокой пехотной каске.

— Что с капралом Ваничком? — указывает он на того, кого я застрелил.

Пехотинец чиркает ладонью по горлу.

Я убил человека. Ничего не ощущаю. Я и не ожидал что-либо ощутить. Я не боюсь убивать людей, оттого что собственной смерти тоже не боюсь.

— Убит.

— Убит, — задумывается Хохол, затем подходит ко мне и встает надо мной, и вдруг он узнает меня и не узнает. Узнает, оттого что узнает мое лицо. Но не узнает.

— Виллеман? — спрашивает. И если вообще можно не верить своим глазам, то не верит. Но некоторые никогда своим глазам не верят.

— Это он, пан ротмистр, — ответил Бочага. — Только мундир какой-то иной. Но это он. Я его по форту “Домбровский” помню.

— Ебись своим Домбровским, ведь ты же был у меня во взводе, рыбий хуй, и тебя застрелили!.. — рычу я.

— Ожондала, возьмите у него пистолет и автомат, — скомандовал ротмистр.

— Ваничека убил. Насмерть.

— Но это ведь Бочага, старший улан Бочага, — требую правды.

— Ты не только предал, Виллеман, но еще и обезумел? — трезво удивился Хохол. — Бочага же на Гурской застрелен был, похоронен у костела Воскресенцев. Это вахмистр Ожондала, шеволежер из второго шеволежеров, и в целости не есть застрелен, оттого что ты скверно старался, Виллеман.

— Пан ротмистр, а как с той курвой немецкой? — спросил солдат, что вынул Дзидзю из машины и теперь держит ее за волосы, а та стоит на коленях в пыли.

— А почему говоришь, что курва немецкая? — удивился ротмистр, пряча пистолет в кобуру.

— Потому по-польски вопила. А с немцем сидит.

— А, ну да. А что бы хотели с ней...? — недоуменная пауза. Солдат смущен.

— Ну, пан ротмистр... ну, знает пан. Косатка. А давно ничего...

— Может, после. Сейчас я должен их допросить, потом решим, что, как и где. Ясно?

— Он Ваничека убил, — мрачно сказал Бочага-Ожондала, забирая мое оружие, сказал, словно собирался застрелить меня *hic et nunc*, не дожидаясь, пока я встану.

— Я пана ротмистра видел в Варшаве. Позавчера. Я сбил его на улице, ехал на этом автомобиле, шевроле, — сказал я, защищаясь и все еще лежа на земле.

— Не помню, чтобы мы виделись.

— И однако.

— Знает пан, пан Виллеман, последние несколько дней мне как-то нехорошо.

Они подняли меня, Ожондала и рядовой в круглом шлеме, подняли и понесли, понесли в лес меня и за мной Дзидзю, понесли в лагерь, а тем часом шел дождь.

Незаслуженное клеймо в этой мороси нес я, Бальдур фон Штрахвиц, не предавший никого. *Weil ich niemanden verraten habe*¹.

Незаслуженно нес, не предав никого, я, Константин Виллеман, я.

Вслед за нами по мокрой подстилке волочили тело Ваничека, застреленное мной. На плече у Бочаги-Ожондалы повис мой пистолет-пулемет, пустой и мертвый.

— В Варшаве говорил пан, пан ротмистр, что был пан королем Польши, — сказал я.

Хохол повернулся ко мне, удивленный.

— Меня зовут Ян Хохол и я последний король Польши, — сказал он, удивленный тем, что я вообще спросил.

1. Потому что я никого не предавал (нем.).

Ожондала кивнул, подтверждая очевидное.

Жизнь это сон.

Но это не сон.

В лагере костер, две скверных палатки, три коня — один хороший, верховой, и два одра, таких в брыкушку пехотную, не в кавалерию, и коновод при них один.

Меня посадили к огню, рядом со мной курва немецкая Дзидзя. На безлошадных седлах, расставленных по кругу, ибо коней не было, а сидеть на чем-то надо.

— Ожондала, води остальных в патруль. Границей леса на запад, пересечете шоссе, но так, чтоб из Анусина вас не увидали, к Домброве до Порембы, оттуда назад по просеке.

— Там, где... Ну, пан знает, пан ротмистр... — заикнулся Бочага, выдававший себя за Ожондалу.

— Нет, туда идти не следует, что ж там может поменяться? Убитые на рассвете останутся убитыми. Я допрошу пленных. Выполнять!

— Слушаюсь, пан ротмистр. Прошу позволения вопрос задать.

— Разрешаю.

— Боеприпасы закончились. Тогда как же это в патруль?

Хохол аж подскочил.

— Как это закончились! У вас ведь, Ожондала, было два патрона, утром у вас было два патрона! Что есть стремление стрелка, вахмистр, ну, что?!

— Покорно докладываю, каждому стрелку при ведении одиночного огня должно стремиться, чтобы после каждого боя он мог сказать, в какую цель целился при каждом выстреле, — хмуро продекламировал вахмистр.

— Так точно. В какую цель вы целились при каждом выстреле, вахмистр?

Капрал Ожондала огорчился, глаза в землю уставил.

— Покорно докладываю, имел две пули, но выстрелил дважды, как этот немец посек в нас из автомата.

— Ну и, будьте любезны, сколько же раз вы попали, вахмистр? — шерстил его Хохол.

— Не попал ни разу, покорно докладываю, — возразил вахмистр, но челюсти сжал не в раскаянии, а в ярости.

— Я говорил: не стрелять! Пуля дура, штык молодец!

— Покорно прошу извинить, пан ротмистр. Докладываю, пистолет у немца забрал и автомат. К той семерке две полные обоймы; автомат однако пустой.

Хищный, яростный взгляд уставил в него Хохол.

— Так вы же не думаете, Ожондала, что с пистолетом в патруль пойдете?

А я подумал, как это все походит на то, что вот-вот зародится тут совет солдатских делегатов. И начнется срезание погонов и, кто знает, не еще ли чего похлеще. Ожондала отложил мой пояс с кобурой и мой пп.

— Покорно докладываю, что не решился бы, — ответил он тяжело.

— И ладно. Шагом марш. И убрать мне там это дерево с шоссе.

Ожондала кивнул, и они пошли, закинув винтовки на плечо, пошли. Хохол достал из кобуры ViS, не так давно в нее спрятанный. Подбросил в огонь дров.

— Ну, рассказывай, Виллеман.

— А что рассказывать?..

Хохол не отвечал. Дзидзя сидела рядом со мной, против ротмистра, неподвижно, но без страха. Хотя над ней предполагалось насильничать. Я был бы удивлен, если бы она испугалась.

— Не говори ему ничего, — вдруг прошептала она.

— Я услышал это!.. — Хохол погрозил нам пистолетом. — Знаете, что имею власть расстрелять вас?

— Никакой власти не имел бы, когда бы не держал в руке пистолета. Никто ее тебе авансом не давал.

— О, что ты, вот уж нет! — Хохол был возмущен. — Меня зовут Ян Хохол и я король Польши! Власть моя исходит от Того, кто меня создал.

— Он сумасшедший, — шепнула Дзидзя.

— У-слы-шал! — завелся Хохол. — Думаю, велю все-таки вас расстрелять. Тебя за измену, — он направил на меня ствол. — А тебя, женщина, за братание с врагом.

— Сделай что-нибудь, — шепнула Дзидзя. — Ты только не должен открываться ему.

На этот раз Хохол не слышал. Почему я спокоен?

— Я расскажу вам мою историю, а вы узрите свою тщету, — вставая с седла, объявил ротмистр. Он заложил руки за спину, ViS по-прежнему в ладони. Начал медленно ходить вокруг костра, я думал, он подойдет ко мне, приставит ствол к уху, как раненой лошади, но нет, лишь перипатетически ходил, вещая.

— Я никогда не доверял тебе, Виллеман. Знаешь, впрочем, что о тебе говорено, гроб повапленный? Что ты поляк только сверху, а стоит поскрести, то немец. И что ж, не были правы все, Ксык, даже Рудницкий слушал это и не протестовал, не были они правы?

Воздел руку с пистолетом, упер ногу в седло, ни дать ни взять актер возвышенных форм, и вещал. Сидевший неподалеку коновод прервал дрему и вникнул в вещание Хохола как зачарованный, лепеча что-то себе под нос, и этот лепет сливался с речью леса, творя монотонный возвышенный аккомпанемент к словам ротмистра. А тот вещал:

— Я не сложу оружия, никогда. Пистолет рука моя выпустит лишь тогда, когда охладет и умрет. Так я присягал Язловецкой Мадонне перед тем, как пойти на войну, и ни полковник, ни главнокомандующий Шмиглы-Рыдз, ни даже Бог не могут освободить меня от этой клятвы, только она. А от нее приказа о капитуляции я до сих пор не слышал и услышать не чаю. Во всем народе отыскал я пятерых мужчин, что согласились повторить в моем присутствии мою клятву, и разве этих пятерых недостаточно, чтобы весь народ

из мертвых восстал? Будут закваской Новой Польши, Польши Духа, Польши, возрожденной не в одних границах и сеймах, но Польши, возрожденной в сердцах. Из крови их, ибо ей суждено потечь, как и моя потечет. Из крови их семя возрождения посеяно будет.

И внезапно умолк, словно почувствовал неуместность того, что вещал. Коновод перестал лопотать.

Между тем было это абсолютно уместно, Костичек.

Почему ты не боишься, Костичек? Ротмистр вновь двинул вокруг костра.

— Бросишься на него, заберешь у него пистолет, и бежим, — шепнула Дзидзя.

Сделай это, дурак! Ты моложе его, сильнее! Иначе расстреляет тебя этот человек, он безумен, а если бы даже и не был, все равно расстрелять может этот недобиток, партизан октябрьский.

Но, может быть, ты не боишься, поскольку знаешь больше, чем я, возможно ли, что ты знаешь больше, чем я, единственная, кто любит тебя по-настоящему?

— О ком на рассвете убитом речь шла? — спрашиваешь неожиданно. Спрашиваю.

Хохол поглядел отсутствующе, остановился в перипатетическом полужаге. Глядит на тебя, меня, на меня глядит, заботливо, бдительно, чутко.

— Триста убитых! — прошептал. — Зверски умерщвленных беззащитных пленных из семьдесят третьего пехотного, умерщвленных, как животные, немецкими палачами.

Я сглотнул, довольно нервно. Достаточно, чтобы он запсиховал, а застрелить меня на месте уже готов.

— Приехали на бронетранспортерах, гусеницы лязгали о мазовскую землю, — возглашал Хохол. — И дрались, побеждали и сдались наши парни, когда уже кончались у них патроны, они не подумали сохранить для себя последнюю пулю.

Коновод спрятал лицо в ладонях, мотая головой.

— Но победителям слово “рыцарство” было чуждо, и сорвали с наших храбрых, но одоленных солдат куртки, отсекали им подтяжки, чтобы исключить побег, и расстреляли их как бандитов, расстреляли из автоматического оружия и свалили тела в канаву, недалеко отсюда, в Домброве.

— У нашей пехоты нет подтяжек. Не было, значит, — сказал коновод тихо.

Хохол вдруг упал на седло, швырнул пистолет на землю, закрыл лицо рукой.

— Сейчас, — прошипела Дзидзя.

Я посмотрел на нее в испуге. Боялся потянуться к пистолету.

— Сделай это, черт возьми. Это сумасшедший.

И я дотянулся до кобуры. Коновод ловко откатился назад, за дерево. Я расстегнул, вытащил зауэр. Хохол плакал, не поднимая головы, так что я зарядил пистолет и застрелил Хохолу.

Подошел — он был мертв. Поднял ViS, вынул обойму — пустая.

— Пристрелили еще того кретина, — приказала Дзидзя, словно речь шла о том, чтобы сорвать яблоко, и это впрямь одинаково, убить человека и сорвать яблоко.

Вопреки мнению многих, это крайне просто. Некоторые люди испытывают перед этим магический страх, будто убийство человека есть нечто иное, нежели бросание камня в реку, рубка дерева или пересыпание песка. Некоторым, хотя и немногим, кажется, что это запрещено Богом; но даже если какой-то Бог или боги пярят над лучистым небесным сводом, то они создали человека так, чтобы он был не чем иным, как влекомым течением ручья камнем. Он и есть.

Другие считают, что раз они сами боятся смерти, то нельзя делать ближнему то, что самому немило; не понимают, дурни, что страх собственной смерти есть веский повод для убийства, ровно как и всякий другой либо отсутствие повода.

Третьи верят, что человек является ценностью; и он является в той же мере, что и деревья, ящерицы, галька горных рек. Смерть этой ценности не нарушит и не отнимет, даже когда последний человек на земле положит кончать с собой, а такой момент, без сомнения, наступит, и не расколются небеса, и ничего вообще не случится, лишь ветшать станут памятники нашего небытия, облупится краска с фасадов великих американских домов в предместьях Чикаго, и рассыплются глиняные дома банту, и шакал станет лаять на Испанской лестнице, и тигры разлягутся на Красной площади, а львы в затягивающем Марсель твердолиственном лесу, и книгу о нас на бересте напишут ежи или же не напишут, другие дела угнездятся в их ежовых бошках.

Так думают третьи. А я понимаю, что выстрел в человека означает пулю, роющую в теле каналы. Означает сердце, перестающее биться, и означает мозг, более не ощущаемый вами — лишь то и значит. Значит малую победу того, кто убил, старую, как человечество.

А чьи это мысли, мои ли это мысли, Константин? Ты, Константин, так не мыслишь, выходит, что это я мыслю, твоя безгласная прозрачная подруга, реющая над тобой, будто медуза в бездне? *Denke ich das Baldur ohne Gesicht? Und wo bin ich, jetzt?*

*Ich denke das*¹.

Я думаю это.

Я.

— Пристрелили же его! — сказала Дзидзя.

— Не стоит, светлая пани, — ответил коновод из-за дерева. — Я и так вроде уже мертв.

— Я и не думаю, — сказал я, потому что не застрелить человека равно легко, поэтому не застрелишь, ты сам сказал, любовь моя.

— Похорони его, — сказал я коноводу, у которого не было имени.

— Не для чего хоронить.

1. Это я думаю, Бальдур без лица? И где я, сейчас? Это я думаю (нем.).

— А как с теми убитыми пленными?..

— А никак, светлый пан. Убиты либо не убиты. Зарыты во рву возле Домбровской Порембы либо не зарыты. Сгнили уже либо даже не начали гнить. Либо так, либо смяк.

— Идем, — приказал я.

— Ладно, Константин, — согласилась Дзидзя очень мягко и вся смягчилась, она вдруг утратила воинственную чопорность амазонки, даже нос ее, обычно столь острый, сейчас казался мне округлым.

Я взял опорожненный автомат, и мы пошли обратно к машине.

Возле машины, на сдвинутом с дороги поваленном дереве сидел Ожондала, который уже вовсе не напоминал мне Бочагу. Бесполезные винтовки между ног. Сигареты их дымились. Кони щипали октябрьскую траву. Я прошел меж деревьями с пистолетом в руке, но ты не целился в них, Костичек, я не целился.

Увидев нас, поднялись тяжело. Продолжали жадно курить сигареты. Не тянулись к оружию, чего было им тянуться, коли ты пришел сюда победителем. Со мной женщина, которую они оскорбили, над которой хотели надругаться. О чем они думают?

Я посмотрел на Дзидзю. Вопрос поняла без слов. Взмахнула рукой, и в том жесте были все века ее аристократичной породы, были поколения нянек и гувернанток, муштрой терзавших маленьких Рохачевичей, и Дзидзя просто отпускала им любую кару, ибо могла.

Они же спустя минуту напряжения поняли, что прощены, как собакам прощаются их укусы.

— А как с теми убитыми пленными? — спросил ты.

Посмотрели друг на друга, не ответили, но и не спросили ни о чем, ни о выстрелах, которые должны были слышать, ни о чем-либо еще.

— Надо проверить, — сказал Дзидзе Константин. А я молчала. Меня это не касается.

— Для чего? — удивилась та.

— Для Инженера. Он может как-нибудь использовать, такое общение...

— Ну, так скажем ему, что расстреляли, — улыбнулась она.

— Но ведь нужно знать, как было!

Она посмотрела на меня, будто хотела разглядеть нечто странное, что она видит впервые и хочет разглядеть в мелочах.

— Было так, как должно было быть. Ничем не поможет тут разгребание песков, не приведи Господь, нашли бы мы там эти сгнившие трупы. Ты знаешь, Костичек, как они умудряются вонять?

Ключ еще торчал в замке зажигания, меня грела надежда, что аккумулятор не ослаб, что удастся запустить двигатель. В шевроле ведь нет даже ручки для ручного запуска. Но прежде чем Константин успел хорошенько поволноваться, мотор завелся.

— Наверное, мы все-таки обязаны проверить. Это важно. Триста пленнх... А Хохол сказал даже, что это за полк, то есть семьдесят третий пехотный... — сказал ты.

Дзидзя засмеялась и отмахнулась от меня рукой, как отмахиваются от завязатого фигляра. Или от надоедливой мухи.

Я вставил полный магазин в автомат. На всякий случай. Мы поехали как можно скорее, дорога вела нас полями и лугами, часом подблоченными, а то и каким-нибудь леском, и все время молчание Дзидзи и мое молчание и ровный звук мотора, и Голубовка, и вновь лесок, и Цукруква, и вновь поля и ветряк, и мы въехали в Липско.

Типичное местечко, деревянное, соломенное, говняное Липско. Грязное. Смердит навозной жижей и жидовским дыханием и ветрами от их цибуль и чулентов, и польско-пейзанским дыханием и пердежом от капусты. На улицах люд, и думаю про себя, что это за раса, когда крестьянство, то либо мелкое, несуразное, болезненное, к работе негодное, либо здоровое и сильное, но как-то пообезьянны, руки длинные, тела бочкообразны, ноги короткие и, как правило, по-обезьянны кривы. В этих селеньях не найти мужчины высокого, атлетичного и стройного. Бывают девицы, стройные бывают и гибкие как циркачки, но потом исчезают, и среди зрелых женщин никакой расы уже не видно, вся их краса уходит с первым ребенком, расплываются в бедрах, грубеют лицами, тупеют взглядами, я много такого повидал, делая по Польше наши ралли с автоклубом, чем дальше на юг и на восток, тем хуже раса, насколько в Великой Польше народец топорен, настолько и здоров, если и некрасив, то опрятен и приятен. Силезцы карлы, и женщины, пожалуй, некрасивы, зато в соку, горцы породистые, красивые, женщины не слишком, но мужчины великолепны, хотя идиотов хватает, а все остальные, Господи прости, неужто тоже род людской? В городе немного иначе, он все-таки лучшей стихией всегда питался, и интеллигенция тоже чище породой, будто иного племени.

Так думал я про себя, и среди этих халупок, претендовавших на звание городских, я ехал медленно и посмотрел на часы — а тут едва-едва полдень. Синагога в Липско, черное пожарище, беспросветно черное. На стекле моем и на пепелище появилась снежинка. Она сперва и уже нету ее, затем пяток, а десятая задержалась. Очень холодно с утра.

Нажимаю, нажал, проезжаем через Липско, вон мельница на реке, вода вращает колесо, как великую чакру мира, я думаю про себя, и едем, и всё дальше.

— Нам надо определиться с планом, где мы пересечем границу и как... И где будем ночевать, — говорю куда-то вперед, в стекло. Щетки смахивают снег.

— Езжай, Константин. Просто езжай. Вперед. Не останавливайся.

Я еду. Ехал. Еду. Дорога ведет полями, которые в момент побелели. Крутой овраг, съехалось легко, на выезде грязь разъезженная, припорошена снегом, трижды пришлось сдать задом, прежде чем получилось вырвать шевроле из оврага, и вновь поехали, минувем слева внушительную усадьбу с парком.

— Данишев, — сказала Дзидзя, едва парк замаячил вдали.

Перед усадьбой немцы. Грузовики с красными крестами на белом поле, люди в белых халатах поверх серо-зеленых мундиров. Госпиталь. Не останавливаемся.

И дальше, дальше полями белыми, сперва дорога как стрела, а после головоломный съезд в долину Каменной, Чекажевицы, людей почти не видно, все по домам попрятались от этого октябрьского снега, дорога чуть ли не горная, мост, по счастью, невредим, так что дальше, долиной и снова вверх, еду очень быстро, опасно, но боюсь, что могу застрять и тогда уж финита, пришлось бы в деревню за лошадьми, не шибко охоч я бродить по снегу, оттого быстро, опасно, но уверенно веду, хорошо веду, и мы выскакиваем из долины реки Каменной, моя олимпия старенькая могла бы не справиться, а шевроле только взревел шестью цилиндрами, и мы выскакиваем из долины реки Каменной.

Меня зовут Константин Виллеман, я немного могу сказать о себе, кроме того, что ношу такую нарочитую маскировку, чучелко в поле, крысиная шерстка, воронье перо.

Белое поле, прямая дорога, мотор, топлива хватает. От Тарлова шоссе на Ожаров прямое, как стрела, и снег, снег, снег октябрьский, теплый, мокрый и липкий, дворники смахивают его со стекла, и мы едем медленно, делается все темнее, дотягиваем до сумерек на тридцати-сорока в час, не больше.

— Придется где-то остановиться, — говорит Константин, я говорю.

— Езжай, — отвечает Дзидзя окну. В стекло, не мне.

Какая она сейчас, холодная и равнодушная? Когда мы выезжали, не была такой. Заносится, что ли, по-прежнему или молчит по другой причине?

— Темнеет.

— У тебя впереди фары, нет разве?..

— Но в конце концов нам придется остановиться.

— В Будапеште.

— Хочешь, чтобы вел в такую погоду, по этим дорогам без отдыха аж до Будапешта?

Дзидзя поворачивается ко мне, не головой, но вся, на этом своем тощем задочке она обращается ко мне вся. Кошусь на нее краем глаза, ведь я веду ведь снег ведь несмотря на вентиляцию потеют стекла ведь скользко ведь темно, а она роет в сумочке, вытаскивает наконец флакон, маленький продолговатый флакон коричневого стекла.

— Возьми две.

— Что это?

— Изофан.

— То есть?.. — Я удивлен, никогда не слышал.

— Как первитин, только очищенный. Фирмы Knoll. Возьми. Я вздремну на диване сзади, и мы доедем. Возьми.

Я беру. Пока только флакон. В нем таблетки, плоские белые леденцы. Без этикетки.

— Бери, — говорит Дзидзя. — Возьми два.

Большим пальцем вытолкнул из него пластиковую пробку, наклонил, две таблетки соскальзывают в рот, соскользнули.

— Разгрызи. Как разгрызешь, глотай.

Разгрыз, горько, размалываю зубами и языком в крупную, влажную от слюны пыль, будто гипс разминаю во рту, и влажную тяжелую массу глотаю, проглотил.

— Иду спать, — говорит Дзидзя. — А ты езжай.

Неожиданно голос ее смягчается:

— Езжай, пожалуйста, Костичек, езжай.

— Но мы даже не определились, в какую сторону, где мы границу со Словакией пересечем, или сразу в Венгрию, в Подкарпатье, на Ужгород... Ни с чем не определились.

— Это неважно, Костичек. Езжай. Не промахнешься.

Дорога прямая белая черная ибо ночная белая ибо заснеженная черная белая дорога. Чую пальцы снега на резине моих шин, чую, как забивается мой протектор. Дорога прямая белая черная шоссейная на Ожаров.

— Я лягу, — говорит Дзидзя тепло, тепло, и переходит на задний диван, выгибая при этом переходе задочек, укрывается шинелью, я краем глаза вижу ее в зеркале заднего вида, еду, еду.

Ожаров.

Какое-то время ищу шоссе на Опатов, хочу дальше ехать на Опатов, нахожу шоссе на Опатов, полагаю, что это шоссе на Опатов.

Дзидзя спит. А я думаю о Юрчике: когда я впервые взял тебя на руки, тебе было уже несколько недель, раньше меня не допускали, Геля родила тебя еще у моей матери, на вилле, не было еще ни дома на Мадалиньского, ни каменицы старого Пешковского на Подвале, мы ютились у матери, а я сперва убежал от твоего большого живота, Геля, потому как с этим животом ты мне казалась кем-то совершенно чужим, а позже я убежал от этого свертка в твоих руках, ведь я же не хотел, я не знал, что с этим делать, разве ж не мог этот почин твоей маленькой жизни, сыночка мой, прервать мою бурлящую, искрящуюся, шампанскую жизнь, мои возвращения поутру в какие-то номера, не мной снятые, в отели, а ты со своей мамой, с Геленой, сыночка, такой маленький и сине-розовый, и беспокоился доктор, а я не мог, я только раз посмотрел на тебя издали и исполнил некие ритуалы, которые казались ритуалами гордого отца и родителя, и все время размышлял о слове “родил”: он родил, я родил сына, как будто данный акт рождения был актом сознательного мастерства, как будто человек должен был что-то знать, что-то выполнить, и не в том дело, что в мать новорожденного дитя было впущено семя, в этом нет мастерства, это умеет каждая зверушка, и тем не менее говорится об этом с гордостью, как будто построена ими машина из шестерней и цепей, и вот эта машина движется в ровном красивом ритме, и говорится: я родил сына, наследника, потомка, продолжаю свой род.

А ведь ничего они не продлевают, лишь свою жизнь пустую печальную, ничего от нас нет больше в этих детях, которых мы рожаем, питаем, растим и отправляем в мир, они ничуть не мы вовсе,

ведь что ж такое кровь, ведь если кто-то наставил нам рога за спиной нашей, и не свое дитя мы растим, тогда что, какая разница? Какая? Никакой.

Так что пил я в хрустальных палаццо с фарфоровыми принцессами, пил жидкие диаманты и белоснежные сорочки, крахмальные манжеты, запонок солнца золотые и пуговиц перламутр в оправе из золота, шампанское и водку, как белый елей, белая бабочка и фрак и музыка и лишь одно воскресенье, последнее, танго самоубийц, а потом все это замарывалось едой, соусами, красным вином и красной помадой на манишках и пальто, мы кутались в пальто и женщин закутывали в пальто, смеясь при этом так, что кишки едва не выплевывали, искали извозчика или такси и ехали куда-то, улицами Варшавы, но не туда, где Юрчик, ехали с женщинами либо одни с алкоголем, вечно пьяные, порой за кокаином, порой за опиумом к китайцам ехали, порой дрались с апапами, нож и кастет, и я ничего не боялся, смерть, с чего бы мне бояться смерти, разорванные разбитые рожи морды не наши, разок мы избili какого-то нувориша делового за один кривой взгляд, а ты, Юрчик, со своей мамой, с Геленой.

Дорога, мокрый снег, Дзидзя на диване.

Сперва я убежал от них, от Гели и от него, запеленатого в кружева и салфетки, как будто не было у него ни рук, ни ног, ни ручек, ни ножек, запеленатый белый червь с синим человеческим лицом, почти человеческим, а немного обезьяньим.

А после эту ипостась личинки распеленали, после он сделал первые шаги, и я внезапно влюбился в малыша, которого якобы породил, словно бы сложил его из себя, как машину или детекторный приемник. Я влюбился, ибо он обнимал меня за шею, ибо он звал меня “папуса”, ибо смеялся как безумный, как дитя, дети всегда безумны и жестоки, и я влюбился, в целости. Желал смотреть на него, голубить и целовать. Желал ему счастья, и желал слышать его голос и его шаги, и тогда Геля перестала бояться, что потеряет меня, ибо уже знала, что получила меня навсегда чрез этот плод чрева своего.

В нем я любил не себя нового, лучшего. Он не был мной. Его со мной ничего не роднило. Конечно: я был его отцом, у него были мои черты лица, мои серо-голубые глаза. Но что с того, он не был мной, и его со мной ничего не роднило, ничего.

Кого я в нем любил, что я в нем любил до безумия, в этом малом дурашливом человечке? Не знаю.

Горы. Это горы? Нет. Это Висла.

Висла?

Мы мчались, я сверялся с картой при свете фонарика: ее топонимика, вот Стопница, а наряду с буквами маленькие тусклые окна жиловских домишек. Вспоминается история полковника, встреченного мной у Лурса неделями двумя ранее.

Двумя неделями всего? Половине жизни равны эти две недели. А то и целый.

Но вспоминается история с немецким оркестром в автобусе, продырявленном как решето. Стоит там действительно этот автобус, немецкий военный автобус, действительно продырявленный, зачем они его еще не убрали, могли велеть жидам убрать, и не велели. Зачем?

Музыканты на войне. Среди солдатиков Костичка были бы уместны эти музыканты, с их бубнами и дудками, могли бы задавать ритм атаке, как барабанщики и флейтисты при Аустерлице или Бородино, но для чего музыканты на такой войне в темноте, в неведении, где мы, где враг, войне в прятки, танки ниоткуда, самолеты ниоткуда, прячемся по лесам, уланы глядят на меня, пан поручик, что с нами будет, этой войны нам не выиграть, пан поручик. Такие обходительные, хоть я и подпоручик. Надо отругать их за пораженчество, вздрючить, взгреть как бурю суку, обложить рыбьими хуями, курвиными детьми и пригрозить военным трибуналом за дефе-тизм, но вместо этого я говорю в козырек французского шлема: не выиграть, приятель, не выиграть, а над нами по стволам дерев лупят очереди немецких пулеметов.

А в автобусе немецкие музыканты продырявлены как решето, и не задуют больше их трубы, и не застучат барабаны, ведь продырявленное уже не строит.

Музыканты либо не музыканты. А если бы вместо труб имели карабины системы Маузера, вместо свирелей парабеллумы на бедре, вместо тамбуринов гранатометы, вместо гобоев пулеметы, вместо тарелок мины, и в таких-то наши стреляли? А может, автобус был пуст и никуда не ехал, а стоял, ведь если бы ехал, то должен был бы разбиться после обстрела, а не элегантно притормозить, может, полковник попросту анекдотец рассказать хотел? Какая разница. Как польские пленные в лесу, зарыты либо не зарыты. Музыканты застрелены либо нет.

А мы мчимся дальше, на карте капиталью Паканов и его огонечки наперечет. Ах, беда с Козленком этим, пакановцы закричали, разбомбите его, дети, а иначе быть печали, — декламировал Юрчик.

Висла.

Взорванный мост, пост перед ним.

Часовой светит фонариком. В стекле. Видит мундир. Снег на его каске, на плечах и на грубом сукне шинели.

Открываю стекло.

— Guten Abend.

— Guten Abend, Herr Offizier, — вежливо отвечает солдат. — Darf ich Ihre Papiere sehen?..¹

Показываю диск GFP. Солдат отдает честь.

— Die Weichsel muss ich überqueren?

— Die Polen haben die Brücke gesprengt. Aber gleich daneben ist unsere Pontonbrücke, eine provisorische Brücke. Die Straße entlang

1. Добрый вечер. — Добрый вечер, господин офицер... Позвольте взглянуть на ваши документы?.. (Нем.)

wie üblich, wie zu dieser gesprengten. Herr Offizier kommen durch. Aber ¹ погода ужасная, не так ли?

Что правда, то правда.

Снег в октябре!

Странный год.

Довольно странный, Herr Offizier. Gute Fahrt.

— Wo kann man hier tanken?

— Auf der Wache bei der Brücke haben sie Benzin, sie geben es Ihnen, wenn Sie es fordern.

— Danke².

Окно задвигаю закручиваю еду едем и мост действительно взорванный передо мной дорожный и железнодорожный покореженные погнутые рельсы в воздухе и в снегу, и надо ниже съехать и понтонный мост рядом караул мерзнет показываю диск, ist Benzin da? Es ist da. Tanken³. Колеблются, а что, если это какая-то провокация? Volltanken, aber sofort!⁴ И не колеблются более. Fertig, Herr Offizier⁵. Можно ехать, ехать, значит, еду.

Что несет Висла? Тонет снег в ее мраке. Еду. Чувствую, как вода несет мост, пустые плавучие опоры в черной бездне, а на них настил, а по настилу я мы еду едешь еду.

И уже? Уже Щуцин. Костел, всегда костел. Синагогу можно сжечь либо не сжечь, а костел есть всегда большой малый деревянный кирпичный издали виден либо нет, но есть.

Костел всегда.

Следующий. Домброва? На Тарнов.

Пуца. Дубы, грабы и вязы старше человека или моложе человека? Мы проникаем подлесок и толстые стволы, и я не знаю: это лес, который вырос до нас, или тот, что вырос после нас?

Дубрава. Тарновская.

С боковой дороги выезжает мотоцикл с коляской, на седле немец в прорезиненном плаще, каска, железная бляха жандарма на шее, надпись Feldgendarmarie желто-зелено светит. Леденцом жезла блестит, как полицейский, он и есть полицейский, ему нужны документы, а у меня волшебный диск GFP, этого хватит, и мы далее по шоссе на Тарнов.

Горы.

Горы перед нами, горы под нами.

Помню, когда я был маленьким, мы поехали в Закопане, и я впервые видел горы и думал тогда, что горы грозят Богу, что они

1. Я должен переправиться через Вислу? — Поляки мост взорвали. Но около него наш понтонный мост, временный мост. Так что по дороге, как обычно, как к тому взорванному. Господин офицер проедет. Однако... (Нем.)

2. ...Господин офицер. Счастливого пути. — Где тут можно заправиться? — На пропускном пункте у моста бензин есть, вам дадут, если вы потребуете. — Спасибо (нем.).

3. ...Бензин есть? Есть. Заправляй! (Нем.)

4. Полный бак, только живо! (Нем.)

5. Готово, господин офицер (нем.).

перечат Богу, что они жалят Бога. Мы поехали на машине к Морскому Оку, у мамы моей был могучий открытый кадиллак и шофер, в равной степени могучий.

Горцы глядели на нас исподлобья, у них были угрюмые лица дикарей.

— Я поеду, спи, — говорит Дзидзя с заднего дивана.

— Но я же принял изофан.

— Я тоже. Иди спать, иначе заснешь за баранкой, и будет авария.

А и ладно. Снежит, я встаю на обочине дороги, и я уже в курсе, что мы миновали Тарнов, проехали через Рынок, теперь я помню, ратуша на Рынке, армейские грузовики и машины и много военных, мы проезжали встревоженные, проехали.

Вышел. К рулю идет Дзидзя. Дзидзя, а секунду назад я был уверен, что это Ига, что это может быть Ига, с тем же успехом, как и Дзидзя, как Саломея, Гелена, все прокляты.

— Спи, — говорит она. — Разбужу тебя на словацкой границе.

Дзидзя трогается. Я закрываю глаза.

— Где Юрчик? — кричу.

Но я рот открываю беззвучно, слова не звучат, я немею во сне.

Юрчик стоит на краю дороги. Такой маленький, в коротких штанишках и чулочках шерстяных до колен, в пальтишке и шапочке с козырьком, такой как бы студенческой, только на маленького мальчика. Юрчик смотрит на тонущие в снежном хаосе задние фары шевроле. Юрчик один. В октябрьском снегу. Юрчик плачет. Юрчик пойдет по снегу, а потом споткнется, ему всего три года, четыре года, сколько лет Юрчику?

А то встретит плохих людей, поскольку других людей нет, встретит плохих людей, и они заберут его к себе, и будет жить жизнью найденыша.

Юрчик с Гелей в Варшаве, в квартире старого Пешковского на Подвале, сидит на коленях у дедуни, дедуня цедит ему в ухо свой яд, каплю за каплей, как слюну, в ухо моего Юрчика вцеживается яд Пешковского: ты земля святая предков, край достоинств и деяний, так в тебя впиталась крепко кровь сыновняя закланий. И недаром в твои зори, ты ж! отцов моих дорога! мы тебе молитвой вторим, ведь всего ты ближе Богу.

— Где живешь?

— Меж кровных братьев, — говорит Юрчик под действием яда.

— В их земле?

— В ее объятьях.

— Что за край?

— Отчизна нам.

— Что цена ей?

— Кровь и шрам.

— Кто ты ей?

— Она мне мать!

— Что ей должен?

— Жизнь отдать!

Жизнь отдать. Пешковский хочет отдать жизнь моего Юрчика и свою он тоже с радостью бы отдал и мою, и даже Гелину жизнь, почему нет.

Уж лучше в снегу, чем на коленях у Пешковского.

С рыночной площади в Тарнове выезжает грузовик Opel Blitz, в кузове сидят Panzerschützen, вторая Panzer-Division, второй стрелковый полк. Грузовик идет на юг, идя по стопам нашего шевроле, идет на Грабов по шоссе номер двенадцать, в Тухове въезжает в долину реки Бялой и идет, минуя Тухов, и Загороды, и Туховскую Дубраву, но места эти для Panzerschützen безымянны, они просто следуют по южной Польше, по бывшей южной Польше, по чему-то, что не имеет еще облика и названия, это уже не Польша, но и не что-либо еще, это оккупированная территория, так что едут, и в свете фар “Блитца” блицы на снегу, на обочине стоит мальчик: короткие штанишки, чулки шерстяные, голые коленки, курточка, пуговицы в два ряда, одежда ребенка из зажиточной семьи горожан, грузовик тормозит, мальчик взят в кузов, его расспрашивают по-немецки, он не отвечает, но Хубе, ефрейтер, родом из Крайны, из Злотова, с детства помнит польско-кашубский говор, отец порой говорил так с бабкой, он спрашивает мальчика по-польски, как зовут, кто родители.

— Родители умерли, — говорит Юрчик. — Меня зовут Ежи Виллеман.

И с этой фразой, с его глазищами и немецкой фамилией, он делается сыном полка, получает малый немецкий мундирчик, сшитый по его мерке полковым портным, а после, когда маленький Георг Виллеман вырастет из этого мундирчика с розовой опушкой погон, и следующий.

Нет. Он сидит на коленях у Пешковского. Твой папуля мертв. Папуля твой ушел. Нет его более среди нас, поляков. Геля смотрит.

И, может, не допускает этого. Может, Пешковский не смеет ничего сказать, видя ее взгляд, он, может, и не лишен деликатности отца почти вдовой дочери, лишен или нет?

Я сплю, рулит женщина, а моя голова лежит на коленях у Яцека. Яцек гладит меня по волосам.

— Я всегда был твоим другом, — шепчет он, повторяя как мантру. — Всегда.

— Помнишь, Костичек, как мы познакомились, помнишь? Помнишь ту усадьбу, там мы встретили Игу, и она сперва была твоей первой, а потом я забрал ее себе, когда ты уже расхотел ее, а потом ты вновь взял ее, когда нашел на тебя такой каприз, помнишь?

Это не так, Яцек мой дорогой, не так ведь, хочу я закричать, но я онемел, мой рот открывается и закрывается, как у рыбы, я нем на твоих коленях.

Помнишь, как я познакомил тебя с Саломеей? Еще до того, как она стала моей любовницей. Я свел тебя с ней. Ты не захотел. Отчего не захотел Саломей, не понравилась тебе Саломея, отчего?

Рука Яцека с волос моих перемещается к шее и сжимает кадык, мы цапаемся, и все сразу успокаивается, Яцек глядит в свое окно, я гляжу в свое окно.

— Спи, отдохдай, потом тебе придется вновь вести, я разбужу тебя на словацкой границе, — говорит Саломея.

Саломея?

— Отчего ты меня не захотел? — плачет.

Руль сжат ладонями в нитяных перчатках.

— Отчего ты с самого начала относился ко мне как к курве?

Да, я относился к ней с самого начала как к красивой, страстной, сногшибательной курве.

— Что я тебе сделала, Костичек, отчего? Могла не быть курвой, для тебя могла бы.

Саломея. С Игой. Возвращаются из Кобрин в Варшаву. Алеют полосы на их телах белых, на ляжках, ягодицах и плечах.

Я сплю. Нету меня. Юрчик?

Нету. На коленях. В снегу. Пешковский.

Яцек? В меланхолии. У меня под головой. Где вы?

— Константин?.. — спрашивает Дзидзя.

— Да?

— Ты кричишь во сне.

— Мне вовсе не спится, — отвечаю.

Не снится. Не спится. Я кричу наяву хлопьям снега, разгоняемых кузовом машины хлопьям, тающим на брезентовой крыше и текущим по стеклам, текущим вниз и назад.

Я кричу теням деревьев. Я кричу теням домов и холмов, ритму выбоин и мостков, урчанию мотора, ноющей спине и онемелым ягодицам и ляжкам, всему, что составляет и определяет меня и сейчас является мной. Кричу. Да.

— Спи, Константин. Прикройся моей шубой.

Нет пути, есть карта. Линия железной дороги, Богонёвицы, Ценжковицы, река Бяла. Юг. Холмы, за окном холмы почти не видны, вернее, невидимы. Едем. На пикник. Дальше.

Стыд. Огромный, удушающий, парализующий стыд.

За всё. Юрчик в снегу на коленях у Пешковского. Геля. Это ее вина, это ее вина, это ее огромная очень вина. Всё.

Ценжковицы, Зборовицы, снег и октябрь и ночь и мотор и я не умею спать, не та ситуация, не так-то просто, оттого то и дело встаю, тянусь к карте, подсвечиваю ручным фонариком, Ценжковицы, Зборовицы, снег. А потом уже не встаю и не подсвечиваю.

Дорогой стыда, дорогой позора!

Глава XII

Мрак рассеялся, его сменил розово-серый дневной свет из-под век, еще закрытых.

— Мы под Бардеёвом, — сказала Дзидзя.

Нет! А граница?

— А граница, — сказал я, не поднимая головы, не открывая глаз. Мотор рычал, машину бережно потряхивало; мы ехали. По левой стороне дороги.

— Они не должны были перейти на правостороннее? Я слышал, весной поменяли.

— Это в Протекторате. Тут независимая страна, они, говорят, в процессе, но пока что ездят слева. В Венгрии то же самое, — пояснила она.

— Странно.

— У нас в Кракове тоже так было. Мой папа до сих пор не приспособился и не хочет водить машину, когда он в Польше.

— Но как ты пересекла границу?..

— Было двое словаков. Дала сто долларов, они посмотрели на тебя, сказала, дескать, Herr Kapitän komplett betrunken ist und morgen in Budapest sein muss¹, они отдали честь, пожелали приятного путешествия, напомнили, что ехать надо слева, и мы поехали.

— Не может быть, — сказал я, садясь.

— Думай больше как немец, Константин.

— Я не знаю, как думают немцы.

Светало, светлело, светило дня вставало, освещая вербигерацию мозга абоминацию эскалацию. Справа лесистые вершины, горы, не слишком большие, но горы, слева голые макушки, поросшие травой, над ними солнце. Вставало, светлело.

Мазанки из глины и хвороста. Дорога туда-сюда. Мы едем, я прячусь обратно под шубу, но нет, вряд ли, нет, не знаю, как много проходит времени, минута или полчаса, и я сажусь на заднем диване, стираю с лица сон. Светает, но хмуро и серо, снег уже перестал.

А затем Бардеёв. Много костелов, я насчитал шесть, а затем еще один, две башни за городом, на холме.

У меня это странное ощущение, что мы не дома.

— Мы не у себя дома, — говорю я.

— В этом мундире ты везде у себя. Думай как немец, Костичек. Heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt².

Мы не у себя дома, у меня это странное чувство, странно даже, что оно у меня есть, с учетом ситуации, а есть, точно так же и точно такое, какое было у меня, когда мы ездили за границу перед войной, даже близко, хотя бы на побережье в Сопот.

Проезжаем Рынок, Старый город. Нищета аж вопиет, поэтому столько реликтовых зданий, никто здесь за триста лет ничего нового не построил. Еще пусто, солнце восходит. Молочник, пекарь открыты.

1. Господин капитан пьян в стельку, а завтра должен быть в Будапеште (нем.).

2. Сегодня мы владеем Германией, а завтра весь мир наш (нем.).

— Может, купим хлеба свежего?.. — спрашиваю. — Ничего не ели.

— Не надо есть, — отвечает Дзидзя, как бы отметая некую явную очевидность.

Итак, выезжаем из Бардеёва на юг, в Прешов, так карта говорит. С Бардиюва на Прешув, так карта наша говорит, в скобках.

— Однажды я влюбилась в одного венгра, но он меня не хотел, у него была жена, — начала Дзидзя.

Дорога была прямой, сухой и под гору, и Дзидзя говорила и одновременно все больше и больше открывала воздушную заслонку.

— Он был писатель, родом из Кашпи, а жил в Будапеште. Любил меня, я нравилась ему, но он отверг меня после краткого флирта, отверг самым чутким образом; ненавидела его за это до мозга костей, за то, что вел себя как джентльмен, абсолютный джентльмен.

Мы летели.

— Я предложила ему себя, подала ему себя на подносе, без всяческих обязательств, я просто хотела быть его, хоть на одну ночь, а он отказал, хотя желал меня, это даже сквозь брюки просвечивало, жаждал меня сверх меры и сам в конце концов признал это, а отверг меня не из-за жены, хотя жену он любил, но был не всегда ей верен; он отверг меня из-за уважения, которое ко мне испытывал. Сказал, что я не из тех женщин, из каких делают любовниц. Никто никогда не ранил меня больше. И никто никогда не был по отношению ко мне более благородным.

— Зачем ты мне об этом рассказываешь? — спросил я, перелезая на переднее сиденье, изгибаясь при этом малость непристойно и уж точно не адекватно серьезному настрою, внезапно воцарившемуся после слов Дзидзи. Но я боялся ее ускорения, я надеялся, что на переднем сиденье как-нибудь смогу сдержать ее, притормозить.

— Не знаю. Мы разговаривали по-немецки. Он говорил по-немецки как венец, как ты. Встретились всего несколько раз. В трактире, в кафе. Танцевали. Иногда я просила его говорить по-венгерски, и он говорил. Обожала его, когда он говорил по-венгерски. Он был влюблен в меня, желал меня, и все-таки не захотел, когда я ему себя предложила.

— Я не хочу это слушать. Зачем ты мне об этом рассказываешь? — запротестовал я, на этот раз резче.

— Не знаю. Люблю Будапешт.

— Почему?

— Как это: почему?

Дурацкий вопрос, что за общение, как пансионерка какая-то, “почему да почему”, словно бы я не способен к нормальному общению, только “почему, почему”.

Будапешт был мне безразличен, как и всякий другой город, Катовицы или Варшава. Как вообще можно любить города? Дома, улицы и мосты, что тут любить?

— А город на любовь отвечает какой-либо взаимностью?

— Нет, никогда, — серьезно ответила Дзидзя.

— Может, поменяемся?

— Нет, я хочу вести.

Некоторое время мы ехали молча.

— Ты помнишь дело капитана Павликовского? Пару лет назад, — спросила она вдруг.

— Помню. Это был знакомый Яцека.

— Чей?

— Моего друга Яцека, доктора.

Павликовский был капитаном, летчиком. Он застрелил на месте таксиста Стружика, потому как тот, будучи назван негодяем, ответил: “Сам негодяй”. Павликовский счел это оскорблением достоинства и чести мундира польского офицера, вытащил пистолет и на месте застрелил таксиста. Павликовского приговорили к трем годам, он отсидел и вышел.

— Раньше я была такая, как он.

— Ты застрелила таксиста?.. — засмеялся я, дурной, дурной, дурной.

— Не пришлось.

И вновь тишина, километры, тишина.

Смотрю на нее искоса, на ее длинный нос и светлые волосы. Шляпка и коричневый дорогой костюмчик, лацканы пиджака обшиты желтым атласом, ладони на руле, длинный нос. И глаза, впенные в дорогу.

Снега уже нет, дождя тоже, одни печальные облака, зато есть Словакия, странное дело, никто прежде о Словакии не слышал, а теперь есть Словакия, независимая страна, но, конечно, только якобы независимая. Странно, что страны рождаются и умирают, как люди, вот где нынче независимая Украина, а ведь была, была когда-то.

Нищета за Бардеёвым. Горстка словацких хижин, потом цыганский табор, грязные оборванные дети, грязные оборванные люди. Дети худые и голодные, поэтому Дзидзя, само собой, останавливается, откручивает стекло, дети сбегаются, как голодные псы на задний двор к мяснику, едва слышат звук отодвигаемой решетки.

— Словно мы через какую-нибудь Африку едем или Индию, — говорю я.

— Так ведь это индусы, — отвечает Дзидзя.

Дети молча толпятся перед окном Дзидзи в молчании, смуглая кожа, черные глаза и обноски в тусклом свете. Рук не протягивают, смотрят, ждут, Дзидзя тоже приглядывается.

— Это люди, — говорит она. — Верно, Константин?

— Безусловно, — пожимаю я плечами. — Определенно не козы и не цветы.

— Если они люди и мы люди и младенцы это люди и русские это люди и каннибалы какие-нибудь африканские тоже люди, Константин, то что это значит, “люди”?

Говорит, не глядя на меня, говорит, глядя на цыганских детей. Не знаю, глумится ли надо мной, оттого решаю, что я должен проверить, на кого я похож в серой гимнастерке и серой фуражке с черным козырьком. Наклонил зеркальце в солнцезащитном козырьке.

Похож на немца.

— Гитлер сажает их в лагеря. Как евреев, — говорит Дзидзя.

— Евреи, говорят, из Германии выезжают скорее в Палестину, — заметил я. — Или в Америку.

Цыганские дети вдруг вышли из выжидательного оцепенения, по курчавым головам прошла волна и вытолкнула одного ребенка вперед.

Ребенок как ребенок, худой и большеокий, вместо щеки большая сухая рана, от уха до основания носа, от глаза до края челюсти. Будто кто-то ножом вырезал ткань, а кровь слил, слои видны как в анатомическом разрезе: кожа, мышцы, красноватые кости и редкие кривые желтые зубы. А между ними язык живой, и все это тоже живое, пульсирующее, но не кровоточащее, разве что малые мазочки яркой крови, текущей из смятых десен.

— Выталкивают ее, потому что боятся, что мы хотим только смотреть, а денег не дадим, — толкует Дзидзя. — Порой я понимаю Гитлера. Любит животных, а людей не очень.

Она швырнула им пару монет. Цыганята жадно бросились к ним. Я вновь смотрел на себя в зеркало. Лицо чистое, мое. Увечное лицо, покрытое шрамами, отца моего, мое. Лицо израненное, вскрытое, лицо без лица, этого ребенка, мое. Дзидзя поспешала дальше, Хертник, Осиков, Раславицы Словенские, потом Угорские, шоссе в неплохом состоянии, мы ехали быстро, Дзидзя вела крепко, агрессивно.

— Что было с тем ребенком? — спросил я.

— Нома. Болезнь такая.

— Болезнь? Не рана?

— Болезнь.

— От чего?

— От недоедания и грязи.

Дорога вела узкой долиной между холмов, наполовину облесенных, а наполовину покрытых пастбищами. Смотрю на карту.

— Граница близко уже. От Прешова мы в километрах пятнадцати, от силы двадцати. И около сорока до Кошиц.

— Венгр, о котором я говорила, в которого я влюбилась, он был из Кашшы, но уехал после Трианона. Ненавидел чехов, их считал зачинщиками того грабежа, словаков считал народцем простецов, которых нельзя виноватить за их проступки.

— Зачем ты вновь о нем рассказываешь?

— Я просто размышляю, а люди ли чехи. А люди ли эти грязные цыганские дети. А люди ли мы. А люди ли евреи. А люди ли немцы. А есть ли вообще какие-нибудь люди.

Я молчал. Была много мудрее меня и намного старше, что ж я еще мог, стало быть, делать, кроме как молчать? По крайней мере,

скроил мину пресыщения, я всегда так делал, если беседа в компании выходила за мои рамки. Тем самым заслужил репутацию человека необычайно рассудительного и бывалого.

— Я думаю, что вообще людей нет. Придумали себе такой конструктор человечества, и некоторые даже живут так, как если бы он был реален, а он нереален, никто не дорастает до него, люди суть нелюди согласно определению, повсеместно принимаемому за удачное; согласно нему они лишь животные.

— Осторожно!!!

Дзидзя ударила по тормозам, шевроле врылся шинами в асфальт, и мы понеслись вперед, навстречу неминуемо надвигающейся отаре овец. И даже стукнули одну, но уже в конце торможения, не очень сильно, она кувырнулась и встала. Унылый пастух, извиняясь, снял шляпу и принялся спешно гнать своих овец с дороги, чтобы господа могли проехать.

Господа проехали.

— Давай поменяемся, — сказал я. — Ведешь опасно.

Я сказал это как-то иначе. Не знаю, как иначе, но я иначе сказал, я так сказал, что Дзидзя остановила автомобиль и без тени раздражения ждала, пока я обойду вокруг, чтобы она смогла передвинуться по дивану вправо. Эта женская привилегия не пошла ей на пользу, поскольку она порвала чулок о мушку пулемета.

Я сел за баранку. Выспавшийся и невыспавшийся разом, свежий и грязный, трезвый и в одури.

— Что делаем на границе?.. — спросил я. — Не обдумали этого еще.

— Скажи, что я твоя шлюшка, и пусть не портят обедню союзнику. Трофей победы. Маленькая полечка, которую ты везешь с войны, чтобы было что пердолить в Будапеште.

— Они посмотрят на тебя и не поверят, — тотчас ответил я, рассудительно и наивно одновременно, метко и неметко.

Дзидзя оценила, даже не ответ, а то, что я не возмутился вдруг, не начал валять дурака, что мне, наконец, оказывается, пальца в рот не клади, а могла бы.

Я тронулся. Приятно вновь вести машину. Лежать сзади на диване хуже. Хорошее шоссе, хороший двигатель. Я Константин Виллеман, люблю авто и не люблю лошадей. Я надел высокие сапоги со шпорами, шпоры немного мешают при вождении.

Ich bin Baldur von Strachwitz und habe eine Narbe anstelle eines Gesichts¹.

— У меня есть много хороших вещей, — сказала Дзидзя, открывая сумочку. — Разных. Выпей.

Подает баклажку. Выпил. Коньяк. Не люблю коньяк, но люблю алкоголь, так что почти половина содержимого фляжки меня заинтересовала, остальным пренебрег.

1. Я Бальдур фон Штрахвиц, и у меня шрам вместо лица (нем.).

Извиваясь среди раскидистых, не слишком высоких холмов, дорога вела прямо на цепь островков решительно и смело вздыбленной земли. На одном из них белели руины немалого замка.

Такие брали с бою мои рыцарственные предки. Черная кабанья башка на золотом, над шлемом с черно-золотыми наметами два страусовых пера: черное и золотое. Ich bin Strachwitz. Ich bin schlesischer Uradel¹. Прадревняя шляхта. Никакой я не Штрахвиц. Я Константин Виллеман. У меня нет предков рыцарей, мама зачала меня непорочно.

Черная кабанья башка.

Миную холм с замком, на карте именуемый Капушанским, и внешне между гор мы вырываемся в просторные луга и поля, легко волнящиеся, из которых эта горная цепь возникла бы неожиданно, если ехать с юга на север, не так как мы.

Я выпил еще. Дзидзя улеглась под свою шубу на заднем диване. Не нравится мне в Словакии. В Чехословакии мне нравилось больше. Чехословакия была современным центром Европы, а Словакия какая-то балканская жупа.

Перед пышным рестораном бродяга присел отдохнуть у сточной канавы, наблюдает за компанией, которая как раз вываливается из ресторана, красивые дамы, бижутерию и платья, красивые господа, фраки и накидки, авто, лаковая обувь и цилиндры, прошу, простите, не правда ли, пожалуйста, а бродяга смотрит и жует хлеб, он никто, а как смотрит?

Я никто, но он никто иначе, нежели я. Он никто, потому что низко, он клубок рвани, тряпья, смрада, грязи и щетины, а они гладкие выбритые вылизанные вылощенные выполированные блестящие, их гибкие торсы белы белоснежны накрахмалены отпердолены и перламутр пуговиц в золотой оправе, а он никто, потому что низок, выклянченный хлеб он запивает холодной водой из фляжки, заткнутой тряпкой на сломанной палочке, так я, по крайней мере, сушу, ведь я его давно уже проехал, и нет его уже для меня, а они запивали блины с икрой хрустальной водкой.

Никого таксиста Стружика застрелил Павликовский, ибо никто сей оскорбил честь мундира офицера польского, а частным образом офицер не обидел бы мухи, зато таксист, кормилец некоей семьи, отец неких деток, а то и холостяк, отец ублюдков, или импотент даже, или муж некоей жены — за таких людей он лег бы собственной грудью, а тут стрелял в никого, ибо этот никто оскорбил честь, а дорожке нет чести ничего, оттого-то Хофмоэль-Островский устроил ему за эту стрельбу три года тюрьмы, и только, три года не шкода.

А я никто по-другому.

Я не низко; я высоко. У меня есть мундир, и такого никого бродягу или никого таксиста Стружика я мог бы застрелить, назови они меня негодяем. Сейчас я мог бы даже застрелить Павликовско-

1. Я Штрахвиц. Столбовое силезское дворянство (нем.).

го, но им, вероятно, уже занялся кто другой. У меня есть фрак. Не при себе, но в доме из шоколада у меня есть фрак. Не взял, потому что война, дурак берет фрак. Я взял лишь смокинг. Дзидзя сказала мне взять фрак?

Я должен остановиться, спрятать автомат. Оружие на поясе понятно, как символ автономии и агрессии, а вот перфорированный ствол пулемета есть нечто иное, это почти недостойно офицера, и я останавливаюсь, а Дзидзя не шевельнется, заталкиваю пулемет за наши кофры и чемоданы, прячу глубоко, ты не нужен нам, пулемет, временно не нужен.

Коньячок. Уже не обращаю внимания на пейзаж. Не трогает меня пейзаж. Вперед. На границу. В Венгрию.

Коньячок. Граница. Малая. Словацко-венгерская. Это не такая граница, что между собой установили немцы и русские, сойдясь посредине Польши. Нет. Это малая граница, венгерско-словацкая. И у них была их Малая война, счетом не на армии, а на батальоны, на роты, по небу погонялось несколько словацких авий и несколько венгерских фиатов, некоторые упали, в сумме дюжина трупов и подписание трудного мира, раздали несколько медалей и конец, герилья, войнушка, она и сдвинула эту малую границу аккурат сюда, к полосатому столбу, к свежему шлагбауму с прямоугольной эмблемой, будкой, табличкой с надписью Magyar Királyság и парой прекрасных жандармов, на жандармах черные шляпы, султаны и плащи с двумя рядами блестящих пуговиц и усы, а как же, помпоны и сабля одна всего и карабинчики, длинные багинеты на коротких карабинах.

— Jó reggelt. Magyar határellenőrzés. Láthatnám a papírjait, uram?¹ — произнес дурной жандарм, когда я остановился и опустил окно. Видит же: у шевроле польские номера, а внутри сидит немец.

— Guter Mann, sprichst du Deutsch?² — спросил я со всем презрением, какое солдат может питать к глине, даже при карабине и консервном ноже багинета, с сабелькой, помпоном и плюмажем.

Geheime Feldpolizei.

Ты сам глина, Костичек. Ты — Бальдур фон Штрахвиц, когда-то ты был уланом, мог нестись растянутым галопом с тяжелой саблей, а теперь у тебя нет ни хуя, ни лица, у тебя есть мундир Geheime Feldpolizei, которого настоящие солдаты боятся сильнее, чем врага, тебе не требуется никакое оружие, носишь один пистолет, семерку, оружие чиновников, оружие, чье назначение в том, чтобы рук не тянуть.

— Natürlich spreche ich Deutsch. Aber wir sind hier in Ungarn, ich bin ungarischer Gendarm und als ungarischer Gendarm bitte ich Sie um Ihre Papiere³.

1. Добрый день. Венгерский пограничный контроль. Могу видеть ваши документы? (Венг.)

2. Добрый человек, ты говоришь по-немецки? (Нем.)

3. Разумеется, я говорю по-немецки. Но здесь Венгрия, я венгерский жандарм и как венгерский жандарм прошу вас предъявить документы (нем.).

Я даю. Это Венгрия. Конечно. Дзидзя бровью не ведет на заднем диване, она спит, прикрытая мехом. А жандарм меня о ней и не спрашивает. Отдает документы, честь.

— Einen schönen Aufenthalt, Herr Offizier.

— Danke. Auf Wiedersehen¹.

Итак, еду далее. Едем. Отъехали километра два или пять, развилка, правый поворот на Hernádszentistván. Такое название, когда я дочитываю его до конца, то забываю, с какой буквы оно начиналось. Прямо указателя нет.

— Я ни капли не спала, — внезапно говорит за моей спиной голос Дзидзи. — А сейчас я хочу спать.

Я аж вздрогнул, зачем ты вздрогнул? Я вздрогнул на словах врасплох, ниоткуда, вроде “гоп!” из-за угла, жутких. Но менее жутких, чем “спать”. Дамы так не говорят. А Дзидзя способна, Дзидзя может себе такое позволить. Дзидзе не стыдно, Дзидзе ничего не нужно стыдиться, Дзидзя выше стыда.

Тормозишь, торможу метрах в двухстах за развилкой. Довольно тепло, намного теплее, чем у нас. Карпаты остановили холод. Дзидзя вылезла со стороны пассажира, неловко протиснувшись с заднего сиденья, отошла на два шага от машины, большими пальцами залезла под юбку и спустила трусики.

Смотрел ли я? Я не смотрел, но видел, зыркнул украдкой, как вор, немного смотрел. Украдкой.

Спустила трусики до колен, подоткнула высоко юбку, присев, посала, подтерлась чем-то, выуженным из кармана, трусики вверх, юбку вниз и вернулась к авто.

— Вот: атлас Венгрии, уже с новыми границами. Езжай, не останавливайся, пока не припаркуешься перед отелем Gellért, — наставляет, втискиваясь обратно на задний диван.

— Как же я найду этот чертов Gellért?.. — безнадежно спросил я и сразу устыдился, что так спросил, безнадежно тревожно печально отчаянно. В этом весь я.

— Обыкновенно. Езжай, пока не упрешься в Дунай. Затем поедешь по набережной вниз, там будет мост Франца Иосифа. Ferencz József híd по-венгерски. Если сначала будет мост Хорти, значит, ты заехал далеко, разворачивайся. Переедешь через мост и выедешь прямо к отелю Gellért. Тогда разбудишь меня.

И укрылась мехом.

А я, вместо того чтобы обеспокоиться дорогой, снова начал думать об этом ее ссанье. Зачем она это сделала, могла ведь сделать иначе. Но могла сделать и так.

Сначала была Кашша. Уже. Кошицы. Уже не хотел смотреть, не хочу смотреть на Кошицы, не интересны мне Кошицы, я же не турист. Уже Кошицы. Каменицы и костелы.

1. Приятного пребывания, господин офицер. — Благодарю. До свидания (нем.).

Ich bin Baldur von Strachwitz und flüchte gerade aus Warschau¹.

От кого? Для чего? Как это бегу, зачем бегу, что со мной происходит, где моя жизнь?

В полях Фландрии, как раз там, где мой хуй и мое лицо, как раз там, и я даже думаю по-польски, даже не по-вассерпольски, а по-вассерпольски думать мог бы, ведь я выучил этот странный хриплый волапюк от няньки, которая за мной ходила, потому что моя мама вообще не ходила за мной, нянька же говорила по-вассерпольски.

В Кашше не было и следа от Кошиц. Вместо участливо понятного языка чешско-словацкого одно недоступное венгерское бульканье из другой вселенной. Каким чудом эти косоглазые степные дики с таким языком тысячу лет назад стали европейцами?

Косоглазым дикарям удалось раствориться в славянском и валашском субстрате без остатка, как капля вина растворяется в море, степная культура пропала без вести, бросив войлочные юрты, они построили себе замки, а когда монголы вторглись к ним триста лет спустя после Nonfoglalás, эти потомки воинов степи уже не имели понятия, как сражаться с коня легким оружием, они проиграли монголам весьма по-рыцарски и по-европейски, с копьями на тяжелых шайрах, разом со всеми моими дедами, давшими монголам убить себя под Легницей, лишь один не дал, и от него Штрахвицы.

Итак, дики растворились разом со степной культурой сабель и стрел; но зачем уцелел язык, зачем уцелели степные легенды и степная, азиатская музыка среди крестьян, зачем? Зачем что-то происходит именно так? Зачем в Крыму не сохранилось и следа от готов, а мадьяры остались? Зачем в Силезии не сохранилось и следа от кельтов, а мадьяры остались?

— Когда я гляжу на твой светлый цвет лица, волосы белокурые, но рыжеватые все еще, и щетину рыжеватую, и светлую кожу в веснушках, то думаю, что ты кельт, дорогой мой, — говорила моя мать, Белая Орлица. — Ты кельт, хочешь ты того или нет.

Я петлял по улочкам Кашши, такой же центрально-европейский городок, как любой другой, оттого так непохож на азиатскую Варшаву, другой, другие каменицы, другие костелы, Дзидзя спит, а я в итоге нахожу указатель на Мишкольц, на Будапешт.

Лицо отца моего. Едем по шоссе на Мишкольц, и пейзаж несколько не меняется, горы медленно сходят на нет, мы пересекли Карпаты. Барца. Ханиска. Чудные названия.

Пересечь Карпаты, уже нечто. Abaújszina. Черная, мрачная топонимия. Не многие справились, не пересекли Карпат, полегли на заснеженных перевалах, но это было давно, а я справился. И я еду. Hidasnémeti. Еду рядом с тяжелой, запряженной волами телегой на цельных ободах, на возу спит женщина, спутница моя. Forró. На козлах возница, кнехт, человек-никто, о таких не думают, человек без имени. А я сбоку, на малом конике, в седле с высокими луками,

1. Я Бальдур фон Штрахвиц и я как раз бегу из Варшавы (нем.).

на мне расшитый золотом наряд, на голове шапка волчьего меха, у меня длинная светлая борода, светлые усы, волосы заплетены в косицы. Csabád.

Было по-прежнему ясно, когда я добрался до ответственной развилки: влево дорога похуже уходила на Ниредьгазу, то есть в сторону Пушты. Альфёльд.

Остров евразийской степи, архипелагом Трансильвании отделенный от зеленого океана. Когда мадьяры пересекли жуткие горы Семиградья, должны были почувствовать себя как дома. Как дома. Может, потому и остались, несмотря на свои хищные вылазки от Дании до Пиренеев?

Зачем, зачем я об этом думаю, сворачивая вправо, на Мишколец, Мишколец уже близко, километров пятнадцать, клин поля, клин леса, ландшафт без какой-либо экзотики, трава у дороги такая же, деревья такие же, небо такое же пасмурное, а снег не идет, нет октябрьских снежинок. Едем.

Я бы тебе сказала, лишь бы ты дал мне голос, Костичек, мой любимый мой дорогой мой милый мой единственный прекрасный мальчик жизнь моя сердце мое любовь моя.

Лишь бы ты на миг заткнулся, Константин, если ты прервешь ту логорею, которую вызывает в тебе эта маленькая пакостная шлюха, что спит сейчас на заднем сиденье, она отоссалась бесстыдно, отоссалась, чтобы унижить тебя, дуралей, чтобы показать тебе, что ты равно слуга, при котором можно ссать, срать, ебстись с кем-то третьим, ведь у тебя нет глаз, в тебе нет человека, она тебя унизила, дурная шлюха, ненавижу ее, если ты прервешь этот словесный понос, мой милый, то я скажу тебе, отчего.

А я так и так скажу, мой прекрасный мальчик.

Ты думаешь о кельтах славянах аварах колонизации языках изоглоссах этимологиях индоевропейских финно-угорских субстратах не затем, что этим заразила тебя твоя мать, думаешь, поддавшись иллюзии, что постигаешь какой-то смысл и порядок, ты дураковат и не знаешь, что постичь его ты бы не мог, даже будь он там, а его нет, и тем более ты его не постигнешь, даже прогляди ты глаза над этими книгами, мой милый, ничего не найдешь.

Но ты жаждешь этого порядка, милый мой, как мало чего; ведь найдись он, и твое существование равно могло бы иметь тот же смысл, вопреки трещинам и пустоте, которые ты носишь в себе.

Смотрю на тебя сейчас, мой милый: как ведешь ты вальняжное американское авто хорошим шоссе сквозь не тронутую войной Венгрию; в вальняжном немецком мундире. У тебя крепкие ладони и длинные пальцы, милый мой, ими сжат руль твоего авто, носком сапога включены фары дальнего света, разбивают серый сумрак.

Смотрю на тебя и думаю, как легко мог бы кто-нибудь обмануться, даже такой кто-нибудь, кто знал бы все: о твоих водках кристальных шампанских морфине кокаине о женщинах о Саломее Иге Дзидзе о машинах и о конях о польском мундире о гражданской одежде о выскобленном глазе львовского батяра, о сранье в подво-

ротне, о жутких твоих варшавских эскападах тех и довоенных всяческих, о мундире немецком о матери об отце без лица, обо всем, такой, кто знал бы, как легко мог бы обмануться, не зная ничего о тебе, а я знаю, Костичек, я знаю, я все знаю.

Тут и знать-то нечего.

Тебя нет; ты пуст, пуст изнутри, полый человек, ты как взгляд под оболочку статуи, открытые окна глазниц, рта, пустой, полый Костек одет в немецкий мундир, сжимает руль шевроле и только что проехал Мишкольц. А смотрит этот Костек на указатель уровня топлива, хватит ли? Хватит. На спидометр тоже смотришь, но по-другому, и едешь, мой пустой, полый, порожний Костек, ни разу не нашедший в этих доисторических байках ни порядка, ни смысла, ни оправдания, ибо ничто не оправдывается и ничто не имеет смысла.

И едешь дальше, мой милый, едешь. А она спит, хотя приняла свой изофан. Был ли это изофан? Я знаю, знаю, я знаю, но не могу сказать тебе, родной, ведь ты меня больше не слышишь, не слушаешь, не востребуешь, не хочешь, верно, милый мой? Ты не хочешь.

Проезжаешь через Мишкольц, мосты и виадуки, булыжник, кошачьи головы, потом асфальт, вновь асфальт, авто все едут всё время по не той стороне, в городах сложнее.

Смерклось, и вновь бледные, квелые огни деревень, но не наши, они здоровее, бойчее, электрические огни городов, крепкие огни городов, здесь нет войны.

Хорошее шоссе, хорошее покрытие, лучше, чем у нас, за окнами ночь, сельские фонари не такие квелые, как у нас. Езжай себе, во семьдесят, девяносто, до ста даже пару раз разгонись, и вот тогда хорошо, исчезает то, что при дороге, есть лишь ночь, дорога, рев мотора и снопы лучей на асфальте, правая нога на акселераторе, левая на переключателе дальнего света, но движение слабое, его почти нет, на светофоре знак: *Nársány*.

А после внезапно Будапешт, и сразу все иначе.

И даже не внезапно, но иначе: не внезапно, потому что сначала поля, а среди полей предместья, вокзал, вновь предместья, сельские домики, а после чуть более городские, видно не ахти как, лишь то, что в свете придорожных фонарей, то есть не ахти, а после внезапно появляется город.

По правой стороне улицы Пешт, XIV район, ничего о нем не знаю, ни разу не был в Будапеште, с чего бы мне бывать в Будапеште, в Вене да, в Вене само собой, в Берлине в Париже Риме Лондоне, а Будапешт окраина таки, всё с ним в порядке, но таки нет. Не был и все, нет нужды объяснять, хотя вот вырос вдруг справа XIV район Пешта и пригородная железная дорога *H.É.V.*, так пишут на станциях, то есть как наша *EKD, Gödöllő H.É.V.*, а за ней каменицы и так светло, всюду фонари, и горят те фонари, а почему каменицы больше, чем в Варшаве? Больше потому что больше, потому что это столица империи, которой уже нет, но столица по-прежнему имперская, а что же моя Варшава, ничего же моя Варшава, провинци-

альная, жидовская, русская, внезапно объявляется столицей, неведомо с чего, большая потому что? Может, и большая, но Будапешт больше и каменицы выше на ярус или больше, улицы шире и красивее, это Пешт, Пешт, Буда на другой стороне, а тут Пешт.

А и без того все иначе, все не так; потому что ночь, и ночь рабочего дня, потому что со вторника на среду, а светло.

Нет затемнения, нет фонарей, размолотых бомбами, а есть гладкие мостовые, на мостовых машины, машины и трамваи другие, не как наши, и автобусы другие. Навыкاته буркала, и жгут они меня этими буркалами, а меж буркал, там, где должна быть решетка радиатора, там на округлом капоте пучок блестящих хромированных стержней расходится лирой или тесно утянутым снопом. И трамваи набиты. Людьми. И такси, а в такси смеются дамы, обычные и профессионалки, которые сами дают таксисту адрес, я полагаю — на венгерском. Из винной лавки навеселе вываливаются под латерны, ведь зимы еще нет, до зимы есть еще время, и до Адвента, еще октябрь, хороший для вина месяц, лучший месяц, чтобы пить вино, а я еду, небыстро, разглядываю таблички с названиями улиц, а на что, для чего?

А у нас в Варшаве чернь и мрак, если так ночью выйти, и если идешь, то либо патруль немецкий, либо тать жидовский, если не польский тать или еще какой, и ничего уже нет, ни ночных трамваев, ни погребков, из которых навеселе вываливались бы люди, а коли уже открыли какие, то из них выскальзывают украдкой, а не вываливаются навеселе, как вываливались мы с Яцеком, с дорогим Яцеком вываливались мы отовсюду, откуда только можно было вывалиться в Варшаве, но уже не вываливаемся, я стал сначала одним солдатом, а после другим, а Яцек застрелен в Варшаве и в сухом, лишенном всего отчаянии, Иге его из этого отчаяния не вырвать, не сумеешь, не смочь, значит, наверняка лежит вновь Яцек, лежит в постели, глядя в черный потолок, а днем сидит, сидит вновь Яцек, глядя в белое окно, на улицу глядя, а там не то, что он хотел бы видеть, и даже когда превозможет наконец, умоется, побреется, оденется и пойдет в госпиталь, то что ж, ничего ж, ничего ж, поглядит на всех тех, кому хотел бы, кому должен помочь, и не поможет, и что ж потом?

Еще глоток коньяка. Kerepesi út, то есть, догадываюсь я, улица имени Kerepesi, что бы это ни значило, справа венгерская ЕKD и каменицы, слева какие-то поля, для скачек что ли, затем вновь ЕKD, но перпендикулярно дороге, ведет меня к Baross tér, невеликой площади, а на площади оной огромный вокзал, Keleti pu., больше, чем Варшавский, я еду дальше, как мне кажется — вниз, вниз, по улице Ракоци, как я умело перетолмачил Rákóczi út.

Город, настоящий живой город, столица империи. Повозки. Такси. Свет. Неоновые вывески. Улица Ракоци широка, красива. Трамваи. Blaha Lujza tér, на ней здание большое, величавое, Nemzeti Színház, похоже на театр и перед варшавским то преимущество имеет, что не сгорело. Движение, конечно, левостороннее, привыкнуть сложно, на шоссе проще, в большом городе трудно, поэтому осторожен. Огни, фонари, неон.

Жизнь, которую у меня отняли. Я позволил ее отнять. Позволил. Мне нравилась эта жизнь. Желаю им, чтобы и этот город заклеен был крест-накрест и выжжен дотла, ибо не мой он, мой же город сожжен и изнасилован, его мостовые взорваны, а фонари не светят.

На мосту, который мост Елизаветы, мне хочется разбудить Дзидзю, пусть смотрит: вот сотни латерн отражаются в Дунае, баржи и буксиры пришвартованы у набережной, и никакой, никакой войны, словно война здесь никогда не гостила и словно никогда уже не соберется. Однако не бужу, она же знает Будапешт, видела это тысячу раз, это только я не знаю, я не видел.

За мостом поворот очень крутой, не ожидал, аж шины взвизгнули, но я сворачиваю налево и еду по набережной, у подножья холма, о котором догадываюсь по реющим надо мной огням, и еду, а по другую сторону реки тоже едут, снопы лучей от фар, светящиеся окна кафе и ресторанов. А на моей стороне реки бани, наверное турецкие, судя по куполу, турецкие бани. Rudas fürdő.

Как я изжаждался по городу, по живому городу, лишь бы не ютиться в мясе труп, каким стала Варшава.

— Это здесь, — говорит Дзидзя.

Я вздрагиваю, она меня напугала, я забыл о ней. Зеркало.

— Что? — спрашиваю.

— Это здесь. Отель Геллерт. Паркуйся.

— Очень светло тут везде, верно? — спрашиваю.

Дзидзя пожимает плечами.

А отель ярко освещен, как и всё здесь, высокий цоколь и четыре этажа, декор не то исторический, не то растительный, вьющийся над входом в купол, ни дать ни взять острия пронзающих землю ростков, в целом, стало быть, фаллический вполне.

Я выхожу, хочу открыть дверь Дзидзе, но подбегает бой и открывает ее, так что я подаю Дзидзе ее шубу, а затем накидываю на плечи свою шинель, не перестегивая наружу ремня с гимнастерки.

Пару мгновений разглядываю багаж, но вспоминаю настоящую жизнь и знаю: сами позаботятся о багаже.

Швейцар в цилиндре открывает нам дверь, внутри мрамор и золото, как легко от этого отвыкнуть, но вспоминаю: вот твой антураж, Константин, не грязь, не холодная вода и не заклеенные крестами окна.

Я слегка пьян и слегка неустойчив и вдобавок слегка несвеж, но у портье сотня лет опыта, и он глядит на меня совершенно вежливым взглядом, в совершенстве не замечая того, что не положено замечать.

— Guten Abend. Haben Sie freie Zimmer? Von Horn mein Name; das ist meine Ehefrau¹.

1. Добрый вечер. У вас есть свободные номера? Меня зовут фон Хорн; это моя супруга (нем.).

Он меряет меня взглядом, в котором читается ясный, кроткий упрек: кто приезжает в отель без брони? Это длится секунду, эта секунда ожидания есть кара, надо понимать, кара для меня за то, что я не проследил, чтобы вещи делались, как должны делаться.

— Aber natürlich¹, — отвечает в итоге. Никакого листания гроссбухов, никаких сверок, никаких звонков. В конце концов, у меня мундир, немецкий офицерский мундир, значит, у меня есть деньги, наверняка у меня есть деньги, безопаснее предположить, что у меня есть деньги, тем более что я с женщиной.

Подчеркиваю, что желаю апартаменты с двумя отдельными спальнями; разумеется. Подавать ужин? Я голоден, голоден чертовски, голодом, подогретым алкоголем натошак к тому же, однако Дзидзя протестует.

Значит, поедим в городе, раз она так сказала, то поедим в городе, мальчик принесет багаж, конечно, я тревожусь немного за пулемет в багажнике. Идем, значит, в номер, в апартаменты, нас провожает человечек в ливрее, лучшие апартаменты, третий этаж, я даю человечку доллар, окна апартаментов выходят на Дунай и мост Франца Иосифа.

Дверь за нами замыкается бесшумно, внутри дюжая безвкусная мебель, огромные окна, тяжкие шторы, пушистые ковры и высокие потолки и двери спален и электрическая люстра с множеством хрустальных слезок, и ни на одной нет и тени пыли. Вот это отель.

Дзидзя бросилась на диван, не раздеваясь и в обуви. Кто-то постучал в номер, я открыл — мальчик принес наши кофры и сумки. Я дал ему доллар, он мило поблагодарил по-немецки и исчез.

— Освежусь, переоденусь, и мы можем выйти, — сказал я несмело.

— Иди, иди... — Дзидзя махнула рукой.

Так что я пошел. Позвонил консьержу, распорядился, чтобы кто-то отгладил мой смокинг и рубашку, заодно вычистил обувь, лакей прибежал за вещами через три минуты, а я в ванную и в ванне заснул.

— Ну же, давай, вылезь, побрейся и оденься, хочу выйти еще сегодня, а уже десять, — сказала Дзидзя, а я думал, что это сон, но я не спал. Она была у меня в ванной в одном исподнем, я встал в воде, прикрыв пах. Она засмеялась и ушла. Я вылез из ванны. Голова у меня болела; заглянув в шкаф за зеркалом, я нашел там неизбежный аспирин, проглотил пару и запил водой из-под крана.

Душ, холодный, чтобы проснуться, теплый, чтобы согреться. Бритье, милостивый Боже, в теплой ванной, в теплой воде, в ярком свете, все как надо, горячая вода, масло, пена, медленно по росту, еще раз пена, против роста, холодная вода, бальзам. Одежда, уже готовая, на постели в моей спальне, итак, свежее белье, белая рубашка с жесткой манишкой, жемчужные пуговички бижу, смокинг. Повязать бабочку. Одеколон. Зеркало: да, это я. Вот он я.

1. Ну конечно (нем.).

Выхожу в гостиную. Дзидзя уже ждет, элегантна, скромна, прекрасна и уродлива одновременно, без возраста, сколько ей лет, двадцать пять или сорок два? В платье ниже колен очень темного бургундского. Нет войны, никакой войны, какой войны.

— А ты в этом хорош, Константин, — с одобрением говорит она, глядя на меня. — Как будто уже родился одетым.

Выходим. Я не беру пальто, плащ, что я упаковал с собой, не подходит к смокингу, так что прошу портье вызвать такси и спрашиваю у Дзидзи адрес, а после неумело пробую повторить его таксисту, таксист смиренно соглашается, и мы едем недолго, вокруг холма Геллерта, к замку будайскому на будайском холме мы едем, видим его хорошо, потому что и он подсвечен, войны нет, вовсе никакой войны нет, мне уже обменяли в отеле несколько долларов, так что я плачу в peng^g, высаживаемся.

— Это здесь, — говорит Дзидзя.

Маленькая вывеска, *Vorogó*, зеленая дверь. Внутри интерьер не для смокинга, тем не менее такой, в каком смокинг не удивляет. Я могу быть в смокинге, хотя рядом сидят рабочие, ясновласые усахи, опорожняют очередной стакан белого, без слова, молча. Рядом сидят несколько прилично одетых интеллектуалов, некоторые выглядят как евреи, так что, может, и евреи, тоже пьют, едят свой паштет, далее рабочие или возчики, в этом роде, а еще дальше двое мужчин во фраках подкрепляются тонко нарезанным салом и попивают прозрачный напиток из маленьких стопок, не знаю венгерских обычаев, а впрочем знаю, что делают, сам часто так делал, в месте попроще харчуются весело, чтобы после податься куда похрустальнее, позеркальнее, к злаченым порогам, ведь так лучше, полезнее, веселее.

Садимся за длинный тяжелый стол, за стол из толстого дуба.

Я очень устал, теперь осознаю это. Не спал, грыз странные таблетки, пил коньячок, почти целую фляжечку, как оказалось, а еще и очень голоден, и внезапно кружится у меня голова, но Дзидзя уже заказывает учтивому официанту с навощенными усами и волосами вощенными и в фартуке, Дзидзя заказывает: паштет из печенок, сало с паприкой и солью, хлеб со смальцем и красное вино. Никто не обращает на нас особого внимания, замечено было, что вошли, что сели, что заказали и все, более ничего, а чего ж более, и все-таки дивно, и изобилие дивное и лепое; итак, наливают, накладывают и приносят.

Такая лепая россыпь толстых ломтей хлеба с салом, покрытого кольцами лука и напудренного паприкой. Такой лепый кусок сала на тарелке с острым ножом, два ломтика срезаны для поднятия духа, сало тонкое, и в желтой белизне жира едва маячит тоненький розовый слой, что за лепое сало!

У серо-коричневого паштета запах печенки и петрушки, к нему хлеб белый, ломти, и вино в бокалах.

— Здесь разливают децилитрами. У нас по одному, но одним не кончится, верно, Константин?

Не кончится, но вино позже; сейчас поесть, как же я голоден! Размазываю паштет по хлебу, откусываю и как же хорошо, ливер, алкоголь чувствуется, заправлен добрым чем-то, ореховой, он и сам ореховый, и закушу и выпью и пласт сала и хлеб со смальцем.

И Дзидзя не отстает от меня, игнорируя совет поэта Байрона, мол, женщина не должна есть вообще, разве что креветки и бокал шампанского; нет, Дзидзя ест за двоих, и, когда луковое кольцо, надкушенное, но не перекушенное, подпрыгивая, осыпает красной пудрой нос и губы, чихнув в мгновенно извлеченный носовой платок, смеется, ест далее, стирает паштет с уголков рта, и мы заказываем очередное красное, не колеблясь, мы не оцениваем букета, мы просто пьем деци за деци, зажевывая, потом курим, потягивая, сыты, полны, счастливы, общительность притуплена, заказываем очередные деци, пьем и еще капельку, ломоть уже не лезет, так что по кусочку хлеба, мажем паштетом и далее, еще деци, на здоровье, *prost!* *Egészségedre* — учит меня Дзидзя, кельнер слышит, смеется, поправляет произношение, и уже учим вместе “на здоровье” венгерское. *Egészségedre*.

А потом в будапештский кабачок вваливается пьяная Варшава. Двое офицеров, аж не верится. Пьяные. Садятся. Пьют. У них есть деньги, пьют на широкую ногу. Мундиры. А мы шокированы, потрясены, как?..

Официант ловит наши взгляды. На миг задается вопросом, с кем имеет дело.

— *Wir sind aus Wien*, — объясняет Дзидзя с адекватным акцентом. — *Wir hassen den Hitler. Wo kommen hier diese armen Polen her?*¹

Официант кивает, он согласен на венцев, ненавидящих Гитлера, почему бы и нет.

*Die Polen gibt es hier überall sehr viele. Angeblich gibt es in Budapest ein paar tausend polnische Offiziere, vielleicht mehr als zehn, sagen sie. Man kann sie hier überall sehen*², — с этим объяснением уходит, через некоторое время возвращается и приносит нам стакан сливовой палинки, за счет заведения. Как бы в благодарность за то, что не любим Гитлера. Убирая со стола, он бормочет себе под нос, бровями и носом указывая на польских офицеров.

— *Und so seit drei Wochen. Das Vaterland haben sie verloren und amüsieren und erholen sich trotzdem*³.

Польские офицеры не получают палинки за счет заведения. Ох, как хорошо я знаю эту гадливость, херов официант, я знаю таких.

1. Мы венцы... Мы ненавидим Гитлера. Откуда эти несчастные поляки? (*Нем.*)

2. Поляков полно здесь повсюду. В Будапеште предположительно несколько тысяч польских офицеров, возможно, больше десятка, говорят. Их встречаешь повсюду (*искаж. нем.*).

3. И так уже три недели. Они потеряли родину, а развлекаются и гуляют себе несмотря на это (*искаж. нем.*).

Не знаю, чему ты, венгр, кадишь в своих венгерских часовенках, но знаю таких, как ты, я знал вас, знал определенно с избытком. И я сразу начинаю любить этих офицеров сильнее, чем они того заслуживают. Садятся в угол, странным образом менее искушенные в этой харчевне, чем мы, заказывают палинку, получают палинку, заказывают гуляш, получают не то, что ожидали, потому как, вероятно, ожидали серого месива с кусочками мяса и хрящей, какое у нас наименее привередливой клиентуре подают в говенных закусовых. Между тем получили прозрачный острый суп с лакомыми кусками говядины; знаю, ибо сидящий рядом с нами желтоволосый смерд ест такой же, утирая рот и усы тыльной стороной волосатой ладони.

Мы едим и пьем, в основном молча, если обменяемся вполголо-са каким-нибудь замечанием, то будет оно на немецком, не хотим, чтобы в нас признали поляков.

Польский капитан и майор напились очень быстро, капитан пересел к майору на другую сторону стола, к стене, и теперь пьют далее, нежно обнявшись.

Я мог бы быть с ними сейчас. Еще мог бы? В гражданской одежде обнять их, напиться с ними, вместе найти какой-то путь, туда или сюда, во Францию, и там опять в армии, хотя, наверное, уже без лошадей, опять мундиры, приказы на каждый день и особо, рапорты, команды, анкеты и в сумме, быть может, какая-нибудь война, а что на войне? Годы гниения в окопах, с одной стороны немцы, с другой мы, бункеры, пушки и колючая проволока, грязь и рок моего отца, без лица и без елды, а может, что-то новое, быстрая война вроде нашей, метания по пересеченной местности, связь перерезана, никто не знает, где фронт, фронта нет, механизированные и бронетанковые дивизии перемешались, мечась друг за другом, фланги обнажены, засады и отходы, и мы в Берлине или Берлин в нас.

На что это мне, для чего это мне, как выглядел бы я среди этого всего, зачем бы мне это вообще делать?

Я Константин Виллеман, и у женщин люблю, когда попка ладно отклячена, мясиста и упруга, как у венгерской кухарочки, что время от времени выходит из кухни. Не люблю ни армию, ни коней, ни мундиров, ни карабинов, люблю носить пистолет, джентльмену пристало, лучше всего малую плоскую семерку, вроде зауэра моего отца, который я вынул из кобуры и на всякий случай заткнул сзади в брюки, боялся, что сломает линию пиджака, но я чутка похудел, и все пристойно, джентльмену подобает иметь что-либо в брюках.

Пью палинку, теплую в застывшем стакане. Я пьян. Дзидзя улыбается, ест и пьет столько же, сколько и я, столько же, сколько голодный, усталый мужчина, много.

— Я не знаю, кто я, — говорю по-польски и потихоньку, по-польски надо тихо, так что говорю тихо, все еще чувствуя в горле жгучий алкоголь.

Я пьян. Очень пьян. Я центр мироздания, я ось его, винарня, люди, потолок и стол вращаются вокруг меня.

— Мы встречались здесь, в этом bogozó, знаешь? — тоже по-польски шепчет пьяная Дзидзя.

Я не ответил, потому что как бы я мог ответить? Промолчал. А она, пьяная, начала шептать, мне и даже больше себе, она не искала моих глаз, ей было все равно, слушаю ли я, но я слушал, а она шептала, тихо и почти не прерываясь:

— Здесь мы сидели, за этим столом. Пили вино и ели, разговаривали по-немецки или по-французски, а иногда, когда мы были уже пьяны, то говорили друг с другом на своих языках, при этом я по-венгерски не понимала ничего, а он польский немножко, он вырос в Верхней Венгрии и оттого понимал немного по-словацки, а значит, и по-польски немного, отдельные слова. Мы виделись девять раз. Не всегда здесь, здесь несколько, пять, может, а он не боялся встречаться здесь со мной, хотя жил поблизости, на этой улице. Наверняка до сих пор живет. Он звонил мне первого сентября, международный еще работал, выражал солидарность, сочувствие и сожаление по поводу войны. И в то же время я слышала, как дрожал от радости его голос, и не знала почему, и пришла в ярость и швырнула трубку, а он понял, перезвонил снова и извинился, прежде чем я успела извиниться, и объяснить: у него только что родился сын. Первого сентября как раз. Однако же помнил обо мне и о нас, о Польше, позвонил мне. Я поздравила его, я помню его жену, я видела его жену, высокую эфемерную еврейку с породистым длинным лицом и узкими ладонями. Когда я ее увидела, решила, что та никогда не родит ему ребенка, такие у нее узкие бедра. Однако родила. Я сказала ему, пускай не тревожится, мы побьем Гитлера и станем поить коней в Шпрее. Я знала, что мы проиграем, я не дура, но сказала так, чтобы его успокоить.

Вдруг она замолчала. И я понял, что это важно. Важнее, чем Польша, Германия, венгры и евреи вместе взятые. Важнее войны. Важнее, чем наше подполье, окончательная победа или окончательное поражение, важнее, чем мой путь боевой, Крест Храбрых и Железный и немецкий мундир и польский смокинг, которые я ношу. Ровно вот это, Дзидзя и ее венгр, который ее не хотел. Нет ничего важнее, ничего больше.

— Свидишься с ним сейчас? — спросил я так же тихо, как она говорила.

— Нет. На что?

— Идем отсюда.

Дзидзя слегка отсутствующе кивает головой, согласна. Счет, пожалуйста. Польские офицеры вываливаются, заплатили, оставив щедрые чаевые. Щедрость чаевых не радует усатого кельнера, как же так, господа офицеры транжиры, не любят, что ль, отчизну свою? Ты мне не нравишься, усатый официант. И все равно оставляю хорошие чаевые, уходим. Ночь прохладна, но мы идем пешком.

Мы шатаемся, обнимаем друг друга и шатаемся вместе, а Дзидзя останавливается внезапно и начинает плакать.

— Что, милая, что...? — бормочу я.

Она указывает на парк, заросший молодыми деревьями.

— Tabán здесь был, так его называли, такой кварталчик гнусный и очень ладный, домики, кнайпы, бордели, цыгане пели... Еще помню, как была здесь впервые, лет десять назад, такая благовоспитанная паненка, а убежала и пошла посмотреть, цыганка гадала мне и нагадала, что убьют меня когда-нибудь сербы, что буду я несчастна, но у меня будет бурная жизнь, какую и дюжине человек не прожить, дурная цыганка. А они снесли.

Дзидзя плачет, я притискиваю ее еще крепче, знаю ведь, что не из-за этого Табана она плачет, а из-за своей любви, из-за своего венгра, который ее не хотел и которому жена родила сына, хотя бедра у нее были узкими.

Спускаемся к реке, к мосту Елизаветы, идем бульваром среди огней, нормальные люди среди нормальных людей, пьяный мужчина в смокинге с пьяной элегантной женщиной, нет войны, у нас уже тоже нет войны, но по-другому, нежели здесь, здесь нет немцев, один мой немецкий мундир, один Baldur von Strachwitz, я отдал его в чистку, так что, наверное, его сейчас продувают паром, отца моего Бальдура, и скребут, и вешают в моем шкафу, серо-зеленый, хорошо подогнанный к моему телу, с орденами, в шкаф.

Гостиница, лифт, комната. Дзидзя больше не плачет. Я бы поцеловал ее, ее губы ищут моих губ или не ищут моих губ? Но не так; так не хочу, я так не хочу, трезвой она брезгует мной, а пьяной станет моей, так не хочу, поэтому усаживаю ее в кресло и тянусь к буфету, наливаю коньяк в два бокала, на ход ноги, на завершение ночи и дня и ночи, пути, счастливого пути, поскольку я забыл уже про Хохола и про выстрелы, и Дзидзя тоже забыла, словно их и не было, поэтому усаживаю, тянусь к буфету, наливаю, подаю и сам сажусь в кресло напротив.

— Наше здоровье, дорогая попутчица.

Дзидзя глядит в бокал недоумевающим взором, потом вызывающе глядит на меня, не знаю, на что она меня вызывает, потом залпом выпивает весь коньяк и сразу падает на кресло, чтобы тотчас сорваться с него, и, прикрывая рот, бежать в сторону уборной. Я знаю, что это нельзя, но бегу за ней, придерживаю ей волосы, когда ее рвет в унитаз, даю воды в стакане для чистки зубов, она полощет рот, видит в зеркале себя, видит в зеркале меня, отворачивается, внезапно протрезвев или словно протрезвев.

— Выйди, пожалуйста. Но не ложись пока спать.

Итак, выхожу, сажусь в кресло. Не тянусь больше за коньяком, пить нету сил, пить не хочу больше. Дорога, пилюли счастья, все еще не знаю какого, коньячок из баклажки, вино, палинка, вновь коньяк, довольно.

Подхожу к окну. За окном мост, его подсвеченные параболы между пролетами, там где-то сереет заря, под-над Дунаем мгла, и в этой мгле распылены световые шары латерн и цепи лампочек на мосту, тоже распыленные. Фары автомобилей. Трамвай.

— Хочешь меня, Константин?

Оборачиваюсь. Дзидзя стоит в дверях, в белье, в чулках.

— Хочу. Но не так... — отвечаю и сам удивляюсь своим словам, и внезапно боюсь, что ранил ее, но смотрю на нее и вижу, что я не ранил.

Она подходит ко мне, обнимает меня, ее худые руки вокруг моей шеи. Знаю: это не поощрение, она не отдается мне в этом объятье. И в то же время это не сестринский жест, есть в этом объятии какая-то эротика или обещание чего-то эротического.

— Спасибо. Ты потрясающий, — шепчет она мне в ухо и целует в щеку.

И отпускает. И уходит к себе, а я остаюсь, и мир вдруг переворачивается, чувствую, что должен лечь спать немедленно, так что едва успеваю снять пиджак, падаю на постель и не засыпаю, но погружаюсь в безотчетность, словно тону в болоте. Уже не думаю ни о Дзидзе, ни о матери, ни об отце.

Светлый прямоугольник окна, лепной потолок, люстра, все кружит надо мной, пока наконец не плавится в душную тяжелую черноту.

Глава XIII

Меня мутит, у меня головная боль, спазмы желудка, и мне немедленно нужно в туалет, но перспектива стоячего положения кажется мне пугающей, и так лежу в полусне с закрытыми глазами, занят единственно тем, что хочется блевать и что мозг мой лопается. Потом вспоминаю про аспирин в ванной, так что в конце концов встаю, смотрю на часы: одиннадцать. Я спал до одиннадцати. Глотаю этот аспирин, запиваю водой прямо из-под крана и под душ. После душа немного лучше. Бреюсь. Щетка и порошок, надраиваю зубы. Завертываюсь в банный халат и иду в гостиную.

Дзидзя уже здесь, сидит за кофе, белым хлебом и яйцами вкрутую.

— Доброе утро, — говорю несмело и неуверенно: в себе самом, в том, что вчера, не уверен в своей и ее памяти, но когда вижу ее, понимаю: нет, ничего не случилось, я даже не поцеловал ее, это хорошо или плохо, а я знаю?

— Доброе утро, Константин, — отвечает лучезарно, будто она в самом деле рада меня видеть. Может, в самом деле рада меня видеть. — Позавтракай со мной, пожалуйста.

Она в самом деле рада меня видеть. Она сидит в элегантном, слегка старомодном пеньюаре, мажет медом кусок хлеба и улыбается мне. В самом деле? Думаю, в самом деле. В самом деле.

— Доброе утро, Дзидзя.

И до тебя вдруг доходит, Константин. Доходит?

Это конец. Думаю, больше не встретимся, мой милый, до тебя дошло ведь. Вдруг дошло.

Она перекроила тебя, дурак. Она: ее дух и ее сила. В ней все то, чем бы я не хотела, чтобы ты был. Отобрала тебя у меня. Глядя на

нее, ты разглядел человека. Глядя на нее, ты разглядел кого-то выше того, что казалось тебе человеческим. Та, кого не трогают чужие взгляды. Та, что не боится. Та, что любит, ибо любить хочет, вожделеет, ибо вожделеть хочет, а не затем, что хочет быть любимой и вожденной. Как ты.

Ничего не понимаю. Сажусь завтракать.

— Не ешь слишком много, на ланч мы пойдем в Centrál Kávéház. Это как Земянская, только больше и изысканнее, и писатели у них там лучше.

Я усмехнулся себе под нос. Никогда не любил наших писателей. Я нуждался в их славе, в ореоле других художников, но не любил. У них было нечто, чего нет у меня, и не могу даже точно определить что, но ощущаю, точнее, ощущал нехватку этого.

— Главное, что существует, — добавил я.

— Прости?

— Существует. А Земянской больше нет. То есть место есть, я даже был недавно, открыто, но Земянской больше нет, кому туда сейчас ходить и ради чего?

— Это печально, — задумалась Дзидзя.

— Вовсе нет, — быстро ответил я. — Вовсе не печально. Мне не жаль. Была, а теперь нету. И, вероятно, уже не будет. И что с того?

Покивала головой. Кто-то постучал в дверь. Я открыл — коридорный с сообщением. Я взял листок, дал один пенгё, закрыл дверь.

— Штайфер, определенно, — сказала Дзидзя.

— Кто ж еще, — согласился я.

Распечатал письмо, сядя за стол.

“Herr von Horn wird gebeten, am Mittag in die Hoteltherme zu kommen. M. S.”¹

Передал листок Дзидзе. Она прочитала.

— Это поможет тебе от похмелья, — усмехнулась она.

У мира другой оттенок. Я не понимаю, но принимаю.

Я разрезал яйцо пополам, желток еще мягкий, добавил кусочек масла и щепотку соли, съел, и это было очень славное яйцо. Выпил кофе. Дзидзя молчала, лишь улыбалась мне. Я потянулся за газетами: немецкие, французские и английские, но читать неохота, чего тут читать, если и так все ясно.

Еще кофе.

— Ты ему позвонишь? — неожиданно спросил я.

Дзидзя не ответила сразу. Ее не задел вопрос, она просто обдумывала ответ.

— Не знаю, — сказала наконец. — Скорее всего, позвоню. Или пошлю телеграмму.

— Чем займешься, пока я в этих банях буду встречаться со Штайфером? — спросил я с интимностью, которой еще вчера между нами не было.

1. “Господина фон Хорна просят в полдень пожаловать в термы отеля. М. С.” (Нем.)

— Стану смотреть в окно, караулить, не идет ли он мимо, и плакать, — ответила она без иронии. — Ты как-нибудь влюблялся, Константин, так, чтобы по-настоящему?

Влюблялся ли я как-нибудь, чтобы по-настоящему? Удавалось ли мне когда-нибудь в таком раскладе не влюбиться? Было ли это когда-нибудь по-настоящему? Влюбился ли я в Игу? Влюбился ли я в Гелю? Считая тех, в кого я влюблялся каким-то образом невинно и чисто. Влюбился ли я в Саломею? Нет, в Саломею я никогда не влюблялся, лишь желал ее, но желал ее хуем, не сердцем, а это большая разница. Не очень изящно, но именно так.

Влюблялся ли я как-нибудь? Это важно и не важно одновременно. Важно. Именно это есть материя жизни. Из этого жизнь и состоит, из порывов сердца и вибраций чресл. И неважно, ведь жизнь неважна, в целом.

— Да, — отвечаю просто.

Дзидзя кивает: да-да-да, именно так, что я мог сказать. И мы сидим в молчании, а за окном Будапешт, а в номере жизнь, нормальная жизнь, нормальная еда, нормальное отопление, все нормально, и я наслаждаюсь этим и покину это без сожалений, хотя начни я думать об этом, кажется, что должен сожалеть, однако без сожалений.

В итоге Дзидзя взглядывает на часы.

— Ступай.

— Как я его там узнаю?

— Он тебя узнает.

— Одеться или идти в халате?.. — Я нерешителен.

— В халате. Здесь так принято.

Итак, завернувшись в мягкий ворс и взяв сигареты, я выхожу, спускаюсь на лифте и иду к термальным ваннам, а своды в них высокие и чистый модерн, я спрашиваю, сколько стоит, для гостей отеля термы бесплатно, и то ладно. Иду дальше, гардероб.

В раздевалке за стойкой великолепный массажист, гаргантюа с обвисшими глазами бассета и уголками рта, опущенными равно гравитацией и спокойным презрением к таким, как я: чего ты лопочешь мне по-немецки, заграничный идиот, как тебе вообще в голову пришло? Я лопочу по-немецки. Что занесло тебя сюда, фальшивый человек, чего ради ты явился сюда в своем гостиничном халате и с дурацкой рожей самодовольного идиота, а? А я, идиот, улыбаюсь ему улыбкой для продавщиц и что-то мелю о полотенцах и шлафроках, а этот великолепный двухсоткилограммовый человек, лысый и волосатый во всех прочих местах, глядит на меня, полотенце под большим брюхом, мокрая шерсть, веки стянуты вниз щеками, глядит на меня, с жирным терпением равнодушно ждет, когда я буду готов, и подает мне толстую охапку полотенец, говоря нечто очень презрительное. Представляю себе, что он может сказать, я знаю, что он таки прав, чего ради я явился сюда, разве для меня эти термы, или я вообразил, что за свои пенгё могу купить право быть здесь, как я купил право на вход? Могу войти, пусть их входят, но

быть? Как быть — если меня здесь вообще нет. Я знаю, что он прав; я согласен с его нерасположением, я разделяю его отвращение к таким, как я, я бы извинился за то, что пришел, если бы только умел, но я не умею, так что послушно иду далее, следуя указаниям угрюмых и бдительных банщиков, велют раздеться, и я раздеваюсь, догола, я догола, вхожу в бассейн с водой с более низкой температурой, затем в бассейн с более высокой температурой и жду, жду, пока не найдет меня Мариан Штайфер, который должен меня найти.

Итак, вишу в воде с температурой человеческого тела, затем в паровую баню, затем снова 36 градусов, затем снова парная, затем ванна с кипятком, в ней закуриваю сигарету, покуда голова не закружится.

Я больше не жду, пускай приходит когда хочет. Хожу и сижу здесь, голый как все, и думаю о женщинах, о моих женщинах.

Перекроили меня: думаю о них без вины и стыда. Зачем? Не знаю. В конце концов, телесная, чувственная грязь нашей с Саломеей связи не стала чище — остается грязной, как и была. А в то же время вижу себя самого по-другому, сверху, издали, как если бы я завис под стеклянным сводом бани и смотрел на себя, погруженного в эту минерализованную горячую воду, в которой я вишу, точнее, парю, невесомый. Не сижу.

А окружен я голыми старцами в фартучках, прикрывающих промежности, и даже знай я, где берут такие фартуки, не надевал бы, поскольку кажутся они мне чем-то именно старческим, чем-то, чему скрыть должно эти концы, ни для чего, кроме ссання, не годные, концы сморщенные, несуразные, мертвые — обнажив притом нагие старые ягодицы.

И были эти старцы немощны, еле шаркающие, были это старики с белыми телами, с дрожью в руках, памяткой обо всех тех излишествах, каким предавались они в течение жизни. Медленно, осторожно вступали в теплую воду, что за рай, когда вода держит и наконец вздымает их старые тела, уже не желающие выпрямляться, старцы погружены в воду по самые дрожащие челюсти, на зеленой воде круги от их дрожи.

Были там и не столь старые старики, однако уstraшенные предстоящей старостью, молодцевато пружинящие вялую грудь и втягивающие дряблые, несмотря на регулярную гимнастику, брюшка, и когда я смотрел на их тела, то был их братом, хотя они были венграми или кем-то еще, я слышал немецкий язык и все голые здесь были мне братья.

Была там и молодежь, мужчины среднего возраста, мужчины пожилые и, наконец, мужчины без печати возраста на телах, им вполне могло быть как хорошо за тридцать, так и пятьдесят. Итак, были мужчины с красивыми телами воинов, груди вылеплены арками мощных ребер, бывшие спортсмены с гибкими, быстрыми спортивными телами, были юноши с паучьими конечностями и впалой грудью, были толстые, жирные и тучные, были старики, помнящие свою былую красоту, и старцы, счастливые в эгалитарном уродстве старости. И все были спокойны, обнажены, тихи и сосредоточены на себе, на

собственном теле в теплой воде и паре, даже если в компании, все режут в теплой воде торжественными медузами, созерцая пальцы собственных ног.

И было мое тело, стройное, не слишком красивое, так как не слишком спортивное, с нормальным для тридцатилетнего животом, аккурат так, чтобы костюм сидел, без мышц, волосы редки и светлы, пенис ни большой, ни маленький, обычный. Я долго стеснялся своего бесцветного тела, еще долго после Иги, я пробовал работать с отягощениями, чтобы нарастить какие-то бицепсы, ел много, чтобы заматереть, даже хотел заняться спортом, но ничего не менялось, так что в итоге я решил, что и так хорошо, раз не полнею избыточно.

— День добрый, — сказал кто-то за моей спиной, не чинясь.

Я замахал руками и повернулся в воде всем своим обнаженным телом.

Стоит надо мной на краю бассейна невысокий, стройный мужчина лет пятидесяти. Внушительный толстый член в клубке черных лобковых волос. Волосы на голове тоже черные, усы офицерские, волосы на груди, равно обильные, поседели, что перестало бросаться в глаза, когда он нырнул и омочил грудь.

— Конспирация конспирацией, а манеры манерами, — объявил он. — Я Штайфер. Нет, нет, нет, минутку, пусть пан не представляется, сейчас вспомню, знаю пана... — сказал он, вглядываясь в меня.

Я смешался, ответить тем же самым не мог, заметив это, Штайфер засмеялся и тут же объяснил:

— Ах, нет, не лично. Из досье.

— Из досье? — удивился я, чуть вздрогнув.

Что во мне дрогнуло? Может, то же самое, что дрожало, когда поручик Жабиньский говорил: я вас знаю, Виллеман, — и действительно, он знал и мог понять, предсказать все и увидеть меня насквозь, навывлет, на прострел.

Ровно то самое во мне дрогнуло, но насколько ж слабее.

А Штайфер думал. Думал минуту. Почесал подбородок, чисто выбритый.

— Знаю! Виллеман, Константин. Подпоручик запаса, девятый уланский! Я хорошо помню, верно?

— Хорошо... — соглашаюсь, неуверенный, напуганный, нагой. Подаю ему руку, и он жмет ладонь крепко, лихо и неколебимо. Мне не по душе, не по душе, ненавижу лихость.

— Ну, работает-таки память, несмотря на полсотни за плечами. Но пан был особым случаем, мы интересовались паном с того момента, как пан отправился в Грудзёндз. Ведь чисто немецкое происхождение, верно?

Я пожимаю плечами.

— Я поляк.

— О, пан! Пан! Неужто пан увидел во мне фалангиста? У меня фамилия Штайфер.

— А у Мосдорфа фамилия Мосдорф, и что?

— Ну хорошо, хорошо. То, что пан поляк, логично, но неважно. Мы интересуемся паном давно, жаль, что пан не захотел стать кадровым. Тоже способ жизни. Хотя не такой, как выбрал себе пан.

— Полковник Штайфер... — начал было, но он перебивает.

— Ох, да простит меня пан. Важно, что пан оказался тем, кто нужен, там, где нужно, хотя, по видимости, случайно, верно? Не могу вообразить лучшей для пана ситуации.

— Я тоже рад, — отвечаю едко.

— Еще кое-что должен спросить, и сразу перейдем к делу. Отец пана, Бальдур фон Штрахвиц...

— Он в Варшаве, — отвечаю я и, пока произношу это, понимаю, что лгу. Я хотел бы даже объясниться, но Штайфер не позволяет.

— А, так пан знает, что он жив?.. Ведь мать, кажется, скрывала это от пана?

Насколько это ложь, настолько же лживо и мной сказанное, в Варшаве отец мой.

Бальдур фон Штрахвиц в Варшаве. Фельдполицайкомиссар Бальдур фон Штрахвиц в Варшаве. Разве он не в Варшаве?.. Где же Бальдур фон Штрахвиц?

Ты знаешь, Костичек. А я должна молчать, хотя молчать о нем тяжело. Бальдур фон Штрахвиц на полях Фландрии, он там остался и оттуда ему не уйти. Остальное ты знаешь.

Я лгать не должна.

— Я нахожусь здесь как Бальдур фон Штрахвиц. У меня его мундир и документы. Спецы Инженера немного поколдовали, клеили мое фото, подправили особые приметы...

— Приметы... ах, ну да, — вспомнил Штайфер.

— А отец... Ну, я не знаю, что с ним сейчас происходит. Он отдал мне все. Свою личность, мундир, потому что аккурат подошел, оружие, все.

— Пан считает, он...

— Я не знаю.

Штайфер покивал головой.

— Пан Константин, пан для нас манна небесная. С неба. Пойдем-ка в баню, беседе пар на руку.

И мы пошли, сели в белой, раскаленной дымке, сели рядом, подстелив под задницы полотенца.

— Не было, как говорится, счастья, но пан случайно наткнулся на Инженера, а я сбежал от большевиков с этапа на Козельск, и вот сейчас мы сидим в бане в Будапеште. Думал ли я в том вагоне — а это был скотский такой вагон, вообрази, пан — думал ли я в нем, что через неделю буду сидеть в бане в Будапеште? Не думал. А я сижу и пригожусь еще.

Все, чего он ждет, так это поддакивания, знаю.

— Расскажу пану анекдот. Баня хороша для анекдотов. Сбежал я, значит, из этого эшелона, верно?

— Да.

— Чтобы быть точным, я обезвредил охранника. А если еще точнее, то убил. Вбил тому в живот его собственный штык, взял винтовку и убежал.

— Сие есть акт великого мужества. — Мне интересно, примет ли он это за сарказм.

— Скорее рефлекс. Аккурат был шанс. Стало быть, убежал, прокрался, перебрался, голодный, через Горганы, вылез наконец в Кенигсфельде, а там сцапали меня когуты.

— Жандармы, да?

— Жандармы. Ну, те велят мне сдать оружие и хотят меня интернировать, верно. А я им, мол, ни за что, требую, чтобы мне разрешили позвонить. Мы полаялись немного, они говорят, и не без оснований, что несет от меня, как от козла, что войну просрал и ничего не могу требовать. И я им, мол, требую. И так далее. В итоге согласились, звоню.

— Куда же пан звонил?

— Прошу внимания. Я поговорил, передаю трубку жандарму, что меня охраняет, тот в лице меняется немного, но хорошо. Объявляет, что оружие сдавать я не должен и что мы ждем. Ну, я отправляюсь себе спать. В камере, а как же, но открытой. Просыпаюсь утром, мы еще ждем, но недолго. И вообразит пан, как меняются когуты в лице, когда к заставе подъезжает колонна машин и из одной из них выходит сам Барта... — он понизил голос, рассчитывая на мой удивленный возглас.

Я замешкался. Но нет, минутку, какой-то проблеск.

— Барта... Министр...?

Штайфер вздохнул с облегчением.

— Именно так! Карой Барта де Дальнокфалва. И знает пан? Он выходит из машины, встает передо мной и отдает честь мне, такому грязному, козлиному, обтерханному, отдает долго, в молчании. А знает пан, отчего?

— Почтил героизм польского солдата? — спросил я с легкой иронией.

Штайфер благодарно улыбнулся.

— Хорошо! Но нет. Он крепко прогерманский, пан знает?

— Так отчего же?

— Оттого, что мой товарищ по армии! — рассмеялся. — Мы вместе воевали в Альпах. Я был сапером. Спас его раненого под огнем, вынес, далеко вниз. Сразу отвезли меня в Будапешт. Итак, пан разумеет, я пригожусь тут, с такими связями.

Разумею.

— Вот. Тут назначен такой полномочный представитель военного министерства, оно называется точно министерством гонведов. Дембиньский назначен.

— Генерал Дембиньский?

— Нет, капрал Дембиньский из Нижних Лазиск. Конечно же, генерал Дембиньский. А я уж устрою так, чтобы самому стать этим уполномоченным. И все сложится. А как вы добирались? — сменил он внезапно тему.

— На машине.

— О! Идеально. Машину эту вы оставите мне, она мне будет нужна тут. Лагерь для интернированных раскиданы по всей Венгрии, а их придется все объехать. Что за машина?

— Шевроле мастер. Кабриолет, — отвечаю на грани ожесточения, как будто это моя машина. Мою машину, мою олимпиаду у меня уже забрали, такие, как он. А теперь опять забирают. Но это нечто иное. Это то же самое. Только я сам уже иной.

— Отлично. Жаль, что кабриолет, зима близко. Крыша-то уплотненная?

— Уплотненная. Но как мы вернемся?

— Ну, видит пан, дело такое. Сегодня вечером специальный немецкий поезд, прямо на Варшаву. Узнал случайно. Гражданский, потому что военные венгры не пропускают, но в вагонах в основном армия. Раз у пана есть крепкие документы, то проедете легко. А мне машина нужна.

— Понятно, — согласился я.

— Хорошо. Знает пан, давно мы уж тут сидим. А можно было бы сходить поесть.

— Да. Я здесь с, ну... Как бы это... — Я не знал, что сказать.

— Пан с женщиной тут.

— Нет-нет... То есть да, с женщиной, но это не... То есть она помощница Инженера, а не одна из моих... Ну, пан понимает.

— А-а. Понятно. Ее зовут...?

— Так ведь конспирация...

— Упокойся, пан.

— Дзидзя Рохацевич.

— Ах, панна Рохацевич. Ну, и все логично.

Хотел бы взглянуть на него вопросительно, но как сделать это в бане, сидим рядом, друг друга почти не видя, такой туман. Поэтому не смотрю на него вопросительно.

Штайфер встал.

— Ну, пан Виллеман, я, пожалуй, пойду.

— Панна Рохацевич хотела сходить на завтрак в Centrál Kávéház.

— Возможно. Часика через два, — ответил он и ушел.

А я, что мне делать?

Я посидел еще немного, взял холодный душ, еще раз ненадолго окупался в бассейн с горячей водой, чтобы не встречаться со Штайфером в раздевалке, затем завернулся в свой халат и вышел в тамбур.

Пухлый банщик на ломаном немецком предложил массаж, когда я прошел мимо его закутка.

Мне мерзят прикосновения. Женщине я позволяю касаться меня в постели, но не люблю неэротичную нежность, повседневные ласки. Так поступала Гелена, однако я знал, что ей это даже сильнее нужно, чем сексуальная жизнь, потому ей позволял взьерошить мне волосы или погладить меня по шее, проходя мимо, но не любил этого. А если бы меня стал трогать мужчина?... Улечься голым,

одни ягодицы прикрыв полотенцем, а этот гигант с глазами бассейна начнет массировать меня масляными руками? Мерзость.

Я согласился.

Проследовал за жирным гаргантюа, лег на кушетку, которую он указал, завернув в полотенце зад, а массажист намастил ладони и начал массировать спину. В этом не было ничего мерзкого; мало того, это было даже приятно.

Я Константин Виллеман, и неважно, что я люблю, а что нет. Важно, что я есть.

На лифте я поднялся обратно в номер.

Дзидзя сидела у окна, сплетя руки на коленях. Обратилась ко мне, когда я вошел.

— У тебя есть сигареты?

Глаза не были заплаканными, разве что чуть покраснели.

Сходил в комнату, принес пачку, угостил Дзидзю и сам тоже закурил. Крепкие, французские, других не имел.

— Я позвонила. Ответила жена. Я повесила трубку.

Лишь кивнул, что я мог еще сказать?

Мы курили молча, затем потушили сигареты.

— Штайфер хочет нашу машину. Трудно отказать ему. Уверяет, что по всей Венгрии раскиданы лагеря для интернированных, и он их должен объехать. Мы вернемся поездом, сегодня вечером в Варшаву идет специальный немецкий состав, меня должны впустить.

— Я не еду, Константин.

— Прости?..

— Останусь здесь.

— Как это?

— На время, не навсегда. Неделю, может, чуть дольше.

— Но как ты вернешься? У тебя только польские документы.

— Через зеленую границу.

— Зима близко.

— Справлюсь. Знаю горы, хожу на лыжах. Я вернусь, не бойся. Должна вернуться...

Я встал, налил себе холодного кофе.

— Не должна. Можешь остаться здесь или пробраться во Францию или в Лондон.

— Я знаю. Но...

— Да-да, Инженер. Родина. Служба, — съязвил дурно, излишне, тем не менее съязвил.

— Нет. Ты.

Я застыл с чашкой на полпути ко рту.

— Что?

— Хочу тебя... увидеть. Снова. Я должна остаться здесь на чуть-чуть, я думала, что останемся вместе, но выхода нет, ты должен вернуться, а я должна остаться. Я знаю, что война, родина, разведка, конспирация, но...

— Не объясняй, я понимаю. У меня есть жена, Дзидзя, — сказал я тихо, очень тихо.

Пожала плечами.

— А я не ищу мужа.

Я лишь кивнул головой и не знаю сам: кивнул, что понимаю, кивнул, что услышал, или кивнул, что согласен?

— Я договорился о встрече со Штайфером в том твоём кафе. Это далеко?

— Нет. Пойдем пешком, погода прекрасная.

— Пойду оденусь.

— Мне говорили, что ты морфинист.

— Кто?

— Люди.

— Определенно.

— Не определенно. Я знаю морфинистов. Ты не принимал морфий дня четыре как минимум. Морфинист дрожал бы осинкой, выказывая чудеса предприимчивости, лишь бы разжиться хоть крупицей.

Я развел руками. В смысле: не знаю, морфинист ли я. Или, скорее: ну, раз люди так говорят? Или: думай как хочешь, какая разница.

И пошел в свою спальню.

Вывязывая галстук, я смотрел на себя в зеркало.

Я.

Я Константин Виллеман или я являюсь Константином Виллеманом? Я Константин Виллеман значит, что Константин Виллеман полностью исчерпывает мое бытие, а являюсь Константином Виллеманом значит, что это роль, которую играет мое “я”, имеющее равно такие области или аспекты, которые не являются Константином Виллеманом.

Я застегнул жилет, надел пиджак. Еще раз посмотрел на себя в зеркало. Мне пора к парикмахеру, я давно не был у парикмахера. В последний раз я стригся еще в мундире, перед капитуляцией, почти месяц назад. Надо постричься. Схожу здесь, в Будапеште, в настоящую парикмахерскую в настоящем городе, не хочу стричься в Варшаве, в прошлый раз, когда я стригся в Варшаве, она еще жила, она еще сопротивлялась, а в проигранной, изнасилованной Варшаве я не хочу стричься.

Гляжу в зеркало. Я Константин Виллеман, не морфинист. Я Константин Виллеман, моя мать не управляет мной. Я Константин Виллеман, мой отец или дух его, призрак, что нависал над моим детством и юностью, не управляет мной. Я поправляю узел галстука, чутка подтягиваю его вверх, чтобы красиво держался, расправляю складку. Я Константин Виллеман, ни одна женщина мной не управляет. Я Константин Виллеман, не нахожусь ни у кого на службе. Я Константин Виллеман, я не служу Польше, я не служу Германии, я не служу ни Богу, ни дьяволу, я не служу никому. Я Константин Виллеман, я не солдат, я не офицер, я Константин Виллеман. Я не добрый. Я не злой. Я Константин Виллеман.

Я выхожу к Дзидзе, мы выходим из отеля, двадцать пятое октября, но тепло, так что плащ висит на моей левой руке, на мне твидо-

вый костюм, коричневая федора набекрень, правую руку я подал Дзидзе, в кармане у меня пистолет, а в другом деньги, мы выходим из отеля Геллерт и прогулочным шагом проходим по мосту Франца Иосифа, октябрьское солнце светит, а я счастлив и спокоен. Я хотел бы сегодня поужинать на улице, набросив на колени одеяло, потягивать вино и есть жирную утку, глядя на Дунай.

Я счастлив. Я живу.

С моста сворачиваем налево, Veres Pálné utca и гуляем по Пешту, мимо проехал уже второй автомобиль с польскими номерами, проходят люди, разные, богатые и бедные, а магазины и кафе открыты, и мы идем, красиво одеты, рука об руку, а люди смотрят на нас и думают про себя: что ж за породистая, ладная пара, этот стройный, высокий мужчина в коричневой федоре и эта изящная женщина в шляпке, так идут под руку, не как супруги, но как люди, которые друг другу близки.

Доходим до улицы Ираньи, и на углу кафе, в которое мы шли, и мы располагаемся в нем, и внутри просторно и традиционно, совсем не так, как в Земянской, высокие потолки и art nouveau, и блестящий зеркальный бар и галерея с более укромными столиками, и все, что должно быть в кафе, газеты на деревянных вешалках.

Итак, мы располагаемся, прямо у застекленной витрины, улица течет сразу перед нами, а Штайфера еще нет, так что располагаемся и спрашиваем по-немецки: капуцинер, яичницу, хлеб, белое вино, воду, кладем салфетки на колени и едим, попиваем кофе и вино, не говорим ни о чем, нет войны, нет разбитых сердец, нет несбыточной любви, нет убитых людей, нет убитых городов, нет осиротелых детей, нет маленьких цыганят, чьи лица пожраны болезнью, нет моего отца, чье лицо и мужество пожраны войной, нет моей матери, безумной и одинокой, нет людей напуганных, отчаявшихся, нет людей злых и нет тех, что еще хуже, людей добрых.

Есть только мы, Дзидзя и я, женщина и мужчина, мы не спали друг с другом, хотя могли бы друг с другом спать, мы едим яичницу с перцем, луком и ломтиками салами, зажевываем белым хлебом и запиваем кофе, капуцинер оставляет на губах усы молочной пены, мы утираем губы и пьем белый вельтлинер, пока легкий утренний рауш не зашумит в головах, мы улыбаемся друг другу и мы вместе, хотя скоро расстанемся.

Все съедено, поэтому мы закуриваем, заказываем еще вина и сидим друг против друга, и нам хорошо, нам попросту хорошо, я счастлив и спокоен.

Я Константин Виллеман.

А затем входит полковник Штайфер в светлом тренче поверх богатого двубортного костюма и садится к нам за столик, постукивая сигаретой по портсигару, заказывает вино, и мы курим и пьем вместе, обмениваясь лишь краткими замечаниями о погоде, она очень прекрасна, и солнце озаряет наш столик сквозь кристальные окна кафе. Сижу, курю и пью, и лишь через некоторое время понимаю, что Штайфер уже давно твердит:

— ...ибо, как я уже сказал, целое консульство гнет, очевидно, свое, отправляя их во Францию и куда надо и стараясь обеспечить некие условия, чтобы там, но мы не об этом.

— А о чем? — рассеянно спросил я, но Штайфер не слушал, потому как вежливое, но насмешливое замечание Дзидзи принял за искренний интерес, возможно, даже к самому себе, а не к тому лишь, что намеревался поведать.

— Итак, не это мы имеем в виду, конечно, важно то, что делает Эмисарский, и очень хорошо, что он делает, а сейчас в министерстве гонведов Дембиньский, и он тоже старый и. и к. офицер, считается, что в силу той старой истории боевой поладит с гонведами, но я тоже старый и. и к. офицер, он старше, ясно, но я его оттуда без проблем вышибу, ведь то, что я был поручиком, а он майором, это одно, а то, что я с Бартой дружен, совсем другое, и немцам он крепко не по вкусу, а я с Бартой мило устрою, что на место его заступлю, хотя они, тупицы, даже не знают, что я уже в Будапеште, и не ради служить им, ведь они теперь радикально жаждут крови, со всем Сикорским и прочими, так что дадим им гнуть свое, а я стану гнуть свое, им меня и пальцем не тронуть, ибо, конечно, Рыдз такой, какой есть, но другого нет, придется ставить на него. И на немцев.

— Что пан имеет в виду? — спросила Дзидзя. Мне на миг показалось, что вопрос был задан голосом Терезы Лубеньской, вопрос, предполагавший, что в случае ненадлежащего ответа будет произнесено страшное слово “предательство”. Но понял тотчас: Дзидзя таким образом не спрашивала бы.

— Дорогая пани. Это же логично. С ними нужно поладить. Пани думает, французы за нас двинут на Берлин? Никуда не двинут. А в Польше чему-то надо возникнуть, новой формации какой-то. Не может быть великая черная дыра. Тридцать миллионов поляков не превратить же запросто в немцев или даже в граждан Рейха. Не те времена. С этим нужно как-то жить. Какая-то Польша должна быть. Или хотя бы какое-то Княжество Варшавское.

— Сто двадцать лет было ни Польши, ни Княжества, — замечаю скучно.

— Но что однажды возникло, так запросто не исчезнет. Что-то тут приключилось за последние двадцать лет, не кажется ли пану?

— Кажется. Но знаю также, что приключилось за последние два месяца.

— Хорошо. В любом случае это такие стратегические соображения, они важны, но в данном моменте не суть важнейшие. Верно?

Я согласился и снова перестал слушать. Курил. Даже отвернулся к витрине, глядя на улицу, на пешеходов, на машины и на велосипедистов. Штайфер продолжал, но я не слушал. Он меня утомил. Дзидзя пнула меня под столом.

— Ну, словом, тут полный регламент нашей курьерской связи, — говорит Штайфер, протягивая мне кусок мыла для бритья марки Trueffit & Hill, моя, кстати, любимая марка, но это не кажется мне причиной, по которой он вручает мне упомянутое мыло.

— Я написал этот доклад и сфотографировал его на микрофильм.

— Я так понимаю, что Инженер будет знать, что с этим сделать, так? — спрашиваю.

— Пан вообще слушал меня? — вдруг вскипает он.

— Разумеется, полковник.

— Будет знать. Это, как я уже говорил, регламент полной коммуникации. Маршруты курьеров, расписания переходов, контактные пункты и пункты распределения в Кракове, Жилине и на Подгалье, в Новом Тарге, Балигроде и Саноке, радикально независимы от тех маршрутов и курьеров, что в ведении сикорчиков, поскольку независимость эта даже тут для нас важнее надежности, верно?

— Верно, — поддакнул я с большим убеждением, понятия не имея зачем.

— Остается вопрос денег, но, кажется мне, это в ведении Инженера.

— Обязательно, — заверила Штайфера Дзидзя.

— Кроме того, я убежден, что пан, пан Константин, так и так устроит основной трансферт средств, людей и информации между штаб-квартирой в Варшаве и Будапештом, верно? В принципе, все то, что мне тут удалось за эти несколько дней на основе довоенной сети еще, в свете положения пана приобретает, мне кажется, кондицию, скажем, запасного, резервного сообщения, если мы друг друга понимаем.

— Естественно, полковник, — сказал я, снова глядя в окно. Естественно.

— А знает пан, как нас именуют в Париже?

— Как?

— Нетопыри! — он взревел и начал смеяться, очень громко, а я даже не очень знал, кого он имеет в виду под “нами”. Но без разницы. Если хотят, то буду кататься. Будапешт город яркий, свободный, я могу скататься в Будапешт, ведь не рехнусь же я от того, что они называют службой. Я Константин Виллеман, если хотят, то могу кататься, отчего нет.

— Мне понадобятся ключи и все бумаги на машину. Я все равно постараюсь его тут зарегистрировать, чтобы не бросаться в глаза, но без польских бумаг будет сложнее.

— Пани Рохацевич остается в Будапеште, — отвечаю я. — Передаст пану все. У меня в багажнике пулемет, пусть пан делает с ним, что пану угодно, в поезд я его брать, пожалуй, не стану.

Штайферу, однако, не до пулемета моего отца. Он пригладил усы, перегнулся через стол, прикусил на мгновение губу.

— Ох, стало быть пан Константин один возвращается в Варшаву, один... А пани остается здесь, так?.. Одна, радикально одна?.. — сказал наполовину нам, наполовину себе, занятый задумчивым изучением обоев на стене.

Мой взгляд и Дзидзин сошлись над столом, и ее едва заметная мимолетная улыбка, еле тронувшая уголки рта, устроила меня в

качестве успокоения, объяснения, унижения Штайфера, к которому я, впрочем, не питал отвращения, устроила во всех качествах.

И дошло: увидимся в Варшаве, и приключится между нами что-то, характер чего мне пока не известен, но несомненный эротический магнетизм будет иметь значение, не повседневный, однако ж, роман, подобный тем, что я заваживал раньше, ведь я тоже уже иной человек, радикально иной человек. Итак, приключится; а я вернусь к Гелене, которая меня вовсе не любит, но нет в этом ничего плохого, не любить меня, потому как я не дал ей поводов любить меня, я вернусь к Юрчику и, может быть, когда-нибудь сумею стать ему отцом.

А после вернется Дзидзя, и что-то приключится и ничего не приключится, значит, я могу спокойно бросить ее с полковником Штайфером, с его черными, а может, черненными усами, ведь я бросаю его на верное унижение и верную неудачу, я возвращаюсь в Варшаву вождем победоносной битвы, которому не стоит уже ни преследовать врага, ни добивать.

Я кладу мыло для бритвы Trueffit & Hill в карман плаща. Плаща, ведь в пиджаке оно нарушит силуэт костюма. Потому в плащ.

Штайфер посидел еще недолго, смотрел то на Дзидзю, то на меня, не уверенный в ситуации. Как же прекрасен мой триумф.

Ибо, конечно же, он был кем-то несравненно большим, нежели я. Крепче, лучше, мудрее. Частью, но очень малой, оттого, что был он старше, как старый лев превосходит молодого, но только частью, меньше некуда, ибо прежде всего превзошел меня в том, что сделал, достиг: полковник, кадровый офицер настоящей разведки, а некогда еще офицер и. и к., Барта и все остальное, рядом с таким мужчиной кем я был, кто я есть?

Я Константин Виллеман, и это нечто, но по-прежнему маловато, чтобы померяться силами с таким полковником Штайфером.

Я не был никем рядом с ним. С кем-то, кто есть никто, Штайфер не сидел бы ни за столом, ни в бане, я был кем-то, но кем-то меньшим, ибо он полковник Штайфер и может многое, к примеру, требовать мою машину, а я подпоручик запаса Виллеман и могу с этим требованием лишь покорно соглашаться, больше ничего не могу.

Ничего страшного, ничего жуткого, отнюдь не бездна унижения. Ничего ранящего. Почти не случается, сидя с кем-то за столиком, сидеть полностью на равных. Случается меж друзей, и только близких, да и то редко. Так что ничего страшного.

Я Константин Виллеман и только, не более. В иерархии стада я далеко отстою от полковника Мариана Штайфера.

Тем слаще мой малый триумф над ним, здесь и сейчас, за этим столиком, где сидит он и Дзидзя, и я, и он об этом триумфе не знает, мы же знаем, моя малая тайная победа.

Но я вижу, что он чувствует, что-то не в порядке. Нечто неадекватное тому, что, согласно невидимой матрице межличностного бытия, быть должно.

— Засим позволю себе попрощаться, — выкидывает Штайфер белый флаг.

Засим прощаемся. Встали. Мы жмем друг другу руки. Дзидзе, само собой, Штайфер руку целует. До свидания, непременно, до свидания, увидимся еще много раз, не правда ли?

— Ах, само собой: панство мои гости, — очухивается он на прощание, набрасывает тренч на плечи, у стойки закрывает счет и, кланяясь еще раз, уходит.

А мы с Дзидзей улыбаемся друг другу, не нужно слов, не нужно объяснений, ведь все и так ясно.

— Сюда я с ним не приходила, — говорит Дзидзя. — Сюда я приходила на него посмотреть. Иногда он меня даже не замечал. Сидел здесь со своими друзьями, кое-кого я вижу даже, там, за тобой, но не оглядывайся сейчас, кто-нибудь может узнать меня, тогда поймут, что мы говорим о них, после посмотришь. Итак, сидел здесь, сиживал со своими друзьями, они пили, спорили, ругались, и он не запрещал мне приходить сюда и смотреть на него, когда меня замечал, то, бывало, лишь раз поприветствует меня, подняв стакан, и все, никогда не подходил, не заговаривал, обычно я уходила первой, но когда уходили его друзья, то не оставался, а уходил с ними, небрежно кланяясь мне от дверей. Я думала, он будет здесь сегодня. Всегда приходил в это время. Но его нет.

Я заказал еще вина, предложил Дзидзе сигарету, мы закурили.

Я знал, я знал сейчас, я знал сейчас уже, я знал хорошо очень, что не ради того, чтоб вызвать у меня ревность, говорит это, и не ревновал вовсе, не ревновал ни капли, этот ее венгр принадлежал другому миру, миру без меня; я был отдельным миром.

— Пойдем пройдемся, — предложил я.

Потому как чем еще заняться? Шпионский долг был исполнен в момент передачи Штайфером инструкций, запаянных в мыло для бритья. Поезд отправлялся вечером. Я взглянул на часы: четыре пополудни. В самый раз для прогулки, чтобы после поужинать, вернуться в гостиницу и собраться на вокзал.

Мы вышли. Дзидзя вела меня, а я позволял себя вести, итак, по Пешту к базилике Св. Стефана, потом на метро под улицей Андраши до Hitler Adolf tér, то есть площади А. Гитлера, очень, надо сказать, красивой, где мы видели четырех польских офицеров, трое из них были абсолютно пьяны и очень веселы, а один был серьезен и печален, поэтому мы ничего не говорили по-польски, ведь наша прогулка принадлежала другому миру, наша прогулка была просто прогулкой по просто городу, а не бегством после катастрофы. Здесь мы были, как был бы всякий европеец из любого города Европы, от Риги до Палермо, мы даже решили в случае чего представляться венцами, дабы не висело над нами жуткое, черное бесчестие поражения.

С площади Гитлера мы прошагали на площадь Героев, которые, высясь и зеленея благородной патиной, взяли в тесный всадничий круг архангела (как объяснила Дзидзя) Гавриила на стеле — то был

Арпад с его вождями, а вокруг широким полукругом встали пешие герои, герои мадьярской истории, от св. Стефана до Франца Иосифа.

А я знал, что не принадлежу к этому миру героев, конных и пеших, хотя и сражался верхом. Они служили: по меньшей мере то, что от них оставалось в коллективной памяти венгров, служило: роду, племени, королю, отчизне, когда те уже изобрели себе отчизну. Я не служу. Я Константин Виллеман, что значит ровно, что я Константин Виллеман. Ничего более. Нет во мне ни малейшего “почему я” или “зачем я”. Я как роза: роза цветет, ибо цветет, без “зачем”. Я Константин Виллеман, ибо я Константин Виллеман, это определяет меня целиком и целиком описывает. В мире этом я присутствую единственно ради того, чтобы присутствовать. Выполняя задания Инженера, никому не служу, ни ему, ни Польше, ни организации; мое бытие служит моему бытию.

Мы вернулись на метро да самой площади Вёрёшмарти и продолжали идти пешком по набережной, сначала под руку, а после обнявшись, миновали Цепной мост и дошли аж до острова Маргит, где в остатках октябрьского солнца уселись на скамью.

— Хочу с тобой целоваться, — сказала Дзидзя, и я поцеловал ее, плюя на гневные мины двух матрон, чьи платья наверняка были сшиты еще при Франце Иосифе.

Я поцеловал Дзидзю, и было это вне “зачем” и “в целях”, я целовал Дзидзю, чтобы ее целовать.

А потом встали со скамьи и из закругления пешеходной дорожки вышли прямо к ресторации с террасой, откуда открывался вид на Дунай и мосты над Дунаем, и не было в ней ни одного польского офицера, что мы сочли за преимущество, ибо не хотели, чтобы нам напоминали о мимолетности этого вечера и о моем неизбежном возвращении в утонувшую в себе изнасилованную Варшаву, к ее холодным сырым жилищам, к первому снегу, окнам, заклеенным крестами, угасшим фонарям и мостовым, искореженным так, будто улицы внезапно взволновались, всколыхнулись.

Варшава была далека, так далека, словно ее вообще не было. Мы попросили пледы и меню, укрыли колени, сделали заказы и начали пировать. Мы оба ели одно и то же, так казалось нам более интимно и правильно.

На аперитив палинка, для разгону крем из липтовской брынзы с черным хлебом: такой с мелко нарубленным луком, с анчоусами, каперсами, тмином и каплей пива. Затем густой, насыщенный рыбный суп с пшеничной булкой, и быстро осушили с ним десять деци олашприслинга, который, поучала меня Дзидзя, не имел отношения к чахлomu эльзасцу, известному под схожим названием, мы пили это вино из массивных стаканов зеленого стекла, потом ели отварное мясо по-венски, прекрасный толстый тафельшпиц с хреном и зеленой фасолью, и пили с ним красный сентлёринц из Эгера, а после мяса, как водится, рыба, судак с решетки с печеным картофелем и кислой капустой, и напоследок ломтик цитроненвуршта и эгерский кекфранкош, литровый графин, а после заказали кофе, крепкий кофе и по куску торта Захер, затем еще по сливовой палинке

для пищеварения и курили французские крепкие сигареты, и пресыщенные, согретые алкоголем и застольем, мы не чувствовали холода, что напоминал о предстоящем даже здесь ноябре.

Город перекроил нас, наново сотворил из нас людей, мы ели и пили, были взаимно женщиной и мужчиной, куда-то испарилась та ирония Дзидзи, за которой она пряталась, ей больше не нужно было прятаться предо мной, мы наново были людьми.

Чуть ниже Дунай гнул свое, то есть тек лениво в Черное море, время приближалось к концу всех времен, а мы, пьяные, но не слишком крепко, лениво приближались к смерти, я закрыл счет в размере двенадцати пенгё и тридцати филлеров, оставил щедрые чаевые — округлил до двадцати, попросил кельнера вызвать такси, им оказался роскошный быюик, и по будайской стороне мы двинулись в направлении отеля.

— Когда ты вернешься в Варшаву? — спросил я, еще в машине.

— Не знаю. Но вернусь, — сказала она с неколебимой уверенностью.

Будто знала, сколько еще отделяет ее от жуткой, но дарующей облегчение смерти в сербском лесу. Будто знала, что успеет вернуться, прежде чем умрет. Но, Костичек, она не знала, разве что чуяла что-то где-то чуть пониже сознания. Но ты уже глух, любовь моя.

Я брошу тебя скоро.

Дзидзя сидела подле меня, мы держались за руки, и я думал о ней, глядя на освещенные мосты Маргит, Эржебет и Ференца Йожефа, и знал: я влюбляюсь в нее, прямо сейчас, прямо сейчас постепенно, минуту за минутой я влюбляюсь в Дзидзю, Константин Виллеман влюбляется в Дзидзю, а Дзидзя влюбляется в Константина Виллемана, у которого есть жена и сын, но это неважно.

Еще я думал о том, пойдем ли мы сейчас, прежде чем я уеду, в постель, и счел, что лучше не идти. Наверное, если судьба даст шанс, это приключится между нами поздно или рано, уже наверняка, это как-то взросло между нами за последние несколько дней, стало, прежде чем мы заметили это, но покуда рано. Это было бы напрасно, а мы ведь не хотели бы напрасно, нам, быть может, дано будет сблизиться один только раз? Кроме того, мы слишком много съели и слишком много выпили, и, без сомнения, ни Дзидзя, ни я не были в настроении, нас предостерегали от близости набитые животы и интенсивно работающие желудки и кишечники. Довольно и того, что мы держались за руки.

Когда мы вернулись в отель, я просто собрал свой чемодан и переоделся в мундир. Дзидзя ждала в гостиной, она читала. Я вновь посмотрел на себя в зеркало. Я видел моего отца, видел Бальдура фон Штрахвица в себе, но это был я, а он во мне, но все-таки я, Константин Виллеман. В немецком мундире. Я застегнул ремень с кобурой и пристегнул портупею. Вышел в гостиную, уже в шинели, с чемоданом в руке.

Положила книгу, встала, подошла ко мне, поцеловала в щеку, потом в губы.

— До свидания, Константин. Оставь сообщение у Лубеньской, как тебя искать. До свидания в Варшаве.

— Да. До свидания, Дзидзя.

Я погладил ее по волосам, вышел и сразу вернулся.

— Оставлю тебе денег.

Сунул ей пачку долларов, оставив себе сотню. Она кивнула, улыбнулась. Я вышел навсегда. Такси уже ждало. Поехали на Келети, мост Франца Иосифа, проспект Ракоци и прямо, прямо. Я заплатил и вышел, искать на вокзале специальный состав на Варшаву. Спросил встречного путейца — поезд ждал на втором перроне. Вагоны закрыты, у первого, считая от локомотива, стоял немецкий жандарм в свите из двух равнодушных венгерских когутов со штыками на карабинчиках, а перед ним короткая очередь офицеров в немецкой форме. Я скромно встал в конец хвоста. Вензель GFP у меня на погонах возбуждал плохо скрываемый интерес среди офицеров, стоявших передо мной, но они быстро вернулись к жандармам и к предъявлению документов, между которыми я заметил некий повторяющийся образчик, какого у меня, естественно, не было. Без сомнений, разило от меня алкоголем, что офицера могло скорее дисквалифицировать, но только не глину, что лишь притворяется солдатом, не армейского гестаповца, которым я был, а, скорее, чей мундир я носил, а был им мой отец, глинам все позволено.

Иногда я больше понимаю и знаю больше, чем, казалось бы, обязан знать с учетом того, что узнать бы мог. Словно бы, надевая мундир своего отца, я внезапно проникся его понятием позиции и ситуации функционера, словно обрел подсознательное понимание, кем именно творит меня этот мундир в глазах офицеров и солдат, а ведь сам по себе я не могу этого понять, нужно долго отражаться в глазах других, чтобы в самом деле понять это.

Вместо того чтобы предъявить какие-либо бумаги, я предъявил диск GFP, жандарм спросил только:

— Nach Wien, Prag oder Warschau, Herr Kommissar?¹

Я ответил, что в Варшаву, тот отсалютовал, извинился перед парой офицеров, уже успевших встать в очередь позади меня, что вряд ли вызвало прилив их симпатии ко мне, и отвел меня вглубь поезда, в пульмановский вагон, который определенно шел до Варшавы, показал мне спальное купе с одной кроватью, отсалютовал и ушел.

Я не хотел раздеваться, пока не тронется состав, Бог знает отчего, но не хотел, так что я сел на кровать, даже не сняв шинели, и ждал, потягивая коньяк, и поезд наконец двинулся, двинулся на север, а я снял несколько слоев габардина, снял рубашку и в одном белье зарылся в свежие накрахмаленные немецкие простыни и одеяла. Я подумал, что ведь мог бы делать покупки, что мог бы привезти столько вещей, которых недостает сейчас в Варшаве, самых простых, а я ничего не купил, а потом подумал, что это хорошо, что ни-

1. В Вену, в Прагу или в Варшаву, господин комиссар? (Нем.)

чего не купил, что не хлопотал, что не усердствовал, что не надрывался. Благодаря этому я жил. А раз жил, то и живу.

— Я Константин Виллеман, — вышептал под одеяло. Пьяный, я заснул прежде, чем за окном угасли огни Будапешта. Я видел сны.

Я видел рыцарей с черными кабаньими головами при огромных клыках, с перьями страуса, растущими из этих голов, видел, как они бьются против позеленелого от патины Арпада, прорывающегося со своими вождями во главе через Верецкий перевал. Под лбами вопреки таились изуродованные лица.

Я видел, как из леса за ними наблюдают женщины, голубящие детей, среди них Геля с Юрчиком, Ига и Саломея, голубящие чернукудрых детишек, мне незнакомых.

Я проснулся, когда поезд встал. Глянув в окно, заметил надпись: Братислава. Рывки и стуки свидетельствовали о том, что здесь расцепляют состав. Я дернул коньяка, крепко.

Через четверть часа мы тронулись, я плотно зашторил окно и уснул наново, только на этот раз без снов, я спал как убитый, и впрямь недалеко был от смерти, когда вот так вот спал, настолько обеспамятев, словно будучи мертвым.

Тонущего в черни, голубила тебя в объятьях, любимый мой, но скоро я брошу тебя.

Глава XIV

Проснувшись, я взглянул на часы. Стрелки слабо тлели в темноте, сообщая однако, что уже почти десять. Отрясая с себя сон, я не понимал, в чем дело, но потом вспомнил.

Когда в Братиславе я лег спать, то закрыл окно плотной шторкой. Я встал. Поезд шел, не слишком быстро, но шел, я открыл окно и увидел за ним ненавистную мазовецкую равнину.

Через какое-то время я даже сообразил, где нахожусь: недавно проехали Жирардув, теперь мы где-то на уровне Тучной Писи. Скоро будет Гродзиск, затем Брвинув, Юзефув, Италия и — Варшава.

А я по-прежнему ощущаю — теперь горько-кислый, мерзкий — вкус будапештской палинки, ощущаю жизнь.

Так что продолжаю жить.

Туалет, наспех: порошок, щетка, зубы. Крем, мыло (только не ошибись), помазок, жиллет, ополоснуть, бальзам. Под мышками вымыть. Рубаху свежую. Минуту размышляю я о том, не выйти ли мне в мундире, и решаю, что да, так лучше, увереннее, мундир таки. Когда я затягиваю на шинели ремень с кобурой, поезд минует Италию.

Складываю мелочи в чемодан. На месте ли мыло Штайффера, проверяю. На месте.

Не знаю еще, что стану делать сегодня. Не знаю, что станет дальше с моей жизнью. Не знаю, что вообще стану делать. Не знаю, кто я, за исключением того, что я Константин Виллеман, а это значит ровно то, что я это я, и понадобилась целая жизнь, чтобы понять

это, это перечеркнуло мои старые страхи и хотения, не отменяя и не сводя на нет мои поступки и мои внутренние тревоги, из которых складывалась моя прежняя жизнь.

А пока что схожу на Центральном. Жандарм отдает честь, я отвечаю тем же. К счастью, военные этикетки схожи, и на базовом уровне в целом одни и те же.

Вокзал лежит в руинах; чудо, что им тут вообще удастся принимать поезда. Выхожу на Иерусалимские, прямо на отель Центрум.

Варшава.

Иерусалимские здесь не так чтобы особо пострадали, и война не так бросалась бы в глаза, когда бы не полное отсутствие такси.

Окна заклеены крест-накрест. Записки. Белецкий Юзеф ищет брата Анджея, без вести пропавшего 23 IX с. г.

Варшава и моросит.

Я двинулся налево, возле Полонии стояли одинокие дрожки, так что я сел и без малейших раздумий, к немалому своему удивлению, ведь ехать я собирался на Спасителя, к Лубеньской, просто сказал, даже не притворяясь немцем:

— На Добрую, пятьдесят два.

Я забился под крышу дрожек, затаился под козырьком фуражки, зажался в стоячий ворот шинели, но тайлся я не от стыда или страха, что кто-то увидит меня в немецком мундире. Я знал, в общем-то, что все, на чье мнение мне не было плевать, уже не первый день держат меня за предателя и ренегата. Такие слухи расходятся даже быстрее новостей о чьей-либо преждевременной кончине.

Я забивался и тайлся не затем, чтобы Варшава меня не видела, я тайлся, чтобы не видеть Варшавы. Я думал о Гелене, о том, что наш брак был фарсом и пустым местом, интенсивно думал о Дзидзе, ибо колосился во мне этот дикий, дурной настрой, от которого пора продавать таблетки в табачных лавках наравне с аспирином.

Я заплатил пять долларов, у меня не было банкнот мельче, чем эта с Линкольном, а было это настолько много, что гужеед хотел даже отсыпать немцу сдачи, я махнул рукой, усач буркнул “данке”, словно отхаркался, и уехал, и я подумал, что мог бы пристрелить его, вот только совершенно не имел охоты. Однако мог бы, коли до войны мог, максимум риска три года не шло, то и после войны бы мог. Но охоты нет.

Я взошел по лестнице, знакомой лестнице, но всходя по ней уже как некто иной, не тот, что обычно всходил сюда, так часто цеплявшийся за гнилые перила.

Я встал перед знакомой, доброй дверью. Полсекунды поколебался, затем нажал на ручку — дверь была открыта, хотя и заперта на цепочку. Я подергал: держит.

— Was ist da los, zum Teufel!¹ — крикнул из квартиры мужской голос, и я услышал тотчас шаги, и вдруг вблизи увидел лицо, мне уже

1. Что тут происходит, черт возьми! (Нем.)

известное, лицо немца с водянистыми глазами, я видел его у Саломеи две недели назад, когда впервые встретил Тумановича, а теперь он как раз у Саломеи, именно он.

И когда он видит меня в униформе, он первые несколько секунд удивляется этому, потом удивляется еще больше, поскольку узнает меня, а потом я показываю ему диск *Geheime Feldpolizei*, а он при виде диска млеет, теряет сознание и падает на пол.

За ним возникает Саломея.

Моя Саломея. Неделию не видел ее, а совсем другая. Не знаю, моя ли она или только выглядящая моей, но совсем другая.

Она замечает меня через дверь, открытую на ширину ладони.

— Боже, ты что ему сделал?

— Ничего. Сомлел. Наверное, от страха.

Саломея сбрасывает цепочку, впускает меня внутрь. И мерит всего меня, а точнее, мой мундир, глазами.

— Это что вообще?.. — спрашивает, показывая на меня.

— Маскарад, — говорю ей правду.

Правду? Разве мундир моего отца маскараден? Разве я актер в маске комиссара *Geheime Feldpolizei* Бальдура фон Штрахвица? Шпоры на его кавалерийских сапогах кого маскируют?

— Это мундир моего отца. Он мне его дал, — разъясняю дальше, без надобности пусть, но по какой-то причине разъясняю.

— Что мне теперь с ним делать? — высказывает претензию Саломея, словно это я виноват в том, что ее хахаль грохнулся в обморок.

— Почему он испугался меня? Потому что увидел, что на мне форма тайной полевой полиции?

Саломея вдруг вглядывается в меня пристальнее.

— Тайной полевой полиции?.. А шта эта?

— Армейское гестапо.

— Твой папаша армейский гестаповец и дал тебе свою форму?

— Был, во всяком случае.

— Ага. Но ясно тогда, чего этот испугался.

— Но почему?..

— Потому что он яврей. Пошел в армию, чтобы не пойти в лагерь. А как увидел, что здесь полиция, то подумал, что за ним.

Я взглянул на него. Я видел больше, чем в тот, в первый раз. В тот раз я видел лишь немца с водянистыми глазами, а теперь, когда на мне мундир моего отца, я вижу глазами своего отца: *Leutnant*. Пехота.

— Приведи его в чувство, пусть проваливает и больше сюда не возвращается.

— Как мне его привести, как? — заламывает руки Саломея.

Иду, стало быть, на кухню, беру жестяную кружку, набираю в нее холодной воды, возвращаюсь и выхлестываю пану лейтенанту в лицо.

Очухивается тотчас, глядит на меня этими глазами, мне тогда показалось, что они бледны, велики, теплы, влажны и полны угро-

зы, он тогда глядел на меня, будто давая понять, что для него не проблема убить меня, вблизи, сразу. Так мне тогда казалось.

А теперь смотрят на меня всё те же большие водянистые бледно-голубые глаза, как серна смотрит в черные очи двустволки Геринга. Страшится, теперь страшится он страхом безнадежным, лишенным надежды.

— Verschwinde, — говорю я. — Und komm nie wieder¹.

А он собирается без слова, встает, собирает быстро вещи, шинель, пояс с кобурой, шапку и был таков из квартиры, без слова. Фьют. И духу здесь не было. Я остаюсь один с Саломеей.

Снимаю фуражку, плащ, сажусь за кухонный стол.

— Морфий у меня есть, — говорит она, садясь напротив.

— Это хорошо.

— Чего ты хочешь, Костя? Кто ты?

— Я ничего не хочу. Я Константин Виллеман.

— Чаю хочешь?

— Сделай.

Она сняла чугунную конфорку, поставила чайник на плиту, подбросила в печь два полена потолще и села обратно за стол, напротив меня.

Я смотрел на нее. Казалась мне прекрасной, как никогда прежде, хоть и в домашнем платье под теплым свитером, без грима, волосы собраны в тугой пучок на затылке.

Я никогда не задавал ей никаких вопросов. Никогда не спрашивал, откуда она, кто она такая, зачем живет здесь.

— Ты тоже еврейка, Сая?

— Наполовину, — ответила она, не колеблясь ни секунды. — Родилась в Одессе. Мать русская, батько яврей, они убежали из Одессы, как я пяти была, за недолго большевики пришедши, они убежали во Львов, и там мы жили.

— А в Варшаве откуда?..

— А забеременела я. Батюшка, как сбежал из Одессы, то крестился и очень верный был православный. А как я забеременела, то он меня с дому погнал. Я, мол, блядь, а бляди он терпеть не станет. Правый был, что я блядь.

Я смотрел на нее, не решаясь задать вопрос. Она поняла сама.

— Не вычистила. Курва я, но крови невинной на руках нет. В еврейском приюте она. В Люблине, на Гродской. Там ей неплохо.

Она встала, кинула взгляд под крышку чайника, подбросила два полена в огонь.

— Я хотела потом забрать, сама вырастить, не дали. Письма пишу. Но наверняка они ей не читают. У нас в доме мы говорили только по-русски, батько хотел быть русский, не яврей, ждал толь-

1. Убирайся отсюда... И не вздумай вернуться! (Нем.)

ко, что царь вернется. В церковь все время ходил. А царь не вернулся.

— Саля, ведь ты, когда хочешь, говоришь абсолютно чисто польски.

— Прямо как ты, Костя. Когда ты хочешь, абсолютно чисто польски гаваришь. А я ни хачу. Хочу мешать польский с руским, потому знаю тогда, кто я. Я Саля Зильберман, и, как мешаю польский с руским, то знаю, кто я. Панимаешь?

— Понимаю. Кипит.

Она встала, залила в чайничке заварку, поставила на стол разом с чашками.

— Морфия хочешь?

— Хочу, но позже.

— А полюбиться не хочешь? И кокаин тоже есть.

— Сейчас я хочу выпить чая.

— Уже наливаю. Руска я. Пусть и Зильберман. Ты тоже паляк; пусть и Виллеман. Но какая из меня жидовка, Костя? Пизды наизнанку не имею.

— Не имеешь. Сахару дай.

Дала. Я сделал три глотка. Чай нехорош, зато сладок и горяч.

— Каждый живет как может, Костя.

— Верно. Я останусь у тебя на ночь.

— Останься, Костя, останься. Полюбимся. Только у меня есть нечего.

— Денег дам. Сходишь купить?

— Схожу.

Чай согревает меня и успокаивает.

— Я так себе думаю, что евреям теперь нелегко придется, правда, Костя?

— Не знаю.

— Но я ничего. Я не еврейка. Пизды наизнанку не имею. А дочка моя — отец поляк. Офицер, как ты, только не улан, а летчик. Поэтому она наполовину полька, на четверть русская и всего на четверть еврейка. Лишь фамилия у нее моя, нехорошая фамилия, своей он не дал. Да ведь детей-то немцы не станут преследовать, верно, Костя? Верно?

— Верно.

— Да. Хорошо ей там, в этом в Люблине, на Гродской. Хорошо, что я ее не крестила, крещеную они бы не приняли. Потому что это еврейский приют. Лучше ей там, нежели со мной было бы. Вот как денег скоплю, так поеду, проведаю. Может, помнит еще.

Я вижу ее впервые. Впервые вижу Салю Зильберман. Это не Саломя.

— Ступай уже за едой.

— Я пойду в Халю Мировскую, она поближе, а Керцеляк как есть разбит, никто не торгует почти.

— У меня одни доллары.

— Доллар хорошо, лучше, чем золотый. Давай.

Я дал.

— Хлеб по золотый семьдесят за кило, где это видано. Фунт масла семь золотых.

Я дал еще пять. Она надела пальто и шляпку и пошла.

Я остался один.

А она пошла, Костичек, в холодную Варшаву, шла по Обозной, по Траугутта и по Кредитной, кутаясь в шерстяной платок. У мелкого газетчика купила “Новый курьер” и на первой полосе вычитала, что на двадцать восьмое октября, то есть на послезавтра, объявлена перепись еврейского населения в городе, и решила, что не запишется, ведь еврейка-то она по отцу, а это не в счет. Только эта фамилия, чертова эта фамилия, ну что бы ей не зваться, к примеру, Зелинской.

А вокруг, среди прохожих, кружили вестники смерти. Было их немного, в карманах они несли выписанные симпатическими чернилами бумаги, в головах планы, в портфелях, рискуя быть расстрелянными, несли пистолет, назначенный чьей-то руке, однако не той, что несет его сейчас.

Я заварил еще чаю, посидел за столом, долго сидел. Не думая ни о чем, попросту сидел, в самом деле не думая ни о чем, попросту был. Долго.

Затем я вспомнил о папке, в которую Саломея складывала мои рисунки. Я вынул ее, открыл, вывалил наброски на пол.

Я не умею рисовать. Рисовальщик из меня никакой. У меня нет и крупицы таланта. С большим трудом я освоил технические законы, как показать перспективу, точки схода, как выстроить скелет, окружить формами, наложить цвет и текстуру.

Зад Саломеи. На следующем грудь растеклась, потому что она легла на спину, ноги раздвинуты, вульва. Это не она. Зад. Талия. Спина. Вымя. Брюхо. Складки, если она сидит, наклонившись вперед, лицо скрыто под волосами. Тело ее, но это не она.

Я собрал все свои халтуры, беспардонно их комкая, отнес на кухню и начал одну за другой впихивать в огонь. Без спешки.

Саля вернулась. Вошла в кухню.

— Хлеба взяла, картошки, масла полфунта, колбасы хорошей, водки, шоколада и свежую курицу, постную, правда, и овощей немного. Сварю куриный бульон и мясо будет, на ужин сварю. Всё на вес золота. Ты рисунки сжигаешь. Жаль.

— Не шедевры.

— Нет. Но я обожала, чтобы ты меня рисовал.

— Я плохо рисую.

— Неважно. Но коли хочешь сжечь, то сожги.

Я сжег все. Сидел за столом, Саля дала мне водки в стакане, хлеба с колбасой, и я выпил, закусил и смотрел, как она суетится, потрошит курицу и кипятит воду для бульона.

Когда все уже было готово, накрытая кастрюля тихо фыркала на медленном огне, Саля спросила:

— Полюбимся теперь? Дашь мне еще денег?

— Я и без полюбиться дал бы.

— Я тебя всегда обожала, Костя, и полюбиться с тобой обожаю.

А морфия хочешь?

— Давай.

И дала. Мы легли, Сала набрала в златогардый шприц раствор из бутылочки без особых примет, затынула жгут на моем предплечье, охлопала вену, ввела.

Я почувствовал знакомое тепло, но словно бы издали. Словно раствор был чересчур разбавлен, слабая тень недавних, но уже чуждых ощущений.

Саломея раздевала меня мягко, как раздевают ребенка. Куртку я повесил сам, так что теперь она какое-то время боролась с кавалерийскими сапогами, пока не сняла, после расстегнула мне брюки и рубашку, мягко совлекая их с меня, после развернула некий пакетик, видимо, кокаин, и, втянув его ноздрями, разделась сама, я видел ее тело: полные бедра и живот, очень красивые и тяжелые груди, все белое, как молоко или как смерть.

После она целовала меня долго, хотя поначалу я не мог отвечать поставленной задаче, но затем, когда я уже медленно отплывал в бессознательное, тело внезапно повело себя как должно, так что мы коротко полюбились, я был лишь частично в сознании, а после я заснул, а после она разбудила меня новыми поцелуями.

— Я обожаю тебя и хер твой обожаю, Константин.

— Ты не обязана лгать.

— Я не лгу. Нравишься мне. Ты сейчас какой-то другой; прежде я тоже обожала, ты был как дикое, раненое животное. Мятущееся. А сейчас уже нет, и сейчас ты нравишься мне еще больше. Дашь мне еще денег?

— Дам. Давай съедим эту курицу.

И мы ели курицу, сваренную в бульоне, дверь была закрыта, в квартире Сали было тепло, сыро и затхло, на стенах, как обычно, цвела плесень, а потом мы вместе легли спать и я спал с ней, мне недоставало сна под одной периной с теплым, нежным женским телом, а утром я проснулся раньше нее и хотел улизнуть молчком.

На кухне я надел гражданский костюм, с намерением, впрочем, остаться Бальдуrom фон Штрахвицем, и именно эти документы и магический диск я сунул в карман, вложил за пояс зауэр, засунув мундир, экипировку и армейские сапоги в чемодан.

Деньги для Сали, для Сали Зильберман. Кладу на стол тридцать долларов.

Когда я был уже в дверях, Саля в одеяле вышла ко мне, нагая под этим одеялом.

— Ты больше не вернешься ко мне, Костя, верно?

— Не вернусь.

— Денег мне оставил?

— На столе. Береги себя, Саломея.

— Да. Пойду еще посплю немного.

— Ладно.

Я вышел. Было рано, солнце едва взошло и было холодно, а я не хотел идти домой, я не хотел идти в дом из шоколада, ибо боялся привидений.

Я пошел в сторону Старого города, но свернул на Карову, откос Вислы, лесенка, я поднялся, запыхавшись немного.

Над городом серые тучи, но снег, по крайней мере, не падает. Не знаю, что дальше, но впервые в жизни мне это вовсе не мешает, поскольку я вдруг знаю, не знаю уж откуда, но знаю, что достаточно отпустить вожжи, чтобы колеса крутились.

На здании Польского Общества Гигиены два подростка расклеивали желтые извещения. Один держал полотно, другой водил по нему макловицей, прижали к стене и следующее, они как раз клеили третье, а я подошел к первому.

Создание Генерал-губернаторства на занятых территориях Польши объявляет некий Ганс Франк. Штайфер не ошибся; что-то здесь будет. Вопрос в том, чем оно окажется.

Я пошел дальше, по Краковскому, по Трембацкой, до самой Фредро. Все больше и больше мостовых прихорашивается, причесывается, дороги прямеют, а город по-прежнему тонет в грязи. На Фредро трое старых жидов в халатах раскапывали могилу.

— Что вы, люди, делаете? — спросил я, недоумевая.

— Назначили повсеместную эксгумацию, копаем там, где велят.

Яма была уже глубока, я заглянул внутрь. Виднелось тело, женское тело — в платье. Его окапывали лопатами. Платье грязное, но на нем различались дробные белые цветочки. Розочки. Всегда любил летние платья в розочках.

— Бросьте вы эти лопаты, вытаскивайте уже, — приказал я.

Они смотрели на меня враждебно.

— Если пан такой умный, то сам ее пан и вытаскивай, — гавкнул один.

— Nicht frech werden, Jude. Du sprichst zu einem Deutschen¹, — пролаял я.

Зачем я это сделал? Я сделал это без “зачем”. Я сделал это, ибо не хотел, чтобы они штыками лопат вредили уже убитому телу, а не хотел я этого, ибо я не хотел.

Они поглядели друг на друга и на меня, больше страха, чем вражды. Отложили лопаты, руками начали откапывать труп, откопали до конца и вытащили наружу. Запахло.

Я приказал еще накрыть его, и, прежде чем они накрыли, взгляделся: труп как труп, ничего интересного. Платье в розочках. Возраста не определишь, тело измазано в земле. Жид накрыл труп брезентом.

1. Не наглей, еврей. Ты с немцем говоришь (нем.).

Караульный перед Немецким Клубом меня узнал, бумаги Виллемана выгребать не пришлось, а здесь я все ж таки опасался рекомендоваться Бальдуром.

Вхожу. Иду к ней в офис, люди обтекают меня, а я никого не обтекаю, я никого не вижу. Вхожу без стука. Я знал, что она уже будет у себя, и она уже у себя, в мундире, волосы собраны, за столиком рядом секретарша в мундире стучит на машинке, а моя мать поднимает взгляд над документом, взъяренная тем, что кто-то вошел, не спрашиваясь, но ярость тут же исчезает при виде меня.

— Константин! — радуется она и, не прерывая ликования, рычит секретарше: — *Hau ab, Hilda. Aber sofort!*¹

Секретарша уносится как метеор, даже лица ее я не заметил, взгляд вбит в пол или вообще куда-нибудь еще.

— Доброе утро, мама, — говорю я.

— Доброе утро, Константин. Садись.

Я сажусь в кресло для клиентов, но отнюдь не как клиент.

— Выпьешь чаю, Константин? — спрашивает.

А я уже понимаю. Вижу в ее глазах все. Всю меру своего самообольщения вижу.

— Я не хочу чаю.

— Хорошо-хорошо. Как ты, сынок? Я звонила тебе на Мадалиньского, никто не взял трубку.

— Я был в Будапеште, — отвечаю машинально.

Она смотрит на меня пронзительно, что это значит: смотреть пронзительно? Вовсе не пронзительно она смотрит; пристально смотрит, но взгляд ее не пронзает меня, сейчас я понимаю. Когда-то мне казалось, что она может видеть меня насквозь, что и внутренности мои она видит, сейчас я понимаю: это не так. Я стал другим.

Стал ли я кем-то другим?

Я изменился. Дзидзя меня изменила.

В самом деле?

Не знаю. Но, по крайней мере, вижу я четче.

Я же вот вижу ее сейчас: бедная безумная старуха, всю жизнь которой составляет ее единственный сын. Я. Константин Виллеман. Безумная старуха острого ума, что видит и понимает, как моя жизнь течет и уплывает скверной, понимает, что ничего из моей жизни не следует, и знает, что это ее вина. Не моя, ее. Она дала мне все, а это слишком. Все, что имел и имею — получил. Покой, благополучие, даже жену от нее получил, если вдуматься. Только курвы, водка, наркотики, дебоши, только это было мое, только этого я добился сам. Ведь не были моими ни Грудзёндз, ни моя полковая официя, уланы, каэмы, трассирующие пули, все это дала мне она, без нее кем бы я был?

А она без меня — кем?

1. Проваливай, Хильда! Только живо! (Нем.)

Оттого глядит на меня и убивается, просто, как мать. Зачем в Будапеште? Почему в Будапеште? Неужто в самом деле в Будапеште?

И зачем она надела этот мундир, теперь я, дурак, понимаю. Само собой. Трудно мне это принять, ибо уже понимаю.

— В Будапеште был? Почему? — спрашивает наконец.

— Ах, по делам. По разным. Пойду, пожалуй.

— Постой, Константин, ты ничего не говоришь, что с тобой...

Но я встаю. Но я отвращаюсь. Дурень. Дурень. Всю жизнь, тридцать лет, дурень.

— Посиди еще, Константин! Не нужно ли чего?

Хотела бы дать мне денег. Но я уже открыл дверь.

— До свидания, мама, — говорю я.

— Постой! — Она даже вскакивает из-за стола.

Но я ухожу. Почти выбегаю, несмотря на чемодан. Бегу, чемодан лупит меня по ногам, дурень, дурной дурень.

Куда я бегу? К Лурсу? Нет. Лурс есть ложь. Дыхания в легких нет больше, люди глядят странно, парень с чемоданом бежит, а ведь не на вокзал, не на поезд, так что темп я сбавляю, иду, но иду как заведенный и даже всплакнул немного, все ложь, дурной дурень, дурной, вся жизнь ложь. Вербная ложь. Сенаторская ложь.

Я Константин Виллеман ложь. Люблю автомобили ложь. Не люблю лошадей ложь.

Улица Подвале ложь. Ступеньки ложь. Двери ложь. Стучу ложь. Дышу ложь.

Геля приоткрыла дверь. У них уже новая цепочка.

— Зайди, отца нет, — без затей говорит она, открывая. Я вхожу. Не знаю, что сказать, ничего не говорю.

Только:

— Юрек?..

Геля зовет:

— Юрчик!

И он выходит. Испуганный.

— Юрчик, поздоровайся с папочкой.

— Доброе утро, папочка.

— Доброе утро, Юрчик.

Ложь.

Подбегаю к нему, а он пятится, я ничего не привез ему из Будапешта, даже куска шоколада не привез, ничего.

Он пятится, но я обхватываю его руками, голублю, Юрек, Юрчик мой, как мог я тебя бросить, оставить, забыть, не быть с тобой, не защищать тебя, не кормить, не делать тебя ради, малого такого, мир чуть уступчивее, ведь ты вовсе не маленький иной меньший я, а кто-то совершенно другой.

— Пусти, папочка, пусти, — кричит Юрчик.

Отпускаю. Он убегает в комнату.

— Ты не можешь вот так сюда приходить, — говорит Геля.

— Я люблю тебя, Гелена, — отвечаю, повернувшись к ней.

— Ты лучше не шути этим, Костек, не шути. Ступай домой.

— Я не могу так. Не вынесу этого фарса, этого притворства, я хочу быть с тобой и с Юрчиком.

Ложь.

— Все ближе к правде, чем если бы мы не притворялись, Константин.

Встаю. Юрчик играет с грузовиком, ездит им по ковру.

Какова эта Гелена, я не ведаю, ведь я так ее и не узнал, ничего о ней не ведаю, была ли она мне интересна когда-либо, могу ли я еще исправить это, могу ли я еще исправить что-либо?

— Могу ли я еще исправить это, Гелена? Могу ли я еще исправить что-либо?

— Сейчас ты должен идти, отца хватит удар, если он тебя тут увидит. Иди уже, Константин, иди. Я позвоню тебе на квартиру, встретимся где-нибудь в парке, поиграешь с Юрчиком. А сейчас иди. Ступай домой, откуда бы ты ни возник с этим чемоданом.

— Дам тебе денег, — лепечу я, выуживая из кармана последнюю пятидесятку, чужую.

— Мне не надо.

— Возьми, для Юрчика.

— Ему тоже не надо. Забирай свои доллары и иди уже, Константин.

— Пойду, если возьмешь.

— Ладно.

Взяла. Довела меня до дверей. Я вышел на лестничную клетку, она осталась внутри, накинула цепочку и глядела на меня сквозь приоткрытую дверь, а я ждал, что же скажет.

— Ига опять пропала, — прошептала спустя мгновение.

— Как это: пропала?

— Из-за тебя.

— Геля...

Она лишь пожала плечами и закрыла дверь.

Я пошел.

Домой. Я долго искал дрожки, чтобы не идти пешком, нашел дрожки только на Замковой площади. Возле замка клубилось множество немцев.

Поехали, гужеед поставил кибитку, я затаился, забился, закрыл глаза, лишь бы не смотреть на Варшаву, лишь бы не видеть ничего, всё ложь.

Мы ехали долго, мы ехали целый век, круглая сторбленная спина, круглая шапка гужееда, заплатка на пальто, унылая ветвь кнута, вонь лошажья, не люблю лошадей.

Э. Ведель. Шоколад.

Расплачиваюсь. А нечем. Прошу гужееда подождать, бегу в квартиру, в квартиру к себе по лестнице, ключи ключи где ключи нет ключей, Инженер оставался, когда мы вышли, но ведь я брал ключи, есть. В чемодане. Одежда по коридору разбросана.

Отпираю, бросаю чемодан, он открывается и вываливаются из него вещи, мундир, сапоги, но это неважно. Смотрю в окно, гужеед ждет.

На кресле в гостиной сидит Яцек и спит. Храпит. На коленях он держит пистолет. Рядом водочная бутылка. Я ищу денег, Яцеком займусь позже, дам ему поспать, сейчас мне нужно заплатить гужееду, так что ищу деньги.

— Не шевелись!

Проснулся. Не вставая, вытягивает руку с пистолетом в мою сторону.

— Яцек. Мне нужно за дрожки заплатить. Я скоро вернусь, вот только за дрожки заплачу. Понимаешь?

— Не двигайся, — говорит он и встает.

— Яцек, ты выгляни в окно. Извозчик там ждет, пока я не спущусь и не заплачу ему, я потерял кошелек и должен был ему заплатить, а нечем было. Есть у тебя десять злотых?

Зачем лгу?

Он глядит в окно. Он пьян, его рука дрожит, я мог бы прыгнуть на него и выбить оружие из его пальцев, я мог бы достать свой пистолет и застрелить его, застрелить Яцека, мой пистолет пистолет отца моего я бы смог.

Не смог бы.

Его рука дрожит.

— Яцек. Это не так было с Игой, как тебе кажется. Яцек. В самом деле, — говорю, пытаюсь говорить тоном мирной неготиации, пытаюсь. — Спущусь, заплачу, вернусь к тебе, поговорим.

— Сядь, — отвечает он, и что-то в его голосе велит мне сесть.

Он идет запереть дверь.

— Яцек, он явится сюда ко мне, за деньгами. Он будет здесь, понимаешь? Стыд-то какой. Мне нужно спуститься и заплатить ему.

Он натывается на мои вещи, на мундир мой мундир отца, мундир немецкий. Он изучает мундир. Долго, пистолет опущен, на меня и не взглянет, на мундир таращится.

Я смог бы. Но нет.

Он запирает дверь.

Обратно к креслу. Садится.

— Второй день жду.

— Откуда у тебя ключ?

— Сам мне дал когда-то, не помнишь? Ты был моим другом, заказал для меня ключ и дал на всякий случай, не помнишь?

— Ну да, было что-то такое. — Я помню или не помню?

— Она ушла. Из-за тебя.

— Яцек, я с ней не спал. Я не спал с ней, понимаешь? Мы уже разстрелялись по дурости, по моей дурости, может, хватит?

— Что ты за дурень, Константин, — бормочет Яцек. — Что за дурень, что за дурень. А она в одном платье ушла. Из-за тебя. В твоём любимом, рыбий хуй, в твоём.

— Не целься в меня, Яцек, пожалуйста. Я дурень, но ты в меня не целься. Я с ней не спал.

— Без разницы, Костек. Тебе вынесен приговор. Вырок смерти. За измену. Немчура ты.

— Нужно пойти заплатить гужееду, Яцек.

— Вырок смерти тебе, Константин, не понимаешь?

— Кто его вынес?

— Служба Победе Польши.

— Польша побеждена.

— Из-за такой болтовни именно. Как ты мог меня предать?

— Дрожки ждут, мне нужно заплатить, Яцек.

Левой рукой он тянется к водке, в бутылке что-то есть еще, зубами он вытаскивает пробку, делает большой глоток.

— Как ты мог так меня предать? Мундир этот...

— Это моего отца, — пытаюсь я перебить его, но он не слушает. За поясом у меня пистолет. Моего отца. Смог бы я?

— Этот мундир, всё. А я тебя так защищал, Константин. От них всех. Держал их за дураков, за примитивных филистеров, когда они так говорили. Защищал тебя, всегда.

— Я знаю. Яцек, мне нужно идти заплатить извозчику. Человек там ждет, сколько он может ждать?..

— Заткнись, Костек. Вырок тебе есть. Вынесен. Как мог ты прийти к Пешковскому с немцами, как ты мог, немчура? Как ты мог мою Игу?..

Я молчу. Раз уж он велел мне заткнуться, то помолчу.

— Вырок тебе вынесен, понимаешь? Приговор. Служба Победе Польши. Первый вырок. Полевой суд. Самый первый вырок. И я вызвался, понимаешь? Они сказали, что я не справлюсь, а я вызвался.

— Ты пьян, — отвечаю я, хотя мне полагалось молчать.

— Ты по целой жизни пьяным прошел, Константин. Как ты мог меня предать?

— Это не так, Яцек. Я не могу много говорить об этом, я никогда об этой Службе Победе Польши не слышал, но я служу во всамделишной, понимаешь?.. Разведка. Я тебя должен завербовать, такой приказ имею.

Слушает, не слушает? На меня не смотрит. Закрыв глаза, заслоняет левой рукой, пистолет, ладонь с пистолетом на коленях. Я смог бы многое.

— Вернулся из Будапешта. В качестве курьера. Привез регламент курьерской связи, Дзидзя осталась, я был там с Дзидзей Рохацевич, оттого мундир, маскарад, понимаешь?

Не слушает.

— Мне нужно идти заплатить гужееду, Яцек. Сразу вернусь, и мы поговорим, ладно? Встаю.

— Как ты мог меня предать, Константин? Один я любил тебя, один я в самом деле любил тебя, а ты меня предал.

— Я же объясняю тебе...

Выстрелил. Жутким пестом в пузо. Я на полу. Яцек в слезах.

— Как ты мог, она была... Тебе приспичило взять ее себе, прихоть такая, да? Именно ее приспичило?

Потолок. Регламент курьерской связи Штайфера. Кто отнесет его на площадь Спасителя? Мне нужно заплатить извозчику. Кто заплатит? Он ждет. Горячо. Яцек садится подле меня, кладет мою голову к себе на колени.

Яцек гладит меня по волосам.

Я любила тебя, Константин, а теперь полюблю его, ибо мне нужно кого-то любить, так что стану любить его, опустошенного и исполненного отчаяния. Он станет кружить вокруг опунции, когда ты отправишься во второе царство смерти, а я стану кружить с ним.

— Зачем, Константин, зачем? — плачет Яцек.

Я молчу. Все еще дышу. Нет никакого “зачем”. Нет ничего затем, все только лишь есть. Лишь темная черная пульсирующая материя, скрытая под тонкой кожей этого мира, и лишь снаружи, наверху, ищут ответа на вопрос “зачем”.

Нет ничего затем.

Мне нужно заплатить извозчику.

BOOK INSTITUTE



© POLAND

Публикация выходит при поддержке программы перевода © POLAND